КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 5 (22)

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Гиз № 7966. Главлит № 24667. Москва. Напеч. 12.000 экз.

Госиздат. 1-я Образцовая типография, Москва, Пятницкая, 71.

Любка Козак.

(Из одесских рассказов.)

И. Бабель.

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В этом доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка, много других лавок и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и еще участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Козак, и только голубятня является собственностью сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на охотницкую со своими голубями и продает их чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на прославленого молдаванского раввина нашего бен-Зхарью. Об Цудечкисе этом я знаю много интересных историй. Первая из них— это история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванной Козак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке, для того чтобы отпраздновать покупку молотилки. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя. Помещик переночевал и на утро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот,—сказал Евзель,—вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, - так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Видно, что вы аферист. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы тертый старик...

Но Цудечкис не отдал денег, Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

— Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и, с божьей помощью, вынимет из тебя душу. Аминь.

— Каторжанин,—ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате,—ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев—сначала из Египта и потом из пустыни...

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собою ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книжку „Чудеса и сердце Баал-Шема". Она читала хасидскую книжку с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В этой люльке лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине,—сказал Цудечкис Песе-Миндл,—вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску...

— Дайте вы ему соску, — ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки,—если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что вот он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока, а мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире „Медведь", покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге...

— Да, — сказал тогда самому себе маленький маклер, — ты у фараона в руках, Цудечкис,—и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

— А-а-а,—запел он,—вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем, и в ночи... А-а-а, вот всем детям кулаки...

И Цудечкис показал Любкиному сыну кулачек с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и в голубых молниях июля и неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых

и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру только в пятом часу вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

— Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка...

— Цыть, мурло,—ответила Любка старику и слезла с седла,—кто это раззевает там рот в моем окне?

— Это Цудечкис, тертый старик, ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил:

— Какая нахальства,—завизжал он и швырнул вниз ермолку,—какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года... Идите, дайте ему цицю...

— Вот я иду к тебе, аферист,—пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленой кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась тогда жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащут скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дите ваше, такое дите, как звездочка, должно захлянуть без молока...

— Какое там молоко,—закричала женщина, отворачиваясь и надавила грудь,—когда сегодня прибыл в гавань „Плутарх“ и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей,—отдайте лучше шесть рублей...

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный свой локоть.

— Давись, арестантка,—сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на „Плутархе“. Он привел с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем—они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбе-

жалось к ящику и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить с боку.

— Прочь, галота! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию. Они сели там за стол, Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали уже по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивленья, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди. Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный, — сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну: — последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко...

И она показала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием:

— Ратуйте, люди! — закричал он и помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала тогда Любка, — цыть! и бросила в старика камнем, но не попала с первого разу и схватила пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

— Мисс Любка, — сказал тогда старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги, — много достойных людей приходит ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка...

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцовать с ними по захолодевшему двору. Люди с „Плутарха" — они танцовали в глубокомысленном молчании, и оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда, она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже

Песя - Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

— Ах. вы замучили нас, бессовестная Любка, сказал он и взял ребенка из люльки,—но вот учитесь у меня, паскудная мать...

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка засыпая.

— Молчать, паскудная мать, — ответил ей Цудечкис, — молчать и учитесь, чтоб вы пропали...

Дитя опять укололось об гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее с жадностью.

— Вот,— сказал Цудечкис и засмеялся, я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали...

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

— Ну, хорошо,—сказала тогда Любка,- открой Цудечкису дверь, Песя - Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку...

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать у него голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин наш бен-Захарья. Цудечкис был новым управляющим. Он пробыл в своей должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.

Из второй книги „Народ на войне“ [1]).

С. Федорченко.

1.

Житие того Гришки Распутного:—
Пропраздновал житие долгое,
во скиту с толку сбился,
во столице на трон царский забрался,
не сам велик, не сам красив, не сам умен,
до царицы смел-доходчив,
до царя на язык удачлив,
всякого обнесет и вынесет,
денег-злата нагреб кучи,
камней алмазных—горы,
девок да баб—толпы,
жил, пил, словно пес блудил,
дожился-доблудился до последнего,
дождался смерти необычливой.
Как убита собака во княжьем дворце,
как примята собака на высоком на крыльце,
за девичью порчу, за страдания,
за страну за Россию поругание.
А спустили собаку в реку Неву,
хоронили собаку не в саване,
а в бобровой во шубке во княжеской.
А на том на свете, не как-нибудь,
а сустрел его Вельзевул, князь обрыдливый,
со всем со бесовским со воинством.

Жили-были царь с царицей. Всего у них через силу много, соскучились с перебытков разных. — „Подавай ты нам, говорят, во дворец царский сермяжного самого мужика со смердьими словами. А то

[1]) Печатаемые ниже отрывки являются частью второго тома моей книги „Народ на войне“. Материалы для этой работы собирались мной на фронте с весны 1917 года. (Несколько отрывков в первые дни Февральской революции записаны в Петрограде).

княэья-графья нам до некуда тошны стали“. Вот и пришел Гришечка, и так их царские утробы распотешил, что уж всего им для Гришечки того мало:—„гадь, Гришечка, на наши царские головы“. Призавидывали тут графы и князи, Гришечку заманили и убили. А чудо было,—царя с престола свалило.

Как Распутин Гришечка,
хороший мальчишечка,
по скитам не старился,
с царем в баньке парился.
Гришка баньку истопил,
а сам в Мойку угодил,
а царь в баньке учадел,
да делов не углядел,
да делов не углядел,
со престола царь слетел.

Царь, говорит, это—дуб большой, ветвистый. Ветки те—министры, да князья разные управляющие. Дуб-то свернете, обломятся и ветки, люди нужные да большие. А тот ему:—с корнем дуб тот выкорчевать, ни жолудя не оставить. Оплел корнями землю, последние соки тянул. А ветками солнца лишал. Ненадобен нам дуб такой и ветви его гибельные. Свое взрастим.

По сказкам хорошо было, а по правде-то бывало перетолкуешь, и видать—не по деньгам нам царь.

Не думал я, что с царем-то как по просту. Все бывало и сказки-то громом грозилися. А вот и вышло. Может, эдак-то и господа бога попроверить можно?

Вот бы знать, как у нас на деревне царя провожают. Занятная это штука—деревня. Где стена,—там на царе ордена. А думаю, и туда толк дошел.

Говорят, плакал будто царь-то, как сымали. „Что я, говорит, теперь делать стану“? Ничему-то, окромя царствовать, я не обучен“.

За границу нам царя пускать нельзя — у него там сватья-зятья. Выплачет подмогу,—опять воевать. А нам некогда.

Царица-то, уж как нежна, а всякими бабьими словами заругалась. Только на нее депутат как цыкнет,—она и собралась.

Дети у них балованные, носа сами не утрут, теперь туго будет.

Мутят нас, работает враг, царя, вон, жалеют. Он, мол, хотел, да другие будто не позволяли. Ишь ты, какой младенчик. Ему не позволишь... Он у народа-то, почитай, лет сорок на шее сидел, вот и отвык на свои-то ноги становиться. Ничего, коли времени дадут, выучится.

Припечет бывало, так в церкви лоб прошибали. Боль-то ко лбу оттянет, мнеть народ и станет. По церкви станет смотреть, ан поп м..... Тогда мужик царю в ноги, не будет ли подмоги? Станет на царя смотреть, ан царь м....... А как ни царя, ни бога, и стал народ на свои ноги. Встал весь люд как один, сам себе господин, а таку-то тьму не упечь в тюрьму. Так и вышло дело.

Как на войну брали, дед один говорил:—„Подгонит, уторопит война новые времена. Всю землю костями укроет, на тех костях новое житье устроит. Лишь нас война деток-хлеба, да приведет новое житье с неба".

Небо да небо. Конечно — бог. Ан, руку-то приложил не бог, а человек убог.

Когда стал он мне про всю житейскую правду объяснять, обалдел я, молчу, все внове, на старое надежду утерял. Он и спрашивает:— „что молчишь, аль тебе с нами не по дороге?". А я уж и путей иных не вижу, все старые дорожки правдой позасыпало.

С неба листок прибило. Такой листок ко счастью мосток. Писал тот лист ссыльный стрекулист. За нас сера свита, за нас спина бита. В Сибирь плетется, за нас печется. Самого бьют да мучат, а он нашего брата учит.

Простой человек от рождения революционер. Нужду с жамкой пробует, всю тугу на родителях видит. С малых лет на труде непосильном, и никто-то из гладких да кормленных ему не советчик, а кровосос. Вот и почнет брыкаться, коли не дурень.

Враг-то нашими же жилами пообматан, не доторкнешь. Чужая жила крепкая одежда.

Бывало, взвесишь рукой винтовочку, а под сердце и засосет думка:—эх, кабы да этой штучкой, да на свою нужду у помещичка хлебца поотбить.

Чего мы до сей-то поры терпели, ты вот что скажи. Кабы повернули мы всей-то старой, да с ружьищами по домам, никаким бы нас галифам не удержать было.

Смотришь на земляка бывало: кто его знает, за кого он себя обдумывает, за господску забавку прирожденную, али за работника от веку изобиженного. Кабы знатье, давно бы на иное повернули.

Длинноногий галаган,
сорок девок залягал,
Николай наш Николаич
по престолу стосковал.

Эх, вы рожи, рожи, рожи,
как стоит престол порожний,
а я здесь войну покончу,
на престол тот разом скочу.

Никуда ты, брат, не скочишь,
не один войну-то кончишь,
мы престол тот соблюдем,
под курятник отведем.

Как нам в Питере
слезы вытерли,
только враг больно хитер,
как бы носа не утер.

2.

Ты не пой соловьем,
все равно домой уйдем,
не дождем до осени,
теперь войну бросили.

Одно я тебе слово на все на твои на десять—домой!

Уж так-то томно здесь. Что за житье! Прежде, когда воевали, знаешь, чего у чужого хребта прибился враг, мол, велено,—соси. А теперь забыли мы, какой такой австриец враг, так чего это нам по чужим странам сохнуть, аль уж и работа-то дома не стоит?

Ищу я, братцы, правдивых слов, до конца. А то не понять, чего и пиво варивали. Царя нет, а войне конца-краю не видать. Кабы все до конца сказали бы, так уж кто как, а уж русский бы мужик дня единого войной не подышал.

Не одни мужики на свете. Ты вон французу не присягался, да за тебя пообещалися. А эти пупа не надорвут.

Плохо здесь дела идут. Вон, за сто верст, аль меньше, дерутся ведь наши-то солдатики с австрийцем. А мы сидим, совесть зазрит, а разум не велит. Трудно, уйти бы по домам.

Кто дерется, верно еще не поверили, что свобода для всех. Обманули их, вот они и воюют еще со страху-то.

Один приезжий, сразу видно, дельный, идите, говорит, отсюда, только порядок держите, ничего не разоряйте, своего брата депутата слушайтесь, от господ подальше. А войне конец.

Сказывают, на недели прибывали Питерские Думские. Посередь военного слова их в кулаки подмяли, еле ноги уволокли. Нашли чем из Питера челом солдату бить, а еще бородатые.

Все больше адвокаты, законники разные. Небось, от старого медку никак не отлипнут,—сколько годов питались! Вот им и не понять никак, чего это вдруг солдат воевать перестал. Нового-то закону не раскусили еще.

Коли уж при царе защищали, так теперь, мол, особливо воевать нужно, когда все свое. А того не домыслят никак, что войной мира не добыть. А нам и строиться нужно, и закон новый утвердить, время ли нам теперь с чужими людьми дракой тешиться?

Нашим, мол, геройством гордились. А и все-то геройство наше с того шло, что некуда нам податься было. А как не с этого, так больше полоумные геройствовали.

Удали некуда деть было, а мы народ удалой. Теперь, как настоящим делом призаймемся, так удаль-то лучше девкам будем показывать, чем немцу, сурьезному человеку.

Богу маливалися,
на царя надеялись,
от них отвалилися,
по домам нацелились.

Не нам одним мир-то надобен. Вон и пленные всякие по домам запросились, про свободу услышавши. А им,—погодите мол, мира еще нет. А бабам-то нашим каково без мужней головы со свободами обращаться? Трудно ведь с непривычки.

Страшусь я, что дома увижу. Изнищила нас война до-чиста, от дела отбила, силы поубавила. За одно войне спасибо, до самого краю довела, дальше-то и некуда было. Вот и пересигнули.

Наш брат, рядовой, всегда хорошо знал, что простому та война кроме худова, ни к чему. Земли у нас помещичьей до некуда. Так неужто нам еще у иностранцев землю отнимать?

Наплевали на амбицыю,
растеряли амуницыю,
хоть приставь Дума полицыю,
не вернемся на позицыю.

Вы молодчики хваты,
солдатские депутаты,
коль вы кровные нам братцы,
не гоните с немцем драться.

Как солдат воевал,
царю славы добывал,
а как сшибли мы царя,
так чего нам драться зря?

Встал, месяц светит. Пошел-побрел до городу. Полуднем через город перебег, на эту дорогу вышел. Иду домой, и чем я от войны подальше, тем на душе моей тихости больше. Иду домой — мирное житье строить.

Никто нас на позиции не останавливал. Кричал кто-то из наших же солдат, мол, сукины дети. Только мы времени не теряли за обиду драться. Привычные.

А наш депутат револьвер вынул: говорит, застрелится как уйдем. А пускай его. Лучше одному под пулей-то гинуть, а нас дома ждут.

Им хорошо, самые важные дела делают, свободно туда-сюда разъезжают. А нас, небось, целой-то частью в Питер не пошлют. Вот мы и снялись сами.

Да уж теперь на фронте не погеройствуешь. Товарищи засмеют. Мы свою удаль домой снесем, — там она в цене.

Конечно, перед тещей-то погероистей будешь, чем перед дядей немецким. Идите, идите. И псу хвост-то поджатый на ходу не помеха, только не сберечь такому добра.

Я теперь ни в жизнь воевать не стану. Как только сказали, начальство не очень для нас важно, так так я врага полюбил,—всякую его обиду жалко.

Стыдно-то стыдно, да не больно видно. Все как один, все домой хотим. Чего у тебя отнято? Бить-то не за что, а дома дела стожища, вот и пошли.

На солдатскую спину
царь войну надвинул;
воевать нам неохота,
коль теперь наша свобода.

Коль настала революцья,
жить народам без господ,
а солдатска резолюцья,
по домам чтобы поход.

Земли, да земли. Конечно, земля для нашего брата первое дело; однако земля-то без устройства и на кладбище не годится. Надо сперва господ устроить, машины да суды.. А первое дело войну замирить. Земля же не уйдет.

Ты, Керенский, депутат
солдат не обманешь,
не пойдем мы воевать,
даром словом манишь.

Год который воевал,
царю славы добывал,
да от той от славы
крестьянство ослабло.

Год который воевал,
царю славы добывал,
а царь славы не сберег,
о . . . . , да убег.

Уж так-то мне лестно,
что я стал известный,
воевать артачился,
в газетах зазначился.

Ночью проснусь, сяду, а руки просто горят,—до дела рвутся. Куда уж тут воевать!

Ну, пустят нас по домам; ну, пошли мы. А как немцы-то войны не кончили, да за нашими за пятками на дома наши навялятся?.. Вот с того мира ждать, а не дуром валить.

Тарнопольские полки
растеряли портки,
да в родимый-то домок,
что в портках, что без порток.

Хоть прорыв, хоть и нет,
а нам все едино,
не австрийцу, а войне
показали спину.

Как теперешний солдат,
он не хочет воевать,
стала жизнь свободная,
война неугодная.

Как по дому я скучаю,
дождался теперь случаю,
жизнь-свобода у окна,
не нужна война.

Вы — немецкий народ,
славна нация,
на войну вас ведет
чиста провокация.

Прибери, солдатик, пулю
до другого разу,
на мужицкую войну
дожидай приказу.

3.

Ну, и город распрекрасный
Петроград столица,
на церквах знамена красны,
народ веселится.

Эх, пуста Москва,
что солдатская мошна.
Московские люди
все в Питере будут.

Прежде я все, бывало, сказки слушать любил. Просто молю бывало, — не сказывай ты мне про жизнь теперешнюю, обрыдла она мне до последней горечи.

Спеть бы песню, да слов новых не знаю, а старые не по времени.

У нас теперь еще ничего не разглядишь: рады ли, нет ли. Только что на свет мы народились, рты пораззявили, а на плачи, али на смехи еще и не разобрать.

Теперь коли и быть злому, так с плохого ума, а не от корысти. Нету царя, нету и прихвостней. Строй избу семейную, да и работай миром.

Подтяни, товарищ, пояс,
про утробу беспокоюсь,
стали мы свободные,
станем и голодные.

Мы-то словно целина черноземная,—все уродим, только бы сеяли.

Сколько, бывало, страху от бедности! Коли не за себя, так за семейных. Только и свету, бывало, увидишь, что через водки стаканчик.

С водкой сердцу в кулак не вступить. Кабы водку не запретили, не добыть бы нам свободы.

А чего в вине плохово? Я с вина здорово умнел, все понимал, никого не боялся, и правду на улице кричал.

Прежде был я дурак,
помыкал мною всяк,
как свободу достал,
до чего я умный стал!

А я тебе сказку скажу: жила семейная баба, и до того семейство свое блюла, что из избы не вылазила. Пока семейство-то поднялось, кругом жизнь стала иная да новая, дома каменные повыросли. А как вошла семья в совершенные лета, изба-то бабина сгнила, да семейству на голову и села. Так и Россия наша матушка: все дома кашу варила, а Европу и проглядела. Как бы не поздно.

Ах, эти бабы, в ногах путаются только. А теперь-то ее, не то что ударить, а и словом зашибить нельзя. Теперь свобода для всякого народа,—и жид и жаба, и мужик и баба.

Наш народ небольшой —
купцы да начальство,
у него за душой
пузы да бахвальство.

Наш народ наменьшой —
мужик да работник,
у него за душой
обо всем заботник.

Бывали и прежде хорошие времена. Бывало начальству за своими делами не до нас,—так и при таком счастии дел мы своих справить не умели.

—

Привел отец товарища, оставил ночевать. Ночью урядник нагрянул, все в раззор разорил, отца с товарищем увел, и по сие время. За книжки за теперяшние много я мальцом горя принял, в безотцовстве своем. А вон что вышло.

—

Как в люди отдавал, сказывал мне отец: — „Иди, сынок, в люди, всему учись, больше всего книгам. А людям не верь, кроме человека рабочего. Этот и на смуту позовет, так все для тебя же“...

—

Мы столковаться-то времени не имели. Посмотреть кругом, так все свою связь имеет. Только простой народ, ровно просо на крыше, как хошь мала птица повыклюет.

—

Покажи простому вещь дорогую, да за руки его не держи, ей богу украдет. Развратился народ темнотой и убогим житьем.

—

Ну, вот теперь, слава богу, чувство имею, что не хуже я других. А то, бывало, на кого ни поглядишь, все тебя чище. Труд несешь, для всех делаешь, а видать-то тебя, бывало, никто не увидит [illegible] корой твоей грубой.

—

Горевать-то, бывало, горюют, а руки все при по[illegible], как бы не раззудились. В свободную минутку способы придумывали, как бы себе на белом свете место необидное высмотреть.

—

Сколько теперь горя ушло у людей, сколько теперь всяких людей радостью живут. А такая радость, словно горячка: ко всем пристает.

—

Другим голосом говорит, — идите, говорит, собирайтесь, будем обо всем советоваться. А я что за советчик? Слов нет, думы о своем, домой бы...

—

Я пошел, вижу, все кто побойчее, и начальство около их. А солдат густо сбился, сам молчит, а до тех нейдет, силу копит до времени.

—

Что вы, с. д., стадом стоите. Постойте так-то с часок, отстоите себе тугу на шею. Вы, братцы, движьтесь, вон вода движная, чего-чего не нарастит, не увидит. А в стоячей-то, окромя падла да жабы, и духу иного нет.

—

А теперь вдруг вышло,—все твое, сам себе хозяин. Да уж больно всего много, и взяться-то за что сразу-то не угадаешь.

—

Говорили товарищи разное, да я веры не давал, о своем больше думал. Слышу,—сердце упало. Думаю,—это нас от австрийцев повернут, своих за царя бить. Доспело, думаю,—убьют, а не пойду на такое дело. Однако вышло, что все будто рады, и пора строиться. Только бы вот домой поскорее.

За прибаски-песенки,
братишку повесили,
а как петлю затянуло,
все народы потянуло.

За хорошу книжку
повесили братишку,
за братишку всем народом
мы добилися свободы.

Каземат Ревелин
большой был господин,
была там прежде грязь,
что ни голова, то орел да князь,
а теперь там очень чисто,
сидят царские министры.

4.

Попаду в гимназию,
увижу разну Азию,
попаду в ниверситет,
оглянусь на целый свет.

Эх ты, книга барышня,
по богатым шлялася;
ты покинь, книга, богатых,
погости-ка с нашим братом.

Ты сам устрояй, не гляди, что не учен, книги не знаешь, трудам-нужде с прадедов обучен. Нашему брату такие-то теперь понадежнее будут.

Коли так думать,—сгинем в темноте. Ученых ты не гони. Пока-то их по-хозяйски поберечь надо, от них учиться-то.

Силой свет обойму, умом ничего не пойму, все на чужой голове, да своим горбом. Эдак-то и человеком счесться нельзя.

Путаюсь я в новых словах, словно в бабьем платье,—не привык. А что старых слов не хватает—верно.

Наша речь особая, не на воде пузыри. Ученому же речь наша тяжка, как по месту придется—пудом по темени.

Надо новых слов не стыдиться. Пока они тепленькие, свежие в дугу согнуть их можно—себе на потребу.

А я вот очень не люблю, как неправильно говорят. Трудно тебе—молчи. А не калечь ты слов таких веселых — революция и другие многие.

Это все не русские слова, уху моему не милые, только шалтай-болтай разводить теперь нечего, и торговаться из-за слов—времени нету.

Очень я новые слова полюбил. Только по простым делам не умею их к слову сказать. Что ни скажу—все мимо.

Эти слова по новой жизни прикроены-шиты. Поверх лаптей не натянешь. А ты старую-то одежку поскидавай,—вот и будут те слова впору.

Радость большая несчастным людям жизнь устроить, и покой дать. Только не вижу я покойного места. Земля так и та двинулась.

Ворошите по городам что вздумалось. А крестьянству чтобы тишину. Никакого зерна не вырастить, коли бесперечь около него землю заступом.

А ты подожди, мужик, сеять-то, покуда мы тебе землю всю не перекопаем. Такую распашем пашенку,—что ни колос, то богатырь.

Эх, кабы только поля корежить. Наша пашенка через города всякие пораскинулась, а тут под плугом не кроту-червю гинуть.

Молодые, те при слове больше занимаются. А наш брат, семейный:—язык у нас крепкий, песьим хвостом не крутится, а дела, окромя семячек, здеся не видать. Домой бы...

Чего языка стыдиться, коли мозги в тебе есть. Как сказка, так не стыдно, а как жизнь устроять,—так сейчас язык лыком? А ты смажь лыко-то, хоть умом что ли, авось и от тебя миру помощь...

Старыми-то словами теперь не скажешь. Старые-то под время подведены. А теперь времени не видать. Теперь кипит, еще что уварится, пока время опять отстоится.

Как встали в ночи, все разом бежать, а от чего, не знаем. Прежде думалось, скажут, что когда надо,—брюхо, там, под пулю, али спину на штык. А теперь начальству-то не до нас. Вот и бежишь, на себя-то не больно положишься, без привычки.

Не боюсь я теперь. Что ни случись—лучше будет. Нас, бывало, на возжах в ров-то гонят, и то живы были. А теперь, на свободе-то, еще как заживем.

То-то и плохо, что на возжах ходили. Из оглобель не вылезая пути-то знали. А теперь распряглись, как бы ноги не порастерять.

При возжах и кнут командир. А от кнута, хоть в ров головою, только бы на волю,—вот и вырвались. А что с непривычки сошкодим,—ничего, залечится.

Человек тебе не скотина. Хоть узда, хоть ярмо, а на свободу вышел, сразу на своих ногах и по пути прямому.

Мне это все не по душе: надо скорее домой вернуться, семью присмотреть. А уж землю пусть знающие устроят.

Вот и беда наша в том, что все на чужой умок в надежде. Я, мол, с бабой на печь, а на мои, мол, денежки захребетные пусть барёныш повыучится, как мне же на шею начальством сесть.

От трубы заводской родился, дымом фабричным повился, у шпаны сибирской учился, на ткачихе блудящей женился. Как такому человеком стать? А есть декоктец такой знахарский:—работай до поту, раскали кровь сухотой. Коли раскалился, на господ навалился, правов добился, вот тебе не хуже людей.

Словно ты тулуп съел, кряхтишь ты да охаешь. И чего боишься, что тебе терять-то? худшему не быть, куда уж! А время особое, за тысячу лет такого не бывало, чтобы неимущий хозяином надо всем. Коли и на такое душа твоя не играет, так не быть тебе живу, хоть ты и глазом хлопаешь, да зубом лопаешь.

Вот есть такие философы, велят душу попрятать, обидой не обижаться, самим с собой удовольствие получать. Эдак хорошего не дождаться. И от думок таких только что хилеют, вроде как самому без бабы любовью призаняться. Здорового не жди. Нет, как кто тебе на голову, ты того по шее. Пусть философы терпят, им в тепле да холе всякое перетерпится.

Нас до теперешнего не философы довели, мы их и не видывали. Немец нас войною довел. Смерти повидали, и на жизнь поглядеть захотелось. Вот и вышло.

Приехал один такой, не военный. Вздел пальтишко на пиджак, да и думает, что не дурак. А эдакого дурня и в бане видать.

Ты читай теперь поболе. Мы дело свое сделали, передышка будет, от века так поведено. Вот ты в отдых-то читай, ума набирайся. В книгах и дерьмо есть, а больше наука.

Теперь книги все запрещенные по рукам пойдут. От них все дело узнаем. Недаром их царь запечатал,—правду знали.

Все теперь можно смотреть, только хитить не приказано. Надо бы всякие вещи очень хорошие у богатых взять, да, никому не отдавши, всему народу показывать.

Сколько это мы на себя греха берем судивши. Коль свобода, так и судить не надо. Зло-то побушует, да само и притухнет.

Зло-то, ровно огонь,—тогда помрет, когда все сожрет. Бороться надобно, а не попускать. Вот и суды надобны.

Не обо всех так понимать нужно. Теперь каждый рад за свое постоять, никому не уступим.

Вот тоже, ходят по домам, ровно пекутся о людском покое. А эти ходят, да часы разные за собой уводят. По этим людям хорошего трудно ждать.

Серый наш солдат говорить не мастер. Привычки нет. Мы все больше про начальство, а начальство-то позади, вот мы и выучены задницей гуторить; а язык наш словно в дегте вывалян, не отлипнет.

Прежде на отдыхе всяко говорилось. Бывало и сказки сказывали, не стыдились. А теперь, доброе слово соромно сказать. Время теперь печени, от сердца далеко.

Знаю, что неладно тута болты болтать, да дела по рукам не видно. Воевать не приходится, не с чего. Речи-слова разымчатые говорить я не горазд. Вот и лускаю семячки бесперечь.

Прежде пьяненькому только и обиды, что портки сымут. А теперь дела великие пропить можно, вот и надо остепениться.

Ходят теперь здеся люди не люди,—слухи не слухи. Однако не люди, не слухи такую вредную выдумку сеют, что как бы радость-то в крови не потопить.

В прежней-то жизни рабской такая душонка, словна рыбка в в А теперь ей страшно, да на чужой воле тесно. Она и мутит. А строй жизнь, покуда к стройке допущен, да учись, а на чужерод там, на евреев разных, не злобься. Всем теперь места хватит.

Кабы тебя с прадедов в лабаз позапрятали, да в рожу бы т плевали ежечасно, да над верой твоей измывались, не такой бы еще жулик вышел.

Ты бога оставь, пусть его на небе сидит, это теперь не пер важности занятие. Ты страну нашу присмотри. Только сопливость свою помни, а то ахнешь в министры, так только одной думкой прогремишь,—ставьте, мол, трактир, на весь на мир, всего-то и заня твоего до сей поры было.

Какой такой Керенский,—не знаю и не ведаю; только слуш его не дам ушам. Он—человек проезжий; наговорит, а кто его зна надолго ли те его слова?

Пояса-то мы пораспустили, это верно. Да вот, как нажмет в какой, как бы нам, при таком нашем фасоне, в портках не позапутать

Уж и тот толк,—переполоху большого понаделали, из пер повытрусили, косы да штучки разные пораскидали. С год сытая брат помнить будет, так и то дело.

Слышать противно, как лодыри теперь рассуждать приучили Поставь такого-то в управление,—коли добер, так, по себе су работу похерит на во-все, а коли зол тот ледащий, так кого ни в палачи произведет, а сам глаз заплющит, да на бархатах новых разоспится.

Ну и мы не дураки, людей-то различать можем. По этому сом нию книги будут выпущены особые: в тех книгах большой ур будет,—каких людей в управление выбирать.

Кабы к нашей доброте ума-разума понадбавить,—хорошая тюря вышла.

Для нашего брата книга да работа,—пара хоть куда.

По земле русской много людей разумных есть. Все те люди без дела сидели, дело-то не в тех руках было. Теперь же депешей тех людей собирают,—за советом.

Мне не обидно за старое,—было и было. Только вперед с собою такого обхождения не допущу. Коли придется, лучше в омут головой.

У него лицо чисто чортов ток, глаза линючие, а дело говорит. Все, говорит, нужно к своим рукам прибрать, с войны уйти, начальство снять, а везде свой брат. И никому образованному не верить. Так и жить.

5.

До дому спешу,
полну шапку ташшу,
а в той шапке бабам тряпки,
а начальству по шишу.

Зазвонили во все звоны,
зорьки засветилися,
офицерские погоны
с плечиков свалилися.

Начал я, братцы, страх будто терять. Ты не смотри, что у меня Георгий, в бою страх не настоящий. А вот как, бывало, после бою оглядишься, начальства страшно. Всегда на нем тебе обида, словно яблочко спеет. Кто его знает, когда оно с ветки-то, да на твою голову.

Очень было неудобно. Стал он вроде как прибиваться, стал нас, с... с..., братцами звать. Это он, чтобы выбрали. Ну, нет, эдакой-то об нашем брате одно узнавал,—у кого зубы крепче, кулаку больно.

Вчера, как мимо своего-то проходил, да как вспомнил все евойные обиды, так так бы и убил. Удерж мне нужен, а где он теперь?

Поспею еще, мол, ребра-то перещупать. А потом, как подумаю, вдруг все на старое обернется, а я и обиды-то своей не выплачу,—тут и звереешь.

Еще никто меня тут не обидел, так разве в этом толк? Главное, хорошего от них ждать нельзя. Все больше о пустом пекутся, для себя. А наш брат и на свет-то выпущен барску их постелю стлать.

Сидит весь белый. Я, жалеючи, тихонько фуражку в руки, да было за дверь. А он мне:—„Постой, ты, говорит, теперь враг мой. Если станут убивать, стрелять не буду. На вот оружие", и револьвер отдал. Смотрю, и карточки поснимал. И жаль мне его, и как звать-то, кроме благородия, позабыл. Так молча и ушел.

Мой здорово сперва побушевал,—не поверил, что ли. А потом заплакал и ушел. Вот вторая неделя нет его. Видно, забили его где-нибудь.

А наш с газетой прибежал, веселый,—я, говорит, рад больно. Мы было сперва-то и поверили, все с им делили. А потом из других частей посоветовали, мы и убрали его, засадили до поры. Хороший-то хороший, да все кровь чужая.

У нас двое было, чисто быки, мясные такие, да грубые. Эти как узнали, что царя нету, так уж матюшили сперва, матюшили, а потом перепились боровами, с горя,—мы их и заперли, до просыпу. Куда нам таких в новой жизни, и не придумаешь, самое злое в голову лезет.

А я теперь такой радый, ни на кого сердца не держу. Был ты зверь, да не то, мол, теперь,—не страшно.

Как бы, отдохнувши, силы не посбирали. Ты не больно мирволь, попомни, как они с дедов над нашим братом изгилялись. Все бы ихнее семя извести.

Принанять бы нам, братцы, ингушей, на господское стережение. Эти привычны, не умягчишь.

Уж такой я гордый,
дал милой по морде,
на солдатской ты квартире,
не путайся с командиром.

Я на начальство не обижался, что̀ оно понимало? Как его учили? На взгляд-то, будто, и всему, а на разум, так ничему путному. Только и науки его было, как сапоги чужою рукой чистить, да той же рукой на войне со смертью грешить.

Хуже не было холеры,
как штабные кавалеры,—
после революции,
так еще полетели.

Самый главный комиссар
нам цыдульку написал,—
а по той цыдуле
офицерам дуля.

А будет такое, что не по силам неученому. Вот тут и придумывай,—самим не справиться, а ученым верить никак не след. Им наша-то свобода только в басенках родня.

Куды барин—туда и ты. Просто ни на минуту от него не отбивайся. Не доглядишь,—нору пророет, вся твоя изба да тебе же на голову.

У нас баринок был, земский наш. Какими бы словами его назвать—не придумаю. В самые последние дни, почитай, зубы бил. Думаю, прибьют его на смерть. Такую гадюку средь хорошей жизни пустить—грех: ужалит.

А вот как с людоедами будет со всякими? Неужли страшного суда ждать? Думаю, сами поразберем.

Вон повыбирали больших людей, образованных,—один путей сообщения, другой земледелия, тот торговли, тот финансы. На все страны известные люди. А наш-то мужик: сам и дороги торит, и землю строит, и торговлей займается, и суд чинит, и войну ведет и с женкой и с соседями, а теперь и с немцем. Один за все за правительство отвечает.

Уж совсем я к нему присмотрелся, верить стал. Тут газеты привезли, читали с товарищами фамилии. Провокатор. Так уязвило меня, в такой стыд-тоску запал, взял револьвер, убить надумал, как бешеного пса. Да сбег он куда-то. Тем я и спасся.

Нас на такие места за нашей безграмотностью не звали, а шли бы из-за темноты и горькой нужды. А вот они-то с чего? Фамилии-то все господские больше.

Кто как, иной за скота, другой за цацу считал. А какие мы есть настоящие, то им не по глазам было. Теперь очки понадевали, да поздно.

Что Ганс, что Ванюшка,
оба два солдата,—
во нашей судьбинушке
баре виноваты.

Эх, не немец, не австриец,
белоручка кровопивец,—
эх, не иностранец,
баринок - поганец.

Полковнички—
греховоднички,
не заступятся теперь
и угоднички.

Боятся, много нас здеся. Потому и на позицию гонят, чтобы немец наши силы поразрѐдил.

Теперь только бы по хорошему, всем миром порешить, что̀ наше. Я так думаю, что, почитай, все у господ поотобрать придется.

Книги, вещи хорошие, и даже музыку,—все отдадут. Каждую нитинку простые руки сучили. А что ихняя указка была, так ведь и кнут ихний. А за науку они со всего сполна свое получили, нарадовались.

На море Каспийском остров есть небольшой, Волга намела. На острове для рыбалок господа бараки всякие устроили. Кругом и море, и реки, и гирла самые великие, и просторы легли, пораскинулись. А у рыбалок не продохнуть, только и воздуху, что дохлая рыбка поставила, а уж господской заботушки на этот предмет не видать.

Эх, свобода хороша,
да вот ходим без гроша,—
по купцам, да по боярам
наши деньги потерялись.

Кабы денежки,
были б веселы,—
от той бедности
головы повесили.

Весь я у него в кулаке,—сожмет, изо всего моего семейства кровь выточит.

Теперь по-иному надо. Это кто под ногами, тот и в пятку зубами. А коль на ноги стал—добреть стал. Теперь господ попригнули,—их и побережемся. А нам с горы-то виднее.

Так-то мы мягчим, мягчим,—как бы не промазать дело. Как враги стакнутся, по старой путине толконутся, тут костей не соберешь.

Ты только допусти господ, опять водку дадут. Плыви, мол, народ, по морю по винному от нашего от берега подальше.

Первое дело,—сладко ел, мягко спал,—ему желчь не на чем кипятить было.

Очень я студентов любил, сам голоден, сам нищ, а воробья веселее.

Как тот воробей оперится, в чиновники выйдет, бывало, расклюет он твое же добро по зернышку, не чирикнет.

Редко такой человек знающий из простых. Он с дедов горе наше считывал. Господский-то сын, как его ни учи, одного не позабудет,— что у него кожа нашей побелее.

Не знаю я, где и учиться нашему брату простому, особенно недоросшему. Нам все внове, все примем. А ты посмотри, каких округ нас злыдней та наука выкормила.

Думаю, не раньше как с правнуков наших, обученый простой станет вокруг себя вреден. Раньше-то не забыть своей туги, и чужая с того видна будет.

Мы-то дикие люди, а ты бы, господин, походил бы по нашему по дикому, с нищеты, голенький, да душу-то свою господскую через наше дикое-то житье пропустил бы,—не такие бы еще грабежи да убийства устроил.

Мы добрые, мы вон и тех не бьем, что по нашему телу живому, словно по мосточку, на веселые бережка хаживали.

Как повели под арест генералов,—здорово мне чего-то стыдно стало. Не то, что таких нежных поволокли, а то, что эдакую-то гниль мы по сю пору покоили.

Дадим барам порцию
во свою пропорцию,—
на колу нам тесно,
отдавай, брат, кресло.

6.

Коль мозгами шевелит,
это будет большевик,—
коли мозгу вовсе нет,
прозывается кадет.

Коли кто крестьянской веры,
прозываются эс-эры,—
а кто на руку нечист,
это будет октябрист.

А который выбирает,
вовсе партии не знает,—
ему партьи все едино,
только б войны прекратили.

Невдомек мне, вдруг меня выберут за приятельство, характер хороший. Я же все в уме держу, а ум-то чужому уху немой.

Всему начальству штаны штопал, слова от него не слыхали. А теперь самый у нас первый говорун: „мы ста, да вы ста". А если дело понять, такого выбирать не за что. В подпольи-то и мышь геройствует. А ты нам таких выбирай, чтобы и при коте не потели.

Теперь много здесь проявилось людей подходящих. Эти на сладкое не ласые. Все до конца раскусили, никого, кроме рабочего человека у власти не захотят. Этим верю.

А я так тем поверю, кто мира даст. Рядом-то с войной все обман. И то, и се,—а самое-то главное на последок. Этаким-то верить не приходится.

Повыбирали мы комитетчиков, а кто их знает, какие они за нас ходоки. Вон, говорят, в Питере один такой от солдат царя назад просил. Всем бы народом глядеть.

Депутатики
говорливые,
а солдатики
все трусливые.

За сохою ходил,
на войне геройствовал,
в депутаты угодил
за хороши свойствия.

Депутат надежа—
слова бабие,—
на войну бы сам пошел,
брюхо слабое.

Онамедни в Станиславов
сам Керенский приезжал,—
ему нужно войны-славы,
аж от жалости визжал.

Не звони, Керенский, звоном,
не хотим твово закону,—
ты не разговаривай,
с немцем мир устраивай.

Комиссары по лесам,
а мы кочками,—
повоюй-ка, братец, сам,
а мы кончили.

Депутатики братцы,
вы не стройте провокаций,—
не хотим мы воевать,
пойдем дома добывать.

Как военный комиссар,
на позицьи посылал,
сам воюй, коль больно храбрый,
а нам в руки цепы-грабли.

Мне одна свобода—
на дому работа,
а Керенский депутат
не велит домой пускать.

Здесь война покончилась,
господа покорчились,—
а солдатский депутат
по домам ведет солдат.

Уж так-то я рад,
выбирают в Петроград,—
уж я там, мальчишечка,
буду князя чище.

Батюшки, матушки,
спелы груши виноград,—
как поехал ваш сыночек
депутатом в Петроград.

Барышни красавицы,
до свидания,—
как сижу я во дворце
в самом здании.

Эх, ты дума-голова,
а мозгов не видно,—
приказала воевать,
солдату обидно.

Он в Россию в ящике железном прибыл, чтобы никто не знал. Ящик с дырочками. Четверо суток до Питера в ящике томился. Там товарищи вынули. Отошел с пути, теперь всем верховодит, и очень Думой не доволен,—чистоплюев много.

Что-то не припомню, чтобы наша деревня в Думу выбирала. Может, в ту Думу повыбраны мужики только богатые,—такой нам Думы не надобно. Надежды не имеем,—нам свою подавай.

Думе не верит,—там, говорит, каторжники есть. А и всего-то там и ладного, что с каторги. Те хоть не холены, нашу тугу видят.

Эти, что в Думе, люди настоящие. Один за ними грешок есть—помещики все. А помещику до мужика рядом не стоится. Все через управляющего дорога.

Насажали в Думу бар,
а на баре—тот же царь.
В Государственную Думу
насажали толстосумов.

7.

Эх, как жалостно,
где ж то видано,
на простой бабе женат,
невоспитанной.

Нам теперь жена
образована нужна,—
с прежней женкой разведусь,
с гимназисткою сойдусь.

Не для тела, для души
ихни девки хороши,—
долгозубы, да тощи,
а полненькой не ищи.

Жена нам теперь нужна иная. Чтобы старое не поминала, новое понимала, не клохтала бы над малостью клушкою. А где у нас такие?

Вся-то маята бывала на бабе. И житье наше дремучее, и побои-то, и дети-то, и обиды всякие,—все на ней. Кабы нам такой бабе геройской новые глаза присадить, лучше бы и не выдумать.

Прежде, ух, баб я любил. А с революцией,—хоть бы их и не было, всякую не замечу даже. Все-то я думаю, как бы мне теперь какого ни то случая не просмотреть. Не до баб.

Уж вы девушки,
уж вы прелести,
ожидайте нас домой
в скором времени.

Наши девушки недолго цвели. То с нужды-работы вянет, то с грубости да побоев сохнет. В новой жизни не перчаточки шить, а волю-красу девичью поберечь надо.

Не учили наших девушек господами брезговать. Боялься баивались, а приблизиться лестно. Вот и гинули. Небось, господская барышня с пеленок выучена от простого человека подальше, хоть бы он тебе соколом ширял.

Мы-то тоже девок не берегли. Озорники мы с недоумки, да с силы работной. Вперед-то не глядим, бывало,—чего там увидишь! Теперь побережливее будем, как вся-то жизнь перед нами.

Уж как наши бабы
головою слабы,—
им свобода словно зря,
зажалели царя.

Эх ты, тетка Аксинья,
пожалей свово сына,—
коли царь не удохнет,
на войне сынок усохнет.

Как бабушка Секлетея
вокруг света облетела,
всего видела не мало,
а такого не видала.

А такого не видала,
что у нас во Питере,—
как у нас во Питере
всяку слякоть вытерли.

Стало нам не в моготу,
сняли слякоть-мокроту,—
вытерли-повынесли,
сами на свет вылезли.

Зло такая баба, ровно клещ бешеный. На месте прыгает, слюною брызгает. Из-за бабьей мешанины, как бы нам под кнут не запроситься?

Теперь, думаю, перерядится женщина в одежу иную. Юбки-то и дела не видно, все больше штаны работают. А любоваться-то и некому и некогда. Кудри состригут, на ножки сапожки, папироску в зубы,—гуляй через всю землю, не запутаешься.

Затрещат таперь семейства. Не слепить детей с отцом-матерью, мужика с женою прежнею. Выйдут на новую жизнь одинокими.

Над бабой особенно барствовали. Грязь уберет, брюхо им набьет, горшки выносит, деток ихних носит, барыню чешет, барина тешит.

Моя милка на крыльце,
брови ниточкой,
я с румянцем на лице,
за калиточкой.

Моя милая хорошая
рассвободная,
как нам прежнее житье
неугодное.

8.

Натяну штанишки узки,
обучуся по-французски,—
господам по шеям,
закручуся коло дам.

На ручки перчаточки,
на ноженьки галифе,
со мной барышня красотка
во малиновом лифе.

Выходи, простой народ,
посшибали всех господ,
со свободы стали пьяны,
заиграли в фортапяны.

А я так и не рад, хотя, конечно, лестно, что без начальства. Только жду, когда свой брат в начальство войдет, заботился чтоб.

Ишь ты, дитятко беспомощное. Борода лопатой, а ума кот наплакал. Недаром вас, таких-то, начальство все от зубов очищало что это, мол, за спеленыши со зубами,—да и хрясь!

И бог-то, и царь, бывало, на престолах в грозных молниях сидят Вот и держались мы за гнезда насиженные. Ну ее, жизнь-то вольную Того и гляди коршун закогтит. А теперь коршунье по клеточкам Чего теперь человеку в навозе тепла искать, для него теперь и солнышко работает.

Царя сняли, теперь бы попа снять. Одним корнем соки тянули Я-то не грозен, и даже прежде думать так не умел. А теперь велели думать, сам себе голова, вот и такая дума не страшна.

Заблудился я середь новой жизни, ничего не пойму. Все позволено, а ничего нету. Дома до настоящих вещей доберусь, тогда и свободой попользуюсь, а здесь что́, разве что перчаточки понадеть.

Я думаю—обидят нас. За себя мы стоять только что сгоряча умеем. А поостынем, и обидят, себя на наших трудах устроят. Рубит, мол, топор лавку, а сам под лавку.

Я бы хотел по-крестьянски все. Отставили бар, что хошь с ними делай, только землю нам верни. А при земле мы и умны, и добры, и всему свету помощники.

Слыхивали. А как вростишь пуп в землю, так чтобы и за версту никто не хаживал,—пупа бы не потревожить. На пупе добра не вырастить.

Думаю, устроили жизнь по-иному, и животному легче вздохнется. Нас отпустит, и мы поотпустим. А то срываем все болячки на рабочем коньем хребте.

Баре редко животное томили. Промеж барами да животным наш брат, рабочий, на оттяжке стоял.

Ничему теперь старому не вернуться. Мы-то вот и не попробовали еще по новому жить, так от мыслей одних душе вольно. А что еще будет!

Теперь я перво-наперво хочу поспать, с трудов маленько отдышаться, попить-поесть вдосталь. А потом красоты затребую, и чтобы люди друг дружку уважали.

Больно песни хочу. Обучился я этим гимнам разным, а не по душе. Вот осмотримся, свою придумаем.

Я ли не терпел, не маливал, все на бога возлагал, после смерти за долготерпение счастья ожидал. Однако в последние часы до того готов был, совсем от церкви отпал, хоть дьяволу душу впору отдать. Теперь я человек, а после смерти не моя забота, я жить буду, выучился.

Куда глянешь,—все грех. А теперь начальство на нас без палки, значит и бог не того хотел, что сказывали. Это еще очень обдумать надо, да времени нету.

Ежевоскресно меня в церковь водили. Бывало, учадею там, весь осяду, дня три голова болит. Строжили меня насчет веры родители. Только раз ко кресту я сунулся, от батюшки винный дух! Морок, думаю. Потянул ноздрей,—и пропала вся моя вера через нос.

А я веру потерял—женатый уж был. Жена к празднику убиралась, икону сронила, а икона пополам. Кинулся я подбирать, аж трушусь весь из-за страха, из-за греха. Поднял, глянул, а в щели той черви. И полезла из меня вера моя, аж тошно. Рвать стал. И с тех пор, кроме доски росписной, ничего я в образе не вижу.

Бабы верить здоровы, бесперечь от монахов рожают. Вот мужья-то и в обиде на веру бабью, а то бы все ничего.

Ходил-ходил по святым по местам, на ходу всю веру растерял. И не диво, по пути мужичья беда беспомощная. Богу с той бедой не справиться, человечья порука нужна.

Пошлем хожалых знающих скиты попроверить. Есть скиты, что иноки словно жеребцы стоялые ржут да играют. Эти монастыри в кавалерию перегнать, а деньгу ихнюю на корм лошадиный.

Мы теперь, ребята, все как бы бог какой. Сами жизнь сотворили, да еще скорее божьего. Будто бы в три дня.

9.

Господа стишочки пишут,
соловьины песенки,
а солдатская частушка
воробьина лесенка.

Воробышек-воробей,
птичка придомовая,
как солдатская частушка
завсегда про новое.

Как наша частушечка,
подобрее пушечки,
мы от пушки без оглядки,
от частушечки в присядку.

Эх, частушечка,
наша душечка,—
что не выплачем,
так то выпляшем.

Отец [1].

(Из одесских рассказов).

И. Бабель.

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине, в своекорыстном подслеповатом городишке. Старуха не любила своего зятя. Она говорила об нем: Фроим по занятию своему ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так:

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход „Каледония" пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он окончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился купец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач,—сказал Иван Пятирубель,—кака-то женчина колотится до твово помещения.

Грач проехал дальше и увидел в своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша,—сказала женщина оглушительным басом,—меня уже черти хватают со скуки, я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями,—закричал он в отчаянии,—бери уздечку с коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченый чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

---

[1]) От редакции. Рассказы И. Бабеля не сверстаны вместе ввиду позднеи доставки рассказа „Отец".

— У вас невыносимый грязь, папаша,—сказала она и выбросила ıа окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу.—Но я выведу этот 'рязь,—прокричала Баська и подала отцу ужинать. Старик выпил водки ıз эмалированного чайника и съел зразу, пахнувшую, как счастливое цетство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась на Дальницкой и налетчики проехали уже на Глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с чудовищным букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии, они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки. Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня-артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо Баськи Грач и подмигнули ей. Они прошли мимо нее, раскачиваясь как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если бы она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты и сказала отцу.

— Папаша,—сказала она громовым голосом,—посмотрите на этого господинчика,— у него ножки, как куколки, я задушила бы такие ножки...

— Эге, пани Грач,—прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик,—я вижу, что дите ваше просится на травку. .

— Вот марокка на мою голову,—ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И, действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом, груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям, беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их один за другим приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери,—жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор, — кричала она ему по вечерам, — рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубах и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу:

— Каждая девушка — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу, как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку на следующий день и отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой, на стойке этой были выставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы „Филипп и Кано“ и каенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз,—красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусовой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач, — сказал он и отодвинулся, — Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это редкость...

И он заговорил о новом сорте чаю, привезенном в Одессу на эллландских пароходах. Грач слушал его терпеливо; но потом прервал, отому что он был простой человек без хитростей.

— Я простой человек без хитростей,—сказал Фроим,—я нахожусь ри моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за аськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой, кому этого ало—пусть тот горит огнем...

— Зачем нам гореть?—ответил Каплун скороговоркой и погладил уку ломового извозчика,—не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы е у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между рочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковкий раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Юнтефиоре, но... но мадам Каплун есть у нас мадам Каплун, граниозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет...

— А я знаю,—прервал лавочника Грач с ужасным спокойствием,— знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет еня.

— Да, я не хочу вас,—прокричала тогда мадам Каплун, подслуивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, волнующейся грудью,—я не хочу вас, Грач, как человек не хочет мерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не абывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, покойный апаша был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи.

— Держитесь вашей бранжи,—ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но стаик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под елеги.

— Рыжий вор, — сказала девушка шопотом, непохожим на ее юпот,—отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, отчего вы молчите как пень, рыжий вор?..

— Баська,—произнес тогда Грач с ужасным спокойствием,—Солоончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня... Там ищут бакаейщика...

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исезла со двора?..

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз аката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего од своим биндютом. Стремительный луч уперся в спящего с пламеной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блетевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья з Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Парод привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор

Любки Шнейвейс, прозванной Любка Козак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за нею ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо.

— Почтение, Грач,—сказал он,—если хотите чего-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на земле. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот,—сказал Евзель, и поправил медаль на истертом своем пиджаке,—вот вам жизненная драма из оперы „Турецкая хвороба". Он кончается, старичек, но к нему нельзя позвать доктора, потому что кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач... Халваш, — закричал Евзель умирающему и захохотал,—вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы, и играла музыка. Старые евреи с грязными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как искалечили его собственные сыновья—старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали в оцепенении неслыханную похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун,—пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Козак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори,—крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка,—ответил ей Фроим и усадил рядом с собой,— вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, сначала на бога, потом на вас...

— Говори,—закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях,—сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи, ниоткуда и вот я один, как бывает один бог на небе...

— Беня Крик, — сказала тогда Любка, — ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

— Беня Крик, — повторил Грач, полный удивления, — и он холостой, мне сдается?..

— Он холостой, — сказала Любка, — окрути его с Баськой, дай ему денег, выведи его в люди...

— Беня Крик, — повторил старик, как эхо, как дальнее эхо, — я не подумал об нем.

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за нею следом. Они прошли двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши, — сказала Любка Грачу, — подожди меня в коридоре, — и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной, по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать, — сказала хозяйка молодому человеку, — сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, а потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю, — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги, — я подумаю, пусть старик обождет меня...

— Обожди его, — сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, — обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа у запертой ее двери, два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломаная мебель, и старый мулла в зеленой чалме уснул к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша.

обстоятельная Катюша, все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом, старый Фроим сидел не двигаясь у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек,—сказал он, — неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Беня открыл, наконец, дверь Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, — когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, прославленного налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Беня Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша, — сказал он будущему своему тестю, — бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилось в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды и поцелуи раздавались на могильных плитах.

Память о 1919-м.

Закат был желт и вечер розов,
И розовая ночь была—
И с отступающих обозов
Валились мертвые тела.

Не знаю—звезд лучи звенели,
Иль билась льдинками река,—
Края изорванной шинели
И грязь на стертых каблуках.

Плыл месяц ласковый и добрый,
Роняя искры по кустам,
Когда сломались взрывом ребра
Железногрудого моста.

Был крик детей, как стебель, тонок,
Был вздох солдат, как ветра свист.
Камнями падали вагоны,
И косы рельс бежали вниз.

Шел дождь. Шел полк усталым маршем.
Шли тучи вихрем черных крыл,—
Я знал, что каждый будет старше,
Что всякий жизнь перекроил.

Был синим день, синели горы,
Синели впадины земли —
Вошли тяжелым шагом в город,
По улицам пустым прошли.

Пять лет, как пять стальных объятий,
Был взрыв, был дождь, был жаркий бой,—
Держу в руках обрывок платья
Полуистертый, голубой.

И помню выкрик паровоза,
Твой крик, твой взгляд и звон стекла.
Закат был желт и вечер розов,
И розовая ночь была.

Игорь Славнин

Из романа „Северосталь".

Всеволод Иванов.

(Отрывок.)

...В день заключительного заседания ревизионной комиссии синдиката Паньшину слегка нездоровилось. Накануне он работал очень долго и упорно—до того, что глаза казались ему загрязненными и трудно было смотреть.

Секретарь комиссии Знаменский был очень миролюбив, но ему надоело возиться в синдикате и ему казалось, что если пойдет так дальше, их самих будут ревизовать. На нем был белый костюм, а руки прокурены сплошь до желто-коричневого цвета табака. Он курил очень много, и даже сны у него были какие-то табачные.

Второй член комиссии имел странную фамилию Поглощенный. Лицо у него было такое, словно он был всегда привешан за шиворот на крючек. Характера он был веселого и относился ко многому беспечно.

Знаменский нетерпеливо раскрыл папку.

Поглощенный подмигнул, скривил веселое лицо и, словно помогая в этом, дрыгнулся всем телом.

Он озаренно проговорил:

— Сейчас-то мы и будем пазы законопачивать.

Но здесь к Паньшину постучали и вошли трое рабочих, представителей экономической конференции завода. Рябой и жизнерадостный Мельченко сказал:

— Дело есть к вам некоторого размера, Яков Лазоревич.

Он любил несложные поговорочки.

— Слушаю,—ответил Паньшин.

Тогда Тимофей Лукьяныч очень спокойно и очень рассудительно сел, широко расставив ноги.

Говорил он, приглаживая на висках волосы, торчавшие довольно не спокойно:

— Узнав, что товарищ Паньшин как получивши командировку и другое назначение...

— Я еще не получил командировку.

— Вы же говорили, товарищ, об отъезде.

Паньшин согласился.

Тогда Лукьяныч начал снова:

— ...как ожидающий получения командировки и другого назначения, они просят его от имени рабочих и администрации завода принять участие на вечере смычки рабочих Северостали с крестьянами подшефной Орловской волости. Смычка будет происходить на совхозе „Малкино", куда рабочие повезут первую партию тракторов, заказанную Сельмашем и выработанную первым заводом Северостали. Так как товарищ Паньшин и товарищ Коряков и Онисова были первыми администраторами завода, не жалея усилий к его восстановлению, то мы, по поручению организационной комиссии, предлагаем указанным товарищам присутствовать как почетным гостям на смычке.

От своего имени и от имени Корякова Паньшин согласился, но о товарище Онисовой он сказал, что она уехала в отпуск в Сибирь.

— Есть надежда, что к этому дню она вернется, и тогда, конечно, будет присутствовать на смычке.

Здесь заговорил Шуставеков:

— Места̀ там, душу можно погубить из-за этих мест. Поохотиться тоже вечерком не помешает. Дадут вам вагон отдельный, которые во главе и члены организационной комиссии поедут туда пораньше побродить, приготовить разный шурум-бурум. Крестьянам только придется говорить для разъяснения,—тьма там, душу можно погубить из-за такой тьмы.

Паньшин спросил:

— А вы откуда, товарищ, что так уверенно говорите о тамошних местах?

— Наши все семейства из тамошних мест. Батя мой как-то откололся, а я совсем не люблю, глушь да грязь, душу погубить можно. Именье раньше, на котором теперь совхоз, князьям Голицыным принадлежало.

Он быстро начал говорить о поверьях, о леших, о том, как лечат мужики и как женщины гвоздем делают себе аборт.

Мельченко махнул на него рукой,—исправится мол; раз тракторы везем,—значит исправится. Паньшин вгляделся и припомнил, что Шуставекова он встретил однажды на кулачном бое на льду Невы подле завода.

Он напомнил ему об этом.

Тот сочно покраснел.

— Собирается у вас стенка?—спросил Паньшин.

— Вот с зимы начнут наверно.

Он вздохнул, и легкое лицемерие послышалось Паньшину в этом вздохе.

— Да разве их убедишь, Яков Лазоревич,—мыслить не привык народ. Очень тяжело мыслить, прямо душу можно погубить от разных мыслей. Вот ведь даже на хозяйственную работу по заводу и то не каждый может подняться.

— А вы-то как же?

— Я и то, Яков Лазоревич, через кооператив сначала...

Он было-заговорил о кооперативе, но Лукьяныч его оборвал:

— Отправляемся, не видишь—заседание. Мешаем.

Знаменский опять раскрыл папку. Паньшин взял в руки документы и вдруг сказал:

— Послушайте, товарищ,—но, устраивая сегодня последнее заседание, тем самым мы вынуждены передать весь материал следствию.

Поглощенный дернулся:

— Естественно.

— И прокуратура...

Паньшин поднялся, обошел комнату, достал какую-то книгу с полки и положил ее обратно.

— Коряков, товарищи, был первым директором завода и вначале даже комиссаром. Луганский завод он до поступления в Северосталь вел очень хорошо. Он мне даже помог раскрыть злоупотребления, проделанные Числовым в тресте. На заводе да и в синдикате он развил торгово-посредничество операции. Завод на текущий год обеспечен средствами производства и рабочий вопрос там урегулирован.

Знаменский шевельнул бумаги и оживленно спросил:

— Так вы предлагаете огласить?

Плечи у Паньшина ныли и какая-то зябкость была в руках.

— Ничего я не предлагаю. Просто мне тяжело рассматривать документы. Коряков один из ветеранов завода.

Знаменский кое-что понял. Поглощенный смотрел на него ожесточенно—ему надоели длинные разговоры.

— Ветеран,—много таких ветеранов! Да что вы в самом деле, Яков Лазоревич?

Он схватил документы и, догоняя Паньшина, совал их ему в руку.

— Вы вот сюда посмотрите. Кумовство, пьянство в „Максиме“, тут вот какой-то Берейтель, не то секретарь, не то дьявол знает его кто он такой. Выдумал премии за экономию, в счет этих премий вносит записки на деньги и получает. Донбасс, конечно, в поставках дыряв, как старая калоша, но нельзя же Ньюкестальский кокс выписывать. Мало-того что ни черта не стоит, так ведь иностранцы-то его не привезли, а авансов получено на восемьдесять тысяч.

— Какой кокс?

— Приехали фрукты какие-то.

— Ничего не понимаю.

— Ну, эти в серых костюмах, немцы. Обещали кокс, а привезли долотанит. Я вам вот сейчас, вы вот еще сюда — тут ведомости есть с несуществующими рабочими и со счетами за непроизведенные работы.

Он вытер лоб, схватил еще бумагу и погнался за Паньшиным:

— Центральные расходы! Смета! Квартиру оборудовал для своей любовницы, за счет этих расходов.

Паньшин отстранил документы и сказал:

— Он член Петросовета. И в партии он давно... Мне очень тяжело, товарищи, думать об этом... И о всем другом...

Знаменский порылся еще в бумагах, потом швырнул их на пол. Поглощенный наклонился, смеясь, и подобрал их.

— Я настаиваю, Яков Лазоревич, о немедленной передаче дела в ГПУ.

— Настаиваете?

Паньшин сел в кресло, достал папиросу и, не закуривая, одну за другой сжег три спички.

— Хотите, товарищи, я расскажу вам сказку про бедного и про богатого мужика.

Знаменский озлобленно посмотрел на него, затем—человек он был миролюбивый—кашлянул и сказал зябко:

— Рассказывайте.

Паньшин придвинулся к секретарю и оживленно заговорил:

— Я это прочел недавно. Жил бедный и богатый. Жили они в разных концах села. Богатого звали Никитой, а бедного Семеном. Вот померла у бедного какая-то дальняя тетка и оставила ему корову. Обрадовался бедный Семен и не знает, куда корову поставить,—хоть на божницу. И забралась однажды его коровенка к богатому Никите на луга. Тот ее за потраву забрал, и вспомнючи, что очень много накопилось за бедным долгов, да и обид не меньше, так как тот был мужик зубатый. „Не отдам,—говорит,—тебе корову“. А была осень,—вот и к нам скоро осень придет, а мы и не заметим. „К зиме,—говорит богатый,—мне очень требуется мясо“. Взял и зарезал коровенку. Жиру там, правда, мало ему перепало, больше всё кости были. Так вот отдал он кости своим работникам, а те щи сварили, едят да похваливают. Разыскивая корову, забрел Семен во двор к богатому мужику. Работники ему и говорят: „Садись—по твоей бедности угостим тебя щами“. Ест он и тоже щи хвалит. Однако говорят ему работники: „Сенька, а знаешь ли ты, что ешь, ведь корову-то ты свою ешь“. „Не может,—говорит,—быть, моя совсем без жиру была“. Повели они его в амбар,—смотрит тот, а ведь верно, его корова и шкура от его коровы. А на суде Никита и говорит: „Он, мол, сам всю корову съел, я тут не при чем; его судите, добрые люди, он еще в моем котле для себя, разбойник, щи варил“. „Ел?—спрашивают его,—ел ты, Семен, свою корову?“ „Ел,—

отвечает,—точно ел, но, братцы, совсем немножко. Кости поглодал и с тех потом стошнило". „Ну и страдай,—говорит ему Никита,—за свою корову, если она у тебя такая не жирная, что тебя даже тошнит". И засудили Семена. Никита же пошел домой благополучно доедать корову... А теперь, товарищи, перейдем к текущим делам.

Знаменский спросил озадаченно:

— Это что же, аллегория?

Паньшин ответил:

— Чудаки, я же не перед агитационной эстрадой стою. Я вам сказку рассказал, дабы у вас от сердца отошло. А теперь у меня есть следующее предложение: давайте отложим заседание на неделю.

Знаменский возмущенно схватил папку.

— Товарищ Паньшин, это невозможно... Товарищ, вы тянете чорт знает сколько... Мы ждали провинциальных сведений, тут осталось два-три часа работы...

Паньшин спокойно и как-то густо взглянул на него.

— Вы полагаете, товарищ Знаменский, что я делаю это из корысти... У меня есть формальное препятствие—Пермское отделение не обследовано. Принимаете вы мое предложение?

Знаменский покраснел, начал жать ему руки:

— Я согласен.

После их выхода Паньшин утомленно вытянулся на диване и вдруг почувствовал себя очень удовлетворенным.

Он даже похвалил ушедших.

— Одаренные люди, терпенье.

И он рассмеялся.

Казалось, директору синдиката жалко было выходить из своего оливкового автомобиля, который походил на опрокинутую домну. Он с сожалением посмотрел на голубой дымок и пошел к вагону. На соседних путях колоссальный кран, похожий на взорванный мост, подымал на платформы зеленые тракторы.

Скрипели цепи.

„Холт" слегка качался и затем с легким кряком оседал на доски.

Кто-то крикнул воодушевленно:

— Семьсот ведь пудиков в каждом!

И Коряков сказал Паньшину:

— Кто бы мог думать, Яков, что через такой срок мы выпустим тракторы? Кинематографическая быстрота.

Паньшин спокойно проговорил:

— Начало увесистое.

В вагоне Коряков сел в одно с ним купэ и предложил папирос, которых он захватил с собой полный небольшой саквояж. Папиросы были очень толстые и слабые. Паньшин выкурил до половины. В это время к вагону подбежал мотоциклист, он даже не скинул больших своих очков. Он сунул Паньшину телеграмму. Оргбюро ЦК РКП призывало его в Москву.

Когда поезд пошел, Коряков очень оживился, достал лежащее в саквояжике под папиросами печенье и начал есть. Зубы у него были мелкие, и даже небо казалось усеяно этими белыми пятнышками. Он широко раскрывал рот и жевал очень громко.

Паньшин вышел в коридор. Коряков посмотрел ему вслед,--Паньшин был одет в кожаную куртку и черные штаны, вправленные в высокие рыжие сапоги. „Демагог“,—подумал Коряков и посожалел, что не скинул хорошего костюма и не поискал старого платья.

Затем он решил, что зря обозвал Паньшина демагогом: он, очевидно, хочет поохотиться, а местность там болотистая. Он крикнул ему:

— Папирос хочешь?

Паньшин не любил смотреть в окно вагона: линии всегда приобретали муть и напоминали кинематографические плоскости.

А в купэ Коряков вдруг стал ему рассказывать, как он последнее время был в кинематографе. Тогда Паньшин прервал его,—ему тяжело было говорить „ты“, и фраза получилась сложной—он осведомился, как работает завод. Коряков коротко сообщил ему, что с какого-то завода из Америки к ним на Северосталь согласился переехать знаменитый инженер Ледиграт.

Тогда Паньшин, вспомнив про Бидда, спросил о нем.

Коряков оживился:

— Я же тебе начал рассказывать про кинематограф. Так вот — там, после картины, смотрю, выкатываются танцовать две фигуры. Женщина такая круглая и так у ней это все наружу, что половина кино на ноги поднялась. Танцуют шимми, а пригляделся, мать ты моя, это Бидд: он оказывается с завода давно ушел. Партнерша с ним, — из тех трех, которых к нам как-то комиссия по борьбе с проституцией направила. Оказывается, она в Одессе, чтоб выгоднее работать, изучила английский язык...

Коряков захохотал:

— Фантазия сплошь, а не жизнь...

Паньшин вспомнил движения всех трех женщин, некогда приходивших к нему в заводоуправление.

— Как ее фамилия?

— Соломина, Раиса. Так и на афише пропечатано. У нас с завода еще одна женщина ушла по артистической деятельности...

— Знаю...

И Паньшин поспешно спросил: не та ли Соломина, которая была за рабочим и потом беременела? Нет, та благоденствует и муж ее про-

должает не пить. Они завели корову и пай их на общественных огородах самый крупный.

Тогда Паньшин вспомнил свою сказку о бедном и богатом мужике и вдруг рассказал ее Корякову.

Тот захохотал так, что папиросы в его саквояжике затряслись. Паньшин добавил, что рассказанную сказку он передавал членам ревизионной комиссии синдиката. Коряков опять захохотал.

Паньшину очень был неприятен его смех, и он показал ему телеграмму, полученную перед отъездом.

Коряков выразил-было сожаление, но повеселел и спросил Паньшина:

— Ты ведь сам пожелал. Значит, надоело?

Паньшин с неприязнью посмотрел на его располневшие щеки. волосы у него тоже будто стали светлее. Или мыл он их чем-нибудь? Укладывались спать они молча, и, засыпая, Коряков спросил:

— При каких условиях ты рассказывал им свою сказку о мужике?

— Да так, сидели...

— Непонятно мне психологически.

И Паньшин подтвердил, что ему тоже непонятно:

— Бывают в голове странные заскоки.

Должно быть, Коряков хотел что-то рассказать и, должно быть, о себе, потому что он несколько раз под-ряд вздохнул.

Паньшин не ответил на его окрик.

Утром он долго потягивался и был, повидимому, доволен.

Умываться он пошел с одеколоном, и вдруг Паньшин начал раскаиваться, что под влиянием мысли об Онисовой он начинает всегда делать глупости. Коряков крепко натирал себе шею мохнатым полотенцем, а Паньшин все тяжелее и тяжелее внутренне смотрел на красное пятно в месте соединения шеи с плечом. Пятно это Коряков отлежал.

Зубную щетку он укладывал, завернув ее сначала в папиросную бумагу, а потом в кожаный футлярчик. И щетка не понравилась Паньшину. Он отвел глаза и подумал:

„Посадить бы тебя,—сидел бы теперь уже“.

Под конец он даже не стал отвечать на его вопросы. Он стоял в конце коридора, окно было почему-то плотно забито материей. Издали Паньшин походил на ремень шкива. Какое-то однообразие и маслянистость были на нем.

— В чем дело, Яков?

— Не знаю, плохо спал. У меня невралгия.

— Да, говорят.

Паньшин быстро обернулся.

— Кто говорит?

— Да у нас все говорят.

На станции „Малкино“, куда должны были прибыть тракторы, они увидали груды елок, большую окрашенную суриком деревянную звезду. Толпа мальчишек стояла вокруг этой звезды и пыталась ткнуть в нее пальцем. Звезда, должно быть, не обсохла, и ее караулил паренек с хворостиной. На груди у паренька был красный бант, а босые ноги потрескались и в цыпках.

Их встретил начальник станции, застенчивый и румяный, в новой синей куртке. Указывая рукой на зелень, он спросил, когда приедут рабочие, и застенчиво покраснел, добавляя:

— А мы украшаемся.

Подошел мужик, седой, разговорчивый и тоже с прутом в руке. Мужик оказался отцом паренька, потому что, посмотрев на него строго, сказал:

— Надень, сын, сапоги. Красный цвет носишь,—знаешь, государственный герб.

И он оглянулся на приезжающих, ожидая одобрения.

— Поедете?—спросил он их нерешительно: — исполком подводу за вами прислал, самая горячая рекомендация—ночевать в волости без клопов.

Мужик, видимо, был хозяйственный, лошадей ему морить не хотелось, и он сказал:

— Некоторые из любопытства посещают эту дорогу пешком, до села-то шесть верст, и тут холмы пойдут все, перелесочки.

Действительно, от станции начинались холмы и влево виднелся самый большой, украшенный зубчиками телеграфных столбов, холм.

— Куда же нам на „Малкино“ ехать?—спросил Паньшин.

Мужик махнул направо.

— Ты же нас в другую сторону повезешь?

Мужик проговорил с сожалением:

— Конечно, в другую сторону, но если суседи желают поговорить—волисполком велел мне,—вези сначала в волость, а там разберемся

Коряков выразил желание пойти пешком. Паньшин было-хотел ехать, но у мужика было наполнено лицо такой расчетливостью, будто он выгадает на этом сотню рублей. Он заколебался...

Мужики спокойно переговаривались, ожидая их решения. Паренек с хворостиной оттащил куда-то деревянную звезду. Паньшин спросил:

— Дорога-то тут одна?

— Одна, парень. Как есть прямо ты начнешь с пригорочку на пригорочек, так и валяй. Вот прямо в деревню и приваляешь. А на „Малкино“-то дорога будет другая, и все тоже холмиками. Гриба тут растет.

Мужик даже защурил глаза.

Тройка помчалась вперед, бубенцы загрохотали. Паньшин вдруг вспомнил, что их никто не встретил. Он спросил начальника станции,

почему же так. Тот покраснел и сказал, что тройка стоит на всякий случай, если приедет нарком, а о приезде его они еще сведений не получили.

— Вы ничего не знаете?—спросил он тихо.

Паньшин ответил:

— Приедет, наверно, вместе со всеми, а мы...

Он так и не докончил.

Паньшин пожалел, что к ним в вагон так никто и не приехал из членов организационной комиссии. Теперь наверное гонят второй вагон, там еще третий понадобится. Сумятица какая-то.

Коряков старался итти с ним в ногу, но Паньшин спешил.

— Иди ты тише,—закричал ему Коряков,—или есть хочешь?

— Нет.

— Тогда пойдем с полным удобством.

Трава была по-весеннему, почти темной зелени.

Они поднялись на первый холм.

Гриб поганец попался под сапог Паньшина. Было жарко, и поганец пах землей. Внизу по высохшему ручью бродила ворона, крылья будто для легкости были у ней распущены. А над вороной цвел шипишник, розовый лепесток оторвался и полетел. Ворона подпрыгнула, клюнула его и съела. Паньшин решил, что она очень голодная. Дальше синими грядами поднимались еще холмы, облака казались розовыми, а те, что пониже, пухлее, имели какой-то воровской желтый оттенок.

Коряков сначала молча огляделся, затем глубоко вздохнул и проговорил прочувственно:

— Хорошо.

Паньшин, стараясь прекратить все поднимающуюся злость, отвернулся от его упитанной крепкой фигуры. Шагать тот старался по траве,— дабы не запылились сапоги. Лицо—наполнено настоящим восторгом.

Он легко и быстро взбирался с холма на холм, и чем он крепче шагал, чем глубже дышал,—тем сильнее и сильнее захватывала Паньшина ненависть к нему. На спине серый пиджак его имел две продольные складки, и Паньшину все казалось, что складки становятся глубже и глубже. Шею и затылок он крепко вытирал ладонью и после каждого прикосновения там оставались розовые полосы.

Наконец, Коряков не выдержал и начал восхищаться усиленно вслух:

— Какая красота-то!.. Какая красота!..

Он показал Паньшину на облака, сравнив их с перламутром. Журавлей разглядел под облаками.

— Курлычат, дьяволы,—сказал он.

Капли пота повисли у Паньшина на шее. Зябкая сырость ударила ему в грудь. Он, озираясь, остановился и медленно проговорил:

— Погоди.

Тот посмотрел на него удивленно и воскликнул:

— Да ты весь, как мел!

У своей ноги Паньшин разглядел маленького сизого жучка. Жук влез на травку и поднял одно крыло. Подкрылья у него были табачного цвета.

— Сердце.

— Сердце плохое?

У Паньшина рот был словно забит травой, и Коряков плохо расслышал его ответ:

— Не плохое, а тяжелое.

Коряков ничего не понял и сказал весело:

— Ты присядь, отдохни. Я в сторонку отойду и полюбуюсь.

Особенно разозлило Паньшина слово—„отойду“. Он посмотрел на него, и ему опять пришлось отвернуться. Паньшин раздельно, чтобы не сорваться с голоса и не завизжать, проговорил:

— Отойди полюбуйся. Может быть, это и в последний раз.

Коряков вернулся.

— Яков, что это такое?

— Я тоже люблю природу и я восхищаюсь, когда ей восхищаются. Посмотрит, думаю, и все-таки не поймет—для какого мужика ты отдал свою корову.

— В голову не возьму, о чем ты говоришь.

Тогда Паньшин вдруг резко закричал. Голос его показался ему очень маленьким.

— Иди к чорту. Или ты вчера родился, что ли, или не помнишь, что я председатель ревизионной комиссии?

Тут Паньшин разглядел вдали деревни. Над черными с желтым соломенным верхом избами неслась голубая пыль, колодец с журавлем словно качался в этой пыли. И, конечно, церковь с зеленой крышей, и на ней, наверное, голуби. У голубя красный, будто видна через него кровь,—глаз.

— Зачем же я приехал сюда?—медленно спросил Коряков.

— Я не отказываюсь за других. Я полагал, что революционная совесть не позволит предателю присутствовать при деле, из которого он воровал последние гроши.

Коряков спутал свою гладко вычесанную бороду. Белобрысые волосики прилипли к его губам.

— Мне тоже приходилось... В голову...

— Зачем же вы появились сюда? Если здесь, то не объясните ли мне—для кого вы крали и для кого способствовали красть?

— Я не крал.

— Ну, брал взятки.

— И взяток не брал.

Паньшин взмахнул кулаком:

— Брал, сволочь!

Коряков молчал.

Затем он сделал несколько шагов назад, словно ему было тяжело выдерживать дыхание Паньшина.

— Я тебе, Яков... Яков Лазоревич... Я расскажу,—это об ней, из-за нее, из-за Ирины. Она в жизни никого не любила, она всю революцию берегла драгоценные камни. Ее дедушка вывез их из Индии. Там были рубины и бриллианты. Их мистический блеск привлекал ее, благодаря им она была вся другая. Ради жизни отца она заложила камни, заложила, чтоб его лечить. Ее словно покинула половина сердца. Она изменилась. Я ей хотел помочь выкупить камни и превратить ее в прежнюю Ирину... Денег на выкуп мне негде было взять. Я получил небольшое вознаграждение через Берейтеля. Обещал способствовать посредникам. Мой благородный поступок ей понравился, и она осталась при мне. Иногда на нее находила другая душа, и она опять закладывала камни... Я больше взяток не брал; если помогал комиссионерам или... то не во многом.

Паньшин разорвал папиросу и стукнул кулаком в ладонь.

— Как не во многом? А Ньюкестальский кокс? А ведомости с несуществующими рабочими? А Берейтель? Об этом ты ничего не знаешь?

У Корякова лицо сделалось упрямое, весь он вытянулся и обсох. Паньшину показалось, что он ему не верит.

— Так ведь, сволочь!—крикнул он опять.

Коряков возразил ему медленно:

— Едва ли так. Я теперь слабый, меня позволительно ругать.

Паньшин вырвал каблуком пук травы. Схватил его, помял и со всей силой швырнул о земь.

— Глупая кинематографическая история! Камни фальшивые, подсунутые ей поставщиками. И просто она их дарила какому-нибудь своему любовнику. Потаскуха, дрянная пустая женщина! Да ведь она же на твоих глазах спала с инженером из Госплана?

Коряков упрямо покачал головой. Он был убежден, что камни старинные, у ней имеется письменное доказательство, свидетельство английских ювелиров. С инженером она даже не целовалась, и Маликов говорил то же самое.

Паньшин от удивления даже как-то успокоился.

— Изменить заводу, коммунизму из-за каких-то камешков, которых ты и в руках не держал. Из-за лживой пустой бабы. Она заложила их ради отца?!. Да Маликов же ко мне прибегал просить, чтобы отца не выселяли из подвала, и дочь ему не хотела помочь. Дурак, дурак!..

Коряков начал защищаться, сказал, что все, что говорит Паньшин, неправда, что Ирина—любящая женщина, она даже на квартиру никого не принимает и никуда не выходит. О поставщиках и об Берейтеле он говорил, как о каких-то злодеях. Слова у него были стертые и пошлые, как экранные надписи. Такая же экранная таинственность влекла его. И если б не камешки, он бы продолжал жить с какой-

нибудь бабой, которая заменяла бы ему кухарку и прачку. Он был бы исправным директором и возмущался бы на растраты в трестах.

Паньшину стало страшно. Он глубоко всунул похолодевшие кулаки в карман и посмотрел вверх на деревню. Серый вихрь промчался по улице.

Коряков продолжал говорить такими же экранными словами, и Паньшин только теперь заметил, что руки Корякова делают пластические жесты, как в кинематографе. Он быстро проговорил ему:

— Убери руки, руки убери!

Коряков не понял его и, протягивая руку к деревьям, напыщенно проговорил, что здесь у лица деревни он понимает свое преступление. Здесь—голод, нищета. Его ослепили огни города и блеск ресторанов и таинственные люди, в сферу которых он попал. Он ошибался и теперь с горечью понял свою ошибку. Ему остается только одно,—покончить счеты с жизнью.

И Паньшин резко сказал:

— Стреляйся!

Коряков вяло посмотрел на него и ответил:

— Я в хмелю буйный, я револьвера с собой не ношу.

— Ты, что же, здесь на самогонку надеялся?

Паньшин сплюнул и, достав из кармана браунинг, протянул его Корякову:

— Возьми!

Коряков взял револьвер пожелтевшими и влажными руками, от чего вороненая сталь покрылась потным налетом.

— Отойди за куст, не то тебя тащить с дороги туда придется.

Паньшин вынул портсигар и сначала не мог найти там папирос. Маленький саквояжик, оброненный Коряковым, лежал в пыли, папиросы из него вывалились и печенье было растоптано ногами хозяина.

Пока Коряков шел к кустам, он держал портсигар в руке. Вдруг он подумал, что Коряков может его убить, сунулся-было к карману, но сам рассмеялся такой нелепой мысли.

„Э, кого он убьет? У него на себя не хватит пальца“,—подумал он пренебрежительно.

Тут он выронил портсигар. За кустами выстрелили.

Паньшин подождал немного. Трава казалась очень густой.

Большой куст был измят. Коряков, должно быть, долго топтался, прежде чем выстрелил. Несколько ветвей плотно лежали у него в изголовьи—он будто приготовил себе подушку. Пиджак он скинул, и левая сторона груди была в крови.

Паньшин послушал, посмотрел на него. Никакой значительности от смерти не приобрело его лицо. Паньшин проговорил вслух по привычке больше говорить для других, чем для себя:

— А все-таки он был рабочий.

Он наклонился, чтобы взять у него револьвер, но ухмыльнулся и положил его обратно. Револьвер ему когда-то подарила Онисова. Он подобрал на дороге портсигар, отряхнул от пыли и быстро пошел к деревне.

Вывеска на волисполкоме выцвела и немного покосилась. Мужик в испачканной красной рубахе прибивал к ней деревянную подставку. Это, должно быть, по случаю приезда больших комиссаров.

Мужики сидели на бревнах подле волисполкома. Сидели они так серьезно и деловито, будто решали вопрос: быть живу волости или нет. Экономный мужик, встреченный еще утром, подошел и предложил ему отвезти в „Малкино". Мужики захохотали.

— Али он тебе надоел?

— Не видишь, у него лошади стоят,—дескать, потом отпустит.

— Пущай ждет. Лошади пожиреют от жданья.

Паньшин хотел-было сказать им о Корякове, но вдруг подумал со злостью: разложится или собаки обгложут, туда и дорога.

У мужиков были веселые и праздничные лица. Он спросил, какой сегодня день, и все удивились, что он не знает. Суббота.

Утренний знакомый льстиво вставил:

— Видно, что в городе работают не по нашему... Дней не видно...

С бревна отозвались:

— Или работают мало, им и отдыха не надо.

Паньшин попросил их сказать, далеко ли до „Малкина".

— Коли итти тебе от станции по саше, пройдешь верст двенадцать. Мы ходим все больше увальчиками, нам, смотришь, верст пять будет. На косях-то идем.

— Пойду пешком,—сказал он.

Мужики одобрили, что по такой дороге и по погоде, действительно, итти одно удовольствие. Из нашей деревни—сказали они—пошли многие. Какой-то словоохотливый старик вызвался его проводить.

Этот же старик и накормил его. Несмотря на рань, он принес большой горшок щей из сушеной рыбы. Щи пахли почему-то мокрым деревом, горшок был давно не чищен и к нему прилипли уголья. Старик пожаловался на одиночество: жена у него умерла этим летом.

Паньшин поел очень плотно. Щи чем-то напомнили ему ту пищу, которую он ел в постные дни дома. Кошка играла в углу куском пасмы, там же лежала сломанная прялка.

Затем Паньшин написал на листе бумаги уведомление о смерти Корякова. Уведомление он адресовал начальнику станции и просил там вызвать следователя, которому он завтра даст требуемые показания. Он писал очень подробно, без помарок, и тот же мужик, который все порывался его увезти, помчал бумагу на станцию.

— Насчет другого товарища?—спросил его старик.

— Насчет.

— Приедет он?

Паньшин промолчал, а старик отходя подумал: „строгий“. И почему-то решил, что кожаная куртка комиссара стоит не меньше трехсот рублей.

Паньшин посидел на бревне. Рыжий петух подошел и клюнул его в сапог. Он накормил петуха какими-то крошками, раскрошил ему папиросу и кинул на землю. Петух преуморительно потряс головой.

Паньшин долго дожидался словоохотливого старика, наконец, тот вышел в чистой рубахе с розовой каймой. В руках у него была громадная клюка, и Паньшин спросил его:

— Зачем тебе, дядя, клюка?

Старик полусерьезно, полушутя ответил:

— А колдуном хочу быть, колдуны во всегда с клюками.

Он словно неумело широко взмахнул клюкой.

— Пошли, комиссар.

Несколько мужиков дожидались их у околицы. Около него все шли старшие. Молодежь сначала запела революционную песню, а когда отошли подальше, то затянули „Во лузях“. И в поле все сразу разбились по два, по три человека. Да и большой толпой итти было пыльно.

Паньшин переходил от одной группы к другой.

Какой-то кудрявый и хмурый мужик спросил его:

— Долг начинаете привозить?

— Какой долг?

— Ну, Ленин-то у нас все в долг брал. Отдавать начинает. Видишь, машины привезли. Пора.

— Пора, — подтвердили мужики.

Они шли медленно, часто останавливались, и скоро Паньшин понял, что тут не пять верст, а добрых пятнадцать. Итти ему было как-то легко и просторно. Он срывал стебли трав и скрутил себе три колечка. Повесил их на какую-то веточку и оглянулся несколько раз.

Рожь была высокая, и холмы еще более увеличивали ее рост.

Зеленый густой сумрак надвинулся на холмы. Где-то за оврагом раскатилась гремушка,—возможно, возвращалось стадо. Вскоре же послышались удары бича. Эти удары словно подбросили кверху зелень, и она перешла на небо, вечер стал сине-фиолетовый.

Податливая пыль словно коротала дорогу. Паньшина обдало вязким запахом вечерних трав. Рожь, мимо которой проходил он несколько минут спустя, имела запах ветхий. Он невольно нагнул голову.

Мужики, будто нехотя и придумывая, о чем бы поговорить с гостем, спросили его, на каком он заводе работает. Паньшин объяснил известие, что завод работает машины для крестьян, они одобрили, но расспрашивать не стали. Тогда он попытался им рассказать, как отливается сталь, но или объяснение их мало увлекло, или они плохо поняли, — они как-то промолчали и только один вставил по смешному и на распев:

— Превосходно.

Тогда Паньшин вспомнил сказку о первом литейщике и передал им ее. Сказке все подивовались, посмеялись, словоохотливый спутник его тоже припомнил сказку. Она была невероятно груба и цинична, но мужики приняли ее спокойно и тот же голос, что говорил „превосходно", протянул:

— А еще старый!.. Для барина, что ли, стараешься?

И самый молодой осек:

— Теперь бар нету, баре в Черном море.

Словоохотливый старик оттолкнул Паньшина локтем.

— А сказывают по деревне, будто родили бар для собственного нашего удовольствия. Как свиней, сказывают, откормят и в печь — раз. Пищит да горит. Занятно.

И тот же голос по смешному протянул:

— Превосходно,—про свиней расскажи, Клим.

Клим передал сказку о солдате и о барских свиньях.

Мужики тоже и на эту сказку подивовались и, переговариваясь о различных мелочах, в развалочку шли дальше.

Паньшин отстал прикурить, дул аляповатый смешной ветер.

Паньшин мало понимал природу. Он любил бродить по лесу не больше одного-двух раз в году и при том непременно с ружьем. Стрелял он не важно, и в лесу ему всегда казалось, что он плохо видит—птица или зверь бежали от него всегда вертящимися кругами и имели лиловый мелькающий цвет.

Кроме того, он не любил вязкого запаха листвы. Запахи заставляли его всегда насторожаться, ему было трудно управлять своим телом, и мысли приходили тогда, когда тело уже шло туда, куда надо. Сегодняшнее происшествие с Коряковым окончательно отвлекло его от мысли о природе. Он решил не оставаться долго в „Малкине", а сразу же после первого митинга уехать в город.

Он не заметил совсем, как спутники его ушли. Но догонять их у него охоты не было. Он подумал, что наверное подойдет еще кто-нибудь.

И действительно вскоре он услышал на соседнем холме молодые голоса. Кто-то пел частушку о солдатчине. Сумрак совсем обволок лощины. Его не узнали и окликнули издали.

— Не наш, — сказал чей-то свежий голос.

С ним поравнялись. Кто-то заглянул ему в лицо и словно по запаху сказал:

— Это со станции. В „Малкино"?

— В „Малкино",—ответил он.

Его легонько тиснули в плечо.

— Пошли вместе.

Он спросил:

— Вы не из волости идете?

— Нет, мы дальние.

Подошедший народ был помельче. Они часто сворачивали с дороги, прыгали друг через дружку, хлестались прутьями. Девушки шли в обнимку и в пол-голоса пели. Парни подскакивали к ним и старались их разнять.

Какой-то очень гибкий паренек подскочил к нему и шутя хотел его повалить. Паньшин повозился с ним слегка. Паренек отстал и серьезным голосом спросил:

— Трактора-то, сказывали, от немцев привезли?

— Почему?

— Сказывают, чтобы с ними воевали.

Паренька окрикнули:

— Иди ты, болтушка... Завтра тебе все объяснят.

Паньшина больше никто не спросил. Он шел позади всех, стараясь в сумраке разглядеть, какие идущие впереди делают шаги.

Запахи поднимались все гуще и гуще. Какое-то разгибающее мысли чувство овладевало им. Ему бы нужно было поговорить с парнями, узнать, что̀ думает деревенская молодежь, и это, наверно, сгодилось бы ему в Москве. Он же обрадовался, когда услышал, что они снова запели.

— Из города? — раздалось подле него.

Он посмотрел. Рядом с ним и чуть-чуть наклонив корпус, шла тоненькая женщина. Платье у ней было длинное почти до пят, наверное даже не ее, так как висело очень свободно. Большой платок, должно быть, от пыли низко прикрывал ее лицо, да и все равно сумерки помешали бы ему рассмотреть ее.

— Оттуда, — ответил он.

Она шла, так же свободно покачиваясь. Концы ее платка взметывались кверху легонько. Голос у ней был нежный и тонкий, и она была наверное очень молода.

Так слегка помолчав, она так же, как и раньше, немножко порывисто, спросила:

— Весело в городе?

Паньшин неожиданно рассмеялся:

— Не скучно. А здесь плохо?

— Нет. Ничего. Говорят, будто сплошь здесь вместо деревень настроят города.

Она так же урывком вздохнула, подняла на него голову и протянула:

— У-у, какой высокий!

Походка у ней была неслышной, Паньшин думал—она босиком, но, наклонив голову, заметил, что носки ботинок поднимают круглое пятнышко пыли. Скорей всего о пыли узнал по запаху.

— Что, плохая жизнь-то?

Она, казалось, еще уменьшила шаги. И если бы Паньшин не думал о ней, то он бы не чувствовал ее рядом с собой.

Ее походка была шелестящая. Так бежала рожь под ветром. Паньшин наклонился к ней и окрикнул:

— А?

Она не отшатнулась и, немного спустя, голосом, который стал еще проще, начала рассказывать:

— Мамонька-то у меня вдова солдатка, тятеньку-то еще как началась германская война убили. По деревне-то изба у нас самая бедная. Коровешки даже нет, телушка была, и та этой весной околела. Выпустили на первую траву, она чего-то поела и подохла. Бают, после войны-то да после такой большой крови трава какая-то смертная начала расти. Даже коли человек поест, тоже помрет. Горшка купить не на что, и на такую бедность одарил меня господь лицом... А у нас там на селе-то лавочник есть, пришел к мамаше и купил меня. Не велел никуда пускать, а по осени, говорит, съезжу в город и будет свадьба. Нонче-то ребята собрались на „Малкино“, машину туда, говорит, привезут из города. Маменька-то не пускает, а я с девочками через окно и шварк...

Она тихонько рассмеялась и, даже слегка удивляясь, должно быть, своей смелости, откинула платок.

История, рассказанная ею, была простая, обычная крестьянская история. Но это как-то умилило его, и даже то, что лавочник стар, что разваливается избенка и голод, при котором нельзя купить горшка, — тоже его растрогало.

Она указала рукой вперед и тихо, словно бросая мелкие стеклышки, проговорила:

— Ишь мы как отстали, надо догонять!..

Но Паньшин тут начал говорить, и она замолчала. Сначала он ей сказал несколько слов о заводе, и она удивленно спросила, что̀ такое завод. Он ей попробовал объяснить, и она поняла так, что на заводе есть большие печи, где в каких-то необыкновенных горшках варят чугун и железо.

Паньшину трудно было подыскать слова для этой нежной и одинокой фигуры, он путался, и фразы получались длинными и неясными.

Смятение все более овладевало им. Он попробовал говорить о смелости и дерзновении и не знал, какое дерзновение предложил бы он ей в ее деревне, где всего-то дворов тридцать или того меньше.

Она понимала его речь по своему. В средине, когда он почему-то вернулся к трактору, она тихонько сказала:

— А ну сядем. Они ведь там тоже, должно быть, остановились. Надо песни послушать. Поди дак теперь, мамонька меня из дому не пустит. А один раз вырвалась, а там и буду сидеть до старости.

Песня вынырнула из-под холма, по молодому понеслась по дороге. Парни пели о разбойниках, и один сильный и крепкий голос выводил звонко, как повесят разбойника на столбе с двумя перекладинами. Потом песня как-то сразу ухнула, словно камень в колодезь. Девушка удало вскрикнула.

От вскрика она невольно качнулась и коснулась плеча Паньшина. Ему не хотелось отнимать это легкое прикосновение, он уперся в землю правой рукой. Земля была теплая, редкие деревья на холме стояли молчаливо. Бегло пахнуло кашкой и лебедой.

Она вдруг начала бранить деревню, сказала несколько плохих слов о матери и будто напугалась, — голос ее стал еще тоньше. Но она скоро оправилась, когда вспомнила будущего мужа-старика. Гнев в ней все нарастал и нарастал, тело ее, должно быть, горело, и когда ей надо было сказать о себе, она неожиданно смолкла и долго спустя смиренно добавила:

— А ну их!

Поля, которые Паньшин, казалось, никогда не видал, холмы, которых, казалось, никогда не могло быть, недвижная и реденькая березовая роща и мертвый друг, лежащий неподалеку. Нежность охватила его, жилы его подналились тяжелой кровью, руки ослабли. Затем слабость перекинулась к сердцу. Он обнял ее, она потрогала его за плечо и тихо сказала:

— А ты сильный, должно быть?..

Клочек песни еще донесся из-за холма. Он достал спичку и зажег перед ее глазами. Сине-зеленое большое пятно мелькнуло перед ней, тонкая как иголка бровь. Она легонько дунула на спичку и медленно, как эти поля, она вскинула на него тонкие руки и прошептала, чуть касаясь, дыханием уха.

— Была не была!..

Девушка, имени которой он не знал и которой в один вечер отдал он свое давно ожидаемое чудо, — с рассветом вспрыгнула, подобрала платок.

— Стой, — крикнул он.

Она не оглянулась и низко, как насыщенный зверь, низко пригибаясь к земле, и не по дороге, а близ кустов и деревьев, побежала прочь от него к деревне. Иногда она останавливалась, дрожала и, вспомнив что-то, удало и сыто взвизгивала. Но эти вскрики становились все реже и реже, она все крепче хваталась за ветви, ломала их словно, прочищая себе дорогу, и быстрее, все быстрее скользила с холма на холм. Холмы были вяло зеленые, покойные и теплые.

И Паньшин понял, кого он зародил.

Солнце поднималось. Загудел жидкий гудок, и к станции далеко внизу холма подошел поезд. Толпа неторопливо выкатила железных

гусениц с платформ. Развернула красное полотнище. Десятки лошадей впряглись в громадной телеге. И поползли по шоссе.

Они исчезли в холмах—так же, как исчезло шоссе в тишине и зелени полей. Поезд гукнул и мелко, мелко уполз все в те же поля. Тишина опять, потревоженная на мгновение, охватила поля.

Он приподнялся-было, но опять опустился.

От усталости или от чего другого он сначала прислонился к березе. Слабость овладела его лицом, слезы, кажется, даже упали на его скинутую куртку. Он натянул ее на себя и, свернувшись в клубок, заснул подле корня.

На сухой сук вскочил дятел. Он испуганно вздрогнул и посмотрел, спит ли под ним внизу черный дурно-пахнущий зверь. Попробовал, стукнул и опять посмотрел вниз.

Черный зверь, ровно и спокойно дыша, спал. И тогда дятел, выколачивая червя, упорно застучал в сук:

— Тук... Так-ак. Тук-ак...

Атава.

Дм. Четвериков.

(Повесть.)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

(Окончание.)

Глава седьмая.

Брось в сырой суглинок кусок картофелины (только непременно с глазком). И начнет тянуться вверх и вниз—мочками корня к сокам, ростком к солнцу. Варя прирастала к новому месту. Жирным суглинком легло новое бытие. День ко дню, неделя к неделе крепла завязь, ширился куст. Коротки дни Варе. Не хватает ночей. Сил-то вдосталь. Недаром еще в голодные годы ворчал на Варю Антон Денисыч:

— Верблюд, а не девка. Вона запасы какие. Голод ей што? Передышка кишкам.

Варя ворочает конверт, весь заклеенный марками, весь избитый кружками штемпелей... (Самой написать некогда!) Широкие буквы в письме Николаши. Буква З—как брошенная бельевая веревка. Буква г—крутошеий гусь.

Здравствуй, Варя!!

Отчасти ты свинья порядочная, потому что я тебе четвертое письмо закатываю, а ты хоть бы хны. Впрочем, это ничего, потому что ты, наверное, постараешься исправить свою вину, но все-таки, тем не менее... Извини, что поставил кляксу (очень тороплюсь на собрание! Как это тебе нравится? Ты, поди, все еще считаешь меня мелюзгой). Да, ведь, я тебе не рассказал еще все новости. Первая и самая огромадная—это та, что папа больше уж не просто папа, а герой труда. Мама вытащила новое пальто, и мы были на чествовании. В общем, не особенно интересно, очень непонятно говорят. В заключение дали 6 арш. сукна, из которого мама шьет уже папе брюки и пиджак. Вторая новость—я записываюсь в Комсомол. Мама ругается, но это ничего. Вообще, мы с папой сделались большевиками,

а мама все еще порядочная контр-революционерка. Ну, кончаю. Мапа (это сокращенно означает мама и папа, короче—наши родители. Это слово я придумал). Так вот мапа шлет привет.

Николай Колотов.

— Хорошо им,—сказала, помолчав, Клавдия, когда Варя прочла ей письмо:—хорошо им—шестнадцатилетним,—им новая жизнь приходится в самый такт. У нас малость шершаво выходит...

Варя подумала о том, как она ехала в Питер, как объявила Гавриле, что остается здесь... О Елтышеве подумала, о том, как просто было отдаться ему там, в клубе, среди картонных кустов и продранных диванов...

— Не бояться жизни—вот главное.

И обе засмеялись, каждая своему. Утрами будит Варю, Клавдию и Зину гудок. Варя надевает свою матерчатую самодельную шляпку. Пальто у нее на все случаи жизни одно—из офицерского сукна с плюшевым воротником и обшлагами. Зимой к нему пришивается нутро—ватин, стежка. Весной ватин отпарывается и внутри нет никакой подкладки. Впрочем, Варя носит свое пальто с большим достоинством, и некоторые даже думают, что она не прочь пококетничать...

По утреннему туману до трамвайной остановки и после в разинутую пасть заводских ворот. Радостно резать стекло и плющить размеренным движением плоскую шляпку будущей лампочки... Прислушиваться к гомону завода... Вливать в хор машин стеклянные перезвоны. Быть звеном. Рычагом. Вечером, после обеда нет усталости: книги, тетради подмышку—и ходу на технические вечерние курсы! Жизнь колесом. Ростки вверх и вниз. Так кусок картофелины (только непременно с глазком!): брось в сырой суглинок и начнет прорастать и крепнуть, разбиваться в широкий куст. Ночью часто заворочается Клавдия в постели:

— Чего жгешь огонь зря? Спи.

— Сейчас, дочитаю...

Посмотрит сонными глазами Клавдия, как Варя перелистывает страницу за страницей толстенную книгу. Позевнет громко, смачно, повернется лицом к стене и скоро снова начнут посвистывать ноздри. На свету Варя оторвется от букв. Потянется. Решительно захлопнет книгу:

— Довольно!

Сама себе строгое приказание:

— Спать.

Ложится в постель, досадуя:

— Дурацкая привычка у человека—спать. Перевод времени.

Редко и смутно вспоминает домашних, тихий городок, выученные наизусть улицы—комнатку с перегородкой, похожую на вагон.

— Тогда любила поспать.

И про картофелину:

— В затхлости погреба картофелина спит, а почуяв тепло—прорастает болезненно-белыми нитями наощупь. Картофелине простор нужен.

Стряхивая воспоминания:

— Хорошо жить... Может быть (это уж совсем затаясь, даже оглянулась вокруг—не видит ли кто лица, не читает ли по глазам!), может быть, места себе не находила потому, что женское требовало любви и любви боялось?

Прислушалась, спрашивала у тела ответа.

— Нет, отдалась потому, что он хотел. В жертву себя приносила. Елтышев... Кто он для нее?

Часто приходит после занятий на курсах в елтышевскую квартирку при клубе. Всегда встречают ее ласково темные глаза. Всегда ей хорошо после суматошного дня сидеть рядом с ним, близко.

Кажется, давно они живут вместе как муж и жена. Он как-то привычно требует от нее ласки. Сердится, если Варя не придет, опоздает. Но до сих пор Варя зовет его: Елтышев, товарищ Елтышев. Редко, ласкаясь—Ваней.

— Зачем я тебе отдалась?—спрашивает иногда не то его, не то себя.

Елтышев это за любовную игру принимает, еще больше начинает ласкаться, целовать. А ведь спрашивает Варя всерьез. Сама не знает—любит его или нет...

В воскресенье Варя сквозь сон еще услышала крики:

— Варька! Варька! Зинка убегла!

Сонные глаза—стекло запотелое.

— Чего ты? Чего Зинка?

Давит на глаза неотдохнувший мозг.

— Зинка убегла к Минаеву, сука.

— Чего же ты сердишься? И хорошо.

— Как же! Крути-верти? Колесом катись, кошкой блудливой рыскай?

Клавдия села на кровать в ногах у Вари и заплакала.

— Ты чего ревешь-то?—удивилась Варя.

— Как чего ревешь? Обидно!

— Обидно, досадно, ну да ладно?

— Я тоже могла бы убежать! Матери послушалась, совесть забрала. А куда я теперь такая-то?.. Глиста!

Клавдия подняла голову. В кухне Анна Степановна голосит. Клавдия бросилась в кухню.

— Чего раскудахталась? С тобой ей спать, что ли? Без дочерей скучишь, так на—зенки-то пяль на меня! Я не убегу—охламела, кому нужна, куда побегу?..

И, наступая на мать, криком:

— В морду мне надавать, в морду за такое! Проплюхала жизнь! Чего сижу теперь? Для чего живот хлебом пичкаю?

Варя прислушивалась. Мать ревела, что дочь из дому убежала. А другая дочь горькими слезами разливалась, что не убежала тоже, когда любовь была, когда тело звало молодое.

Суматошно утро началось. Так недуром и покатилось. Днем Кудиенко прибегал на разведки. Анна Степановна вытолкала. На лестницу выскочила—лохматая, простоволосая.

— Прокляну! Передай паскуде: прокляну!

— А ну тебя,—досадливо отмахнулся, Кудиенко:—нонче проклятия отменены.

Снова звонок.

— От Ивана Никаноровича Елтышева.

— Чего еще там?—забеспокоилась Варя.

Елтышева застала растерзанным, взлохмаченным.

— Наконец-то пришла. Все время тебя у окна ждал.

— Чего ты такой? На заводе неприятности?

— Караваев снял лучших работников на постройку. Про какие-то лужи да про море толкует... Полоумный! Поругался я с ними. Ну их всех к чертям. Еще неприятное: прислали из райкома юнца в политкружок, а меня сняли, оставили только завклубство.

Варю сближала с Елтышевым ненависть к нэпу. Сначала он был учителем и даже идеалом человека. Потом, когда узнала многое новое из книг и много новых людей узнала—стал он старшим товарищем. Ко всему этому примешивалось немного жалости: неудачником был Иван Никанорович Елтышев. На фронтах побеждал и шел впереди, первым. А здесь, в мирной обстановке, когда не надо было ломать, рушить, рисковать шкурой, итти напролом, расстреливать, гнать—он стал нескладен, ненаходчив, нерешителен. То спектакль у него провалят в клубе, то повздорит с верховодом какого-нибудь клужка.

— Соглашатели! Белая шпана!—кричит Елтышев любимые ругательства.

Два раза получал замечание в партии:

— Неорганизованность. Разгильдяйство.

Варя пыталась вовлечь Елтышева в работу. Читали вместе книги, ходили на лекции. Чтение книги кончалось поцелуями, а на лекциях Елтышев скучал и уверял, что лекторы не о том говорят, о чем следует, что это все поди спецы и враги революции. Вот когда речь заходила о прошлом, о фронтах, о смертельной схватке красной звезды с многоглавым орлом блокады,—тогда Елтышев оживлялся. Вдруг вырастет, выпрямится. Голос — барабанный бой. Хохот—выстрелы. Глаза разгораются, словно в них отражение горящих деревень и вспышек порохового дыма. Тогда Варя загорается с ним, слушает жадно, вздрагивает от его неожиданных вскриков.

— Его не понимают. Как его не понимают! Никто так не предан революции, ни у кого нет такого огня и силы.

А Елтышев гремит кованым голосом:

— Врете! Врете! Еще понадобится вам Елтышев! Еще рано сдали меня в архив!

Много сделал для Вари Елтышев. По его настоянию Варя поступила на завод, не в контору, а простой работницей, на станок. Трудно было, и лестно. Рабочий класс казался огромной партией, в которую нужно записаться мозолями.

Елтышев же первый начал снабжать ее книгами из клубной библиотеки. А один раз прямо насильно вытолкал ее на сцену, чтобы сказала речь.

Было собрание работниц. Зал был набит битком. Вышла. Глянула на головы внизу: площадь мощеная. Захолонуло сердце. Оглянулась, а Елтышев машет рукой.

— Храбрей!

Выпрямилась, прошла крупными шагами к самой суфлерской будке. Чуть дрогнуло только первое слово-вскрик:

— Товарищи!

Говорила гладко. В одном месте сбилась. И то потому, что поймала себя на мысли:

— Подражаю в точности той коммунистке, у телефона: стальной голос, острые движения: — партком... слушаю... автомобиль — восемь...

Впились сотни глаз, глаза излучали приказание:

— Говори. Мы ждем.

И Варя теперь не трусила, разгорелась, как костер под сотнями ветровых струй. Слушайте же, Таськи, Маньки, Ирины, Клавдии—все слушайте. Слово принадлежит Варваре Колотовой. Слушай, „Светлана“! Нишкни.

Говорила Варя о женщине-работнице, о новом женском пути. Пришла ей на память татарская деревня Акташево. Мардыгалям. Гайша. Рассказала про женщину-рабыню. Про сон свой рассказала и страшное слово: Хар-лам-талак.

— Все запомните это слово! И тогда будет свободнее дышать. Слово это рушит брачные узы. Только взаимное уважение — мужчины и женщины — может быть прочной основой семьи. Шепчутся в рядах:

— Дошлая! В делегатки ее.

— В завком выберем!

— Такая везде застоит.

А Варя звонко чеканит слово к слову:

— Что нужно сделать, чтобы наша сестра на поводьях не шла? Очень малое нужно: не бабами быть, а — гражданками...

Ну и загремел зал, когда Варя говорить кончила. Елтышев прямо бесновался. Работницы с мест повскакали:

— Верно! Правильно! Падка коза до соли, а мужик до баб...

— И мы падки, нечего зря. Дело в том, чтобы ровней быть.

— На шшот работы тоже верно. Хоть падай да прядай. Нужно бабьи силы учитать.

Пошла с того раза Варя в работу. Никак пять должностей на нее наклепали. Пошла жизнь кипучая, жизнь—вар, крутоверть... Елтышев еще раз выругался:—ну их всех к чертям! Из политкружка сняли, работников отбирают. Мура.—Варя взвешивает его слова.

— Ну, что ж, Караваев. У него дело большое, для такого дела хоть всех снимай...

— Верно-то оно верно,—уступил Елтышев,—только досада берет...

И скоро остыл от спокойных рассудительных слов Вари:

— Вот видишь, и кипятиться нечего.

Через полчаса Елтышев уже говорил о новой постановке, пьесу показывал. Склонились оба над книгой. И вдруг Елтышев поцеловал Варю в затылок, около шеи. Варя удивленно подняла глаза.

— Чего ты?

— Эх, знаешь, что скажу я тебе. Не хочу одиноко жить. Переезжай ко мне.

Варя заметила: глаза Елтышева подозрительно заблестели. Оглянулась на комнату: неуютно. Стол корками, грязной посудой завален. В блюдечках окурки. На холодный самовар картуз одет. Тут же возле стола сапоги и на стуле сапожная щетка и вакса.

— Не могу я так,—глухо продолжал Елтышев:—псом бездомным мотаюсь, всегда на тычке. Словно всю жизнь в теплушке солдатской ехал... Раньше это не чувствовал, а теперь, видно, возраст такой пришел... Хочется, чтобы чисто было, чтобы поговорить с кем, посоветоваться... Ночью часто лежишь. Луна. Клуб пустой. Хочется выползти на середину пола и выть. Понимаешь?

— Да...—сказала Варя.

Он насторожился и ждал. Всегда уверенно требовавший ее ласки, сегодня он ждал боязливо слов ее. Как собака, привыкшая получать пинка.

— Что ж,—произнесла медленно Варя,—перееду. Вправду, у тебя тут не жизнь.

Варя пробыла в это воскресенье у Елтышева долго. Говорили тихо, шопотом. Не зажигали огня.

Варя томительно себя спрашивала:

— Люблю? Не люблю?

Обсуждали подробно, как они вместе устроятся. Однако день переезда Варя не назначала. Только стала с тех пор чаще бывать у Елтышева. Еще было новым, что окурки и сапожная щетка перестали торчать на виду.

Глава восьмая.

Гаврила долго пропадал в Сибири. Два раза махнул на Украину. Показался на день в Питере. Снова уехал и месяца через полтора вспо-

лошил весь дом № 130 по проспекту Карла Маркса. Повыскакивали из квартир шоколадницы из „Ландрина", лимонадницы, конфетчицы, литейщики и ткачи. Перед подъездом козырем автомобиль. Маленький человек в демисезонном пальто и полосатой кепке щеголем перед чумазым шоффером.

— Никак Гаврило Павлыч,—охнула Анна Степановна.—Клавдея! Неси вещи. Варечки-то дома нет... Господи!

Ступенька за ступенькой—все шесть этажей—проволокла корзину.

— Легче, старуха,—загребал ногой Гаврила,—фрикадельки-то не рассыпь, фрикадельки.

Досадовал на себя:

— Весь эффет пропал. Так и было предчувствие, что дома не застану.

— Страмота-то у нас, валенки-то убрали бы хоша. Посередь полу раскидали.

В Варину комнату ткнулся-было Гаврила, да передумал.

— Разрешите уже здесь?

— Что-й-то? Али чужие вы с Варечкой?

— Нет уж, все-таки...

Пришла Варя только вечером, с Елтышевым вместе. План был—переодеться да в кино пойти. Говорят, особенная картина, даже в газетах про нее пишут. Вбежала Варя круто. Передернулась:

— Гаврила...

И, споткнувшись, добавила:

— Павлович...

Встал, в костюмчике новом, топорщится, пыжится. Губами сухими просвистел:

— Простите, что сюда въехал. Привык я, просто, как к родным, к Горевым...

Елтышев в дверях—пружина: вот-вот выпрямится и ударит. Варе:

— Ну-с? Отступаю на старые позиции. Кино, видно, не состоится?

— Нет, пойдем.

Подернула плечом:

— И Гаврила пойдет.

Гаврила усталый, не закусив даже с дороги, потащился за ними в кино. Дорогой разговор, как первые капли перед грозой: капля—и через промежуток еще капля. Крупные, тяжелые, напитанные пылью.

— Трамваем?—поднимает брови Елтышев.

— Пешком,—постановит Варя.

— Может, на извозчике? — ввернет Гаврила.

Никто ему не ответит.

Потом Вара спохватится, что ничего не спросила о доме.

— Вы из дому?

— Да.

— Как наши?

— Письмо есть.

Молчание.

— Торговлей занимаетесь? — ехидно этак вопросик подсовывает Елтышев.

— Купил в Питере магазин, — хочет ошеломить Варю Гаврила.

— Рады поди — нэпа добились! Ваша взяла.

— Ленин лучше нас знает, что делает...

Молчание.

В кино — Гаврила первый к окошечку кассы. Сунул билеты Елтышеву. Пробормотал:

— Я сейчас...—и нырнул в толпу.

Оркестр выделывал: „Рум-бум-бум, рум-бум-бум"... Билетерши щурили глаза на кучку курсантов. Толпа росла. Жалась у входных дверей. Крупная надпись:

„Граждане, соблюдайте порядок, не устраивайте давки, спокойно занимайте места".

Две накрашенные блондинки, с песцом на плечах, шушукаются рядом с Варей. Большеротый парень добродушно рассказывает:

— Прошлый раз энта как поперли в залу—портьеру даже сорвали. Ужасти сколь прет народу.

— Где же коммерсант наш?—озирается Елтышев.

— Придет еще,—рассеянно отзывается Варя. Она задумалась, как выплатит долг Гавриле...

— Твой знакомый?—настаивает на разговоре Елтышев.

— Да. Земляк.

— Настоящий... нэпман...

— Ну, какой настоящий!

— Влюблен в тебя, котом смотрит.

— Глупости, — отвечает Варя и тревожно думает: „Как бы не назвал на ты при Гавриле"...

Пустили в зал. Хлынула толпа. Вжималась в двери, разбрызгалась веером по залу... Выгоняли три сеанса в вечер.

Тотчас погасло электричество. Захуркал аппарат. Грянули музыканты. Замелькали в ярком квадрате экрана карточные притоны, салоны, фальшивомонетчики, авто, судебные следователи... Варю пугали сильно увеличенные глаза Мабузо. Шепнула Елтышеву:

— Какие дикие! Кого они напоминают?

Осеклась. Они напоминали глаза Елтышева—странное сходство, какое иногда находишь в театре, на выставке картин, в альбоме. Елтышев не заметил смущения Вари. Некстати прошептал в темноте:

— А я бы руками душил таких негодяев.

— Кого? Мабузо?

— Нет. Этого—вашего коммерсанта.

— Что он вам сделал?

Варя снова спала эту ночь с Клавдией, уступив свою постель Гавриле. За ужином Гаврила, как бы мимоходом, обращаясь к Анне Степановне и Клавдии, сообщил:

— Приходите в мой магазин на Садовой. Подарки получать.

— Магазин—дело хорошее,—запела Анна Степановна.—Теперь надо хозяйку магазина заводить—у кассы сидеть.

— Он Гайшу выпишет, татарку из Акташева,—крикнула Варя.

Гаврила густо покраснел.

— Может, и выпишу. Вам какое дело?

Варя поняла, что хватила лишнего. В постели Клавдия шептала, приподняв голову, придвигаясь поближе к Варе:

— Кабы ты, Варька, разбогатела — дала бы денег мне на лечение?

— С чего же я разбогатею?

— Это я так, к разговору...

„У всех глаза разгорелись“,—горько подумала Варя. Так с горечью на сердце и заснула.

Горечь была и у Елтышева. Только не мог размыкать ее. По безмолвной квартире отмеривал военные шаги. Громко зевал, чтобы только не было так тихо. Потом плюнул. Злобно сказал:

— Сволочь будет, ежели на деньги позарится.

Пнул ногой стул, мешавшийся на дороге.

— Еще бы на такого не позариться! Сегодня магазин,—завтра десять... Куда к чорту полетит из бабьей головы и политграмота вся.

Обернулся в сторону библиотеки:

— Производство наладить? Учиться у хозяйчиков прибыль получать? Учитесь! Про..... революцию! Всю в аренду сдали!

И сам не знал Елтышев: Варю ли ревновал к Гавриле или революцию—к нэпу. Бегал по комнатам,, грохал стульями. Харкал. Бил кулаком о кулак. Так до света.

Вот в помутневшем окне шипом качнулся заводской гудок. Мимо потянулись одна за другой черные тени по серому рассвету. Елтышев прижался за косяком. Смотрел. Идут на завод рабочие. Вон еще один... две работницы со „Светланы“... еще, еще... тянутся, бредут, одни вяло, нехотя, другие бодро, весело, выстукивая кованый шаг. Думал. Вот надавно все было так хорошо. В его жизни стало теплее. Ждал ее. Видел в ее глазах преклонение. И сам рос... А теперь может она там, с ним... ведь у них больше и комнат нет... Выл от злобы. Кусал руку, далеко забирая в рот. Шептал:

— Убить, убить.

Рассмеялся. Глаза расширились... Доктор Мабузо. Бессознательно подражал фильме.

Убить этого—Гаврилу. Вот и кончится вся неразбериха. Снова закрутится пулеметный пляс. Снова елтышевский отряд ринется в атаку.

— Бей. Бе-ей!

Остановил себя:

— Однако, путаются мысли. Спать надо.—Лег, но еще долго ворочался.

Заснул тяжелым беспокойным сном...

Глава девятая.

Анфиса Федоровна прислала длиннущее письмо, продиктованное ею—кому, неизвестно. Писала, что живут они—перебиваются. Что пенсия грошовая, а отцу надо бы делать операцию. На какие шиши? Гаврюша, спасибо ему, поддержал,—теперь возможность стала и маслицем сливочным к чаю побаловаться, и белого хлеба прикупить. К именинам Антона Денисыча не утерпела—купила баночку варенья кизилевого. Уж очень он любит кизилевое варенье. А Гаврюша засиделся раз за полночь—душу свою мне раскрыл. Любит он тебя, Варечка, а не смеет тебе признаться. Редкостная любовь, до слез меня довел, право. Когда ты у нас еще жила—запримечала я: будто и ты не прочь от него, хотя девичья спесь мутила-баломутила.

Ну, что ж, дело хорошее. Гаврюша—надежный человек. Нам, старикам, заместо сына послан. По крайности будем знать, что старость наша протечет безбедно и бестревожно. Больше, видать,—голода-холода не допустите к нам. Вспомнила я, Варюшка, дочка моя, слова твои, вещун-слова. Помнишь, незадолго перед отъездом говорила, что нас не оставишь, поддержишь,—тогда и в Питер собралась? Вот и выходит слова твои делом стали и поступками. И теперь не так часто смерть призываешь. Знаю—вы двое таких молодых и сильных сами путь проложите и нам, старикам, скрасите последние дни наши. Лучшего мужа для тебя, Варенька, я бы и не желала. Отец тоже рад за тебя страшно. Гаврила сказывал,—откроет дело в Питере и снимет квартиру.

Приглашал нас, но нет, мы на старом логове свой век дотянем. Знаю я, свекору со свекровью не дело бельмом на глазу торчать у молодых. Только бы не забывали, весточку посылали о себе—утешение родительское. Чать Гаврила отпустит тебя—съездила бы навестила мать. А то умру, так и не повидаемся...

Длинное письмо, как длинны старушечьи думы. Запись доподлинная дряхлых дум и забот. Варя читала—и плакала. Потом комкала письмо. Потом улыбалась, читая дальше. Мать с добрыми морщинками вставала из страниц. Смотрела глазами ласковыми, любовными, как смотреть умеет только мать.

Просила, как милостыни, дочерней любви. Протягивала беспомощно руку:

— Поддержи!

Мысли, мысли в голове—как ливень из разбухшей тучи. Одна полоса захлестывает другую. И острой проволокой пронизывает раскаленный прут молнии схлестнувшейся полосы наискосок:

„Гаврила их там опутал... Э, чего на него-то валю? Он их поддерживает, кормит, а сама,—выслала хоть одну копейку? Всегда еле-еле концы с концами сводила... Или тут Анна Степановна виновата, забирает всегда получку?.. Поманила тогда стариков: надейтесь на меня,—поддержу. А сама занялась своей особой. К Елтышеву перееду. И он гол, как и я. Помогу им? Отцу на операцию надо денег. Николаше надо учиться..."

На улице—ветер. Низко проносятся стаями тучи. Свертываются налету клубками, вытягиваются в громадину и вдруг разрываются на клочья, обрушиваясь дождем.

Ветер ринулся Неве на встречу. Взъерошил волны. Вспенил мутную злую Неву. Литейный мост. Остановилась. Подставила ветру лицо, шею... Нащупала в кармане материно письмо. Побежала дальше, словно убегая от какого-то страшного, неизбежного решения.

— Здравствуйте, Варвара Антоновна.

Остановилась. Глазами встретились. Незнакомая дама в лакированной модной шляпе, в широком—клешем—манто.

— Не узнали дефективную Наталию Осину? По списку номер сорок три?

Смеется. Вуальку подняла. Целует Варю, под руку подхватила.

— Провожу вас... Вы не торопитесь? Вот-то рада, что встретила!.. Давно в Питере? А знаете, кого я встретила—Каширцева! Скоро здесь этак соберется весь детдом № 2...

Такая же тараторка, как и была. Забила Варю словами. Отлегло от сердца, было приятно отвлечься от письма, от тревоги, нерешительности...

— Вы совсем прежняя, Наталия... дальше как...

— Ну, вот, глупости. Меня больше Наткой зовут. Натка-налетчик... Это за буйный характер,—не пугайтесь, налетами не занимаюсь.

Варя переспросила:

— Каширцев здесь? (Прислушалась к себе:—Рада?—Безразлично! Неужели ничего не осталось к нему?—Нет, почему же, посмотреть любопытно.—Первая любовь?—Ребячество!)

Оттряхнувши задумчивость, Наташе:

— Любопытно его повидать... Ну, а вы как сюда попали? Рассказывайте.

— Как попала? Долгая история. После изложу подробнейшим образом. Ведь мы будем видаться? Я хочу непременно видаться... Зайдемте к Лору. Пирожные поедим, выпьем кофе...

Варя с любопытством рассматривает замшевые ботинки Осиной, голубой песец, сумочку изящную...

— Тут вся история, нечего и рассказывать: песец и шляпка все говорят.

Наташа ликовала. Наташа не знала, чем бы угодить еще Варе.

— Да идемте же! Чего же мы стоим?

Наташе вспомнился дефективник Жоргин, вихрастый убийца с голубыми глазами... Ей было весело...

— Гольцова-то расстреляли... Вы знаете?

Варя вздрогнула:

— Расстреляли? Давно?

Эх, рассказала бы Наташа все по порядку, если бы не жизнь питерская, торопливая. Рассказала бы, как из детдома бежала, как на кавкурсах артисткой клубной устроилась при клубе имени Карла Либкнехта. Небольшое зальце. Чуланчики из нового теса—актерские уборные, зеркальце тусклое, запах лака, парики бледнолобые, щипцы завивальные в лампе... Декорации писали курсанты. А Наташа с краскомом Сакулиным руководила работой. Сколько ухажеров за молоденькой актрисой увивалось! Краском Сакулин от ревности исхудал весь. Двух курсантов на экзамене провалил за то, что они Наташе стихи собственного сочинения подарили. Прихрамывал краском Сакулин.

Шушукались курсанты:

— Павлин бы красив, да ногами несчастлив.

— Знаешь что? — сказал Сакулин, придя как-то за кулисы в уборную Наташи и привычно целуя ее: — здесь оставаться — только глушить твой талант.

— Так едем в Москву,—расхохоталась Наташа,—ты думаешь, мне милы твои курсы больно?..

Рассказала бы Варе Наташа, как по литере военной ехали Сакулин и Наташа в Москву, как дорогой отстал от поезда Сакулин, как Наташа осталась без билета, без денег с чужим багажом. На ближайшей станции часы сакулинские продала— купила билет до Москвы. Дорогой роман закрутила с нэпманом, с ним катнула вместо Москвы на Питер. Вместе в номер гостиницы въехали. Знаменская гостиница, на площади против вокзала...

Эх, рассказала бы Наташа!..

— Чего же мы, однако, медлим. Вы любите „Наполеона“?

Варя улыбается.

— Чего же мне его любить?

— Ах, господи! Ну, пирожные?.. „Наполеон“? Кто же их не знает?

— Пирожные? Ну, давайте есть „Наполеона“.

— Барышня,—крикнула Наташа,—гоп.

— А с Каширцевым вы только по детдому знакомы?

— С Толей? О, мы с ним большие друзья!

После „Лора“ Наташа затащила Варю в Гостиный двор.

— Вы любите Фоль-пасьян Коти?

Варя улыбалась, не смущаясь своим незнанием, думая о том, как быстро освоилась Наташа с Питером.

— У Кошкина покупайте духи, а материи, если хотите дешево,— на Александровском рынке... знаете (сверкнула глазами), сначала обещайте, что сделаете, о чем вас попрошу. Идет?

Захлопала в ладоши.

— Едемте ко мне! Хоть на четверть часика! Милая! Дусена...

— Знаменская гостиница!—весело крикнула извозчику, застегивая сбоку мех...

Зеркальные стекла. Шикарный подъезд. Вывеска. Швейцар, блестящий как коробка со шпротами. А давно ли здесь была общественная столовка, суп из требухов, тощая кассирша, ножницами стригущая талоны продкарточек?..

После, арендатор—ловкий, круглый человек—взялся за приведение гостиницы в приличный нэпу вид. Откуда-то приволокли ковры церковные, с пятнами воска. Водрузили топырящие листья пальмы Извлекли из тайников перин барских, расставили по буфету серебро: кувшинчики, солоночки, сервизы.

Долго копошился у хлипкого пианино настройщик. Словно зубной врач, накладывающий пломбу в желтой челюсти клавиатуры.

И теперь не угодно ли:

Белейшие скатерти. Вощеный пол. Плакат—„Имеется биллиард" Еще плакат: Золотая пивная бутылка. „Калинкин! Пиво довоенного качества! В аренде Пепо!". Чинно чернеют фраки официантов. Чинно позвякивает посуда.

Величественный Петр Данилыч—буфетчик, пользующийся всеобщим уважением за свои рыжие усы и безукоризненно выбритые щеки— в центре.

Войдет лиговский голодранец и шкет.

Растерянно заморгает глазами.

А Петр Данилыч сделает щеками:

— Пуфф.

И поймет голодранец все ничтожество свое, свою неуместность и робко (как просят у провизора слабительное) справится, нельзя ли выпить ему одну бутылку пива.

Петр Данилыч на миг задумается, словно взвешивает этот вопрос.

— Можно выпить,—скажет, наконец, и моргнет направо.—Проведи товарища, Степа.

Есть два помещения в гостинице — одно для потребителей бутылки пива—темная комната возле кухни. Другое—зал с пальмами с карточками в золотом обрезе:

Суп консоме!
Судак по-польски!
Антрекот!
Майонез из фрукт...

— Не сюда, не сюда, за мной! — командует Наташа Осина, когда Варя запуталась на церковных коврах.

Прошли сквозь строй людей с салфетками и людей с набитым ртом.

— Днем у нас — ливада, — объясняет Наташа, выстукивая каблучком по витой лестнице, шурша шелковым подолом: — зато вечером шабаш, „Гоп-са-са“, „Тре-мутард“.

У комнатки своей, доставая ключ, приостановилась.

— А знаете... я не подумала об этом... может вам неприятно... быть у меня?..

Вошли в комнатку, похожую на склад вещей, словно моют полы в квартире и мебель всю сволокли сюда.

Наташа все еще смущалась.

— Я ведь при заведении живу: готовый стол, квартира, отопление, освещение. А должность моя — вечером ужинать за столиком и мужчин захороваживать и требовать у них, чтобы заказывали дорогие блюда. Только вы не хмурьтесь. Мне и самой это надоело. Брошу всю эту музыку. Думаете, не брошу? Брошу! Мне теперь мужчины—как гады какие. Буду жить одна, ну их ко псам с отоплением и освещением...

Притащила фрукты, шишковатые мясистые груши, яблоки пряные—ранет. Вино появилось на столе, тягучие ликеры, ваза цукат, приторных, засахаренных виноградин, ананасов.

И когда у Вари сделались липкими руки от сладостей, подумала:

„Обманываешь себя. Липко здесь, не бросишь жизни с цукатами!“

И вспомнив письмо матери:

— А я почему не могу сделать это же, для стариков сделать, чтобы у них были цукаты и ранет? Чтобы они узнали сытую полную жизнь? Хоть краешком носа понюхали? Мне только раз себя продать, сдать себя на концессии, отказаться от курсов, от завода, от Елтышева...

От Елтышева? И это так легко подумалось? Так это разве не то же, что у Наташи Осиной? Она каждый день принимает разных мужчин. А у Вари самой: сегодня Каширцев, завтра Гаврила Хохряков, после завтра Елтышев.

Только у нее бледнее, бесцветнее, трусливей.

Мещанка! Почему вот сейчас не пойти не крикнуть в лицо Елтышеву:

— Хар-лам-талак!

И исчезнет все. Жизнь повернется новой гранкой с новым бытием и с новым сознанием.

— О чем вы задумались? Вам не нравится у меня?

Хлопочет Наташа. Вина подливает, усаживает поудобней.

А Варя словно издали говорит, глухо так:

— Вы по жизни бьете ударами, звонким копытом словно. А я — мелкими птичьими ножками; знаете, птицы по песку мокрому. Нет,

подождите. Или меня так развезло?.. Ведь сумела я, сумела переломить, сбросить!.. Не знаю, не знаю.

— Хвалите мою жизнь? Вы не знаете! Скучная жизнь! Обидная, заплеванная, если подумать! В цирке вот я была. Там хорошо. Отлично.

— Вы и в цирке были? — воскликнула Варя так, словно узнала, чта Наташа все земли и все моря изъездила.

— Была, — отхлебывая из рюмки, крикнула Наташа:—вытряхнули. В морду дала директору цирка...

Варя когда-то там, в детдоме, почувствовала себя младшей перед Осиной. Теперь нет. Этого она не испытала.

Но отчаянной веселости Наташи завидовала: со смаком умеет жить. Вертит жизнью, как зонтиком пестрым. И пока сидела в мягком канапэ, размягчась от сладостей и ликеров, — казалось ей, что пойдет и бесшабашно, ухарски перекроит жизнь, не колеблясь, не вымеряя, не сожалея об ошибках...

Ошибок нет, — есть приключения и события...

Когда уходила домой, в ресторане надрывался в дрыгающем танце оркестр на эстраде.

Мимоходом видела: чья-то нога в ажурном чулке... Кто-то вырвался, спрыгнул с коленей. В темном коридоре официант тискал горняшку.

Пахло пивом и пережаренными котлетами.

Дорогой взвешивала:

— Елтышев. Завод. Открытые новые материки радостей. Или Гаврила, деньги, продажа себя для стариков, для братишки...

И подкатывилась юркая мыслишка:

— Ведь я при помощи денег сумею чудес наделать. Поставлю условие ему: остаться в заводе, поддерживать клуб, помочь Зине, Минаеву, Кудиенке... Ведь нэп нужно приспособлять, использовать.

Сама себя одернула:

— Лжешь, дрянь! Лжешь!

Но чтобы подогреть себя, остановилась среди дороги, стала перечитывать письмо матери...

Через час, снова утащив Варю на улицу, долго Гаврила рассказывал: о рваном белье Антона Денисыча, о трясущейся челюсти Анфисы Федоровны.

— Тоже и вы. Учиться всурьез бы. А тут лампочки делай. Да еще лампочки-то плохие. Так, баловня одна!

Варя молчит, бредет понуря голову. А Гаврила дальше:

— Это писатели, писатели проклятые придумали: не зарься, мол, на богатство, выходи за бедного да за милого, не в деньгах счастье, бедность не порок... Врут они! Мозги забивают! Сами шарамыжники без копейки в кармане, вот и стараются достоинство сохранить. Бед-

ность не порок! Как так не порок? А откуда злоба? Откуда пьянство? Бедность—пороков порок! Бедность хуже чумы, хуже нехорошей болезни. Или вы скажете—баско, чтобы женщина нежное тело в драный сапог засунула, в шерстяной полосатый чулок, в онучи? Женщина должна выбрать мужчину, чтобы сумел не только что сделать потомство, а чтобы потомству и похряпать дать.

Хватаясь за какую-то последнюю перекладину, отвечая Гавриле на самую затаенную его мысль, выкрикнула:

— Но ведь я живу с Елтышевым!

Побледнел весь. Однако глуше немного, но продолжал:

— Слышал. Расспросил и об этом. Только не верил, что так далеко зашло. Ну, что же, об этом я не спрошу. Слова не скажу об этом.

Между тем Гаврила держался какого-то определенного пути, и скоро они очутились на Садовой улице.

— Вот он! — воскликнул вдруг, тыча пальцем коротким в витрину магазина, Гаврила.

— Почему я до сих пор в морду ему не дала? — мелькнуло у Вари.

И потом другая отчаянная мысль:

— Возьму и соглашусь. И договор подпишу по пунктам. А потом зарежу его...

Испугалась:

— Я — пьяная!

Вспомнила, что с утра только пила вино да ела пирожное и конфекты. Тряхнула головой и оборвала Гаврилу:

— Вы мне надоели. Я еду домой.

И направилась к остановке трамвая...

Елтышев в этот день проснулся в два часа, в третьем, с серым лицом и налитыми кровью глазами.

Снова бегал по комнате, снова бормотал несвязные речи.

Узел какой-то завязав в мозгу, бросился к двери. Вернулся, сунул наган в карман и помчался к проспекту Карла Маркса к шестиэтажному хмурому дому.

— Товарищ Колотова дома?

— Варечка? Ушли на прогулку с Гаврилой Павловичем.

Анна Степановна глянула в лицо Елтышева и вдруг отчего-то стала плести:

— А может и за делом за каким ушли. Не знаю...

Елтышев выскочил в дверь. Анна Степановна заперла за ним и долго прислушивалась к пьяному перебою шагов по лестнице — будто шел человек в темноте.

— Блажной; право, блажной...

И, покачивая головой, снова взялась за посуду.

Варя бродила с Наташей. Потом с Гаврилой.

Елтышев тоже бегал по улице встрепанный, посеревший. Глаза — две пульки свинцовые, не знающие, будут ли в кого-нибудь вплющиваться или только греметь в кармане вместе с обгрызком карандаша.

Был еще человек, искавший на улицах Питера радости и мира.

Караваев с утра в передрягах. Маруся, жена его, женщина с обиженными глазами, узнала про лампочки. Про те, о которых звонила ему по телефону.

Он обещал их взять бесплатно (все служащие поди торгуют этими лампочками! А у Андрея щепетильность дурацкая). — Но Маруся сама видела запись в кредитной книге заводской: лампочки эти в счет поставлены и будут удержаны из ближайшей получки.

— Я, милые мои, все раскопаю, я, милые мои, пронюхаю! Конечно, это не мое дело, но за тебя обидно. Чего ты треплешься с ихним заводом. Мало тебе Волховстроя?

После этого разговора Караваев был зол и угрюм.

Разнес конторщика, который показал жене книги.

— Да они сами взяли, — почесывался конторщик, переминаясь с ноги на ногу.

Караваев помчался по городу, торопить срочные заказы для Волховстройки. Улицы Петрограда. Улицы — как живой, бьющийся горячий комок.

То упадет, замирая в предутренние часы. Лишь топчутся, согреваясь, малиноголовые милиционеры на углу, да кряхтят караульщики, завертываясь в тулупы, пахнущие сном.

То бьется тугими ударами крови, когда человечья руда ударит в кварталы до краев.

Век назад — среброризное молебствие. Пятилетие назад — перестрелка, свалка, сегодня — шествие профсоюзов, вейка из красных лент и лоскутов.

А утром — в будничное зимнее утро, когда карнизы широких проспектов подернуты инеем!..

Толпы деловых людей—тискаются в торопливые лязгающие трамваи. Пахнет из пеповского магазина сырным запахом и чайной колбасой. Выкрикнет новость о квартирной плате газетчик. А Петроград курчавится — красавец и гордец, даже когда торговки яблоками на квартал заставят корзинами подножие решеток. Если растеряешься, собьешься, потеряешь твердость руки в минутном отбое, — если хочешь собрать в стройный ход первомайских колонн растрепавшиеся мысли — иди бродить по строгим улицам, чтобы после горячее взяться за, прерванную работу, чтобы еще отчаяннее полюбить жизнь...

Так метались по улицам, не встречаясь, Елтышев, Гаврила, Варя, Караваев. Елтышев устал и остудил свою горячку.

Гаврила уяснил, что Варя колебалась, и был этим открытием доволен до чрезвычайности.

Караваев так увлекся делами, что позабыл об утренней горечи Спроси его:

— Счастлив ли он в семейном круге?

Он не задумался бы кивнуть головой:

— Конечно.

Чаще всего ночевал на Волховстрое, где у него была крохотная холостецкая квартирка.

Варя ночью, перелистывая мысленно прожитый день, краснела мучительно:

— Сколько раз я готова была открыть аукцион?

Долго припоминала: или вычитала где-то, или кто-то рассказал ей, как, некто, разбогатев, предложил первой встречной красивой женщине содержание в десять тысяч ежемесячно.

Та слабо запротестовала и дала согласие.

Припомнить не могла, откуда эту гнусную историю зачерпнула память.

Досада между тем прошла.

Осталось ощущение, словно переходила опасный шаткий мост.

Перешла и увидела: можно было пройти безопасно рядом, по сходу.

— Ну, все равно. Перешла благополучно, и ладно.

Утром проснулась под пение Клавдии: она собиралась на завод и говорком безразличным выпиликивала частушку:

Тырды — юбочку кроила,
Тырды — окоротила.
Тырды — милова любила,—
Тырды — озолотила.

Варя крикнула.

— Чего ж меня не разбудила,—одна пойдешь?

Клавдия сконфуженно:

— Думала, не пойдешь: не выспалась, поди.

Варя поняла:

— Зачем тебе на завод таскаться? Завтра на Садовой за кассой будешь сидеть.

Быстро оделась Варя. Кусок хлеба сунула в карман на ходу.

— Пошли!

Клавдия дорогой про Гаврилу: как пуды превращал он в десятки пудов, как потом удачно двинул два вагона и разбогател.

— Вчерась рассказывал, когда вас не было.

— Кого вас?

— То-ись тебя. Спуталась я.

— На вы стала называть?

...Удивительно быстро облетела весть на заводе. Работницы перешептывались, хихикали. Руткина хмурилась, сторонилась Вари. Трейерова — та пробасила напрямик:

— Уходишь, говорят?

— Куда ухожу?

— Замуж — девчонки болтают — за купца.

— Чепуха!

Трейерова посмотрела в упор. Протянула свою громадную мужичью ручищу:

— Я и то думала — болтают. Ну и хорошо...

Варе стало легко, радостно. Еще раз прибавила:

— Чепуха! Никуда я от вас не ухожу.

В перерыве подшутила над подругами. Подошла к ящику, где народу побольше насело.

— Таська! Ты слышала, замуж выхожу...

Таська-комсомол — стриженая, мужские рубашки носит, кожаный ремешок.

Подернулась:

— Так... Деньги — они липучие.

Трейерова коршуном наскочила:

— А мне сказала — чепуха? Чо ж базлала? Ладно... Дружили когда-то, думала я — эта надежа-девка, не подкачает, хошь и образована...

Варя смеялась глазами:

— Что ж, Трейерова — по-твоему мне и замуж нельзя?

— Смотря за кого, а только лучше за мешок отрубей, чем за мешок денег.

— Какие деньги? Много их у Елтышева?

Тут только поняла шутку. Трейерова от умиления даже лампочку раздавила.

— Качай, ребята, завклубшу новую! — крикнула Таська-комсомол...

Тихая Руткина подошла после работ к Варе:

— Поздравляю тебя. Он — хороший, Елтышев. Он очень хороший...

— Ты чего это... плачешь!

— Нет, я так. Очень рада за тебя.

Варя приняла эти слезы за сочувствие к себе. Была очень растрогана.

— Идем вместе к нему.

— Сейчас?

— Ну, да, я решила на старую квартиру больше не возвращаться.

Клавдия привезла Варины вещи к Елтышеву. Вчетвером расставляли книги, развешивали платья.

Постилая Варино одеяло на постель Елтышева, Руткина вдруг расплакалась и убежала из дому.

— Чего же она плачет? — спросила Варя.

— А я почему знаю! — отозвался Елтышев.

— Зеркало разбилось, — крикнула Клавдия.

— Ну и чорт с ним, — рассердился Елтышев: — выбросьте его в окно.

•

С этого дня началась супружеская жизнь четы Елтышевых.

Варя довольно глупо чувствует себя в роли жены. На посетителей сердится.

— Какая я Елтышева? Я — Колотова.

Незаметно, как-то само собой збурила хозяйственные дела на Елтышева. Еще бы! Варя весь день в разгоне. Где тут еще хозяйством заниматься? Славный воин ходит по утрам на базар, к приходу Вари накачивает примус.

— Есть хочу! — вбегает Варя, пропахшая заводом и улицей.

— Обед готов. Только картошка—извини—пригорела.

За обедом супруги втыкаются в газеты.

— Пересолил, — буркнет Елтышев, хлебая.

— Что? А, да, немного...

Шуршат газетные листы.

— Ого! Здорово. О Волховстрое. Ты не читал? Сократит расход каменного угля в Петрограде на 16 миллионов пудов в год. Каждый месяц отсрочки волховских работ стоит государству 200 тысяч рублей золотом...

— Ну, это еще слова!..

— Как слова! Караваев говорил...

— Надоел мне твой Караваев...

Варя нашла зуб, привязанный на шее Елтышева.

Высмеяла. Зуб полетел в помойку. Елтышев усмехнулся:

— Что ж! И давно его следовало выбросить.

Не обиделся он, когда боевая простреленная шинель и седло переселились в чулан. Шинелью стали закрывать ящик с картошкой — от крысиных набегов.

Глава десятая.

— Здесь живет Колотова?

— Заходите, дамочка милая. Жила, действительно, — только что теперь вакуировались.

Наташа Осина перешагнула порог. Кивнула Клавдии, Гавриле. Анна Степановна приволокла стул. Гаврила стал расспрашивать: кто она, зачем и откуда. Привскочил.

— Земляки, значит! А Каширцева вы знали? Он здесь?!

Давно ли радовался Гаврила, что Варя далеко от Каширцева. Теперь—что бояться? Покойника ли беречь от простуды?

Наташа и Гаврила, весело разговаривая, писали адреса. Она—„Светлану“, он—Васильевский остров, 9-ю линию, квартиру Каширцева, Музочки, Корнелии Ивановны. А на другой день Гаврила покинул сырые комнатки Горевых. Нечего было делать ему на Выборгской стороне. Квартиру устраивал. Квартира в центре, на Фурштадтской. Магазину полдня отдавал. Когда-когда споткнется:

— Эх, сердце собачье! И чего сдалась мне девка? Влюбчивость у меня! Душа у меня деликатная. Слезы—душа.

— Пустяки,—утешает Каширцев, друг закадычный, утраченный и обретенный вновь:—в Питере баб по статистике на 58 тысяч перепроизводство. Смекай. Да еще меня вычти: я больше насчет замужних,—для уюта.

И утешился Гаврила:

— Жарь пир-пировню.

И начались балы первосортные. Стол—на тридцать человек.

Икорка паюсная—губы оближешь. Индюшка по всему фасону. Вина госспиртовские—не вина, а деликатес. Торт, бывало, закажет. Вензеля на нем розовым кремом: Г и В. Каширцев на пирах таких напивался и тенором: прощай, Гаврила! Хором подхватывали гости:

Рила-рила-гав-гав-гав.
Рила-рила-гав-гав-гав...

За хозяйку рыжая Музочка, руководимая Корнелией Ивановной. Вышло это нечаянно. Однажды застал Каширцев Музочку в своей комнате. Вся в слезах.

— Витя...—начала-было.

— Так и знал,—оборвал Каширцев, сразу догадавшись о причине слез.

— Как же теперь?—растерянно пробормотала Музочка.

— Как же, как же,—передразнил Каширцев:—говорил я тебе, что я против всяких противоестественных мер. Сама бы думала. Аборт пять червонцев стоит,—откуда я тебе такую уйму денег наберу?

Хлопнул дверью, ушел.

А вечером пришел, как ни в чем не бывало.

— Муза Николаевна! Собирайтесь в гости—к нашему земляку—Гавриле Павлычу Хохрякову.

— Прилично ли, прилично ли?—выпиликивала Корнелия Ивановна,—к холостому человеку,—а сама помогала засовывать Музочке руки в узкие рукава пальто.

Как-то вышло так, что Каширцев к Гавриле всегда приходил с Музочкой. Музочка мило картавила, учила Гаврилу завязывать галстук и преподавала хороший тон.

— Что это такое,—кричала она, нескладно размахивая длинными руками:—к чему тут диван? Разве ставят тут диван?

Гаврила и Каширцев подхватывали диван и перетаскивали его на новое место.

— Фу, какой абажур,—стонала Музочка:—давайте, мы с мамочкой сделаем вам комильфотнее.

Скоро Гаврила шагу не мог сделать без Музочки. Каширцев глаза таращил. Какие познания появились у Гаврилы!

— Блютнера,—кричал Гаврила:—терпеть не могу роялев Блютнера и Дидерикс. Мне подавай Бехштейна.

— Роялей, а не роялев,—поправляла спокойно Музочка.

— Роялей,—покорно повторял Гаврила.

В декабре, под самое Рождество по старому стилю, Музочка перешла жить к Гавриле.

— Записываться я не буду,—втолковывал сожительнице Гаврила:— большевицких этих записей не признаю.

— Венчаться тоже не буду,—добавлял, подумав:—устарелый языческий обычай.

Музочка молча согласилась. Корнелия Ивановна, перетаскивая вместе с Музочкой картонки и саквояжи, твердила:

— Религия—это для простонародья... а запись по-советски—это простите,—это кто же согласится? Музочка—не машинистка какая-нибудь из наробраза.

Музочка быстро круглела и ездила в Гостиный двор закупать детские гарнитурчики.

Гаврила ликовал:

— В первую же ночь видно зачала,—докладывал он Каширцеву: хорошая баба. Впрочем, ты-то ведь знаешь...

И тут же переменял разговор:

— Говорят пробкой стены нужно обить, чтобы звуки не долетали с улицы. Хочу сделать пробковые стены.

„Сам ты—пробковая стена",—подумал Каширцев и вслух добавил:

— Ссуди мне шесть червонцев. Девочка у меня одна завелась. Акушерку надо.

Каширцев не врал. Вскоре после Музочки у него побывала девица. Она кричала и угрожала судом... Однако, возвращаясь от Гаврилы и нащупывая жесткие бумажки по 3 червонца, Каширцев передумал:

— Дам три червонца ей—и довольно. А когда в магазине выбрал пару полосатых галстуков и хорошенькие запонки, то махнул рукой:

— Обойдется и так.

И бросил приказчику:

— Заверните!

Через неделю подали ему местное письмо: розовый раздушенный конверт.

— Хороший анекдотик есть про конверт,—вздохнул Каширцев и потянулся сладко. Вот она вся его жизнь в этих конвертиках, отчаянных записках, свиданиях и любовной игре.

У Каширцева целая бухгалтерия: тетрадочка „входящих". Под номерами:

1) От Лели З.

2) От Наташи...

И тут же числа: когда начался роман, когда кончился...

Бережно, чтобы не испортить конверта, отстриг краешек сиреневой бумаги ножницами—новый экземпляр для коллекции писем.

— Что это? Всего несколько строк. Острый, колючий почерк.

„Поздравляем дорогого брата с наступающими праздниками.

Сим и Яфет".

— Неостроумно,—скомкал письмо Каширцев и зачеркнул поставленный-было номер входящего.

Глава одиннадцатая.

— Знаешь?..—сказала задумчиво Варя.

Елтышев повернул к ней лицо.

— Нужно, чтобы двое, если живут вместе,—мужчина и женчина—оба в близости своей росли... Я не умею объяснить... И вот этого... вот этого у нас нет.

— Инвалид я,—глухо отозвался Елтышев.—Ранило меня нэпом.

— Ты мне иногда кажешься, как вон то седло твое: в бою удобно, а сейчас и лошади нету для него...

— Ненужный,—искривил губы Елтышев:—спасибо за откровенность.

Варя хотела объяснить, что ведь это можно поправить, изменить. И вдруг у самой не стало веры в эту возможность. Нежданно сорвались слова с языка.

Испуганно взглянула на Елтышева. Он весь сник. И холодно скользнуло у нее в уме:

— А ведь мне его не жалко. Какие же мы однако чужие...

И неловко стало, что прожила целый год близко с этим чужим человеком.

— Ведь он меня даже не знает. Спит со мной, разговаривает... и все. А чего бы проще узнать здорового, прямого человека? Вот среди них—в городе есть надорванные, утомленные люди. Есть инвалиды. Есть пустоцвет. А Варя, как крепкая картофелина. Нерастраченный комок сил. Может быть, эти силы притягивали к ней, делали ее привлекательной.

„Странно,—думала Варя,—где напереть бы, и готово. А иной бултыхается и никак не выплывет".

Елтышев казался ей узким, сухим. Она сама не знала, чего хочет от Елтышева. Знала одно: она росла этот год, перерождалась. А он застыл, как ледяной кусок. Кто бы узнал в резко очерченном лице „русскую шаньгу"—Варю? А Елтышев остался без перемен.

Быстро наливается соком, прет из земли атава, по скошенному месту—трава. Минаева встретила Варя. Оба друг друга не узнали. Он ездил по какому-то поручению партии. Оброс, почернел. Она заострилась, и расплывчатое стало в ней резким, законченным. Варя вздохнула:

— Вот с кем больше ей по пути.

Заговорили деловито:

— Мандат. Райком. Собрание. Настроение рабочих...

Была Варя и в городе. В переулке женщина на развалинах дома. Дом, как жук, выеденный муравьями. Сухие ножки железного переплета. Поблескивают изразцы обгрызками жучьих крыльев. Женщина выбрала в груде два кирпича покрепче, обчистила известку и мусор, сунула их под мышку, хотела итти. Варя остановилась.

— Наташа,—нерешительно окликнула: женщина оглянулась, и по улыбке Варя окончательно узнала Осину.

— Куда это вы с кирпичами?

— Я как домой иду, всегда два кирпичика прихватываю. Печку ставить хочу, а здесь, думаю, кирпичи зря пропадают.

Варя заметила: ни замшевых сапожек, ни голубого песца, ни шляпки прежней. Осина поймала взгляд Варин.

— Что смотрите,—карманы оттопырены? Это лампочки. Закупаю,—говорят, вздорожают скоро,—из-за границы ввоз запретят.

— Для чего же вам столько их?

— Перепродам. Хотя это- между прочим. Я теперь работаю по сдаче квартир. Сегодня слала две квартиры... Капитальный ремонт и средний... Весной кровати хорошо идут двуспальные... Кстати, какие-нибудь ваши знакомые не продают Бехштейновский рояль? Я бы на комиссии заработала. Гаврила Павлыч ищет. Вы его знаете?

— Знаю.

— А как вам нравится Каширцев?

— Что?

— Уже пристроился приказчиком у Гаврилы Павловича. Вот хахаль!.. Так рояли не знаете? Не надо ли вам хороший письменный стол? Заходите как-нибудь ко мне... Живу по-холостецки.

— Со Знаменской покончено?

Наташа свистнула:

— Давно!

— И хорошо.

— И хорошо,—крикнула Наташа, прощаясь.

Дома встретил Елтышев тяжелым взглядом.

— Где была?

— Везде.

— Мне про тебя болтают...

— Что такое?

— Говорят, что очень легко держишься...

— Знаешь, дорогой мой,—у Вари даже голос перехватило:—если ты еще раз мне подобное посмеешь сказать...

Она не договорила.

Елтышев съежился и комком — в библиотеку.

Глава двенадцатая.

— Сегодня рассмотрим, что за такая Варя Колотона,—воскликнул Караваев, подсаживаясь на ближайший стул.

Вечер спайки был в разгаре. Пустые пивные бутылки сбились стадками. По тарелкам размазался соус. Выделывал хитрые колена струнный оркестр. Было накурено. Душно. Варе не дал ответить тонконогий конторщик Тюбиков.

— С-слушай! Товарищ Караваев! Т-то-варищ Караваев! Ты меня прости...

Вокруг смеющиеся глаза.

Молодежь конфузится за Тюбикова.

— Переборщил.

— Он это после крестин, — выкрикивает чей-то звенящий голос.

— Ну, это для нового быта не подходит.

— Т-товарищ Караваев! Мы очень усвоили новый быт. Даже попа не звали, когда маленький р-родился. В клубе торжество было, Жоресом назвали.

— Жоресом, а сам и нажоресился...

— Верно! есть грех!

— Эх, Тюбиков, зря ты. Новых людей нам надо, а ты...

— Понимаю, новых людей. Я и говорю. Жоресом назвали... маленького-то... В честь французского борца за свободу.

Варя исподтишка взглядывала на молодую пару Минаевых:

— Вот эти не подведут. Здесь Жорес будет без подделки...

Между тем Караваев отделался от папаши Жореса и, наклоняясь, голосом заговорщика, рассказывал Варе про Волховстрой, про борьбу, которую пришлось выдержать за несокращение работ, про новые планы.

— Знаете, в сутолоке я с вами даже не поговорил до сих пор. Вечер спайки действительно спаяет нас. А то живем рядом, а друг друга не знаем.

И опять через минуту:

— Знаете, я теперь могу спокойно оставить „Светлану". Вы возьмете дело в руки. „Светлана"—женский остров. И руководитель здесь должен быть—женщина.

— Такое можно говорить только на вечере спайки,— смеялась Варя: — какой я руководитель? Я — не инженер...

Гудит зал от голосов. Всюду разгоряченные лица, блестящие глаза. Рабочие, работницы, конторщицы, инженеры—за длинными столами разбиваются по группам. Тосты сказаны, ужин окончен. Стесн-

ние, какое было в начале, сгладилось. Каждый говорил о своем, и мало кто кого слушал. Около Кудиенки сгрудились комсомольцы. Пили за его отъезд. Кудиенко уезжал во флот добровольцем. Зина Минаева наладила пение. Потом стали загадывать ребусы, придумывали шарады.

— Я загадаю, я загадаю,—лез через головы потный инженер.

— Неприятная личность,—шепнул Караваев Варе.

— Слизняк,—ответила так же тихо Варя.

— Мы слушаем,—сказал отец Жореса Егоровича—Егор Федорыч Тюбиков.

— Что объединяет разъединенных, что заменяет отсутствующих, что подымает падших?

— Вечер спайки,—бухнул Кудиенко.

— Пьедупьеждяю, что ответ нескойко пикэнтен... просюсюкал инженер. И, помучив немного, сообщил разгадку: Дамский—лифчик!

Это восклицание привлекло к теснившейся кучке людей еще новых участников.

— Кто анекдоты знает?—кричал, воодушевляясь, инженер.

Его очки блестели, а глаза сощурились, то-и-дело останавливаясь на Варе. Варе приходилось сталкиваться с ним на заводе. На него часто жаловались работницы. Он волочился за всеми и каждой. Варя вспомнила один короткий, но выразительный разговор в коридоре и усмехнулась: тогда ему было не до анекдотов.

— Долой анекдоты!—крикнул Минаев.

— К чорту!—крикнул Дворжецкий, подхватывая.

— Хотите, я вам загадку прочту?—предложил Минаев.

Потного инженера забыли. Сдвинулись теснее. Наладили тишину. Отец Жореса, не разгадав пикантной загадки с лифчиком, задремал, уронив голову в тарелку с соусом. Теперь он попытался очнуться.

— С-слушаем,—произнес он, и снова погрузился в тарелку.

Минаев, раскачиваясь, читал, подражая сказочнице, старухе, нараспев.

— Это целая пьитча,—вставил свое слово остряк-инженер.

На него прицыкнули. Зина особенно зорко наблюдала за порядком. Минаев читал:

— Как жила-была красавица, Мелитриса Кирибетьевна. Брови—дуги, дуги—радуги, щеки—ярмарка румяная. Косы—Волга необъятная, сарафан цветной оборкою—шире степи, шире Каспия. Три к ней молодца присватались, а кого невеста выберет? Все три молодца ей равные. Порешили добры-молодцы, да у трех дорог посъехались, да по трем путям расталися. Кто отыщет для красавицы дар-подарочек неслыханней,—первым быть тому при сватаньи. Едет долго ли, коротко ли—все на запад первый молодец. Видит старца белу бороду, белу бороду широкую. Дал он зеркало чудесное: загляни, и жизнь откроется на сто лет вперед и в стороны. Подивился добрый молодец, взял то зеркало чудесное.

„Нет на всей земле неслыханней!

„И немедля отправляется в путь обратный, землю дальнюю. Едет долго ли, коротко ли на восход середний молодец. Видит—поле, поле бранное. В поле воин в шлеме кованом, над конем стоит неседланным.

„— Что такое, что задумался?

„— А стою и крепко думаю: для чего и конь некованый, коли есть седло чудесное? В том седле и не оглянешься, как промчишься версты длинные, одолеешь силы вражьи, улетишь вперед по времени. Дал седло вояка молодцу: ну, смотри, умело пользуйся...

„Удалась удача третьему. Через пади да овражины, пустыри и рвы голодные прискакал в долины сытые. Смотрит—сад цветет развесистый, никнут яблоки румяные. Только к ветке,—голос сторожа из шалашика дернового:

„— Ты удачлив, добрый молодец, забирай находку дивную. Знай, что яблоко румяное—сладкотелое и сытное: напитает и голодного, силы даст и слабосильному, отощалому, усталому.

„Скачут—весело—три всадника. Рано ль, поздно ль повстречалися, все находкой похваляются.

„— Ну-ка, глянем—где красавица!

„Видят в зеркальце чудесное—горе: при смерти красавица.

„— Так садитесь на седло мое—мигом с нею мы очутимся.

„Не успели и обмолвиться,—как стояли пред невестою. Дали яблоко красавице—ожила и встала на ноги.

„— Ну, скажи, скажи, красавица, чей подарок больше глянется? Или тот, что долю-судьбу указал? Или тот, что версты-мили сократил? Или тот, что силы-резвость возвратил?..“

— По-моему долю-судьбу указал—это главное,—застругал острым голоском своим Дворжецкий.—Скажем к примеру,—марксизм. Ежели бы он доли-судьбы не указал, никуда бы не приехали, наделали бы рюх и запоздали бы с революцией...

— Ну, если брать политические сравнения, то седло, похожее по быстроте преодоления на военный коммунизм,—ценнее.

Варя подняла при этих словах голову. Говорил Елтышев. Он весь вечер не выходил из своей комнаты, хотя вечер спайки был в клубе. Теперь он говорил с горячностью и даже с упрямством каким-то...

— Свое седло вспомнил, в чулане которое лежит,—усмехнулась Варя.

Кудиенко тоже смеется:

— Ишь, куда простую сказочку повернули! Ну-ну!

Караваев встал почему-то, прежде чем заговорить.

— Друзья,—сказал он,—а без яблочка-то сытного животики подвело бы? Подохли бы, а? И на седле некому было бы ездить, а? Нэп—другое дело. Это слепая кишка на здоровом желудке новой экономполитики.

— Апендицит бы не был! - вставил инженер.

— А сама-то политика—здоровье, сила. Это и есть яблоко-крепыш,—весело заключил Караваев.—Голосую за яблоко!

— Бросьте мудрить,—звонко крикнула Зина:—коли искать самое главное, так это будет Милитриса Ки...

— Кирбитьевна,—подсказал Минаев.

— Она самая. Ведь ради нее столько сил потратили те, кто ее любил.

Все засмеялись, вставая и направляясь к чайному столу. Караваев не отходил от Вари. Оба торопились друг другу высказать, что накопилось за многие месяцы и что приятно было высказать своему сообщнику.

— Ваня, принеси-ка мне шаль, холодно,- среди разговора скомандовала Варя.

Елтышев принес шаль и снова ушел. Завалился спать, не раздеваясь. Вечер спайки затянулся до света.

Глава тринадцатая.

После бессонной ночи Караваеву все казалось подернутым дымкой. Шел и чувствовал какое-то притупление и в то же время взвинченность. Неврастеник - чорт, — сказал сам себе: — подменяю прежний здоровый напор нервами. Кумысу бы попить. Но встряхнулся и вошел в завод бодрым и уверенным, как всегда. Рослый, плечистый—крупным комелем среди всех Караваев. Балка среди щепок-обтесков. Тесали ту балку для новой постройки. Вытесали—и ухает о землю сосновой струной. И голос такой - раскатом. Привычка в гомоне машин говорить зычно, броском. А тут поди ты—сам удивляется—в голосе ласка звенит, мягкота. Глаза Караваева—синее железо после прокалки. А тут—гляди ты—пробило железо горячей искрой, словно уголь раздули пыхтуны-меха.

Балуй,—сердится на себя сам:—командирую тебя, подлеца, на стройку, чтобы не блажил...

И опять сам себе:

— Что ж, коммунисту не полагается, что ли, влюбляться?

Стукнул кулаком:

— Ничего, брат. Если от любви не мягчит, если крепче становишься, задорнее — значит, это хорошая любовь.

Нужно распорядиться о приемке стекла (когда развяжусь с этим подолом—„Светланой"). Нужно позвонить по телефону в правление Эльмаштреста относительно генераторов. Нажал кнопку звонка.

— Через десять минут автомобиль.

— Варя,—сказал какой-то голос.

Спустился вниз. Здоровался весело с женщинами у станков.

— Семьдесят пять ящиков?—спросил деловито кладовщика.

— Варя,—прозвенело в ушах.

Дела закончены. Тарахтит автомобиль, сгорая от нетерпения фыркнуть, ухнуть и, описав круг, умчаться к вокзалу. Караваев мимоходом обронил инженеру:

— Как вы думаете, полагается коммунисту влюбляться?

И не дожидаясь ответа:

Во всяком случае это большое свинство!

— Варя,—качнулся голос, когда хлопнул выходной дверью.

— Что?—спросил сам себя грозно.

— Варя...—ответил, замирая, голос.

— Чорт бы побрал все вечера спаек!—рассердился Караваев.

Назойливому голосу ответил:

— Ну, да, она сейчас в этом же здании, в завкоме. А я уеду на Волховстрой...

Шоффер уже ждал. Из окна третьего этажа следили два глаза за вздрагивающим кузовом автомобиля. Вот качнулась подножка. Кожаный, плечистый, рослый, сел рядом с шоффером человек.

— На понижающую станцию,—сказал он, отыскивая портсигар.

И для чего-то пояснил шофферу наставительно:

— Эта станция для того, чтобы не дать току высокого напряжения расплескаться по дороге от Волховстроя. Понятно?

— Понятно,—ответил шоффер, прикуривая.

Перед отъездом на вокзал Караваев заглянул домой: забыл предупредить по телефону, что уезжает. Маруся была ласкова и внимательна. Он смотрел на нее рассеянно:

— Тоже понижающая станция... Чорт, хорошо влюбиться. Ток высокого напряжения поступает от той, вчерашней собеседницы на вечере спайки. И удесятеряются силы. Наэлектризована каждая мысль, а эта—не дает этому току расплескаться.

— Уезжаешь?—печально сказала Маруся:—а я думала, сходим в театр вместе.

— Волховстрой требует—надо ехать,—сухо ответил он.

Глава четырнадцатая.

Если бы кто-нибудь сказал Караваеву, когда он так спокойно собирался ехать на Волховстрой, что произойдет через две недели!— не поверил бы! А Маруся? Думала ли она, что это последний поцелуй, когда он прощался перед отъездом? Караваев вернулся с постройки скоро. Не заезжая домой,—к Дворжецкому. Минаев и Дворжецкий последнее время были ближайшими его сотрудниками и друзьями. У Дворжецкого сидела Варя. Ну да, жизнь всегда обставляет нелепо, неестественно встречи. Это не хитрый романист или драматург. Караваев заметил, как Варя вздрогнула при его появлении. И он пошел прямо к ней. Когда руки их прикоснулись, он почувствовал этот ток.

— Счастливый вы народ—провинциалы!

— Я уже год в Питере,—отозвалась Варя.

— Мы размотали силы, поистратились, а у вас—через край...

— Да, я здоровая, — сказала Варя. И потом в свою очередь:— Вот вы счастливый. Ведете такое грамадное дело.

Говорили сосредоточенно. Не было игры любовной. Не было взглядов и размягченных слов. Говорили о токе высокого напряжения, о конденсаторах и о каком-то Нот'е, что означает, кажется: „Научная организация труда". Однако в этом близость нарождалась и волновала. Вечером Елтышев, встрепанный, дикий, ворвался в квартиру Караваева.

— Вы — жена Караваева?

— Д-да...—прошептала Маруся.

Замелькали догадки: Убит? Крушение? Взрыв на Волховстрое?

— Ну, что? что? говорите!

— Идемте. Они там.

Может быть, в минуту, когда появились пред близко сидевшими Караваевым и Варей их вторые половины, они оба поняли, что любят друг друга: что губы их еще скажут другие слова, кроме „конденсатора" и „культработы".

— Не оправдывайся,—прохрипела Маруся, когда Минаев зажег электричество. (Варя и Караваев сидели в темноте, Дворжецкий и Минаев были в соседней комнате.) Варя сначала ничего не поняла. Потом совсем неожиданно для себя решила:—Не отдам.

И взгляд на Караваева: — не выдашь?

Дворжецкий и Минаев растерянно топтались в дверях.

— Ерунда какая-то,—пробормотал Дворжецкий, чувствуя, что смех подкатывается к горлу.

Маруся закричала и стала биться в истерике. Караваев увез ее домой. Варя и Елтышев медленно зашагали к клубу. Потянулись тяготные надоедные дни. Елтышев плакал. Маруся не вставала с постели. Караваев почти не бывал дома. Ночью Елтышев набросился на Варю.

— Теперь я твой любовник, я ворую у него, у этого ласки...

— Оставь меня!—крикнула Варя, отодвигаясь.

Он в бешенстве смял ее, комкал тело.

Закрыла глаза и думала о Караваеве.

Утром у Вари разболелась голова. Вспомнила о вчерашнем, о ласках Елтышева. Передернулась. Медленно произнесла:

— Больше этого не должно быть.

Маруся целые дни лежала. Караваев настороженно ждал, что она сделает. Наблюдал ее... Она как будто примирилась с тем, что они расходятся. Близость раскололась сама, как насиженное яйцо с цыпленкоми.

— Да, да, разойтись неизбежно...

Когда заворочалась в постели, испуганно подумал:

— Истеричка. Всего можно ожидать.

Маруся встала. Медленно одевалась. Хотел-было пойти за ней. Остановился.

— Не надо. Убить себя потрусит. А если даже и...

Захлопнулась дверь. Затихли шаги. Она ушла. А он бегал по комнате из угла в угол, из угла в угол, стараясь не думать ни о чем...

Улицы ей показались тихими. Так далеко все звуки уплывают под хлороформом. Брела. Спотыкалась. На окне бутылки. Вот-вот, сюда.

— Что прикажете?

— А все равно.

Заметила, что приказчик не понимает.

— Что-нибудь покрепче!

Приказчики переглянулись и снова вежливо:

— Вина-с?

— Да, да, портвейну.

— Портвейн есть, мадера, рислинг, наливки, ликеры...

— Портвейну. Да, бутылку. Больше ничего.

— Закуски, сыр, балык—ничего не прикажете?

— А как же я откупорю?

— Вам и откупорить надо? Василий Андревич, они откупорить просят.

— Гм! откупорьте,—может, у них дома штопора нет.

Шла по улице. Улучив минуту, когда редела толпа, закидывала голову, булькала темно-красную жидкость в горло.

— Надрызгаюсь! Морфию наглотаюсь! Окна вышибу!

Горячо внутри. Горячее клубками, как дым, кверху, книзу. Легло на ноги. Захлестнуло в глазах, ударило шумом в уши. Теперь улицы кривобокие. Прохожие то бродят где-то далеко, то лезут глыбами, громадами, мешают итти. Главное—держаться прямо. Будет мост. После моста сразу влево... Стоп! Канава. Нужно ногами внятней. Кто-то навстречу. Так. Сделать беззаботное лицо. Так. Будто прогуливаюсь. Ну, немного выпила. Кому до этого нос совать? Прямо. Мост. После моста влево. Так. М-мадрид и Лиссабон... Иногда изнемогала. Теряла надежду дойти до дому. Дороге нет конца. Прислонялась к подъезду, к стене. Вдруг делалось жалко себя. Крупные пьяные слезы неприятно щекотали лицо. Соленое на губах. Пфу! п-фу!—не плюется. П-фу! И жалобно-тихо подвизгивая:

— За что? За что? Вышвырнул, как собаку. Что я ему сделала?

Когда добралась до лестницы своего дома,—остановилась, задохнулась. Мутными глазами наблюдала: колют дрова у сарая.

— Хурп! Хурп!—хрястнуло березовое полено. Летят две половины в разные стороны.

— Снова не склеить,—сказала она, пьяно ухмыляясь. И крикнула колольщику бородачу:—Не склеить! Эй, вы там!

Оглянулся бородач. Ничего не понял и стал устанавливать новый кругляк. Дома сначала вошла робко и тихо. Долго извинялась перед квартирной хозяйкой. Потом стала хохотать. Бросилась к Андрею:

— Андрей! Андрей!

Он сидел у стола. Было все обычно, как всегда; как все зимы и весны, прожитые с ним. На буржуйке нетронутый обед.

— Андрей!

Тихонько отстранил ее:

— Ты пьяная. К чему это?

— За что? За что? — зарыдала она.

Язык заплетался. Сама не сознавала произносимых слов.

Дергалась, неуклюже ворочалась в пальто. Он заглянул ей в лицо: пустые остановившиеся глаза. Поежился. Шевельнулась жалость слабым угольком. Потухла. Стена между ним и ею. Стены не прошибить. Старался сказать ласково:

— Разденься и полежи. Чего же ты такая?..

— Отравлюсь я. Зарежусь. Слышишь?.. Ты улыбнулся. Я видела, ты улыбнулся. Как ты смеешь улыбаться сейчас? Падаль! Негодяй!

— Я устал. Теперь меня ни руганью, — ничем не раздразнишь! Деревянный.

— А-а, деревянный, со мной деревянный, а с той, со своей... мягонький?

Вскочила, вытаращенная:

— Врешь! Не выгонишь меня! Не уйду — вот и все! Пинками выталкивай, в морду пинай! А ей все равно устрою что-нибудь увидишь — устрою.

Плашмя упала на постель. Билась в рыданиях, потом похолодела, взвизгнула и ее стало корчить. Мокрые полотенца. Испуганные глаза хозяйки. Зубы, бьющие дробь о краешек стакана с водой. Одеколон. эфирно-валериановые капли. Горячие бутылки.

— Держите так! Не бейте ногами!

— Замерзаю я, миленькая Антонина Власовна, замерзаю я. Он вышвырнул меня, как собаку. Да где же он? Позовите его. Ушел, ушел, ушел...

— Здесь он, чудачка вы этакая, вон видите — полотенце держит.

— Обманываете вы меня, он ушел, ушел, навсегда ушел!.. Теперь вот тут больно. Антонина Власовна, почему это тут больно? Я ничего над собой не делала, только немножко морфию и портвейн тоже. Совсем немного портвейн, совсем немного. Они тоже пили портвейн. На вечере спайки пили.

Ночь, как нарыв. Дергает, саднит, саднит. Тяжелая голова. Опухшее тело.

Караваев ворочается на кушетке. Маруся плачет потихоньку в постели. Оба притворяются, что спят. Утром забылся Караваев. Слышал смутно, — кто-то подходил и долго смотрел в лицо. Проснулся поздно. И тотчас на завод. Сразу ожил, повеселел, когда охватило мягкое жужжание, окружил стеклянным узором звон. Маруся к зеркалу Глянула и отшатнулась. Боль, боль не вынести.

Роется в белье комода. Там запрятана зелененькая коробочка: порошки. морфий... Ну, теперь ничего. Ледяной мозг. Может даже улыбаться. Это ничего, что в пальцах застряла прядка волос. Это так, судорога.

— Укладываться в дорогу. Конец.

Открыла чемоданы, корзины, выпотрошила нутро шкатулок и узелков.

— Позволил все взять. Все, что собрано по лоскутку, по вещице — она увезет с собой. Копила вещи. Не носила. Только вытащит показать квартирной хозяйке. Или сама переложит с места на место.

Втянула в себя воздух:—а-а. Для чего все? для чего копила? Готовилась жить — всю жизнь. Ждала: вот придет настоящая жизнь, тогда уж... Нянька, старуха, вынянчившая ее, так платок носила, чтобы сберечь — наизнанку. Хватилась — а платок-то в дырах. Так наизнанку и износила.

— Уехать, уехать.

Метнулась к столу. Клок бумаги. Пять слов: „Андрей умер. Выезжаю десятого. Маня". Листок вчетверо. Никого? Никого. Это на телеграф...

Глава пятнадцатая.

До станции Званки дохлестывает человечий прибой. Каменщики, железобетонщики, слесаря, землекопы... Мешки, картузы, сундуки, котомки... Хохот, топот, беготня. Хруст настила. Гул. Гусеница-река, облепленная крепкочелюстными муравьями. Нет, это издали. Когда подъехали ближе: рассерженную медведицу осождает стая волков. Ревет медведица, ощетинила бурую шерсть, пеной взмылила язык И еще ближе.

Крутобокий Волхов. Камень, бетон. Штабеля розовых досок и плах. Тачки, тачки, вагонетки. Краны, рельсы, леса.

— Ур-ззы-ы, — взвизгивают лебедки.

— Грох-хо-хо, — отвечает высыпанный плетняк.

Хватает Волхов, цепляется за стену несокрушимых кессонов.

В бессильном бешенстве падает пухлой пеной. Тоненькими голосами заливаются на ходу паровозики узкоколеек. В солнце кидаются дымом. Комья дыма — черные упругие мячи. Варя слушает гомон. Тянется к Караваеву:

— Смешная я. Лампочки делала. Маленькие лампочки, на маленькой „Светлане". А здесь раздувают целый костер.

Караваев, наклоняясь над Варей, голосом любовника нежного говорит:

— Вон там — экскаватор — зверь ручной хоботом вгрызается в берег. А дальше чернеет спина ледозащитной стенки. За нею по высушенному дну вырыт котлован. В нем — закладка самой станции. А эти пятна — камнедробилки, бетонные заводы, водоотливы... Ветер

швыряется стружками. Волосок у Вари выбился на лбу, хлещет по шее Караваева.

— Видите эти колбасы, что выстроились рядами? Это рабочие бараки. В них нет окон, в них сквозняки. Посредине каждого коптит буржуйка. Умывальники и кипятильники на улице: изволь каждый раз бегать зимой на мороз...

— Это обратная сторона медали?

— Это будни, а вон домики с балкончиками. Там живут инженеры, верховоды, у них и ледники, и курятники, и паровое отопление...

— Ну?

— Ну, и это плохо, это надо изжить. Это надо знать. Но это мелочь.

— Да, да, море и лужи... Знаю.

— Какие лужи? — смутился Караваев.

— А помните вам письмо я принесла на заводе — от Дворжецкого. Ваша любимая мысль...

— Верно! — и Караваев расхохотался. Потом нахмурил свой лоб — большой, похожий на какую-то часть машины.

— Да, сырые бараки, и рядом ванны, курятники, люстры. Но хозяева где? Скажите, где хозяева?

— Они там, в бараках, в клоповнике, около угарной печи! — Караваев взмахивает руками, словно загребая в охапку рабочий городок: — Они хозяева! Ими куплены инженеры! Мужик в страду сам не доест, а косцов накормит, как на свадьбу. Понятно? Рачитый хозяин — мужик. Знает он, что ему останутся стога. Это он согнал сюда десятки тысяч людей, чтобы ток вынуть из шерсти бурого Волхова, чтобы кровь свежую влить в жилы кабеля. Чтобы оживить мышцы износившегося Питера...

Позже, вечером, когда сжимал Караваев Варю, жадно пил новые силы из губ ее, в окна долетало немолчного урчание сильного зверя. Где-то вспыхивали искры. Где-то гремел чугун. Утром шли к полустанку. Караваев сжал свою руку. Туго била упрямая кровь. Мужская радость вырвалась в крике:

— Свежо-о! — крикнул, поведя плечами.

Жадно пожирал глазами утренние полосы солнца, первую празелень, кочковатую, хваченную утренником дорогу. Варя тоже дрогнула телом в утреннем холоде и сказала:

— Идем.

Переходя через дорогу, вдруг остановились, глянули друг другу в глаза и засмеялись:

— Так вместе теперь?

— Вместе.

Земля.

(Рассказ).

Вл. Лидин.

На Поклон-горе—там, где рушатся ветры с севера земли, с востока и запада—кремль: красной осыпью, сырыми церквами, чугунными плитами могил. На Поклон-гору взойдешь—сто раз голову запрокинешь, небу поклонишься—оттого и Поклон-гора. А с кремля—простор: со всех кремлей русских одинаково,—даль страны немеренной, луга со стожками, голубой разлом рек и сизый чад лесов—смолой пахнет Ветлуга, свежим деревом пиленым и дымком лесопилок. А с Поклонгоры, с кремля поклонского—особо: Кама, степенная, красавицей застенчивой, крепкотелой—такой вот, что глазом серым поведет—и мята на сердце, в холодке плывет. Чужедальний кто взберется под вечер—а поклонским люто опостылели горы, весь лежит на пяти холмах, и с гор вода когда—ни кверху взобраться, ни книзу сойти,—вдохнет чужедальний простору: воздух—вино степное, скифский хмель, голову сразу сладко заведет,—Кама в пожаре—словно вот разожглась на минуту, и уже заглубилась, похолодела сиренево, и не то венчальную, не то погребальную опустил в нее месяц восковую свечу. Вечерами глух кремль, дик, суров и пустынен, как русский юрод древний. На оползнях осыпи кирпича—и далеко виден с вечернего парохода: в вышине лебединой, прохладной, гулкой. На пяти холмах город лежит острожно. Пески да тёс серый, все дома под цвет, частоколы, и город—острог. Люди на пароходах посмотрят, как лежит он в межгорьи, на песок рыжий, на серый тёс—заскучают вдруг: нехорошо живут люди, скушно. И кто кремль здесь строил—дикарь какой, скиф—от гордыни и одиночества.

Раньше выносили монахи на пристань живую стерлядку, мед липовый—самотек, целебный мед—близко до Златоуста, до пчелиного древнего царства. Теперь разогнали монахов—выползали белые, тучные, как личинки, с сальными кудрями, с брюхами женскими,—хорошо кормил монахов Поклонск, сытно, славили купцы бога, да и весь-то Поклонск, как купеческое поместье одно: все Курепов настроил, храм куреповский, ряды торговые куреповские, пароходов по Каме куре-

повских немало, а под самый конец лебедем белым пошел теплоход—снег да медь—лебедем затрубил над Камой вечереющей. Стоят куреповские ряды битые, стекло да железо, речной ветер гуляет, в доме—высоко—колоннами да фронтоном, словно гусь белый присел на лету, в нарядном доме Курепова—детский дом, в окнах—лица пичужные, сиротские, и в весенние дни—много голосов детских в Поклонске, крика и кораблей по ручьям, отчего весь он—уютливей, мягче и белее словно.

По ночам — глухомань, черен город по взгорью, ветер бродит просторно, один светляк только сальный в кремле, над городом: остался в кремле жить, в каменном приделе, над самою кручей, богомаз Юстин. Давно уже ссохся он, почернел, сам как икона новгородская, глаза запавшие, черные, кудри—чернь да соль—под шляпою-куполом, — человек молчаливый, сумрак. Юстиновскими иконами много торговали монахи, знали их далеко по Каме до самой Перми и дальше—на Сибирь, и по Волге знали до Каспия. И у святых его тоже такие же были глаза, черные, вострые,—вот отчего пронзительностью своею славились его иконы. Монахов разогнали, богомаза оставили: был он безвреден, художник немалый, остался Юстин жить в кремле: дико жил, голодно; желтизною тончайшей покрылся, спустится в город когда,—в шляпе своей куполом пыльным, с палкой узловатой,—словно камень сошел.

Скучно живут в Поклонске, службишку свою волочат, вздохнут о прошлом, словно веселей когда жили—на крутой купеческой милости; старушонки курослепые в храм приползут, повздыхают—да по-прежнему причалит когда пароход, полна пристань народа: молодым взглядом с проезжим кем перекинуться, старикам вспомянуть, поглядеть вслед жизни, далеко идет пароход, к большим городам. Да и те, кому жизнь делать,—пошлют их в Поклонск, сразу зашумят, заворочат, начнут жизнь гнать—месяц-другой прогоняют, да и сами пожухнут, посереют; как тёс. Парохода встречать не выйдут, а заскулит сердце, как речной гудок услышит, несет кого-то судьба,—а здесь все тёс, да пески, да кремль, гордынею окаянной взнесенный.

Под вечер много по Каме белых ушей заячьих—парусов досчаников, выезжают рыбаки ставить сети, и за смуглою медью закатной—голубизна. Долго плещется золото, меркнет, и вот уже сиренево-лиловата река, большие тени все шире, и разом полное решето звезд, засыплют реку стеклом битым, и далеко тяжело идет пароход, как зверь. Берегом вдоль, на пять верст к затону—ватаги: раньше много на промыслах рыбы солили красной, богата рыбою Кама, не оберешь: камская рыба волжской не в пример—мягче, дородней, стерлядь на жабрах шире,—долго стояли ватаги пустые, рыбы народилось за годы эти, дичи развелось,—вечерами на острова летят утки четками,—богатый край, золотая мошна.

Прислали из большого города в край этот: птиц небитых, рыбы неловленной — живого человека — золото раскапывать. Живого чело-

века сняли с работы, послали сюда—восстановить промысла, пустить ватаги, наладить добычу; живого человека посылали за год в пятое место, снимали с работы что месяц — наедет, разбередит, пустит—и дальше уже срывается—где воля нужна, смётка, голос, решительность. Много людей таких вышло из ленивой России трудной—где разоспится, да где покумекает—новым пластом отложились по чернозему, по российскому тучному черноземью нерадивому: глаза вострые, шильца, голос—как крик, сапоги да фуражка—и весь человек: сегодня с винтовкой шагает, фронты мерит, завтра лоб трудно над книгой мусолит. Приехал живой человек—у живого человека скулы монгольские чуть, много кровей понес—русской, монгольской, татарской, имя человеку—кто имя теперь запоминает?—два слова коротких: товарищ Курдыш. Сразу город разворошил, людей нагнал — ватаги чистить, чешую рыбью многолетнюю скрести, сетей навез, растянули на кольях, досчаники смолили, — забилась в сетях тяжелая красная рыба, свежей платиновой чешуей берег заблестел, привез пароход солильщиц, рыбной вонью знакомой запахло, как прежде. Не стал Курдыш в белом доме купеческом жить, снял дом у вдовы, над крутью, над самыми огородами—по осени усыпаны склоны зелеными арбузами, как жабами, — в нем стал жить — вернее, не жил: дни на промысле, рыбой пропахнет, свежестью речной, вечерами — в затоны,—так уж устроена порода этих людей: до износа. И где перекусит, чем запьет—с солильщицами свежинки на полевом огне, морковного жидева на заседании; ночью придет — камнем. Заведет дело, пустит—заскучает: на новые потянет места, на новое дело. А что̀ о жизни такой в Поклонске знают?—вот завяжутся на склонах арбузы, запахнет от Златоуста свежим медом, киргизскими шапками с Астрахани виноград повезут—пришла осень.

В праздник в Поклонске шалеют люди от скуки, колокол собора позвякает, — в праздник сиво в Поклонске, залущено, одурь такая—стоит над горой рыжее стозвонное солнце, долог праздничный день, и что в нем делать от скуки — не придумаешь.

И в первый праздник пошел Курдыш город смотреть: серые дома да заборы—то вниз срывом, то кверху—балкончиками, будками собачьими во дворах, псы, как репейники, еще не передохли где, тявкают по привычке, но уже без усердия, — городил кто город этот—бестолковый, неприютный, рассейский. И на кремль Курдыш поднялся, долго взбирался, сто раз небу поклонился,—и сразу покой вдруг, простор: Кама голубая, поемные луга теплые, пароходишко старается тужится: беляна степенная, как вдова белотелая, раскинулась. И, может быть, в первый раз за годы эти — беготни, суеты, тревог, бежать все куда-то—задумался Курдыш, мир узнал: ветерок холодком бежит, на вѐках — прохлада, и вдруг — ломота такая сладкая, словно солнце в костях и ветер, так бы лежать камнем мшалым: годы, лета, века.

[Т]то одиночество знал—на древних кремлях русских—в Новгороде ли [Н]ижнем, во Пскове ли: лежит везде внизу — родина неисхоженная [д]алью веков и судеб своих. Войнами мерилась, курганами насыпалась, [к]роилась усобицами—и сейчас усобицами мерится—за недряную правду [к]акую-то, не всеми чуемую: одни только чуют по-звериному—молодь [в]от эта, скороспелая, войною обглоданная, войною вспоенная. Долго [к]ремлем ходил, дикостью этой Курдыш, стрижи да касатки, да ветер [д]ревний, да Русь, какую в крови нес: степная, татарская. И одного [ч]еловека только встретил на всем просторе: брови как кисти, шляпа [п]ыльная куполом, а под куполом –глаза, пронзительные, как на иконе [н]овгородской. В глаза поглядели друг другу, спросил Курдыш коротко, [к]ак всегда с людьми говорил: коротко, срывом как-то—некогда гово[р]ить, на ходу все:

— Монах?

Ответил человек—голос, как часы башенные—словно час пробили:

— Нет.

— А кто?

— Человек.

— Это вижу.

Поглядел Курдыш, понравился ему человек древний: говорит [т]упо кто, глаз не отводит—значит, правду свою имеет.

— А живешь где?

— Здесь.

— Один?

— Один.

— Отшельник, что ли?

Ответил презрительно человек:

— Художник.

Видит Курдыш: не лжет человек, глаз левый щурит, его словно [п]рикидывает—как лучше взять—сбоку ли, прямо ль; спросил:

— Гордости, что ли, много, что от людей ушел? Внизу надо жить, здесь—плесень одна.

Усмехнулся человек:

— С людьми скорее плесень покроет. Здесь ветер обдувает.

Посмотрел еще Курдыш на брови косматые, на пыльный купол, [с]казал деловито вдруг, просто, словно давно все обдумал:

— Художника нам и надо. А то здесь детей учить некому.

Так просто сказал, что мигнул человек даже, сошлись косматые [б]рови, разошлись; опять—словно два пробило:

— Богомаз я.

— Это—что же?—свертывал Курдыш собачью ножку.—Не курите? [Н]ичего махорка. Я скручу.

Взял человек желтыми пальцами ножку, затянулся — плывет ды[м]ок синий, махорочный, а махорочный дымок — дружеский, так уж

на Руси повелось: плывут два дымка кислых, в один свиваются— сошлись на минуту две души человечьи.

— Это что же—богомаз?

— Иконы писал.

— Бросить надо. Иконы сейчас ни к чему. Сейчас Россию не иконами строить надо. Вот вы плакат лучше нарисуйте, чтобы паровозы больше чинили, а то у нас — гниль одна...

Опять сказал человек—словно три пробило:

— Монахов зря разогнали.

— Эва, о чем вы! Монахи — бездельники, тунеяды. От них на Руси вся лень пошла. Тут дело надо делать. Тут в кремле вот—электрическую станцию поставить, город осветить, механическую чистку рыбы наладить, а то у солильщиц вот язвы от соли,—разве это человеческое дело?—Говорил спокойно, дымок пускал.—Монахи на ваших иконах наживались,—много ли радости? А у нас живое дело—детей учить надо, всю Россию учить надо. Нарисуйте плакат вот: кремль этот с одной стороны, заборы тесовые, ватаги внизу загнили, а с другой — станцию электрическую наверху, дома освещены, а внизу— механическая чистка рыбы машинами. Никакой обиды богу не будет, что человек облегчить другим жизнь хочет. Вот она—Россия наша, богатая страна, а что толку? Дико люди живут, лениво, скушно. Надо, чтобы жить научились, жизнь славили, а не уходили от людей, как вы, например. Этого и бог ваш не примет, уверен я.

И опять дымки плывут, в один свиваются. А на Каме пожар, золотые щиты, разомлела от солнца, и пароходик белый, что голубь, меж двух грудей синеватых.

Сказал человек еще:

— Нельзя человеку человека убивать.

— Когда мир—нельзя, это верно. В миру человек строить должен и беречь жизнь другого: тут заповедь, не хуже евангельской вашей. А когда война, когда человек щетиниться должен, как волк, чтобы другой кто горло не перегрыз — какие тогда заповеди могут быть? Тогда кто сильней, да находчивей—тот и прав. Утверждается кровью жизнь—драка, ничего не сделаешь. Думаете—вы хорошо живете, от драки ушли? А драка ведь за что... за это вот—за Россию. Вот наша правда.

Круто молчал человек и брови круто сошлись—в одну черту.

Знал Курдыш: две правды в день этот на древнем кремле сошлись: ковылем обе пахнут—так ковылями, степью шла Русь судьбою своею, — правда одна—скитская, на чем Кержань стоит, на чем отрекался человек веры крепкой от обид правящих, неправедности судов царских, пыток царских да застенков, да поповской корысти, да войны смертной человеческой— и другая правда—новая, на чем заново Русь строится, кровью мерится человеческой, правда за счастье батрацкое, за того, кто смердом пребыл в веках да холопом—и за обеими

правдами: Русь, Россия—вот как внизу разметалась: поемными лугами, простором, посконью да сермягой, великой нищетой и богатством великим, втуне лежащим.

Долго еще ходил Курдыш в день этот по древним стенам кремлевским, и рядом человек дикий шел, в церкви заходили сырые, беззвонные, и ход потайной указал богомаз—сквозь всю Поклон-гору к самому затону: мшалым холодом могилы, вековою сырью кирпичной, проворными ящерицами—какая хитрость и окаянство человека строили кротовый ход этот, не много ли стонов человеческих да крови несмытой узнал, а над всем—облака кроткие, козьей шерсткой пушатся—плывут неспеша, иную безмятежность человеку указывают. Вечерами в кустарниках по взгорью много шопота девьего, поцелуев да стонов голубиных, да хохотом низким гитара рассыпается—и в первый, может быть, раз скушно стало человеку одному на высоте дикой, к людям захотелось, в грешную их и живую кучу: и в зной сыро в каменных кремлевских приделах, ласточки с писком козьи облачка стригут, отстанет шерстка, закурчавится к вечеру, ниточками протянется, быть новому дню—погожим.

Три дня еще оставался наверху человек,—на стене горячей сидел, ящерица головку проворную с глазком агатовым высунет,—на четвертый под вечер спустился богомаз в город, улицами шел, как юрод древний, бежали мальчишки сзади—пришел к Курдышу. Пришел и пробил:

— Пришел я.

Сказал Курдыш деловито:

— Вот и отлично. Завтра и приступайте. Детва хорошая, я вчера у них был—способные есть, очень.—Поглядел вдруг глазком узким, монгольским, улыбнулся:—А это вот—долой все надо. Сапоги у меня есть, картуз тоже. Шинель мою возьмете. А лохмы—состричь надо, лохмы ни к чему. Надо, чтобы детва не дичилась: человек, как человек.

Сказал трудно тот:

— Я вот дни эти думал, про что говорили намедни... о России. Может, и правда, что пропасти и нет вовсе, а только с двух концов разных подходим, а посередине—Россия, а кажется—пропасть...

Ответил Курдыш просто:

— Если честные люди—какая может быть пропасть? Дело одно—Россия, а сговориться—не трудно, если корысти нет. А какая у вас корысть может быть—подрясник один был, подрясник и остался.—Коротко говорил, деловито—как привык: призывать, паровозы чинить, хлеб сдавать, под ружье итти—и всегда кругом: трудные глаза, черные—сермяга.—А дело одно—общее—есть, дело и будем делать. Померьте шинель-то, должна быть впору. А это все скинуть надо—плесенью пропахло. Охота—милостью человеческой жить, сам-то кто вы—духовный?

Ответил вдруг человек—словно завод сорвался пружинный:

— Сын крепостного, богомаза же, Андрея Хрисанфова, на куреповском заводе фарфоровом в Екатеринбурге замучен был злодейски, на чашке фарфоровой неправедность монахов изобразил, распутство епископское с отроковицей Ксенией — опозоренной. Неведомые злодеи залили горло спящему составом горячим фарфоровым. Завещанное мне, сироте, искусство богомаза сохранил, посвятил изображению великомучеников, к коим причисляю по праведности жизни отца моего.

Увидал Курдыш вдруг—за плечами замшелыми богомаза: Русь дикую, крепостную, лучшие всходы человеческие именно составом горячим залитые, чтобы ростков не давали,—ту, может, Русь, за которую сам — годы по тюрьмам гнил, каторгу кандалами отзвонил, как все люди его племени, в лютую пору, крепостной хуже, о России вольной возмечтавшие. Сказал Курдыш раздумчиво:

— По стопам отца итти надо было, неправедность изображать. А икона что̀—один мрак, тут свет нужен, много света. Двоих ребят делу научите, лучше за отца отмолитесь, чем сотней икон. Что ж, пропасти, видно, и нету никакой... путями разными идем, верно, но дело — одно общее, вот оно дело,—широко окрест показал: на Русь, на Каму, на зелень, на синь.—Всегда я так думал и прежде, что бунт двух стихий есть—одной вашей—народной, из-под спуда, только пути своего не нашедшей, и другой — нашей... только мы — жизнью шли, кровью, а вы — в изгнание уходили, в срубы, жизнь не хотели принять такой, какая есть, в постриге пути искали,—а постриг, может быть, принять жизнь, а не уйти от нее...

Много говорил человек в этот день, словно пружина ржавая отошла в тепле—детство развертывалось сиротское, монашество черносхимное, да высь одна, да кручь, да кипарисные доски иконные, да смуглость ликов пронзительных... И крепко свивались махорочные дымки сизые—в один.

Утром пришел Юстин в куреповский белый дом: сивый, в шинели солдатской, патлы сострижены, торчат черно-седые, сапоги тяжелые, сбитые—много в них Курдыш прошел фронтами—с Дона до Польши с севера на Кавказ. Дичилась детва сперва, потом учуяла—чуют дети всегда безвредность человечью, как звери,—притихли возле, рисовал он им птиц с пронзительными глазами, диковинных зверей,—пришел через день Курдыш, увидел: сидят рядами, щекою к бумаге, губы выпячивают, выводят; и увидел еще: не прежние запертые глаза, не сумрачность одинокую,—тепло в глазах, словно уголь горячий под пеплом, и сам человек теплей, уютливей, отогрелся... Крепко сошелся с детьми Юстин, уходил с ними на Каму, жгли вечерами костры, на рыбаков глядели, как сеть выезжают ставить, татарчат много было—пели песенки свои—сиротские, трахомные, невеселые, по кустарникам треск, возвращались усталые, тишиной пропахшие.

Надломилась осень, дозрел хлеб, золотая пшеница поволжская—чаще уезжал Курдыш в уезд, дольше светили в ночь исполкомские окна, тревожнее стало жить. Приезжали люди из уездов—хмурые, торопливые, торопливо в исполком проходили: зачиналась страда, перекатывался селами—мужицкий бунт, не хотят мужики отдавать хлеб. Говорил Курдыш на сходах до хрипоты, стояли мужики крýгом—сивые, мрачные, в землю глядели сумрачно, не подавались; из закут, из земли оружье откапывали—с которым еще по Мазурским болотам, по Карпатам ходили,—готовились крепко стоять за хлеб. И так началось: забили мужики паренька—литого, синеглазого, что за день к Курдышу приезжал,—надсмехательски забили, как спокон на Руси убивали—ни молодости не жалея, ни страданья человеческого. И как забили, пошлó, словно свежинки в неволе зверь испробовал: заполыхал уезд, по ночам живьем жгли людей, чтó за хлебом приехали,—покатилась мужицкая вольница неуемная, а за вольницей по пятам шли те, что полгода назад гнались люто, и за все: за лютость ухода своего, за обиду, за деленную землю свою—крепко платили, пароходы захватывали, вольность и достаток такой обещали, что кружилась мужицкая голова; и у рыбарей поклонских, у солильщиц, в затоне—закружилась: выползли в ночь одну в Поклонске те, чтò в углах притаились, под половицами, заполыхал город, колокола зазвонили, как давно не звонили, набатом,—далеко по Каме в осеннюю эту страду набаты слышны были. Опустел город, обезвластел, вели исполкомских,—шли белые, сапоги да тужурки кожаные—надрывалась толпа:—Что, кожаные, попались! Спустим теперь кожу вашу!..—Прибежал задами Курдыш в дом, бумаги какие на свече жег, револьвер осмотрел—шесть пуль в обойме, седьмая в дуле, зубы как зверь оскалил, стал ждать: никуда не уйти, всякий знает, пальцем кажет. По стене распластался, ждет; застонал даже, когда по стеклу ногтем постукал кто-то, шею к окну вытягивал: стоит богомаз, патлы под картузом, пальцем манит. Отсырела пружина словно, шепотком развертывалась:

— Шляпу мою надевай, цела шляпа-то?—подрясник куда девал? Чего зубы скалить, милости не жди. Задами пройдем, до Поклонской дойдем, пущай ищут. Да ворочайся.

Шагал Курдыш огородами, как никогда не шагал: хлюпает подрясник в ногах, шляпа итальянская куполом, вел Юстин огородами, в заборе доска где вынута—крепко знал город, мыший лаз. И раз только, или почудилось—прижались глаза человеческие к стеклу и лапошка у глаз, чтобы лучше увидеть,—и смотрели глаза в черноте. Вывел Юстин к дикой круче, вел дорогою птичьей, по кустарникам, через осыпи кремлевские кирпичные; сквозь водосток мшалый за стену выбрались: опять простор черный, лежит город внизỳ, звон колокольный рядает—и зарево полыхает, зажгли внизу ватаги рыболовные—его труд многомесячный, стиснул зубы Курдыш:—Свое же жгут, дикари!..—загорелось внутри: татарское, изначальное—засвистать над городом так

вот в два пальца, чтобы люди шарахнулись, чтобы ужасом дрогнули... за нерадивость свою, за темень такую, что миру страшно... а что сам— волк затравленный, задами пробирается, жгет кто-то пьяно, шало, бессмысленно, что такими трудами для него же строил. Зверье, зверье— лучше,—а небо в осенних звездах колючих, небо в чешуе рыбьей—и бессмертие такое, вечность—на древнем кремле русском.

Говорил Юстин:

— Теперь все затаи, гордыню свою затаи, человека затаи... теперь зверь ты травленый. До утра не придут сюда, а как ободняет—проведу тебя ходом... ход земляной, камнем завален, на версту идет, а там бакенщик верный есть, монах непокорный—расстрига, за ночь далеко отвезет, сам дойдешь там—кто тебя знает там!..

В часовне сидели, окна решетчатые, острожные,—холодно, дико, крысы монастырские в город сбежали от голодухи,—хлеб черный ломали—вот уж родимый хлеб—в неволе да голоде всю родимость его узнаешь, колосом ржаным на той земле растет, где больше суглинку, чем черноземья.

Говорил Курдыш:

— Идем со мной, богомаз. Большую тебе жизнь покажу, как люди строить хотят, как жизнь делать научились. Всю Россию перепахали, по-новому засеять хотят... Много, богомаз, увидишь, крови много и страданья человеческого много, но и мечты зато много, никто еще на Руси мечтать так не смел...

Сидел Юстин в углу, колена руками обнял, как острожник. Опять пружина шепотком развертывалась:

— Никуда не пойду я отсюда. С теми не ушел, с тобой не уйду... жил здесь один—здесь и останусь. Наша правда вашей не рознь: наша правда скитская, раскольничья... по лесам выношенная, ветлужским да керженским, наша правда тоже за Русь—против неправедности, притязательности человеческой, веры поповской... Мы и земле поклонимся за хлеб и человеку за труд над ней—земля наша кормчая. И вы, верно, к правде идете—только другою дорогой, мечом да словом крутым, а правда наша одна, земная...

Запомнил Курдыш крепко: ночь эту, разговор острожный в часовне пятисотлетней, дикость вышины фряжской—так же на срывах строили генуэзцы крепости свои дикие, над ними и посейчас—птицы одни да вечное одиночество,—и здесь рано, чуть ободняло осенне, уже засвистали касатки в паволоке молочной,—запомнил Курдыш еще: путь дикий, подземелием, на четвереньках, вспыхнет на миг кремень зажигалки—камни мшалые да серые пауки в стороны—кто полвека назад полз подземелием этим и от чьего лихоимства строилось!—Дышали во тьме часто, ногти о камни обломаны, трудное сердце у горла стучит, дальше припадали, ползли—и вдруг посерело, или в глазах от спертости бело стало, зелень на стенах проступила—вверх уходит колодец каменный, по выступам—и день над ним, такой простор, белизна такая, такая

вечность воздушная. Захотелось Курдышу закричать, зареветь так—восторгом, жизнью вновь найденной, в траве кататься,—росная, холодная трава осенняя. Вот она снова—кормчая, любимая земля,—холодны ее недра, а по ней итти—легкость одна, слава одна. И дальше кустарником пробирались—лежит Кама утренняя, в тумане, темны берега, сини кручи. И в норе каменистой—в самом каменном срыве, как пещерный человек какой, живет бакенщик. Поглядел Курдыш в синие глаза в бороде курчавой—по самые глаза борода—не страшно стало: не выдаст. У пещеры поплавки бакенные, снасть нехитрая, лодка смоленая.

Сказал Юстин:

— Сейчас отоспись пока, к вечеру отвезет, дойдешь там авось. Не такие, небось, дела ворочал,—и раздвинулись вдруг усы кустатые, зубы желтые—улыбнулся, словно солнце в тумане.—А мне назад вертаться. На след наведешь ненароком,—надо, чтобы видели люди—здесь я.

Уснул Курдыш крепко в пещере, сразу, хорошо человеку спится после тревоги,—и день осенний разжегся. Засияла заря на кресте соборном поклонском, загорелись окна по взгорью, долго плескался пожар, дома зажигал—поплыл день, как ковш синий осенний. Проспал Курдыш полдня,—выпростал бакенщик уже верши за ночь, уха в котелке—никогда вкусно не ел так Курдыш и никогда не казалось так, что далеко тревога и опасность жизни, а одно и есть только—радость эта жизни, да ход ее прохладный и полный, как осенний этот день. Много молчал бакенщик, трудно говорил—жил сам с собою в пещере, выплывал на душегубке сеть ставить, фонари оправлять, костью рыбьей наместо иглы чинил худобу свою, как дикарь какой—может быть, здесь вот, на берегу речном, правду свою нашел, бакенный фонарь свой засветил. Много людей таких молчаливых, бакенных, по России плыло, указывало дорогу пароходам, сиротствовало в ночной черноте, непогодою задувалось.

Вечером—задернулась Кама когда туманом—повез он его в душегубке, долго плыли, ночь всю плыли, застыл Курдыш, и звезды холодные, как глаза кошачьи, и ночь на берегах притаилась—кошкою черной. Под утро пристали далеко к желтой косе, за желтой косой—берег, села и веси, да города, пошел Курдыш монахом странным, в подряснике и шляпе итальянской, — а хоть очерствел народ, олютовел, — а любят спокон на Руси странных людей юродивых, монахов-расстриг, калик перехожих,—дошел Курдыш до первого города; и уже дальше понесло поездами, опять в сапоги да куртку лощеную бросило, жгутом опоясало,—новый фронт понесло месить, как пять месил кряду лет.

И утром же, как вернулся Юстин в логово свое, где сыростью, доской кипарисной, лаком богомазным пропахло,—пришли наверх люди; черно стало на площади кремлевской. Всю ночь Поклонск рыли, Курдыша искали, показал человек один—тот, что глазами пустыми стекло

сдавил, когда шли огородами,—показал человек—вел богомаз Курдыша задами. Солильщицы краснорукие, молодцы куреповские,—словно ветром в кучу смело опять—вел человек угрюмый, нездешний, нос хрящом, щетинка на подбородке.

Спросил человек Юстина — есть голоса такие: негромкие, беспощадные:

— Ты комиссара увел?

Огляделся Юстин: черные глаза запавшие, иконные, тесно кругом, в один вздох дышат; касатки в небе высоко—быть погожему дню; перелет скоро птичий, заклубится Кама туманом, полетят к теплым морям; вздохнул глубоко, сказал:

— Я.

Дохнуло жарко кругом. Сказал Юстин еще:

— Я увел. Слепота ваша, жадность до крови ваша, человека настоящего зря погубить—что вам стоит? Зачем ватаги жгли? для вас же строил, ваше добро, для вас трудился много!

И опять жарко дохнуло. Крикнул куреповский-торговорядский:

— А ты кто—пащенков за махру учить стал? За иконами прятался, веру поганил!..

Оглянулся Юстин: одни рты открытые черные, лица красные,— так спокон забивал конокрадов полевой самосуд мужицкий—и снова: свет милый, касаток, мир узнанный свой увидел Юстин. Широко голубеет осеннее небо, облака, как паруса досчаников, легко, просторно жить человеку.

Долго, три дня и три ночи, над самым срывом, над дикою осыпью кремлевской—так, чтобы видно поклонским было и с Камы далеко— качал ветер черный кокон, глазницы черные, воронье пугачевское низко летало—приказал не снимать угрюмый человек негромкий, чтобы другим неповадно было, чтобы крепко запомнили. С Куликовской битвы еще, а может и раньше, с варягов,—знает воронье свое ремесло—и нигде нет воронья такого, как на Руси: и наперво всегда глаза выклюет, чтобы не видел человек посмешища своего и тленной своей юдоли. Змеист кремлевский ветер осенний, шелком прошумит, просвистит по-змеиному на крестах да в пролетах,—рано ложились поклонцы в непогодливые эти ночи, крепче ставни сдвигали. В осень клубится Поклонск туманом, черная вода камская, последние пароходы идут; по утрам в шерсти овечьей от изморози склоны, серый тёс острожный, да такая высота, такое окаянство, сивая тоска такая, одиночество русское.

И осенью этой же шел Курдыш, скрипели в ночах повозки, кони ржали, походные жгли костры—шла Русь походом, войском мужицким красным,—та же посконь да сермяга, крестным путем своим: землю усобицами собирать. Много курганов насыпано на пути, уходили горбами к Азову и к вольным степям казацким, голубые туманы, сухмень

да зной степной непалящий. Ночью осенней взобрался Курдыш на курган—долго взбирался, много раз небу поклонился — и вдруг: такой простор древний, как тогда на кремле поклонском, в туманах, в безмолвии лежит земля, немая земля ночная,—а если прилечь к ней ухом, прислушаться—таким зовет голосом утробным. Долго стоял Курдыш на кургане, пожарами половецкими полыхает степь, ветер ноздрями ловил — степной ветер, татарский — тот, что в крови шумит, вспомнил богомаза, не в таких же ли в ветрах ночных, гудом земным правда его отстоялась?..

Утром рано повозки заскрипели, тронулись кони, снялось становище, отступал враг впереди пожарами, казнями, вороньем,—и в ночь одну обезвластел снова Поклонск: уходили на пароходах, опять пожгли, чего не вывезти было, и снова на белом доме куреповском красным пролился флаг. Снова завозился город, на новые службишки побрел народ поклонский, поглядит проезжий кто—на тёс острожный, да на гнилозубье еще от сожженных ватаг—скушно станет: дальше, мимо—и защемит сердце от дикости осыпей, от плюща векового, от сверкания стрижей на такой высоте нечеловеческой.

А в кремль—к весне—как зацвел он диким цветом, такой черемухой густою по склонам, что от миндального черемухового духу голову ломит,—перевели весной в кремль детей. Зашумело в сырых монастырских кельях, открыли стрельчатые окна, вошло тепло; таким гомоном детским, звонкостью, жизнью шумной—одни касатки носятся беспокойно; отошел в кельях камень от солнца. Днем по склонам—кумач детский, как земляника, на стенах кремлевских белоголовые, сидят на стенах ребята безродные,—а полна безродных Русь испокон,—плетут из лычка корзинки, ящериц ловят скользких—и поют вечерами; и далеко вечерами колокол слышен по Каме: ко сну. Утром рано зашумит кремль, пойдут с ведрами за водой, дымок над трапезной монастырской закурится—своим живут государством детским. А над срывом, где кряду три дня осенних и ночи кокон болтался черный с пустыми глазницами—такая черемуха густая, такие залетные соловьи жегулевские ночами изводятся, таким цветом весенним цветет земля, что самый заскрузлый кто—отойдет поклонский, словно зов услышал: и что с собой делать, и как жить так, чтобы землю и жизнь славить—знает в эту пору.

Лопасня,
1924.

Старухи.

(Отрывок из повести).

Сергей Малашкин.

Посвящаю дорогому другу,
помогавшему мне в работе,
Вяч. Мих. Молотову.

I.

Дул неистово ветер, без отдыха.

По дорогам, по земле, цепляясь за пожелклую траву, звенела металлическая листва.

Дулась, щетинилась измятая колесами солома.

Куры бежали под ветер. И было видно, как ветер разворачивал их хвосты и обнажал розовые пятна.

Дул ветер. И как это ему не надоест,—удивительно.

Скрипели березы, тополя и ветлы.

А под ветром и на ветру, под ветлами и березами тоже скрипели:

— Смешно, а теперь еще стало смешнее.

Это, разевая беззубые рты, раскачиваясь из стороны в сторону на тонких, обтянутых желтой кожей ногах, скрипели дряхлые, желтые старухи, похожие на изъеденные червями пни, рассыпающиеся мягкой пылью цвета охры.

В ответ, опираясь на палки сухими впалыми грудями, сонливо двигая пепельными ресницами по стоячим и мутным, как капли какао, зрачкам, запавшим глубоко в орбиты, отвечали — и тоже скрипом — другие старухи, стоявшие за несколько домов, около покосившегося крыльца и тоже под ветлами, березами.

— Да-да...

— Расея...

— Сгорела.

— Конец, бабуньки, конец.

— Иии...

А ветер, срывая последние листья с деревьев, то голодным волком выл, то молодым, только что отбившимся от матери жеребенком ржал.

— Оувыны...

— Гы-гы-гы...

Но этого мало—ветер перекидывался в лохматого лешего, под катывался к старухам, забирался под затертые, засаленные от спячеі юбки, рвал их во все стороны, затем снова вырывался и, раскачива старух, как ненужные и плохо прикрепленные к огородам пугала, гну их к земле и выл им в уши.

— Ссс-ссс... ии-яя...

— Матушка,—крепче опираясь на палки, шипели старухи.

— Расея...

А ветер то-и-дело подкатывался под ноги, забирался под юбки возился и опять вырывался и, шумно вертясь вокруг их под ногами поднимался с пылью, с стрелами легкой соломы кверху.

— Ссс-ссс... иии-яяя...

— Царица...

— Заступница...

— Она, матушка... все видит...

— Как есть все...

— Иии... великое наказание...

— Великое, бабеньки...

Так, раскачиваясь от ветра, скрипели беззубыми ртами старухи.

Скрипели березы, тополя и ветлы.

А ветер, то прикидываясь в лешего, то в молодого жеребенка, выл и выл.

А вдали, за селом, было другое.

Там было... пух-пух-пух!

Это стальное чудовище, попыхивая зеленоватым дымком в затянутое серыми обвислыми облаками небо и вздыхая молодо-стальными легкими, взрывало поля под яровое. От лемехов летела земля, кочки и пни. Над стальным чудовищем испуганно, с криком кружились черные птицы: они боялись опуститься в свежие борозды чернозема, полакомиться жирными червячками. Но пройдет время, и они так же, как и мужики, привыкнут и убедятся, а когда привыкнут и убедятся, что это не чудовище, что это не дьявольская сила, а только простая железная лошадь, лошадь нового времени, рожденного бурями и революциями, и имя этой лошади, этому страшному чудовищу—Трактор...

...И тогда птицы, как и человек, обратавший эту стальную лошадь, будут радостно, наперебой друг перед другом, перелетать за бегом стальной лошади на свежие борозды и лакомиться жирными червячками... Так птицы привыкнут и не будут испуганным криком оглашать поля:

— Кра-кра.

Ветер тоже не будет разносить тревожный крик перепуганной птицы по селу, заставлять тревожно вздыхать и охать старые кости...

...А стальная лошадь, которой имя—Трактор, раскидывая во все стороны кочки, пни,—пыхтит, пыхтит и пыхтит:

— Пух-пух-пух.

Таким же голосом, только неизмеримо большей силы, откликается электрическая станция:

— Пух-пух-пух.

И гудит, и гудит этот стальной разговор над селом, и этот разговор, от которого вздрагивает земля, разносит ветер не на десятки верст, а на целые сотни:

— Пух-пух-пух...

Рвется, бегает, мечется ветер.

Кружатся в ужасе черные птицы:

— Кра-кра-аа...

...От крика, от ветра, от стального вздоха в селах, в деревнях вздыхают радостно молодые, тревожно прячутся в темные углы старые и только из углов, вытаращив бесцветные от времени глаза, робко выглядывают, хрипло шепчутся:

— Да-да, бабеньки... пришли последние деньки...

Одна из старух оторвала острый, как кочетык, подбородок от конца палки, строго посмотрела каплями какао из глубоких впадин глаз на правый конец села, а потом на старух.

— Дьявол храпит...

— Храпит...

— О, господи,—вздохнула тяжело с каким-то надрывом старуха, подошедшая только что от другого крыльца.

— Ты, что-ооо?—прохрипели тревожно старухи и уставились на нее стеклами зрачков,—аль что случилось?

— Бабеньки...—плакала жалобно старуха, но глаза были сухи так же, как и земля в засуху.

— Ааа!—проскрипели старухи и впились еще острее стеклами глаз.

— Растолкуй.

— Али грех какой?

— Грех, бабеньки, грех,—вздыхала подошедшая старуха,—да еще какой, даже страшно сказать...

— Господь с тобой...

— Мы, чай...

Старуха только было раскрыла рот, показала два желтых, единственных зуба, как тут же его вновь закрыла и, крестясь и качаясь из стороны в сторону, засеменила обратно к своему крыльцу.

Старухи забеспокоились, замотали на тонких шеях головами.

— Ааа... Сергевна?..

Сергевна испуганно нырнула сквозь покосившееся крыльцо в сени и старухам показала только оттопыренный костлявый зад, обтянутый не юбкой, а сплошными заплатами, исхлестанными через край белыми нитками.

— Сергевна...

— Здорово, бабушки.

Старухи дернулись в сторону, а потом пригнулись к земле.

Мимо них прошел комиссар Груздев.

— Здорово, касатик...

И, скрипя синими деснами и желтыми корешками зубов, поползли за Сергевной.

Казалось, что они не поползли, а их вместе с пылью и навозом широкими лапами смахивал ветер.

— Заступница...

II.

Как только Сергевна ввалилась в избу, так тут же заперла дверь на крючок, закрестила тонкой непослушной рукой дверь.

— Сусе Христе...

И, затаив на минуту дыхание, прислушалась: тихо, только в селе, вернее, кто-то огромный, возвышающийся над селом, а, может быть, над многими селами, взмахивал огромными руками, бил по селу, может быть, по многим селам, отчего вздрагивали избы и как будто разжимались и сжимались, как кузнечные меха. Впрочем, это только так казалось: избы не разжимались и не сжимались,—это работала станция, и было слышно, как от села Мстеры к другим селам по ее жилам, протянутым на десятки верст, бежала электрическая кровь, пронизывала каждую избу, каждый сарай, каждую закуту и заливала золотом.

Сергевна замахала сухими костями рук, села на край конника.

А сердце станции, разливая на десятки верст потоки крови, мерно, сильно работало:

— Пух-пух-пух-пух!

Изба Сергевны вздрагивает, разжимается и сжимается. Сергевна тоже вздрагивает. Да как же было Сергевне и не вздрагивать, когда жизнь пришла—хоть в могилу живой полезай. Разве раньше было так? Сергевна прислушивается: „Пух-пух-пух-пух". И верно—вздрагивает изба. Вздрагивает Сергевна. А может быть, она, Сергевна, не вздрагивает, а это ей только кажется. И она, Сергевна, вытягивает голову вперед, смотрит на окна, на верхние притолки окон, над которыми она ныне весной навтыкала свежие веточки чертополоха (она, Сергевна, это проделывала ежегодно). Веточки чертополоха были не только над окнами, а они были и над крыльцом, над дверью в сени, а также над дверью в избу, даже с обеих сторон—с наружной стороны, как войти в избу, и из избы. Веточки чертополоха пугали нечистую силу, которая только плодилась на земле, смущала христианский люд. Веточки чертополоха, нужно сказать, пугали не только одну нечистую силу, а они пугали даже самого чорта,—и это верно. Недаром многие утверждали, что они собственными глазами видали, как чорт, завидя этот проклятый цветок, шарахался в сторону, бешено плевался, проклиная все и всех на свете...

...И это опять верно. Если бы было неверно, так зачем же было давать этому цветку имя—ч е р т о п о л о х?..

Итак, все веточки чертополоха над окнами (окон было только два), над дверями своими головками кротко светили синим светом, в избяную темноту, а также и на улицу, в осеннюю сероватость дней. Сергевна, рассмотрев все веточки чертополоха, откинула вытянутую голову назад и привалилась спиной к стене, а затылок головы положила на покатый паз бревна и, вяло хлопая синими губами, зашипела вялым языком, деснами, покрытыми желтой гнилью, заговор, чтобы сильнее было, чтобы вражеская сила, в лице комиссара Груздева, не переступила не только порога, а даже маленькой скважинки ее избы...

— „Господи Сусе Христе, сыне Божий, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Постави сам Сус Христос, от земли и до неба златы лествицы. У тех златых лествиц по три ступени, по три воина-хранителя, по три тугих луков, по три златоперых стрел. И стреляет сам Сус Христос кругом меня, рабы Божия, весь клят пол и стерег сам Сус Христос кругом всех: и злова лихова человека, еретика, грыжника, икотника и ломотника уставов христианских: не може крови своей пить, мозгу своево сать, чев из утробы добыть, рук пересечи, морской глубины проведать, земной широты и небесной высоты и всей земной окружности"...

Ветер яростно запрыгал по крыше, распахнул сенную дверь, ворвался в сени, забегал по сеням, завертелся:

— Шшшшшш...

И, навертевшись вволю, снова размахнув и хлопнув дверью, вырвался обратно на улицу и пошел писать по земле, по дорогам.

Сергевна вздрогнула, сорвалась с конника, подбежала к двери, прислушалась—никого.

Только над селом, над избами:

— Пух-пух-пух-пух!

— Господи Сусе!—прошипела и замахала сухой рукой Сергевна, опускаясь на колени перед божницей.

—„...а также мя рабу Божию не урнуть, не уловить, ни злым конем, ни диавольским можением, ни бесовским помыслом... О, Господи Сусе... и будьте мои слова крепки, и аки тем словам ключ и замки за морем-окияном"...

Накланявшись вволю в выскобленный сечкой, которой рубят капусту, набело пол, Сергевна, похрустывая сухими косточками, поднялась с пола, села на лавку конника, вытянула шею, осмотрела веточки чертополоха и, откинув опять на покатый паз бревна голову, вздохнула:

— Сусе...

Синие головки чертополоха ласково смотрели на Сергевну. Около окон, вернее, на улице, против окон и против дверей ее, Сергевны, избы, вертелся на одной ноге, отплевывался во все стороны вертлявый, похожий на медведя, чортик.

— Сусе, разве раньше было так?..

Раньше она, Сергевна, ни о чем никогда не думала, страхов никаких не знавала, почет имела большой; за несколько десятков верст к ней старушки шли, молодухи шли, девушки шли...

Кротким, пытливым старушкам она, Сергевна, говорила:

— Вставать, касатки мои, надо рано, чтобы до зари, до солнушка ясного, не оглядываясь назад — на север, сходить в южный родник; не возмутив живого ключа, зачерпнуть половину кувшина воды, а когда наполните на половину кувшин живой водой, надо повернуться к югу спиной и тоже перекреститься до трех раз и, не оглядываясь назад, на юг, надо сходить в северный родник и дополнить кувшин водой; когда будет полон кувшин живой родниковой водой, то тоже надо перекреститься, и тоже не оглядываясь, итти домой. Вот и все. Дома ежедневно, и тоже непременно на заре, до восхода ясного солнушка этой живой водой смачивайте все те места, которые страдают недугом. Если болят глаза, то, перекрестясь и непременно читая негромко шопотом „Отче наш", смочите три перста, а затем перстами глаза, ибо Господь Бог наш в трех лицах и везде сущ...

Молодым бабам-молодухам Сергевна говорила почти одно и то же, что и старушкам:

— Непременно, непременно, бабочки, с троеперстия надо сбрызнуть неверного, непутевого и блудного мужа, любобабника сиречь, занимающегося с чужими бабами, девками непутевыми, играющими в самокрутство...

В деревнях, в селах о таких бабах, девках говорили ясно, коротко, хотя и не без

— Тьфу...

И переводили, перекидывали слова, разговоры на другие предметы, что́ попадались на глаза.

Девкам Сергевна говорила:

— Как выйдете, голубки мои, за гумна, сделайте с молитовкой троеперстие, опустите их во святую воду и троеперстием зачерпните немного капелек наговорной водицы, спущенной с образа троеручицы, разбрызгайте их на все четыре сторонушки,—и, вздыхая, добавляла:— неведомо и незнаемо, с какой сторонушки выйдет любимый, мил-дружек, зазнобушка, суженый...

— Сусе...—выдавила Сергевна из нутра, скатила через бледно-синие губы.

— Капли... капельки...

— Расея...

— Сгорела...

— Еретики... еретики... Сусе...

И, несмотря на вскинутую голову и на вскинутые стекла зрачков к потолку, она, Сергевна, видит и слышит, что́ делается за окнами ее избы, на селе. А делается за окнами ее избы и на селе, действительно,

что-то невиданное, неслыханное, отчего она, Сергевна, вздрагивает телом, похрустывает старыми косточками:

— Сусе...

Да и как же Сергевне и не вздрагивать тощим телом и не похрустывать косточками, когда за окнами ее избы, на селе,—вернее, мимо избы и по селу,—ходит маленький, невзрачный, совершенно обыкновенный, как говорят, соплей пришибешь, не больше мизгиря, как есть настоящий мизгирь, комиссар Груздев, поглаживает бронзовою ладонью черные кольца волос и, рассыпая из хитро прищуренных глаз бронзовую пыль, перемешанную с искрами огня, весело говорит, словно шутит:

— Тут будет электрическая станция...

— Там будет трактор...

— Тут будет школа второй ступени...

— Тут будет больница...

— Тут будет театр...

— Будет... будет...

—...Оазис коммунизма, первый уголок...

...и еще говорит...

Сергевна вздрагивает, закрывает тонкими веками мутные стекла зрачков, но стекла зрачков просвечивают сквозь тонкие веки и смотрят в потолок, как две капли мутного какао.

— Сусе...

...Россия стала другой, и ты, бабушка Сергевна, не имеешь никакого права заниматься невежеством и обманывать народ...

...И вырастал в избяной темноте и напирал на глаза все ближе и ближе комиссар Груздев, на вид не больше мизгиря, подносил к самому носу Сергевны большой лист бумаги, на котором прыгали, вытягивались всевозможные крючки букв, цеплялись за ее тощее, дряблое тело и, вскрикивая, лезли в уши и там—в ушах Сергевны, желая перекричать друг друга,—орали металлическим криком:

— Протокол, протокол, протокол...

...1921 году к гражданке к гражданке села Мстеры Аграфене Сергевне Стародумовой...

...привели гражданку из села Мстеры и тоже...

...Стародумову, страдающую водянкой в острой форме...

...Стародумова посоветовала Стародумовой, а больше ее родным, привезшим ее, сбрызнуть божественной водой, спущенной на заре между вторыми и третьими петухами с образа троеручицы (медного с дверцами образка,—так написано в протоколе), а потом после сбрызгивания велела...

...приведшим страдающую водянкой Стародумову вывести в полдень во двор, разворотить годовой навоз, посадить больную в яму и окопать... ее по самый пояс свежим навозом и приказала находиться больной в таком положении...

...до заката ясного!..

— Сусе...

...но гражданка Стародумова не дождалась до заката солнца...

...ее нашли мертвой... а когда вытащили из навоза: — от самого пояса кожа мешком сползла и осталась в развороченной яме навоза, а на красном водянистом мясе ног висели белыми сосульками жирные черви...

Вцепившись синими пальцами за край конника хрипела Сергевна:

— Сусе...

За окнами избы выл ветер и бегал по крыше избы, врывался разбойно в сени, то-и-дело хлопал дверью, шарил лапами по стенам сеней.

— Черви...

Сергевна вздрогнула, приоткрыла один зрачок, скосила его в сторону двери, запертой на крючок, на черной двери играли два небольших зайчика солнца.

— Кто тут?..

III.

Все так же дул и выл ветер.

Все так же щетинилась по дорогам серебряная, измятая колесами крестьянских телег солома. С дорог, укатанных, и тоже телегами, поднималась цвета золы мягкая пыль, крутились небольшими буравчиками вверх и, поднявшись в рост человека, срывалась с места и бежала вдаль...

— Кто тут?

Если Сергевна над притолками подслеповатых окон, дверей, над каждой скважиной, над каждой дырочкой, покосившейся на левый бок избы, навтыкала веточек с голубыми головками чертополоха, того самого, от которого шарахается в стороны темная бесовская сила и даже (как говорят, „не к ночи будь сказано") в смертельном страхе шарахается сам чорт в сторону и долго, пока не опомнится, правой лапой чешет за острым левым ухом, а когда опомнится, то ударяет себя лапами несколько раз по тощим козлиным ляшкам, хрипло козлиным голосом загогочет, заплюет вокруг себя четыре стороны:

— Бе-бле-бле...

То всего этого,—чертополоха с голубыми головками,—не говоря о скважинах, всевозможных отверстиях, которые только находились в древней избе, в избе под притолками окон, вернее, не окон, а небольших гляделок, над притолками дверей Ульяновой избы,—не было. А можно определенно сказать, во все отверстия влетала с блудливым ветром, не только темная сила, что существует на белом свете в довольно большом избытке, а сам чорт. И это так и должно быть, ибо бабушка Ульяна, так же, как и бабушка Сергевна, была хорошо известна не только в нашем селе, а она была известна на сорок верст,

сиречь куда ни кинь... сорок верст, одним словом, на три сумежных уезда.

Правда, бабушку Ульяну никто не звал за глаза „бабушкой Ульяной“, а всегда—„Улитой“, и только в глаза, да и то какая-нибудь молодуха в большой нужде, с горя заложив на время чорту душу, назовет Улиту — „бабушкой Ульяной“, а то всегда: „Ползет мать Улита“.

Опять, впрочем, так только взрослые, да и то больше женский пол — бабы, — мужики мало уделяли внимания бабьему делу, да они и не верили, а бабы в глаза: „здравствуй, бабушка Ульяна“,—и низко кланялись. Дети, наоборот,—дети всегда озорные,—они не только за глаза, а дули прямо в глаза, вдогонку, навстречу, в бока многими ртами, в одиночку:

— „...Улита, Улита, лопухом прикрыта“...

...и острыми вертлявыми языками вслед, а больше всего, забегая вперед, навстречу:

— Бяаа—бяааа... „Улита, Улита“...

На такое озорство бабушка Ульяна взмахивала руками, кидала в озорников палкой и, желая поймать хотя бы одного сорванца и надрать как следует вихры, металась из одной стороны в другую, но разве их было можно поймать?—ни в коем случае,—и бабушка Ульяна, усталая, садилась на дорогу и грозила палкой:

— Я вас, дьяволята...

Еще и то же.

Только не мужики, а опять бабы-старухи говорили, будто бы по ночам сам чорт под руку с бабушкой Ульяной, задирая как можно выше ноги, откалывает поганый танец, как есть тот самый, что черти с грешниками пляшут в аду...

И еще про бабушку Ульяну в селах на сорок верст в каждую сторону говорили, что будто бы она пускала по ветру, в особенности, когда ветер дул ей в зад и бежал вперед, килы и всевозможные колдовские лихоманки. Килы, лихоманки, пускаемые по ветру, были опасны и даже смертельны. Лихоманок и кил ужасно боялись бабы, и только более спокойные, знающие опасность, не бежали назад под ветер, а, как можно быстрее, бросались в сторону и, не оглядываясь, бежали вперед, а пущенные по ветру килы, лихоманки, подгоняемые ветром, пролетали мимо вдаль, блудили до тех пор, пока не попадали на живого человека или на какую-нибудь, и тоже живую, скотину. Вот отсюда и была большая робость к бабушке Улите и, можно сказать, большая известность бабушки Улиты: вперед на сорок верст, назад на сорок верст и по бокам—налево и направо—по сорок верст,—вот оно какое дело-то...

И еще говорили: будто бы она, бабушка Ульяна, кроме высокоторжественных праздников, никогда не ходила в Христову церковь, а всегда была дома: веснами грелась на крыльце, а зимами—на печке, около трубы, а что касается высокоторжественных праздников, кото-

рых было не мало, то она выходила из избы раньше всех жителей села и, как говорят, брала с собой колоду засаленных карт, клала их за пазуху, к самому сердцу, становилась под лестницей, под которой помещались хоры, где только, и тоже по торжественным праздникам, пели певчие, руководимые самим ктитором Абдуваловым, владельцем кожевенных заводов.

В торжественные праздники о. Иван возглашал:

— Рождество твое Христе Боже наш...

Бабушка Ульяна шлепала губами, тайно шипела, но только не наружу, а внутрь себя:

— Карты у нас.

О. Иван:

— Христос Воскресе.

Бабушка Ульяна:

— Карты здесь.

Диакон и певчие:

— Многая лета, многая лета...

А бабушка Ульяна свое...

И много еще говорили про бабушку Ульяну, будто бы она по ночам бегала в поля и там в одной рубахе с распущенными волосами плясала задом наперед и читала нашиворот „живые помощи"... Многое говорили, всего не вспомнишь. А, впрочем, все это было давно, до революции, сейчас уже не говорят про бабушку Ульяну ничего,— оставили ее в покое, даже, можно сказать, позабыли. Да и бабушка Ульяна спокойно сидит дома, обгладывает синими деснами косточки, оставленные от вчерашнего дня, вздыхает, что никак не прихватит на косточках волокна оставшегося еще мяса.

— Ах, какие вкусные!

Но вот она неспопашилась: одна косточка проскочила в горло и застряла в самых жабрах. Она испуганно стрельнула стеклами зрачков, а потом, согнувшись в дугу, заохала:

— Эээ...

Обвисла на пол и винтом винтом по полу. Было по всему видно, что из бабушки Ульяны выходит дух, но только не передом, а задом.

— Эээ...

Но кому умирать охота, даже в наше непутевое и голодное время. И бабушка Ульяна тоже умирать не хочет; она, приподняв от пола голову и облокотившись руками в пол, уперлась полумертвыми зрачками глаз на дверь.

— Никого...

— Эээ...

И, то-и-дело поджимая к животу колени, заколыхалась и ползком, ползком к лоханке, что стояла в углу, около самой двери, под глиняным рукомойником. Подползла, жадно уцепилась сухими пальцами за край лоханки, подтянула себя ближе, положила голову на острый

край лоханки и, дрожа, полезла рукой в лоханку, зацепила полную горсть мертвых мух и кожу от картошки—и все это в рот; но тут же опустила руки, согнулась, а потом опять вздрогнула, вытянулась и вся как-то жутко стала содрогаться, словно выворачивалась наизнанку.

— Эээ...

Ухнула пустушкой.

С кровью вылетела косточка.

И затрясла зыбкая лихоманка.

— Эээ...

Заскрипела дверь, вошли три старухи и испуганно попятились назад, обратно к двери.

— Сусе...

— Мать целящая... заступница наша...

Бабушка Ульяна вскинула мутные зрачки глаз на вошедших старух и радостно прошипела:

— Подавилась...

— Это как же...

— Сусе...

— Косточкой. Думала—умру, а все Господь,—и она показала небольшую косточку.

— Кто же, как не он, батюшка!—завздыхали старухи и помогли подняться Ульяне.

— Он, он, батюшка...—поднимаясь с пола, шипела Ульяна,— он, батюшка, все старается, все делает на пользу человека, даже муху...

— Все, как есть все...

— А его, батюшку, забыли...

— Церковь заперли...

— Заперли...

— Пожилых людей не слушают...

— Нии... и не говори...

Уголками платков терли сухие стекла стоячих, не мигающих зрачков, вздыхали, охали, сопели:

— Да, да. От безбожия Расея погибла...

— Сгорела в зное...

— Покарал... покарал...

— Вспомнят стариков...

— Непременно...

Долго так, до самого вечера, а возможно проговорили и больше бы: уж больно непорядки закрутили, задымили глаза. И наверно поговорили бы до позднего вечера, если бы не подвернулась молодежь, которая, словно нарочно, так зяпнула под окнами, что старухи вздрогнули, заметались по избе:

...Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем...

Когда песнь откатилась от окон и от избы, старухи выглянули из углов, посмотрели друг на друга. Это не старухи посмотрели друг на друга из углов, это посмотрели четыре паука...

— Ребята...

— С вязанками ельника...

— Из лесу...

И медленно поползли из углов к двери...

Русь Советская.

А. Сахарову.

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.
Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница—бревенчатая птица
С крылом единственным— стоит, глаза смежив.
Я никому здесь не знаком.
А те, чтò помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола, да слой дорожной пыли.
А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.
И в голове моей проходят роем думы.
Чтò Родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.
И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.
Но голос мысли сердцу говорит:
„Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней—
Уж не село, а вся земля им мать".
Ах, родина! Какой я стал смешной!
На щеки впалые сухой летит румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.
Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости, как в церковь, собрались.
Корявыми немытыми речами
Они свою обсуживают „жись".
Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые по
И ноги босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.
Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщиня лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.
„Уж мы его и этак и раз-этак,—
Буржуя энтого... которого... в Крыму"...
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.
С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.
Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.
Ну, что ж!
Прости, родной приют!
Чем сослужил тебе, и тем уж я доволен.
Пускай меня сегодня не поют—
Я пел тогда, когда был край мой болен.
Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов итти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки,—
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела мне.
Цветите, юные! И здоровейте телом.
У вас иная жизнь. У вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирев.
Но даже и тогда,
Когда на всей планете
Пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть,—
Я буду воспевать всем существом в поэте
Шестую часть земли
Названьем кратким „Русь".

Сергей Есенин.

Молодняк.

Летят рубли, вдогонку головы,
Как круглый чет и нечет,
Значит, время быть веселым,
Стиснув зубы крепче.
Пусть свист кабацких песен
Иным глаза позавязал,
Над чертежом отвесным
Есть трезвые глаза.
Как крылья сошен Гая,
Кабацких звонов круче,
Есть молодость другая,
Рабочая, живучая.
Из хат, всем югам брошенных,
Из городского мрака,
Из тысячного крошева
Сражений и биваков.
Встает передовая
Молодняка волна
И свежих дней кривая
Ему поручена.
И золото, и олово
Разметит он, размечет —
Значит, время быть веселым,
Стиснув зубы крепче.
В скобленных подбородках
Синеет не спроста —
Покрепче старой — водка
Настоенных атак.
Воля точно в заросли
Уходит в книжный поиск,
К станку бросает, к парусам,
Рубить по рощам роясь.
И меряют недаром
Молодняка руками
Грядущие плацдармы
Земель подъятых в пламя.

Н. Тихонов.

О выпавших из ряда.

Не только в годы ремонта — чаще,
Чем лед переменяют воды —
Со стен летит она, шуршащая
Известка, ставшая негодной.
    Кто на нее положится,
    Раз ей держаться нечем, —
    Седая падает и крошится,
    Не подставляйте плеч.
Ряды людей, как стен ряды,
Но вдруг, став ряду чуждым,
Как новым печам старомодный дым,
Человек выпадает из ряда и кружит.
    Качаясь кружкой в кабаках,
    Серой, скрипучей половицей,
    Пасет тоску на чердаках,
    Как вор в толпе бодрится.
Когда он по заботам бродит,
Под смех артели молодой,
Работы хмурятся, шипят: негоден,
— Не водке нянчиться с водой.
    Потом шелушится ребро за ребром
    И сохнет глаз наедине
    С привычек ветхих коробом...
    Поверим на слово стене.
Она свидетельствует жестко,
Как, зашатавшись в городах,
Вдруг рассыпается известкой
Назначенный на снос чудак.
    Изничтожаются ль в глуши, —
    Но память, ей другого надо,
    Заявки старые глушит
    О людях, выпавших из ряда.
Ведь запыленными в саду
Кустами все ж проходят спины
Ведущих пить на поводу,
Как скакуна свою равнину.

Н. Тихонов.

* * *

Мне или матери—кому же горше,
Кому дороже писком рваный рот,
Когда булыжником голодный коршун
К цыплятам упадет в зеленый огород?
В потерях—боль, в потерях—много грусти'
И капля крови в драке дорога;
Вот даже курица порою не допустит
К своей семье сильнейшего врага.
Так повелось, но излечимы раны.
Мы утешаемся—что сроки впереди:
Над нашей жизнью мчатся ураганы,
На наши чувства падают дожди.
Кто б мог сказать, что в нашей жизни мук нет
Но всем нам дорог и последний час,
Когда в окно глухая старость стукнет,
Смотря в пустое впадинами глаз.
А иногда встревожится наш улей—
Шумит, волнуется какой-нибудь пострел,
Пускает в голову из Маузера пулю,
И думает, что безупречно смел.
Ах, пусть его! Ни жалости, ни боли!
Бескровный человек—бескровная мечта;
Он все равно и на цветущем поле
Веселой песней не открыл бы рта.
Пусть взманят пропасти! Пусть сотрясется Этна!
Пусть взгорбятся моря и грозы взроют дым,—
Все хорошо. И жизнь великолепна
Под этим солнцем ласковым и злым.

В. Александровский.

* * *

Жизнь мою московскою жилицей
Быть рука судьбины обрекла,
Но, сроднивший кровь свою с зарницей,
Видел я, как, в небесах светла,
Всех созданий дивною столицей
Вкруг меня вселенная плыла.

В солнце, в ветре, вверив каждый день им,
В них катя людских событий вал,
Я и ликовал, и горевал —
И, как дань гражданским заблужденьям,
Местом жизни, весь в бреду весеннем,
С диким виноватым удивленьем
Имя переулка называл.

Василий Казин.

Снежный рейд червонных казаков.

Садилась вьюга на коней —
Сменяла седоков.
— „Сюда, ко мне. Даешь левей!"
Кричал ей Примаков.

То вьюга шла циклоном в рейд
На Городьково—Льгов:
Бела, как враг, чинила вред
Ушедшим в тыл врагов.

И не бряцая, шли полки,
И мчался арьергард.
На расстоянии руки
Отставший окликал: „Братва!"
Не видел брата брат.

Не оставалось ни следа
В снегах копыт, колес. —
Сдувала снежная яга
И лапал стремена мороз.

Шли арьергардом латыши
И мчалась Черказдив:
Скакали, пики притушив,
Белее вьюжных див.

Ведут в обход проводники,
Но путает метель,
Не врут крестьяне бедняки: —
На расстоянии руки
Ни кони и не седоки,
А скачет белой—тень.

Идет в степи сквозной редут
С проводниками без дорог:
Казак, облапив гриву, спит,
Хоть до костей продрог.

— „Заедем на ночь в Мармыжи,
В Ольшанке станет штаб.
Братва! эй—на хвосте держись, —
Дороженька нашлась!"

Вот и Ольшанские зады:
Псы лают, хлеб пекут,
По избам сладок хлебный дым, —
Продрог казацкий ус:

— „Братва, маленько подъедим!"
Пылает там печной уют...
И селезенки у коней
Захоженных поют...

Нижни деревеньки,
Ниже сядь! —
Пики в стремя бренькнув,
Уж висят.
Налетят кубанцы
На рысях.
Станут улыбаться —
Нож в усах.

— „Влево: рейд по Реут!
За рекой
На заре зареют —
Взять рукой —
Вражьи — не метелей ли
Флажки?
Длинны наши пики, —
Берега узки...

. . . .

Опять седлает вьюга хвост,
Опять летят следы теней,
Следы телег, колес,
Свидетель подвига все злей —
Метельный арьергард — занос —
Поет на-веселе.

Дм. Петровский.

Круговорот.

Дорогой не отмеченной, разбитой •
Плывет земля, как миллионы лет.
А с ней и мы по выгнутой орбите,
Напоминая скопища планет,
Смешных планет, как птицы у застрехи;
И слепо пропускающих во тьму
Вселенские сторожевые вехи.
Не это ль горько сердцу моему,
Что на пути великом и безмерном
Ведем себя, как у двери пещерной?

Плывет земля, но путь ее чудесный
На книгах только подчеркнет иной,
Не замечая странности одной:
Висеть и где — в пучине неизвестной, —
И, не сознав величия того,
Что за землей и путь ее плывет,
Что звездный мир, быть может, населяем
Такими же людьми, как на земле,
А о земле твердим, что нет милей
И до погоста на одной гуляем...

Тридцатый раз и я плыву, о други,
Как первый раз — до этого не в счет.
Но грустно мне, что на безликом круге
Без остановки молодость течет.
Но не о том... И я не замечаю
Ни звездных рек, ни круглого следа
И по ночам лишь головой качаю,
А днем у глаз как мутная слюда.
И только в час неслышного заката
Сужу о днях по их струящим скатам.

Но в тот же час, когда светящей пылью
Оранжево заблещет небосклон,
(О, други милые, как близок он!)
Случалось так: глаза за грани вылью,
И чувство незнакомое в груди
Тогда растет и ширится без меры.
Гортанный гул... Ах, то земля гудит —
Огромный шар зеленовато-серый...
Размерному движенью ли подвластна —
Земля, земля! ты и вдали прекрасна.

И бьют часы наличья золотого.
В крови залог, как чернота в дубу.
Ведь если даже сказочное слово,
Простое слово ведало судьбу —
Так что ж теперь? Хотя бы и случайно,
Не мы ли прорастаем головой
Надземные космические тайны
И слушаем гортанный гул и вой!
И верю — вырвется, развив упрямство,
Не я — другой в горящее пространство.

В. Наседкин.

* * *

Есть слова у меня, но о ком говорить?
Мне дано чудотворное право хвалы—
Но давно уже вымерли богатыри
И не любят летать над равниной орлы.

Я у века спросил:—Прав ли я или нет?
И ответил мне юный, смеющийся век:
— В каждый час где-нибудь над землей есть рассвет,
В поколении каждом есть свой человек.

Бурной поступью топчет пространства герой,
Задыхается небо под взглядом его.
Но проходит мудрец незаметной стопой,
И равно перед истиной их торжество.

Скотоводу сияют заря и закат,
На свирель оборачиваются быки.
А в морях лишь буруны да чайки кричат,
Но, как сказки, пути и длинны и легки.

И купцы увезут героический щит,
Променяют быков на слоновую кость.
И мудрец пододвинуть скамью поспешит,
Если в дом постучит многоопытный гость...

Он умолк, собеседник с веселым лицом.
И мне стало казаться, что площадь плывет.
Финикийские мачты стояли кругом,
И трамвай прогремел в неизвестный вперед.

Владимир Галанов.

* * *

Сосредоточенно - сухая тишина,
Лес — темным золотом заката в кронах залит,
Душа прозрачного молчания полна —
Ее ничто не опечалит.

Ни горькая любовь: страстей полынный сок
Растаял воздухом и больше не тревожит.
Вечерняя река мчит гальки и песок,
И день, сгоревший нежно, прожит.

Курганы взапуски бегут за днями — прочь.
Со смуглой синевой больной багрец мешая,
Там — звездным решетом шуршит седая ночь,
Медлительная и большая.

Александр Гербстман.

Из книги „Корни".

В екатеринославских степях,
Где травы,
где просторов разбросано столько,
Мы поймали махновца Кольку,
И чтоб город увидел,
И чтоб знали поля—
Мне приказано было его расстрелять.
Двинулись...
Он—весел и пьян,
Я—чеканным шагом сзади...
Солнце, уставшее за день,
Будто убито,
Сочилось огнями дымящихся ран..
Пришли.
Я прижал осторожно курок,
И Колька без слова,
без звука,
Протянул на прощанье мне руку,
Пять пальцев,
пять рвущихся к жизни дорог.
Колька, Колька, где моя злоба?
Я не выстрелил, и мы ушли назад:
Этот паренек, должно быть,
При рожденьи вытянул туза.
Мы ушли и долгий отдых
Провожали налегке
Возле Брянского завода
В незнакомом кабаке.
И друг друга с дружбой новой
Поздравляли на заре,
Он забыл, что он—махновец,
Я забыл, что я—еврей.

М. Светлов.

Из цикла „Дети".

Сидит на заваленке.
Рассуждает, слизывая земляничные пенки:
— Ведь папа — не маленький,
А и его поставили к стенке.

Мама сказала: „Дырочка, как стрекоза,—
В сердце и на тужурке".
И еще, что ему завязали глаза:
Не играл же он в жмурки?!

Мы и в Москве не забыты —
Прислали для папы орден.
Кабы глаза не закрыты,
То-то б ходил он гордым.

А вдруг, ничком у канавки,
Будет лежать он долго?
Ведь ему не видно ни травки,
Ни меня, ни солнца, ни Волги!

Мама плачет: „Навек одна,
Из-за вас все, дьяволы озверелые!.."
Значит, душа их черным-черна.
Отчего ж тогда они „белые"??

Варвара Бутягина.

На полустанке.

А. Малышкину.

У канавы — сочны незабудки,
Под откосом тихое окно,
Бродят куры сонные у будки
И желтеет ровно. полотно.

Разостлался розоватый клевер,
Укачал в цветах медовый гуд,
И бегут, не двигаясь, на север,
Два пути железные бегут.

Я люблю железные дороги,
Рокот рельс и белый дым вдали,
Когда вдруг высокий, красноногий
С хриплым ревом вылетит в пыли.

Когда бешено пройдут вагоны,
В хвойной просеке повиснет дым...
Все пройдет — и вновь глаза утонут
В синь лесов и заводи равнин.

Все—как было: луг, цветы и клевер,
Веет вновь медвяный сонный гуд,
Только рельсы шепчут:—Север... север...
Словно что-то больше не вернут.

Будто кто-то с тайной, сладкой грустью
Машет мне: — Ты верно опоздал!
Будто в этом тихом захолустье
Навсегда кого-то провожал.

Будто этот быстрый, красноногий
Дорогое мчит туда в пыли...
Я люблю железные дороги
С белым дымом, машущим вдали.

Ник. Зарудин.

* * *

Душа моя, как птица,
Живет в лесной глуши...
Ах, больше не родится
На свет такой души!

По лесу треск и скрежет
У нашего села,
Под ноги еле режет
Железный змей — пила!

Сожгут их в тяжких горнах,
Как грешных бросят в ад...
А сколько бы просторных
Настроить можно хат?

Прости меня, сквозная,
Лесная моя весь!
И сам-то я не знаю,
Как очутился здесь!

Гляжу в безумный пламень
И твой целую прах
За то, что греешь камень,
За то, что гонишь страх!

И здесь мне часто снится
Один и тот же сон:
Густая ель-светлица,
В светлице хвойный звон!

Светлы в светлице сени
И тепел дух от смол!
Приречный скат — ступени,
Крыльцо — приречный дол!

Разостлан мох дерюгой,
И слились ночь и день,
И сели в красный угол
За стол трапезный — пень!

Гадает ночь - цыганка,
На звезды хмуря бровь:
Где ж скатерть-самобранка,
Удача и любовь?

Но и она не знает,
Что скрыто в строках звезд:
И лишь с холма кивает
Сухой рукой погост!

Сергей. Клычков.

Философско-историческая теория Риккерта.

Л. Аксельрод.

В области социологии и философии истории, господствующими в настоящее время, можно считать три направления: материалистическое, биологическое и неокантианство.

Главным основателем биологического направления является, как известно, Герберт Спенсер. Многочисленные последователи органической теории общества обогатили ее теми или другими, не лишенными интереса, соображениями, но по существу никаких значительных изменений в учение своего первоучителя не внесли. Они и не могли этого сделать. Не могли по той основной причине, что аналогия, как это показано в предыдущем очерке, не призвана служить в качестве метода исследования. Иначе говоря, механическое перенесение законов, заимствованных из естествознания в область общественной науки, создает видимость научности, нисколько не затрагивая своеобразного и сложного содержания общественно-исторической действительности. Поэтому в целях критического сопоставления материалистического понимания истории с органической теорией считаю вполне достаточным сделанное в предыдущих двух очерках критическое изложение основных принципов биологической социологии, как они выразились в произведениях Герберта Спенсера. Отдельные же мысли того или другого из современных сторонников органической теории будут нами привлечены в процессе изложения материалистического понимания истории.

На очереди стоит, таким образом, другое господствующее направление — неокантианское. В неокантианской школе замечаются и проявляют себя разные оттенки философско-исторической и социологической мысли. Но главное и существенное содержание философии истории неокритицизма сосредоточено и с исчерпывающей полнотой в учении Виндельбанда-Риккерта. Критическому рассмотрению философско-исторического воззрения означенных мыслителей посвящается этот очерк.

1 мая 1894 года Виндельбанд при вступлении в должность ректора Страсбургского университета произнес многозначительную речь, известную под заглавием «История и естествознание» [1]). Эта речь посвящена установле-

---

[1]) См. «Прелюдии» Виндельбанда. Перевед. на русск. язык.

нию различия методов исследования естествознания и истории. Различие методов определяется, с точки зрения Виндельбанда, различием содержания естествознания, с одной стороны, и истории — с другой.

Все естествознание, учит Виндельбанд, проникнуто одним и тем же методом исследования. Как бы ни различались между собой отдельные дисциплины, метод исследования каждой из них, цель и результат этого исследования принципиально одни и те же. Все дело сводится к установлению общих законов. Конечно, благодаря различию предмета исследования отдельные способы установления фактов, приемы их группировки, пользование ими и формулы, к которым удастся свести найденные законы, могут быть и часто бывают весьма различного характера. И все-таки отличие психологии от химии в методологическом отношении вряд ли более велико, чем, например, разница между механикой и биологией. Но наиболее важное значение имеет тот факт, что по своему содержанию эти различия совершенно сглаживаются перед логическим равенством всех этих дисциплин с точки зрения формального характера их познавательных задач. Идет ли речь об исследовании движения тел, или вопрос касается изменений материалистического состава или развития органической жизни, или же, наконец, дело идет о процессе восприятия, чувствования или представления — всегда целью исследования является отыскание и установление общих законов совершающегося. Иначе обстоит дело с областью исторических наук. В противоположность естествознанию большинство эмпирических наук, относящихся к области истории, стремятся по своему существу дать полное и исчерпывающее описание отдельного более или менее широкого события, и с однократной определенной и ограниченной во времени реальностью. Виндельбанд говорит: «В этой области (исторических наук. *Л. А.*) об'екты и отдельные приемы, удостоверяющие наличность последних, также крайне разнообразны. Дело идет здесь об отдельном происшествии или о связном ряде деяний и судеб, о характере и жизни отдельного человека или целого народа, об особенностях и развитии определенного языка, религии, правопорядка или литературного, художественного, научного произведения; и каждый из этих предметов требует приемов исследования, соответствующих его особенностям. Но всегда цель познания состоит в конкретном воспроизведении и постижении отдельного явления человеческой жизни, которое один раз осуществилось в действительности. Ясно, что мы имеем в виду всю область исторических дисциплин» [1]). Четко и с решительной определенностью утверждается здесь коренное различие методов и результатов исследования в полной зависимости от различия содержания обеих областей.

Эти взгляды Виндельбанда представляют собою возрождение принципов Канта. По существу уже Кант устанавливал различие между естествознанием и моральной философией, под которой и следует подразумевать всю практическую и историческую деятельность или же, как выражал это самое понятие Кант, «практическое законодательство разума по понятию сво-

---

[1]) «Прелюдии», стр. 319—320 рус. перев. С. Франка. Подчеркнуто мною. *Л. А.*

боды». Эти две области — естествознание и практическая деятельность в кантовском широком смысле—требуют строжайшего разграничения, и, следовательно, всякого рода смешения методов их исследования приводят с точки зрения Канта к нелепому результату [1]. Родоначальником этого рода дуализма является таким образом Кант. Виндельбанд этого, конечно, не скрывает, ссылаясь там и тут на авторитет своего великого учителя. Риккерт, являясь непосредственным учеником Виндельбанда, сосредоточил всю свою философскую мысль на разработке, развитии и логическом обосновании различия естествознания и исторических наук. Что он следует за Виндельбандом, Риккерт заявляет сам, и с определенностью, исключающей всякое сомнение. «Самое лучшее, — пишет Риккерт, — из того, что было сказано о противоположности между естествознанием и исторической наукой, как нам кажется, принадлежит Виндельбанду. Уже его изложение философских понятий и проблем в их развитии от греков и до настоящего времени заканчивается противоположением природы и истории, и недавно он сделал эту тему предметом особого исследования (Риккерт имеет здесь в виду выше упомянутую речь. *Л. А.)*. Он хочет отказаться от обычного разделения наук на естественные и науки о духе, главным образом, потому что невозможно отвести в нем место психологии. Его должно заменить различие между науками, «занимающимися событиями» (Ereigniswissenschaften), и науками, формулирующими законы (Gesetzwissenschaften), при чем этот метод одних должен называться «идиографическим», а метод других — «номоэтическим» [2]. Несмотря, однако, на это признание Риккерта и несмотря также на то, что последний к взглядам Виндельбанда ничего существенно нового не прибавил, эта критическая философия истории, возрожденная и преображенная Виндельбандом, известна в настоящее время в широких кругах историков и социологов под названием исторической теории Риккерта. Причины этого об'ясняются тем, что, как уже упомянуто, Риккерт сделал эту проблему центром своей философской исследовательской работы. Мы поэтому, как в изложении, так и в критике, будем иметь дело с развитием мысли.

Прежде чем приступить к изложению, считаю нелишним сделать следующее замечание обще-формального характера. Несмотря на то, что Риккерт обладает большой логической изощренностью, что его анализ отличается тонкостью, подчас даже мастерским расчленением понятий, его работы в общем и целом лишены строго выдержанной и систематической последовательности. Развитие одного положения никогда не доводится до конца, без того, чтобы в это развитие не врезалось клином другое положение, а вслед за тем и третье и т. д. Кроме того, бывает и так, что один и тот же термин имеет в разных местах различное содержание, на что совершенно справедливо было указано М. Н. Покровским [3]. Все вместе взятое сильно затрудняет точное

---

[1]) „Критика способности суждения" („Kritik d. Urteilskraft").

[2]) „Границы естественно-научного образования понятий", стр. 261 — 262. Русский перев. А. Водена. Мы везде будем цитировать по этому переводу.

[3]) „Идеализм и законы истории",—„Правда", февраль и март 1904 г.

уяснение всего хода аргументации Риккерта. Это обстоятельство давало повод риккертианцам обвинять критиков философско-исторической теории в непонимании этой последней. Постараемся, однако, в общих и кратких чертах передать главное содержание этой теории, которая, как уже было показано, вполне намечена была у Виндельбанда, и преимущественно ту аргументацию, при помощи которой Риккерт старается ее обосновать. Главной целью Риккерта, в области философии истории — это доказать, что историческая действительность отличается по существу от действительности природы и что, поэтому, естественно-научный метод исследования не применим к исследованию исторических явлений.

Исходной точкой в обосновании этой мысли является бесконечность явлений окружающей природы в экстенсивном и интенсивном отношении. Эта бесконечность делает невозможным познание, описание, изображение природы в ее индивидуальных проявлениях. Необходимо было найти такое средство, или такой метод, при помощи которого оказалось бы возможным преодоление этого могучего препятствия. Таким методом является образование общих отвлеченных понятий, составляющихся на основании общих свойств и взаимоотношений вещей и которые обобщаются и становятся известными под определенным словом. Зачатки подобного образования понятий проявляются и четко выступают в языке, в котором то или другое слово обозначает собою сумму общих признаков, принадлежащих определенной группе предметов. Окончательное завершение этого процесса достигается в научной обработке общих отвлеченных понятий. И поскольку суммируются общие свойства, присущие данным группам вещей, постольку, с точки зрения Риккерта, этот процесс получает естественно-научное значение, и ровно постольку же отбрасываются индивидуальные и преходящие свойства последних. Из этих отброшенных и постоянно накопляющихся специальных признаков образуется как бы новая лестница новых понятий, при чем ни самое высшее понятие, ни самое низшее не отражают в себе всех индивидуальных признаков. И совершенно естественно полагает Риккерт, что чем выше и общее понятие, тем меньше в нем отражается конкретное содержание обобщенных им вещей. Индивидуальное и конкретное являются поэтому *абсолютной границей в процессе образования естественно-научных понятий*. Кроме того, что интенсивная и экстенсивная бесконечность действительности навязывает нам этот способ приспособления к ней, мы в области естествознания и не заинтересованы в том, чтобы охватить бесконечное многообразие специально-индивидуальных свойств. Естествознание по своей природе и всей тенденции стремится к все большим и большим обобщениям, возвышаясь до той ступени, когда это обещание становится законом природы. Только при таком достижении преодолевается бесконечное многообразие мировой действительности. Процесс образования естественно-научных понятий стремится со всей неудержимой силой от частного к общему, отбрасывая в своем стремительном движении все индивидуальные признаки. Этот метод образования понятий Риккерт называет методом генерализирующим. Вот как формулирует наш мыслитель сущность этого метода: «Что ка-

сается генерализирующего рассмотрения об'ектов, то не только его практическое, но и его теоретическое значение для науки не подлежит никакому сомнению. Метод многих наук состоит именно в подведении частного под общее, в образовании общих родовых понятий, по отношению к которым об'екты являются экземплярами. Понятия, возникающие таким образом, обладают, конечно, самыми различными степенями общности, смотря по тому, для какой области (менее или более обширной) они образованы. Но как бы даже ни был мал их об'ем и как бы ни было специально их содержание, — познавать в таком случае всегда означает понимать неизвестное, как частный случай известного; наука при этом отвлекается от всего индивидуального и своеобразного, останавливаясь исключительно на общем. Высшая цель этого рода познания заключается в том, чтобы всю данную действительность подвести под общие понятия, заключить ее в единую цельную систему взаимно подчиненных, все более и более общих понятий, во главе которой должны стоять понятия с безусловно общим содержанием, имеющим значение для всех об'ектов, подлежащих исследованию. Где цель эта достигнута, там найдено то, что мы называем законами действительности [1]).

Картина природы, отраженная естествознанием, не передает, следовательно, надлежащей действительности. Этой именно точки зрения придерживается Риккерт, заявляя о ней категорически. Мы читаем: «Мнение, согласно которому естественно-научная теория не достигает своей цели, коль скоро ей не удается изображение самой действительности, может возникнуть лишь при предположении одного совершенно определенного понятия о познании, а именно при предположении, что задача познавания состоит в том, чтобы отображать (abbilden) действительность. Само собой разумеется, что копия тем более совершенна, чем более она воспроизводит оригинал, как он есть. Но может ли научное познавание быть приравниваемо к отображению? На этот вопрос приходится дать категорически отрицательный ответ [2]). Несоответствие подлинной действительности картине природы, как она выражается в естествознании, вытекает для Риккерта не из того, что за пределами являющегося нам внешнего мира стоит Кантовский мир непознаваемых вещей. Нет. Риккерт категорически заявляет, что его философская теория рассматривает действительность так, как она дана нашему сознанию». Для нас совершенно достаточно,—утверждает он,—того факта, что всякому известен и дан телесный мир, как простирающаяся в пространстве и времени действительность, которой присущи воззрительные формы, и что наука о телах знает в качестве об'екта ее исследований только одну эту действительность. И с этой точки зрения, подчеркивает автор, границ совершенно безразлично, является ли этот мир заранее необходимым данным, на-

---

[1]) „Философия истории", стр. 22, перев. с немецкого С. Гессена. Петербург, 1908 г. Курсив Риккерта.

[2]) „Границы естественно-научного образования понятий", стр. 215. Перев. с немецк. А. Водена. Петербург, 1904 г.

ходящимся за пределами сознания, или же содержанием сознания» [1]). Таким образом, пределом естествознания является воззрительная индивидуальная конкретность.

Изложенный нами до сих пор логический анализ образования понятий в области естествознания не является главной целью работы Риккерта. Этот анализ представляет собою, как гласит подзаголовок главного труда нашего мыслителя, логическим введением в исторические науки. Главная цель, следовательно, заключается в критическом рассмотрении предмета и методов исторических наук. К этому рассмотрению мы и перейдем. Если в области естествознания границей оказывается все индивидуальное, то в исторических науках, наоборот, их границу составляет о б щ е е, или же, как это формулирует сам Риккерт, т а м, г д е п р е к р а щ а е т с я е с т е с т в о з н а н и е, т а м н а ч и н а е т с я и с т о р и я.

Что же собственно можно назвать историческим? Согласно воззрению Риккерта, специфически-историческим могут считаться и в действительности считаются такие события и такие личности, которые представляют собою нечто исключительное, из ряда вон выходящее и не поддающееся отвлеченному обобщению, иначе говоря, индивидуальное. Поясним это основное положение на следующих примерах. Великая Французская революция будет рассматриваться Риккертом, как индивидуальное, единичное событие в истории человечества. То обстоятельство, что в ней участвовали люди, не составляет специфического исторического элемента, т. к. люди принимают участие во всех событиях, деятельность людей, как таковая, обусловливает собою общее понятие, ничем не отличающееся по своему логическому содержанию от понятия естественно-научного. Далее, тот факт, что в Великой Французской революции люди вели между собою борьбу, также не может рассматриваться, как нечто исключительное, характеризующее собой эту эпоху в истории Франции и в мировой истории вообще. В этом отношении Великая Французская революция решительно ничем не отличается от греко-персидских войн, от пелопоннесской войны, от реформации и т. д. Борьба людей между собою может также быть подведена под общее отвлеченное понятие. То же самое относится к рассмотрению исторической личности; Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон, Бисмарк (излюбленный герой истории Риккерта), являясь об'ектами природы, входят бесконечно многими своими сторонами в естественно-научные понятия. В чем же состоит исторический характер с Великой французской революции и перечисленных исторических личностей? Исторической сущностью Великой Французской революции является не та совокупность черт и признаков, которые свойственны всем историческим событиям, а, наоборот, то в ней индивидуальное, что о т л и ч а е т е е о т в с е х с о б ы т и й. То же самое имеет место и относительно перечисленных исторических личностей. Не то в них исторично, что их об'единяет со всем человеческим родом, а историческим является как раз то, что их отличает от всех остальных людей. Спрашивается далее, что именно, какие черты и приз-

[1]) Там же, стр. 32.

наки, отличающие событие или личность, должны рассматриваться как исторические? Если, предположим, было бы сделано исследование всех собственных имен за весь период Великой Французской революции, а также за весь предшествовавший ей период, и если бы в результате такого исследования оказалось, что в эпоху Великой Французской революции имена Павел и Мария были бы во много раз больше, чем в предшествовавшем периоде,—принадлежал бы этот индивидуальный факт к исторической категории? Или же может ли известный безумный поступок Герострата считаться историческим явлением? Конечно, нет,—отвечает на это теория Риккерта. Следовательно, историческим является не вообще индивидуальное, не индивидуальное, как таковое. А для того, чтобы индивидуальное могло быть признано, как нечто историческое, оно должно иметь какое-то иное и особое значение. Это значение данное индивидуальное событие получает благодаря его связи и отношению к определенной ценности.

Таким образом, согласно теории Риккерта, исторические обобщения существуют, но эти обобщения слагаются не как в естествознании на основе сходных признаков в явлениях природы, но они образуются вследствие их отношения к какой-нибудь общей ценности. Событие или явление становится историческим индивидуумом, потому что это событие или это явление рассматривается как неотделимое е д и н с т в о по отношению к какой-нибудь общеобязательной ценности. Историческая действительность, точно так же, как и природа, являет нам бесконечное количество фактов. Для того, чтобы иметь возможность ориентироваться в этой бесконечности, необходимо устанавливать различие между существенным и несущественным с точки зрения исторической. В то время, как в естествознании такое преодоление бесконечного количества фактов совершается при помощи отбрасывания индивидуального и всхождения к общему, в истории, наоборот, о с т а в л я е т с я в с т о р о н е о б щ е е и п о д ч е р к и в а е т с я и н д и в и д у а л ь н о е. Что, например, Конвент составлял собой собрание людей, или же что Робеспьер и Дантон были рождены женщинами и принадлежали к человеческому роду, являются такими обобщениями, которые для характеристики Французской революции не имеет ни малейшего значения. Конвент, Робеспьер и Дантон только тогда обнаружат свое специфически историческое значение, когда их деятельность будет рассматриваться под углом определенной ценности. Пусть этой ценностью будет гражданская и политическая свобода, которая являлась одной из целей Великой Французской революции, тогда деятельность Дантона и Робеспьера, рассматриваемая с точки зрения этой общей ценности, получит историческое значение постольку, поскольку она являлась необходимым средством в процессе достижения этой цели, иначе говоря, поскольку она находилась в неразрывной связи с общей ценностью. Вот как формулирует Риккерт специфический характер исторических явлений: «История есть наука, имеющая дело с д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю, поскольку она имеет дело с однократными, индивидуальными действительностями, как таковыми; она есть н а у к а, имеющая дело с действительностью, поскольку она становится на общеобязательную для всех точку зрения рассмотрения и поэтому

делает об'ектом своего трактования лишь имеющие значение, благодаря отнесению их и к некоторой общей ценности, индивидуальные действительности или исторические индивидуумы» [1]. Дальше. История человечества помимо того, что она являет собой ряды отличных друг от друга событий во времени, в процессе ее деятельности и развития входят определенные коллективные индивидуальности. Такими конкретными индивидуальностями являются исторические нации. С точки зрения естественно-научного понятия немцы ничем не отличаются от французов, греков или европейцев вообще. «Итак, — рассуждает Риккерт, — разумеем ли мы под греческим или немецким то, что мы находим у всех греков или немцев? Вряд ли кто-либо будет склонен дать на этот вопрос утвердительный ответ. Устанавливать природу немцев в том смысле, в каком оптика исследует природу света, значило бы игнорировать то, что мы имеем в виду выразить словом «немецкое». И греки или немцы столь же мало допускают естественно-научное трактование, как и единичные личности» [2]. Итак, по мнению Риккерта, национальность представляет собою конкретную воззрительную индивидуальность, которая подводится под общую категорию ценности.

Мы видим, таким образом, что как исторический материал, рассматриваемый в пространстве, т.-е. в смысле его элементов различия действующих в истории национальностей, так и различие событий, развертывающихся во времени, представляют собою строго очерченные индивидуальности. Отсюда, а также из всего выше сказанного, следует общий вывод, что метод рассмотрения истории есть метод индивидуализирующий.

Сделанное нами до сих пор сжатое, но, думается нам, полное изложение о различии между образованием естественно-научных понятий при помощи генерализующего метода и индивидуализирующим историческим методом, которым, кстати сказать, обычно удовлетворялась историческая и социологическая критика Риккерта, не исчерпывает теории нашего мыслителя. Ибо встает вопрос, и самый существенный вопрос, о понятии развития и о применении этого понятия к историческому движению.

Историческое течение событий обыкновенно характеризуется как процесс развития, и задачей исторической науки является изображение развития ее об'ектов или событий. Но и с другой стороны теория развития проникает собою все современное естествознание. Спрашивается, не сглаживается ли различие между естествознанием и историей, благодаря тому важнейшему факту, что и само современное естествознание стоит на исторической точки зрения? Исходя из этих важных соображений, Риккерт останавливается на анализе самого понятия «развитие». «Выражение «развитие»,—пишет Риккерт,—принадлежит к числу излюбленных лозунгов нашего времени, и уже это обстоятельство наводит на подозрение, что в его значении наиразличнейшие и даже взаимно исключающие друг друга понятия смешиваются в неясное единство. В особенности же оно играет значительную роль

---

[1]) „Границы естественно-научного образования понятий", стр. 317.

[2]) Там же, стр. 257.

в естествознании нашего времени; поэтому для того, чтобы знать, что надлежит разуметь под «историческим развитием», требуется, во-первых, указать все различные понятия развития, чтобы затем тщательно ограничить то понятие, которое единственно имеет значение для нас, от других, обозначаемых тем же наименованием понятий» [1]).

Прежде всего следует под развитием понимать процесс или становление в противоположность покоящемуся или постоянному бытию, и тогда история, как наука, имеющая своим предметом сменяющие друг друга события, всегда имеет дело с каким-нибудь процессом развития. Всякая часть ее не только возникла, но и находится в процессе становления. Случается, совершенно справедливо думает Риккерт, что этот процесс происходит настолько медленно, что он нас не затрагивает, или что он не имеет вообще значения. То же самое имеет место и в области естествознания. Предметы исследования всех его областей также не представляют собою застывшего, неподвижного бытия и тут происходит постоянный процесс становления. «Понятие развития,—пишет Риккерт,—в его простейшем и мыслимо наиболее обширном значении принадлежит главным образом как естествознанию, так и истории» [2]).

Встает поэтому новый вопрос: можно ли назвать развитием любое становление, любой процесс? На этот вопрос наш мыслитель отвечает решительным отрицанием. Понятие развития имеет второе и более узкое значение. Под развитием в специальном смысле всегда мы подразумеваем ряд изменений, и история во всяком случае всегда имеет дело со становлением, как рядом изменений. Но подобного же рода изменения мы видим также в предмете естествознания. Так, например, в каждом году за зимою следует весна, а за нею наступает лето, после осени опять наступает зима, и каждый ряд начинается снова и постоянно повторяется. Тут мы имеем дело с повторяющимися рядами. Строго говоря, ни одно течение года не оказывалось и никогда не окажется совершенно одинаковым с другим течением. Обращение земли вокруг солнца вовсе не есть такой процесс, который оказался бы точным повторением. «Если мы будем рассматривать полные реальности, — рассуждает Риккерт, — то оказывается, что всякий год новая земля движется вокруг нового солнца» [3]). Но естествознание игнорирует различие, выделяя повторяемые ряды изменений со стороны того, что им обще. Поэтому естествознание образовывает общие понятия о рядах изменения, рассматривая в то же время отдельный ряд, как однократный процесс, отличая этот последний от всех остальных рядов. На этом основании составляются законы изменения, обнаруживающие необходимую последовательность определенного ряда, т.-е. можно установить, что всюду, где имело место событие, определяемое общим понятием *А*, за ним последует второе событие *Б* и т. д. Мы видим, таким образом, что этого рода законы устанавливаются на основании ***повторяемости рядов изменения***. Стало быть, несмотря на то, что в области природы мы

[1]) Там же, стр. 372.
[2]) Там же, стр. 374.
[3]) Там же, стр. 375.

всегда видим становление и ряды изменений, но благодаря тому, что эти ряды часто повторяются, образуя собою круговращение, является возможность на основании этих повторений устанавливать общие законы.

Обследуя далее проблему со всех сторон и предвидя всевозможные возражения, Риккерт останавливается далее на астрономии. Астрономия есть наука историческая, даже в риккертовском смысле, так как она имеет дело с единичными индивидуумами, называя их даже собственными именами. И, несмотря на это, она руководствуется строго установленными общими законами, которые, как известно, являются образцовыми примерами понятий безусловно общего закона природы. Следовательно, действительно оказывается возможным устанавливать законы природы для однократных индивидуальных процессов, как, например, следующих друг за другом индивидуальных стадий однократного рядоизменения солнечной системы. Ведь, исходя из индивидуального состояния каждой стадии, можно ретроспективно проследить и заранее вычислить дальнейшее индивидуальное развитие. Почему же это невозможно в области исторической науки? Риккерт и в этом случае отвечает на вопрос отрицательно, подчеркивая разницу между астрономией и историей. Дело в том, что с его точки зрения астрономия образует свои законы на основании количественных отношений и количественных определений. Все же качественное в однократных индивидуальных рядах стадий развития, все особенности остаются совершенно необ'яснимыми и, более того, совершенно непонятными с естественно-научной точки зрения. «То обстоятельство,—рассуждает наш автор,—что кольца имеются у Сатурна, случайно, раз случай противополагается закону, и равным образом мы должны сказать: что именно у Юпитера есть спутники или что индивидуум Марс иного цвета, чем индивидуум Венера, это факты, которые можно лишь констатировать, но никогда не вывести, как необходимое, из понятия законов»[1]. Ясно, следовательно, что с точки зрения Риккерта и в астрономической науке, несмотря на то, что она имеет дело с однократными стадиями развития, руководствуются тем же генерализирующим методом. Как же обстоит дело с понятием «развитие»? Как определить это понятие в отношении астрономии? На этот специальный вопрос мы ответим ниже, в связи с развитием другой мысли. Теперь же перейдем, наконец, к общей формулировке узкого специфического понятия «развитие», которое дается Риккертом и которое имеет в его системе философских взглядов решающее значение. Вот что он говорит об этом важном вопросе: «И фактически ведь всякий, слыша слово «развитие», уже соединяет с ним значение, которого нельзя свести к понятию простого только ряда изменений». «Ведь, когда мы говорим, что нечто «развивается», то при этом заранее имеем в виду или конец, или совокупность соответственного процесса и относим к первому или к последней различные стадии таким образом, как будто они приводили к некоторой цели»[2]. Вполне очевидно, что с точки зрения Риккерта, специфическое понятие

---

[1]) Там же, стр. 379.
[2]) Там же, стр. 392.

«развития», отличающееся от понятия простого становления, характеризуется тем, что оно включает в себе момент цели. Понятие цели приобретает таким образом решающее значение и в той отрасли естествознания, где дело идет о живых организмах. Так, например, согласно убеждению Риккерта, биология не может обойтись без телеологического принципа. Развитие организма, являя собой восхождение от низшего к высшему, определяется целью. «Итак,—заключает свои рассуждения Риккерт,—органическое развитие необходимо есть телеологическое развитие, и поэтому наука о нем никогда не может отвлечься от всякой телеологии» [1]).

Вернемся теперь к истории. В области истории, где генерализирующий метод не может иметь применения, где все слагающиеся элементы представляют собою индивидуальности, принципом, об'единяющим эти индивидуальности, является, как было выше сказано, ценность. Рассмотрение исторических периодов, с точки зрения ценности, значит квалифицировать их, беря за общий критерий об'единяющую их всех определенную цель. В последнем счете методом исследования исторической действительности служит метод телеологический, т.-е. связь между историческими явлениями устанавливается не согласно принципу причины и следствия, а согласно взаимоотношению средства и цели. В действительности, уверяет нас Риккерт, все философско-исторические теории пользуются в выборе исторических фактов ценностями как руководящими принципами, часто не отдавая себе отчета в этом. Как на один из наиболее ярких примеров бессознательного пользования теорией ценности, Риккерт указывает на материалистическое понимание истории. Ввиду особенной важности этого вопроса, я позволю себе привести обширную выдержку, в которой Риккерт характеризует материалистическое понимание истории с указанной стороны. «Особенно характерным в этом отношении является так называемое материалистическое понимание истории, и притом в своем первоначальном виде, в том виде, в каком оно вылилось в «Коммунистическом манифесте», и поскольку оно совершенно независимо от теоретического или метафизического материализма ограничивается истолкованием эмпирической исторической жизни. Уже то обстоятельство, что по происхождению своему оно тесно связано с определенной политической программой, составной частью которого оно является, указывает нам, где мы должны искать для него руководящие точки зрения ценности. Для того, чтобы понять его, необходимо иметь в виду, что интересы его творцов вращались исключительно вокруг борьбы пролетариата с буржуазией и что победа пролетариата была центральной абсолютной ценностью. И если в настоящую эпоху существенным по отношению к этой ценности является взаимная борьба двух классов, то и вся история, согласно материалистическому пониманию, есть не что иное, как история классовой борьбы, что и сообщает ей ценность и единство. Имена борющихся партий меняются: свободные и рабы, патриции и плебеи, феодал и крепостной, цеховой мастер и подмастерье являются враждующими классами. Но наиболее существенным

[1]) Там же, стр. 387.

и собственно важным — опять-таки по отношению к руководящей точке зрения ценности — является то, что повсюду на всех различных ступенях исторического развития притесняемые борются с притеснителями, эксплоатируемые с эксплоататорами. Таким путем материалистическое понимание истории находит общие принципы исторической жизни, но точно так же и всю теорию со всеми подробностями вполне определяет абсолютная ценность, ожидаемая победа пролетариата. В настоящей борьбе самым главным моментом, вследствие его решающего значения, представляется борьба за экономические блага. Ввиду этого, в истории повсюду самая главная роль отводится экономической жизни, а поэтому также разделение истории на эпохи должно соответствовать различным формам хозяйства. Отсюда и возникает «материалистическое», т.-е. экономическое, понимание истории [1]. Материалистическое понимание истории является, как в этом убежден Риккерт, всецело и насквозь проникнутым теорией ценности и в конечном итоге принципам цели, так как основным критерием всего исторического процесса служит «абсолютная ценность, ожидаемая победа пролетариата». Мы сейчас не станем подвергать критике изображение Риккертом исторического материализма. Это будет сделано ниже и в другой связи, а сейчас пойдем дальше до окончательного выяснения общего и конечного критерия теории ценности в философии всемирной истории. Общим верховным критерием философии истории служит, согласно окончательным выводам Риккерта, к а т е г о р и я п р о г р е с с а. Только на основании определения содержания прогресса получается возможность сделать отбор в сфере накопленных исторических фактов и подвести их под общее понятие ц е н н о с т и. Без такого критерия, думает наш мыслитель, всякое историческое воззрение лишено возможности сделать какие бы то ни было обобщения. Без точки зрения ценности сравнение одной эпохи с другой совершенно невозможно. Исторические периоды представляли бы собою ничем не связанные между собой индивидуальности. Историческая наука должна рядом с расчленением исторического содержания, т.-е. рядом с анализом и группировкой исторических фактов, оценить различные стадии единого процесса развития в отношении того, что к а ж д а я и з э т и х с т а д и й с д е л а л а для осуществления данной ценности. Если, например, высшая ценность, которую реализовала Великая Французская революция, была победа третьего сословия над господствующими до него дворянством и духовенством, то все стадии Французской революции должны рассматриваться с точки зрения того, что каждая стадия сделала для осуществления этой ценности. Рассматривая тот или другой процесс исторической действительности под углом ценности, историк волей-неволей становится на почву н р а в с т в е н н о г о д о л ж е н с т в о в а н и я. «Философия истории,—утверждает Риккерт, — должна не только устанавливать связь между прошедшим, настоящим и будущим, но прямо-таки с у д и т ь е г о (прошедшее *Л. А.)*, т.-е. мерить его ценность с т о ч к и з р е н и я с в о е г о и д е а л а» [2]. В действитель-

[1] „Философия истории", стр. 103—104, перев. с немецк. С. Гес. Курсив Риккерта.
[2] „Философия истории", стр. 124.

ности, уверяет Риккерт, все философски-исторические точки зрения, как бы они ни открещивались от применения теории ценности к исторической науке, как бы они ни стремились построить философию истории на основе естественно-научного метода, все они скрытым образом руководствуются теми или другими оценками. «Что философское трактование, — пишет он, — исторического универсума по существу своему носит систематический характер и вместе с тем необходимо связано с оценкой, — это может остаться неясным лишь для тех, кто, как это часто случается, не в состоянии различать между бытием и долженствованием, между действительностью и ценностью»[1]). Мы пришли, таким образом, к самой вершине, или если угодно, к самому основанию, философии истории Риккерта, к трансцендентному нравственному долженствованию. Главным, точнее единственным и решающим критерием исторической действительности служит учение Канта о чистом, формальном идеале, о долженствовании в себе. Исторические индивидуумы, т.-е. индивидуальные и непохожие друг на друга исторические события, об'единяются в определенные группы и рассматриваются как связанные между собою стадии развития при помощи нравственного долженствования, тождественного с категорией прогресса. В конечном итоге четко выделяется в этой философско-исторической доктрине гносеологический и метафизический дуализм Канта. В естествознании наши познавательные формы, наш рассудок действует дискурсивно, об'единяя и упорядочивая чувственные данные по их сходству и различию, образуя таким путем общие отвлеченные понятия. Тут, в этой сфере, имеет место полное равнодушие и бездушный механизм, необходимые для достижения строгой теоретической истины. В истории же, напротив того, обобщающим и об'единяющим началом служит практический разум, творческая нравственная воля, которая придает цену и смысл исторической действительности. Риккерт придал этой Кантовой теории более современный характер.

Совершенно сходную с исторической теорией Риккерта точку зрения на общественно-исторический процесс проводили у нас, в России, представители суб'ективной социологической школы П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский. В знаменитых «Исторических письмах» Миртова, их автор Миртов, т.-е. П. Л. Лавров, защищает и проводит совершенно ту же самую точку зрения на историю, разработкой которой так усердно и с такой тщательностью занимается Риккерт. Основные положения и аргументация сходствуют у Лаврова и Риккерта до поразительности, до самых тонких оборотов мысли.

Лавров, так же, как и Риккерт, берет за исходное положение различие исторического материала от естественно-научного, устанавливая на основании этого различия разницу в методах исследования обеих областей.

Так как эта параллель интересна во многих отношениях, то мы для защиты ее правильности и в интересах читателя приведем некоторые выдержки из названного произведения.

---

[1]) Там же, стр. 123, курсив наш.

Подвергая рассмотрению сущность законов естествознания, метод выведения этих законов и сопоставляя этот метод с историческим методом, Лавров говорит: «Во всех прочих процессах (природы. *Л. А.)* исследователь ищет закона, охватывающего явление во всех его повторениях,—только в историческом процессе представляет интерес не закон повторяющегося явления, а совершившееся изменение само по себе. Формы данного кристалла интересуют лишь наблюдателя-профана; минеролог возводит уродливые искаженные формы к неизмененным типам, подчиненным строгим геометрическим законам. Данная анатомическая аномалия есть лишь повод для анатома установить закон, который показал бы, между какими пределами отклонения колеблется нормальное устройство того или другого органа [1]). Совершенно очевидно, что для Лаврова, как и для Риккерта, индивидуальные особенности в области естествознания лишь постольку имеют значение, поскольку они могут служить указателем для нахождения повторяемости явлений, лежащей в основе закона природы. Другое дело, рассуждает Лавров, возможность определить признаки исторического явления. Следующие строки пояснят полностью мысль Лаврова, его взгляд на различие между явлениями естествознания и фактами истории. В упомянутом произведении мы читаем: «Каспар Гаузер внезапно явился на улицах Нюрнберга и через 5 лет был зарезан. Кеплер нашел законы движения планет. Северо-Американское междоусобие вызвало странную потерю людей и денег в Америке и отозвалось экономическим кризисом в Европе. Что изучаем мы в этих событиях?

«Для психолога Каспар Гаузер представляет интерес редкого экземпляра личности, вступившей взрослою в общество, экземпляра, на котором удобнее исследовать некоторые общие законы психических явлений, чем на других личностях. Для биографа и для историка Каспар Гаузер представляет обособленное явление данной эпохи, результат странной совокупности однажды встретившихся обстоятельств, вследствие которых это загадочное существо было до 17 лет выделено из всех общественных сношений, а через 5 лет погибло от руки убийцы. Когда Ансельм Фейербах предполагал в нем последнего представителя дома Циринген, он исследовал не повторяющееся, а единственное историческое явление.

«Точно так же для логика процесс открытий Кеплера есть не более, как пример общих законов научного мышления. Милль и Юэль (Whewell) могли спорить о том, представляет ли этот процесс образец истинной индукции или нет. Но для историка эти открытия суть однажды совершившееся событие, не имеющее возможности повториться» [2])

Внимательный анализ приведенных только что строк и сопоставление содержащейся в них мысли с определением, которое дается Риккертом историческому явлению, четко обнаружит полное сходство исторического метода Лаврова с методом Риккерта. Как для Лаврова, точно также и для Риккерта, каждое явление, составляющее элемент естественно-научного закона, есть

---

[1]) „Исторические письма", стр. 21—22 г. 2-е изд. ред журн. „Рус. Богатство" Петербург 1900. г.

[2]) Там же, стр. 22—24. Везде подчеркнуто автором.

«средний экземпляр», между тем, как исторический факт представляет собою своеобразное неповторяющееся единство. И далее, как согласно историческому воззрению Риккерта, так и с точки зрения Лаврова, исторические явления группируются в некоторое единство при помощи нравственных оценок. О способе обобщения исторического материала Лавров говорит вот что: «Итак, волей-неволей приходится прилагать к процессу истории суб'ективную оценку, т.-е. усвоив по степени своего нравственного развития тот или другой нравственный идеал, расположить все факты истории в перспективе, по которой они содействовали или противодействовали этому идеалу, и на первый план выставить по важности те факты, в которых это содействие или противодействие проявляется с наибольшею яркостью» [1]).

То же самое положение мы привели выше из Риккерта, положение, высказанное почти что в тех же выражениях.

Подобно Риккерту и Лавров не останавливается на суб'ективной нравственной оценке. Высшим и конечным критерием исторической действительности служит, с его точки зрения, как и по Риккерту, обще-значимое понятие прогресса, совпадающее с нравственным долженствованием.

В более талантливой и яркой форме, чем П. Л. Лавров, развивал те же идеи другой представитель нашей суб'ективной социологической школы — Н. К. Михайловский. И этот русский мыслитель вел защиту народнического утопического социализма, опираясь теоретически на различие между механическим методом исследования, вполне уместным в области естествознания, и методом суб'ективно-нравственного долженствования, единственно пригодным, когда дело касается общественно-исторической деятельности человечества. Этот род дуализма проходит красной нитью через все произведения Михайловского, получив свою краткую формулировку в его известной формулировке «правда-истина» и «правда-справедливость». «Правда-истина», выражая собою сущее, бытие — есть предмет механического естествознания. «Правда-справедливость» есть нравственная формула прогресса, при помощи которой совершается оценка исторического движения человечества.

Несмотря, однако, на очевидное сходство исторических теорий кантианцев, Виндельбанда-Риккерта с представителями русской суб'ективной социологии, между этими направлениями есть большая разница в смысле практических задач. Теория нравственных ценностей у Лаврова и Михайловского вытекала из их стремления дать обоснование социалистическому идеалу. Виндельбанд же и Риккерт, наоборот, ведут при помощи теории нравственных ценностей энергичную борьбу против социализма. Михайловский, подвергая страстной критике материалистическое понимание истории, исходил из нравственного долженствования во имя защиты социализма. Риккерт, наоборот, стремится при помощи того же метода наносить удары материалистическому пониманию истории, отнюдь не сомневаясь в том, что теория Маркса-Энгельса есть социалистическая теория, угрожающая капиталистической культуре.

(Продолжение следует.)

[1]) Там же, стр. 37.

Химическая война.

(Окончание.)

М. Павлович.

III.

Мы не будем подробно останавливаться на описании самих форм и методов химической войны, так как этот вопрос с достаточной обстоятельностью освещен в литературе (см., между прочим, упомянутую выше работу Фрайса и Веста, затем Лефебюра, не говоря уже о многочисленных статьях в наших военных журналах «Военный Вестник», «Военная Мысль и Революция», «Военный Зарубежник», в сборнике «Военно-Химическое Дело» и т. д.).

Прежде всего нужно отметить, что в настоящее время имеется в Европе и Америке ряд военных специалистов, которые считают, что война масс отжила свое время, и агитируют за то, чтобы всю подготовку к войне сосредоточить исключительно на развитии воздушного и химического оружия.

Виднейшим представителем этой школы, придающей исключительное значение роли воздушно-химического оружия в будущей войне, является итальянский полковник Гийе.

«Война масс,—говорит он,—достигла в истекшую войну своей кульминационной точки, завершив этим свою историческую роль. На смену ей ныне рождается война совершенно иного вида. Еще и в настоящее время многие считают, что будущая война опять будет борьбой масс, и, исходя из этого убеждения, толкуют о физическом развитии всей нации, о спортивном образовании молодежи, о привлечении, с другой стороны, к делу войны всех сил страны в самых широких размерах, в виде мобилизации промышленности, земледелия и т. п.,—одним словом, рисуют себе картину, подобную истекшей войне.

«Но так ли это будет в действительности?! Сейчас, конечно, трудно дать безошибочный прогноз формы будущей войны. Слишком еще сильно в нас воспоминание об истекшей войне со всеми ее характерными чертами.

«Война 1914—1918 г.г. ознаменована появлением совершенно нового могущественного вида борьбы, борьбы воздушно-химической. Только этот вид борьбы носит действительно отпечаток новизны и своеобразности. Ни крупно-калиберные

орудия с их всесокрушающим действием, ни танки (несмотря на поднятую вокруг них шумиху) не внесли, в конце концов, ничего нового и необычайного. Этим орудиям были противопоставлены другие, еще более могущественные,— против танков — противотанковые орудия.

«Только авиация и газовая борьба открыли действительно новые горизонты в военном деле».

Нельзя не согласиться с полк. Гийе, что воздушно-химическое оружие выступит в будущей войне в качестве грозного, могущественного фактора и что выгодными его отличительными свойствами являются:

а) независимость от условий местности и водных пространств,

б) громадная сфера действия,

в) очень большая скорость передвижения,

г) выдающаяся разрушительная сила и необычайный моральный эффект.

Подчеркивая именно этот моральный эффект (в особенности среди мирного населения), полк. Гийе говорит, что правильно сорганизованная воздушно-химическая борьба представляет собой силу, которая одна сама по себе сможет сыграть роль решающего фактора в войне.

«Представим себе,—говорит полк. Гийе,—что Италия вовлечена в войну с каким-либо соседним государством при том условии, что она, не имея крупной армии, обладает могущественным воздушным флотом в противоположность своему противнику, обладающему как раз крупной армией. Ясно, что из этой борьбы Италия должна будет выйти победительницей, так как ее воздушный флот, сея ужас и панику в войсках и по всей стране противника, не даст ему возможности использовать своей мощной армии».

«Во время мировой войны, — говорит полк. Гийе, — авиация достигла выдающихся успехов в отношении увеличения сферы действия, скорости полета, грузопод'емности и обстрела наземных целей. И она продолжает развиваться безостановочно. Уже сейчас находятся в стадии осуществления 8 — 10-тонные бомбы, аэропланы, сделанные целиком из металла, аэропланы, вооруженные 75-мм. пушками и десятками пулеметов, со скоростью полета в 300 км. в час.

«Англия, для морского флота которой авиация является опаснейшим соперником, обращает свое внимание на развитие у себя этого рода оружия, внимательно следя при этом за успехами авиации в других странах. Недавно даже была послана в Америку английская комиссия для ознакомления с последними достижениями в области воздушно-газовой борьбы».

Далее Гийе говорит об испытании меткости воздушного бомбометания, произведенном в Англии.

Бомбы метались аэропланами по судну среднего водоизмещения с высоты 15 метров (минимальная высота, при которой летят уже как раз над мачтами судна) при скорости полета, равной 200 км. в час. Попадания были в количестве 90%. Правда, на судне не было зенитных орудий, но при упомянутой скорости и при такой малой высоте полета вряд ли огонь зенитных орудий оказался бы действительным.

Англия, господство которой на море неоспоримо, решила превратить Гибралтар в могущественную авиационную базу. Мало того, она придала своей армии, находящейся в Месопотамии, небольшую эскадрилью, оказавшую войскам ценные услуги как в смысле чисто оперативном, так и в смысле морального воздействия на население. К тому же эскадрилья эта по произведенным расчетам должна с'экономить Англии 14 миллионов фунтов стерл.

Что касается химической борьбы, то германцы в мировую войну показали, что и здесь открываются широчайшие горизонты. Изученные и частично испытанные средства газо-борьбы очень многочисленны. В настоящее время в Америке, особенно интенсивно работающей в этой области, изобретены такие ядовитые и стойкие газы, которые, быть может, решат исход будущей войны. Самым смертоносным газом из числа испытанных в арсенале Эджевуда (в провинции Мериленда) является «левизит», убивающий и сжигающий всякое живое существо, попадающее в сферу его действия. Никакая маска и никакая специальная одежда не могут защитить от него.

Нет сомнения, что в будущую войну воздушно-химическая борьба приобретет самое грозное значение.

Защищая свою точку зрения, полк. Гийе выдвигает доводы и финансового характера.

«Переход от наземной армии к воздушной, — говорит он, — дает возможность значительно сократить военные расходы. Из итальянского военного бюджета 1921 — 1922 г.г. мы видим, что один солдат обходился государству в 3.213 лир в год. Считая, что численность современной армии будет не менее 200.000 человек, воздушной же во всяком случае не выше 50.000 человек, мы увидим, что государство сделает экономию весьма значительную (160 миллионов вместо 643). Но это еще не все. Офицерского состава в настоящее время у нас числится 14.000 человек, что̀ обходится государству в 160 миллионов. И эта цифра расходов, ввиду сравнительно небольшого офицерского состава воздушных армий, соответственно сильно уменьшится. Наконец, отпали бы совершенно или, во всяком случае, были бы сильно сокращены и остальные расходы: на организацию и на физическое воспитание войск, на производство маневров, на учебные стрельбы, общие расходы по содержанию учреждений и различных служб армии, по перевозке материальной части и т. д.

«Что касается расходов по приобретению и содержанию нужного числа летательных аппаратов и вооружения их, то таковые, понятно, не превысят расходов на приобретение и содержание материальной части (пушки, ружья, пулеметы, патроны и снаряды) современных армий. Кроме указанных выгод финансового характера, государство от перехода к воздушной армии извлечет еще другую пользу: ввиду уменьшения личного состава армии, большое количество населения останется не призванным на военную службу и, продолжая работать по своей специальности, будет способствовать росту экономического благосостояния страны».

Несомненно, что выводы полковника Гийе страдают чрезмерной переоценкой роли воздушно-химического оружия в будущей войне. Как бы велико ни было значение авиации и химии в грядущих конфликтах, едва ли можно

предполагать, что прежде всего в применении этих боевых средств и будет заключаться война будущего, что именно воздушно-химическое оружие явится единственным и решающим средством борьбы. Подобно тому как изобретение и усовершенствование огнестрельного ружья лишь ослабило и отнюдь не уничтожило значение холодного оружия, и специально роли штыка, а усовершенствование артиллерии, применение пулеметов, танков и т. д. не уничтожило значение винтовки—всякое новое изобретение и усовершенствование в области военной авиации и газовой войны все же не в состоянии будет свести к нулю роль в сражении основных боевых факторов последних войн — винтовки и пушки. Война будет происходить. главным образом, на земле, а не в воздухе, и на-ряду с газами еще долго сохранят свое значение на полях сражений пули и орудийные снаряды. Царицей сражения в будущих боевых столкновениях все же останется пехота, а не авиация.

Тем не менее не подлежит сомнению, что в грядущей войне воздушно-химическое оружие будет играть колоссальную роль, далеко более значительную, чем ту, которую оно сыграло в мировой войне 1914 — 1918 г.г. А этого одного уже достаточно, чтобы заставить нас поставить на должную высоту химическую оборону нашего Союза. Очень красочное описание начала химической войны мы находим в книге Фрайса:

Употребление ядовитых газов во время мировой войны ведет свое начало с 22 апреля 1915 года, когда германцы сделали первую газовую атаку, с применением баллонов с хлором, давно и хорошо известного газа. Судя по последним опытам союзников, выполнение такой атаки должно было потребовать нескольких месяцев предварительных подготовок. Предложение воспользоваться ядовитыми газами для военных целей приписывается профессору Берлинского университета Нернсту (Аульд, „Газ и пламя", стр. 15). Полевые опыты происходили под руководством проф. Габера из Берлинского физико-химического института имени императора Вильгельма. Некоторые ученые считают, что для разрешения вопроса об изготовлении газов нужны были годы, а не месяцы, и, в подтверждение своего мнения, указывают на употребление газов в промышленных целях. Но тот факт, что первая газовая атака не была особенно успешной, хотя никаких мер против нее принято не было и результаты ее не были достаточно хорошо оценены неприятелем, опровергает предположение о продолжительности подготовительного периода, который если и имел место, то разве только с большими перерывами. Указанное обстоятельство было большим счастьем для союзников, потому что, если бы германское верховное командование знало настоящее положение дел в конце первой газовой атаки или если бы атака была более решительной, то исход войны 1914 года мог бы стать совершенно иным и наступил бы значительно раньше.

Первое сведение о готовящейся газовой атаке поступило в британскую армию, благодаря показанию одного немецкого дезертира, который утверждал, что германское командование намеревается отравить своего врага облаком газа и что цилиндры с газом уже установлены в траншеях. Никто не обратил внимания на его рассказ потому, что вся эта операция казалась совершенно невозможной.

Этот рассказ появился в сводке разведок главного штаба и, как говорит Аульд, был причислен к сведениям, не заслуживающим доверия. Но показание дезертира оказалось правдивым, и утром 22 апреля, при идеальных условиях, был впервые применен „газовый способ войны". Подробности первой газовой атаки почти отсутствуют по той простой причине, что люди, которые могли бы рассказать о ней, лежат все на полях Фландрии, где теперь цветут маки.

Выбранный для атаки пункт находился в северо-восточной части Ипрского выступа, на том месте, где сходились французский и английский фронты, направляясь к югу, и откуда отходили траншеи от канала близ Безинге.

Правый фланг французов составлял полк тюркосов, на левом фланге англичан стояли канадцы. Ауль описывает атаку в следующих словах:

„Попытайтесь вообразить себе ощущения и положение цветных войск, когда они увидали, что огромное облако зеленовато-желтого газа поднимается из-под земли и медленно двигается по ветру по направлению к ним, что газ стелется по земле, заполняя каждую ямку, каждое углубление и затопляет траншеи и воронки. Сначала удивление, потом ужас и, наконец, паника охватили войска, когда первые облака дыма окутали всю местность и заставили людей, задыхаясь, биться в агонии. Те, кто мог двигаться, бежали, пытаясь, большею частью напрасно, обогнать облако хлора, которое неумолимо преследовало их".

Естественно, что первое чувство, которое внушил газовый способ войны, был ужас. Потрясающее описание впечатления газовой атаки мы находим в статье О. С. Уоткинса (Лондон).

„После бомбардировки города Ипра, продолжавшейся от 20 до 22 апреля, — пишет Уоткинс, — среди этого хаоса вдруг появился ядовитый газ.

„Когда мы вышли на свежий воздух, чтобы отдохнуть несколько минут от душной атмосферы окопов, наше внимание было привлечено очень сильной стрельбой на севере, где фронт занимали французы. Очевидно, шел горячий бой, и мы энергично принялись исследовать местность нашими полевыми биноклями, надеясь уловить что-нибудь новое в ходе сражения. Тогда мы увидали зрелище, заставившее остановиться наши сердца,—фигуры людей, бегущих в смятении через поля.

„Французов прорвали", вскричали мы. Мы не верили своим глазам... Мы не могли верить тому, что услыхали от беглецов: мы приписывали их слова расстроенному воображению: зеленовато-серое облако, спустясь на них, становилось желтым по мере своего распространения и опаляло на своем пути все, до чего касалось, заставляя растения гибнуть. Никакой самый мужественный человек не мог устоять перед подобной опасностью.

„Среди нас, шатаясь, появились французские солдаты, ослепленные, кашляющие, тяжело дышащие, с лицами темно-багрового цвета, безмолвные от страданий, а позади их в отравленных газом траншеях остались, как мы узнали, сотни их умирающих товарищей. Невозможное оказалось только справедливым.

„Это самое злодейское, самое преступное деяние, которое я когда-либо видел".

Следует, однако, указать, что все это произошло только потому, что французы не имели никакой защиты против газа. На самом деле, газовый способ войны далеко не является настолько страшным, если обе стороны подготовлены к защите и нападению. Медицинские отчеты показывают, что из 100 американцев, отравленных газами, умирало не более двух и, насколько можно судить по опыту четырех лет, очень мало лиц получило неизлечимые повреждения. Из всех американцев, пострадавших на войне от огнестрельного оружия, более 25% умерло и от 2 до 5% было искалечено, ослеплено, изуродовано на всю жизнь. Различные виды газов, как будет показано в следующих главах, действуют на зрение или отравляют легкие только тому, кто не носит масок, но они не убивают.

Таким образом, — заключает неожиданно Фрайс, — газовая борьба не только не является самой ужасной, но скорее должна считаться наиболее гуманным способом при условии соответственной подготовки обеих сторон.

Газовая война пользуется всевозможными действиями, производимыми на человеческий организм разного рода химическими соединениями. В зависимости от характера физиологических явлений, эти вещества можно подразделить на несколько категорий. При этом некоторые из них могут быть

одновременно отнесены к разным категориям, соединяя в себе различные свойства. Таким образом, по производимому действию, газы делятся на:

1) удушливые, вызывающие кашель, раздражающие органы дыхания и могущие причинить смерть от удушья;

2) ядовитые, проникающие в организм, поражающие тот или иной важный орган и производящие, вследствие этого, общее поражение какой-либо области, например, некоторые из них поражают нервную систему, другие — красные кровяные шарики и т. п.;

3) слезоточащие, вызывающие своим действием обильное слезотечение и ослепляющие человека на более или менее продолжительное время;

4) гноящие, вызывающие своей реакцией или зуд, или же более глубокие накожные из'язвления (напр., водянистые пузыри), переходящие на слизистые оболочки (особенно дыхательных органов) и причиняющие серьезный вред;

5) чихательные, действующие на слизистую оболочку носа и вызывающие усиленное чихание, сопровождающееся такими физиологическими явлениями, как раздражение горла, слезоточивость, страдание носа и челюстей.

Вещества удушливые и ядовитые были во время войны об'единены под общим названием «ядовитых», так как все они могут вызвать смертельный исход. То же самое можно отметить относительно некоторых других смертоносных веществ, хотя их главное физиологическое действие проявлялось в гноящей или чихательной реакции.

Германия использовала во время войны все физиологические свойства газов, непрерывно увеличивая таким образом страдания сражающихся. Газовая война началась 22 апреля 1915 года с применения хлора, который в жидком виде помещался в цилиндре, а из последнего при открывании небольшого крана он выходил уже в виде газа. При этом значительное количество газовых струй, выпускавшихся одновременно из многочисленных цилиндров, образовывало густое облако, которому было дано название «волны».

В июне 1915 г. было применено другое удушливое вещество—бром, употреблявшееся в минометных снарядах; появилось также и первое слезоточащее вещество: бромистый бензил. соединенный с бромистым ксилиленом. Этим газом наполнялись артиллерийские снаряды. В первый раз употребление газов в артиллерийских снарядах, получившее впоследствии такое широкое распространение, отчетливо наблюдалось 20 июня в Аргонских лесах; но уже за несколько месяцев до того (в частности с марта) замечалось применение германцами в отдельных случаях снарядов, начиненных слезоточащими газами.

В 1915 и последующих годах была выпущена целая серия нормальных газов.

Некоторые из этих газов применялись в отдельности, но большинство в соединениях. Так, фосген употребляется и в чистом виде (в минах), и в соединениях (в артиллерийских снарядах).

Впервые фосген был применен немцами в декабре 1915 года на итальянском фронте.

При комнатной температуре фосген — бесцветный газ, с запахом подгнившего сена, обращающийся при температуре — 8° в жидкость Перед войной фосген добывался в больших количествах и служил для изготовления различных красок для шерстяных материй.

Фосген очень ядовит и, кроме того, действует, как вещество, сильно раздражающее легкие и вызывающее повреждение слизистых оболочек. Опасность его еще увеличивается и тем, что действие его обнаруживается не сразу: иногда болезненные явления появлялись лишь через 10—11 часов после вдыхания.

Вследствие незначительного испарения при нормальной температуре, фосген обычно применялся в смеси с другими удушливыми газами, например с хлором.

Сравнительная дешевизна и простота приготовления, сильные отравляющие свойства, затяжное действие и малая стойкость (запах исчезает через 1½—2 часа) делают фосген веществом, очень удобным для военных целей.

Употребление фосгена для газовых атак предлагалось еще летом 1915 г. нашим морским химиком Н. А. Кочкиным (немцы применили его только в декабре). Но предложение это не было принято царским правительством.

Вначале газ выпускался из специальных баллонов, но уже к 1916 г. стали применять в бою артиллерийские снаряды, снаряженные ядовитыми веществами. Достаточно вспомнить кровавое побоище под Верденом (Франция), где было выпущено до 100.000 химических снарядов.

Наиболее распространенными в бою газами были: хлор, фосген и дифосген. Германия, как наиболее развитая в промышленном отношении страна, могла шире остальных воюющих государств использовать применение газа на фронте.

Всякое действие вызывает противодействие. Газовая война вызвала противогазовую оборону. Сперва с газами боролись тем, что бойцам надевали особые маски (респираторы). Но долгое время система масок не совершенствовалась. Современная американская противогазовая маска лучше предохраняет жизнь.

Однако условия войны заставляют помнить также о коллективной защите.

Все государства работают над разрешением задач газовой войны в секрете, и для нас многое впереди неизвестно. Бойцы в будущих войнах не должны подвергаться панике и быть такими же неосведомленными в химии, как их предшественники в империалистических войнах. В этом — задача нашей пропаганды.

За время европейской войны отмечено около 60-ти разных химических веществ и элементов в разнообразных соединениях, умерщвлявших человека или делавших его совершенно неспособным к продолжению боя. Среди применявшихся на войне газов следует отметить газы раздражающие, т.-е. вызывающие слезоточение и чихание, против которых были недействительны принятые в войсках противогазовые маски; затем газы удушливые, отравляющие

и отравляюще-обжигающие, которые, проникая через обувь и одежду, вызывали ожоги на теле, подобные ожогам от керосина.

Обстрелянная и пропитанная этими газами площадь не теряла своих ожигающих свойств в течение целых недель, и горе человеку, попадавшему на такое место: он выходил оттуда пораженный ожогами, и его одежда до того пропитывалась этим страшным газом, что одно только прикосновение к нему поражало дотронувшегося человека частицами выделяемого газа и вызывало такие же ожоги.

Обладающий такими свойствами так называемый горчичный газ (иперит) немцы прозвали «царем газов» [1]).

Это было пределом того, что дала нам европейская война в рассматриваемой области. На-ряду с этим были изобретены снаряды большого калибра, наполненные особым веществом, загорающимся от соприкосновения с воздухом; это горючее вещество при взрыве разбрасывалось на большое пространство, и тушение его, вследствие весьма высокой температуры, было очень трудно.

Размеры применения химических снарядов может иллюстрировать табличка, показывающая общее количество снарядов, изготовленных в одной Франции во время войны, а также количество химических снарядов, доставленных во французскую армию за последние месяцы войны.

Количество химических снарядов, изготовленных во время войны:

75-миллиметровых снарядов	12.829.480
Снарядов других калибров	4.044.459
Ручных гранат	1.140.000

Доставлено в армию снарядов:

	к 75-миллиметр.	к тяжелым орудиям.
17 августа 1918 г.	322.338	207.975
17 сентября 1918 г.	607.343	241.098
17 октября 1918 г.	330.780	72.759

К моменту перемирия Франция еще не прекращала изготовления химических снарядов.

Что касается изготовления химических снарядов в Германии, то об этом могут дать некоторое представление следующие данные:

Высчитано, что 22 июня 1916 года немцы выпустили не менее 100.000 химических снарядов и столько же 11 июля того же года. В 1917 году, приготовляя оборону против французского наступления 20 августа, немцы применяли химические снаряды, начиненные «иперитом»; на фронте шириной в 30 километров и глубиной в 4 километра было выпущено 300 тысяч снарядов.

Во время войны практическим путем были выведены условия и приемы тактического применения химических снарядов. Так, снаряды, начиненные медленно испаряющимися ядовитыми веществами, имеют применение, главным образом, в случае необходимости не дать противнику в течение долгого вре-

[1]) Подробно об этом газе см., между прочим, статью проф. Попова „Король газов" („Военная Мысль и Революция", ноябрь—декабрь 1923 г.).

мени занять какой-нибудь район или в целях изгнания неприятельских батаре из какого-либо района. Применение таких снарядов полезно при обстрел лесов, просек, зарослей и долин в тылу противника. Особенно действительн снаряды, начиненные «иперитом», действие которого при благоприятных усл виях продолжается до 8 дней.

Снаряды, начиненные быстро испаряющимися веществами, применяютс только, когда в местности, которую желательно обстрелять, предполагаетс присутствие крупных живых сил противника. Для действия против войск пр тивника стараются обстрелять их, прежде чем они успеют надеть противог зовые маски. Если считать, что для надевания маски требуется от 20 секунд д 4 минут (если маска лежит в ранце или походной сумке), то отсюда ясно, чт для того, чтобы действием газов застигнуть противника врасплох, необходи обстрел в продолжение 4 минут. Практически установлено, что для таког обстрела цели, занимающей по фронту 100 метров, независимо от расстояни до нее, необходимо выпустить 75-тимиллиметровых снарядов от двухсот д четырехсот, а 155-тимиллиметровых от 50 до 100.

Отбрасывая в сторону всякие преувеличения насчет роли в будуще войне авиации и химического оружия, необходимо признать, что уже из опыт минувшей войны можно сделать вывод о громадной роли воздушно-химиче ского оружия в грядущих войнах. Недаром ни одна отрасль военного дела сей час не пользуется таким исключительным вниманием и заботами военны министров всего мира, как авиация. В лихорадочной подготовке к новым вой нам, милитаристические государства—победители 1918 г.—увеличивают сво воздушные бюджеты, соперничают между собой, деятельно работают на научным использованием воздушного опыта минувшей войны. От развити и совершенства авиации в сильной степени зависит победа или поражени данной страны. Трудно себе представить, какие формы примет воздушна война будущего. Во всяком случае боевые воздушные силы враждующих стра сразу же появятся в глубоких тылах противника. Они будут стремиться пара лизовать военную промышленность, разрушать крупные политические и жиз ненные центры, гавани, узлы путей и т. п. Это должно привести к тому, чт внутреннее сопротивление народа будет быстро сломлено и правительств должно будет покорно сложить оружие перед победителем.

Военные аэропланы будут действовать с помощью снарядов, заряжен ных сильнейшими взрывчатыми веществами или долго действующими ядов тыми газами.

«В одну прекрасную ночь,—читаем мы в докладе председателя комитет воздушной обороны при английском парламенте,—четыре-пять тысяч бе шумно идущих аэропланов, не дожидаясь никому не нужного об'явлени войны, ринутся на наши города, со скоростью 200-300 километров в час, ид на такой высоте, что они будут невидимы. Каждый такой аппарат сможе сбросить бомбу, содержащую до 50 пуд. тринитротолуола (взрывчатое веще ство). Одной такой бомбы достаточно, чтобы уничтожить целые квартал Лондона. Точность бомбометания такова, что с аэроплана, находящегося н высоте 6.000 футов, можно попасть в трубу военного корабля».

В таком же тоне описывают некоторые военные специалисты разрушительное действие ядовитых газов, которые будут применяться в будущей войне.

«Сейчас нужно считаться,—пишет немецкий генерал фон-Даймлинг,— с существованием таких ядовитых газов, действие которых превышает во сто крат действие сильнейших газов, примененных во время мировой войны».

В подтверждение своих слов, генерал ссылается на опубликованную недавно статью о «Войне при помощи ядовитых газов», принадлежащую перу приват-доцента (по химии) Бернского университета Гертруды Вокер. Оказывается, что против изобретенного американцами «люизита» не могут защитить никакие маски. Достаточно 12 больших бомб, наполненных этим газом, для того, чтобы в кратчайший срок уничтожить всякие признаки жизни в таком городе, как Чикаго или Берлин. Даже в погребах нельзя найти себе спасения, ибо этот газ тяжелый, он стелется по земле и проникает под землю. Он уничтожает всякую растительность и отравляет воду...

Американцы называют люизит «росой смерти» в предположении, что он будет распыляться с аэропланов.

Совершенно правильно Н. Бородачев указывает, что появление и развитие воздушного флота в связи с применением химического оружия совершенно изменило взгляд на оборону государства (см. Н. Бородачев, «Организация воздушной обороны страны»,—«Военная Мысль и Революция», 1923, книга третья):

«До мировой войны 1914 — 1918 г.г. понятие об обороне государства связывалось с представлением об обороне государственных границ: сухопутных — помощью сухопутной армии и морских — помощью морского флота и береговой обороны. При достаточном наличии обоих упомянутых видов вооруженной силы, т.-е. сухопутной армии и морского флота, территория государства считалась обеспеченной от враждебных действий противника. Но мировая война выдвинула на поле сражения новую боевую силу — воздушный флот. Крайне быстро развиваясь как во время войны, так и после нее, воздушный флот в настоящее время представляет собой чрезвычайно мощное боевое средство и некоторыми авторитетами даже признается за третий вид вооруженной силы. Поэтому появление и развитие воздушного флота совершенно изменило взгляд на оборону государства».

Действительно, даже при наличии преобладающей сухопутной армии и преобладающего морского флота территория страны не обеспечена от нападения на нее с воздуха. Воздушные силы могут легко проникнуть над линией фронта, обороняемой полевой армией, и над линией побережья, обороняемого морским флотом или береговой обороной, хотя бы армия и флот и имели свою собственную сильную авиацию. Последняя даже не сможет при господстве в воздухе безусловно прекратить воздушную деятельность противника, который всегда сумеет в нужном ему направлении бросить превосходные силы. При преимуществе же противника в воздушных средствах (а для Красной армии

как раз необходимо быть готовой к этому), возможность и опасность такого прорыва увеличивается чрезвычайно сильно.

Поэтому следует считать всю территорию страны, расположенную от линии сухопутной и морской границы на расстоянии максимальной дальности полета неприятельских воздушных сил, доступной для воздушного нападения. Ширину этой полосы, принимая во внимание последние достижения авиации, можно определить в 400—500 килом. от границы (4—5 часов полета, считая его в обе стороны). Следовательно, первое требование к организации воздушной обороны страны заключается в необходимости защитить от воздушных нападений территорию государства на протяжении до 500 верст в глубину от линии сухопутной (или от линии фронта в период боевых действий) морской границы, независимо от размеров и деятельности собственных сухопутных и морских сил.

Вторым требованием к авиации является необходимость организации обороны с первых моментов войны, вернее, даже до ее начала, с момента, когда политические осложнения грозят возможностью открытия военных действий. Действительно, если уже русско-японская война 1904 — 1905 г.г. началась набегом японских миноносцев на стоянку русского флота, то тем более оснований ожидать, что будущие войны будут начинаться аналогичными налетами воздушных сил на все важные центры страны. Успешная атака неприятельских эскадрилий на промышленные районы может поставить страну в крайне затруднительное положение в отношении налаживания столь важного при современных миллионных армиях дела снабжения армий. Разрушение железнодорожных линий и особенно узловых станций и мостов может нарушить планы мобилизации и сосредоточения войск и флота, а в силу этого полевые войска должны будут начать кампанию в явно неблагоприятных условиях. Во время же ведения военных действий этим может быть крайне ослаблено питание армии и выполнение оперативных перегруппировок. Наконец, нападение на столицы и крупные города окажет крайне неблагоприятное воздействие как на население, так равно и на правительство и армию.

Из сделанного перечня вероятных об'ектов действий неприятельских воздушных сил на самой территории страны видно, что таковыми, в первую очередь, явятся: основные пункты для мобилизации и сосредоточения вооруженных сил (как армии, так и флота), главнейшие железнодорожные узлы и линии, порты, мосты, промышленные центры, столицы и крупные населенные пункты вообще. Следовательно, третье основное требование к воздушной обороне страны, это — обеспечение защиты от воздушных нападений в упомянутой 500-верстной полосе всех наиболее важных в военном, промышленном и политическом отношениях центров.

Таким образом, если даже признать, что воздушно-химическое оружие едва ли будет играть в будущей войне роль главнейшего, а тем более **единственного** средства борьбы на полях сражений и при нападении на тылы армии, все же очевидно, что, при пренебрежении к авиации и химии, даже очень сильная, хорошо вооруженная другими техническими средствами и дисципли-

нированная пехота окажется значительно парализованной в своих боевых действиях. Ведь всякая незащищенная химическими средствами местность может быть действием боевых ядовитых газов, впитывающихся на значительную глубину в землю и остающихся в платье и атмосфере чрезвычайно долгое время, убивающих растительность, отравляющих воду, губящих всякий животный организм, превращена в настоящую зону смерти, через которую не пройдет никакая армия, лишенная средств противогазовой обороны. Газовая война грозит нам громадными опасностями, колоссальными разрушениями. Вот почему на развитие химических средств обороны и нападения мы должны обратить самое серьезное внимание. Но при этом не следует забывать, как ясно видно особенно из примера Германии и Америки, что развитие военной химии тесно связано с развитием мирной химической промышленности.

Только страна с развитой химической промышленностью может рассчитывать выйти победительницей в будущей химической войне. Химическая промышленность мирного времени является единственным фундаментом, на котором может создаться и развиваться сильная военная химия. Вот почему все империалистические правительства стремятся ныне с тем же усердием, с каким до мировой войны они стремились развить в своей стране металлургическую промышленность, усилить химическую индустрию, не оставляя, конечно, своих забот о тяжелой промышленности, с которой теснейшими узами связана химия. Вот почему английское правительство, убедившись в силе немецкой химической промышленности, мощи которой не в состоянии был уничтожить Версальский договор и оккупация Рура, отвергло фантастические планы Лефебюра и единомышленников последнего и стало, наоборот, на путь поддержки проектов соглашения между английскими и немецкими химическими трестами. Вот почему даже правительство Пуанкаре, убедившись в том, что даже оккупация Рура с его прекрасным коксующим углем, от перегонки которого зависит все немецкое химическое производство, отнюдь не убила германской химической промышленности, вступило на путь частичных соглашений с немецкими химическими трестами.

Баденская анилиновая и содовая фабрика в Людвигсгафене (насчитывающая 24 тысячи рабочих) заключила с французским правительством договор — сроком на 5 лет,—по которому ценою 5 миллионов франков и 2% участия в прибылях правление обязуется прекратить во Франции и в странах, состоящих под французским протекторатом, всякую конкуренцию продуктами, изготовляемыми по ее методу, и, что важнее, представляет, кроме прав, вытекающих из Версальского договора, свою добровольную поддержку в деле производства аммиака. Эта же фабрика продала акционерному обществу, главным акционером которого является французское государство, так называемый метод Габера фабрикации синтетического аммиака и обязалась внутри Франции организовать это производство — один из важнейших элементов военно-химической промышленности. Этот второй договор, гарантирующий французскому империализму дешевое изготовление пороха и других взрывчатых веществ, заключен сроком на 99 лет. Надо подчеркнуть, что единственно благодаря методу Габера Германия могла настолько развить свое производство азо-

тистых соединений, что ей удалось почти освободиться от необходимости ввоза чилийской селитры (ввоз нитрата из Чили в 1922 году по сравнению с 1913 годом сократился на 750 тысяч тонн).

Однако, несмотря на оккупацию Прирейнских областей и на «патриотический» поступок Баденской содовой и анилиновой фабрики, — что значительно ухудшило положение химической промышленности,—Германия по-прежнему остается на первом (в Европе) месте.

Все главные минеральные элементы химического производства, а также большинство превосходно оборудованных заводов, остались в неоккупированной части Германии. Однако (за исключением калиевой соли) Германии не хватает ее собственных минеральных источников, и ей приходится ввозить весьма значительные количества сырья и полуфабрикатов для своей химической промышленности.

В 1913 году перевес ввоза над вывозом равнялся 5.257.832, а в 1922 г. уменьшился до 3.132.887 тонн. Что касается готовых химических изделий, то здесь наблюдается перевес вывоза над ввозом, который в 1913 году достигал 1.092 тыс. тонн, а в 1922 г.—681 тыс. тонн.

Несмотря на ограничения и контроль, германская химическая промышленность усилилась в послевоенный период. Так, в 1922 году Германия по производству красок занимала первое место:

Мировое производство	210.000 тонн.
В том числе Германия	150.000 „
„ „ „ Франция	9.000 „

Для характеристики превосходства немецких изделий достаточно привести тот факт, что в то время, как английская промышленность изготовляет 380 красящих веществ, немецкая выпускала свыше 50 тысяч. Из общего числа химических заводов, составлявших в 1921 году 3.223 с 250 тысяч рабочих,— лишь 159 заводов с 15.475 рабочими вырабатывали взрывчатые вещества, однако в случае войны большинство заводов химической промышленности может быть использовано для целей военной промышленности; и потому, несмотря на контроль, не может быть речи о разоружении Германии в химическом отношении.

Теснейшая связь, существующая между военной химией и мирной химической промышленностью, властно диктует необходимость развития последней в стране. Совершенно правильно говорит академик Ипатьев (см.«Военный Вестник», 1924, № 18: Химическая оборона страны):

«Можно с уверенностью сказать, что страна, в которой не развита химическая промышленность, не выдержит натиска противника и понесет громадные людские потери. Поэтому С. С. С. Р. должен напрячь все силы для поддержания дальнейшего развития химической промышленности. Необходимо принять срочные меры к тому, чтобы наша химическая школа, созданная трудами наших великих химиков — Ломоносова, Зилина, Менделеева, Бутлерова и др., показавших всему миру продуктивность нашей химической мысли, продолжала бы развиваться как для мирной продукции, так и для химической обороны страны, когда это потребуется. Одна борьба с вредителями сельского

хозяйства и с возбудителями заразных болезней требует большого количества отравляющих веществ; здесь предстоит большая научная работа, которая, как показала история, не пропадет даром. Имея кадр научных химиков и квалифицированных работников, обеспеченные запасами сырья химические заводы могут быть в кратчайший срок переведены на военное производство, дав все средства для современной химической обороны страны».

Существуют ли у нас в С. С. С. Р. благоприятные условия для создания и развития химической промышленности? Такие данные в С. С. С. Р., несомненно, существуют. До мировой войны Россия почти не имела химической промышленности и все продукты химической индустрии получала из Германии.

«Ни одна отрасль обрабатывающей промышленности в России,—пишет проф. П. Г. Тимофеев,— не находилась на таком низком уровне развития, как химическая промышленность, и ни одна отрасль не находилась в такой зависимости от иностранной промышленности, как русская химическая промышленность, особенно же химико-фармацевтическое и красочное дело. Русских заводов, изготовляющих химико-фармацевтические и красочные продукты, очень немного, и производительность их в общем ничтожна. Когда началась великая война 1914 года, Россия стала испытывать острую нужду в препаратах химической промышленности, которые почти исключительно поставляла нам германская промышленность. В области химической промышленности Германия приобрела мировое господство, ибо ни в одной стране эта промышленность не достигла такого колоссального развития, как в Германии. Этим об'ясняется то исключительное, фактически почти монопольное, значение, которое приобрела Германия в русской химической промышленности. В России не только значительная часть спроса на химические продукты покрывалась германским привозом, но и то производство химических препаратов, которое было в России, находилось чуть не исключительно в руках германских фирм. Все более или менее крупные германские фирмы имели в России, в качестве филиальных отделений, свои фабрики и заводы по производству химических препаратов, особенно химико-фармацевтических и красочных. Главнейшими немецкими фирмами, сосредоточивавшими в своих руках почти всю русскую химическую промышленность, были: 1) Германское акционерное общество анилиновых производств, 2) акц. о-во «Баденская анилиновая и содовая промышленность» и 3) акц. о-во фабрик «Фридрих Байер и К°». Основною областью, которую обслуживали указанные три фирмы, была русская текстильная промышленность; она являлась обширным внутренним рынком России, всецело обеспечивавшим названным фирмам сбыт их товаров. Насколько сильно было в русской химической промышленности германское засилье, видно уже из того, что даже внутренняя торговля в России химическими и фармацевтическими препаратами концентрировалась тоже в руках германских фирм. Германцы строго оберегали свою химическую промышленность от доступа к ней русских подданных, продавая свои патенты на выработку и продажу химических препаратов в России исключительно германскими подданными и кон-

струируя технический персонал на открываемых ими в России химических заводах тоже исключительно из германских подданных. Даже у себя на родине германцы ревниво охраняли тайны своих химических производств от иностранных глаз; по крайней мере, доступ в германскую химическую промышленность русским подданным, даже получившим химическое образование в Германии, был совершенно закрыт.

«Из русских химических производств, пробивших себе сколько-нибудь самостоятельный путь, можно указать на русскую содовую промышленность, которая была в России в достаточной мере развита и почти целиком удовлетворяла наш внутренний спрос. Содовые заводы расположены в губерниях Екатеринославской, Харьковской, Пермской и Екатеринбургской. Годовая добыча соды составляла перед войной 1914 года около 10 миллионов пудов.

«Значительно хуже обстояло — до войны 1914 года — дело с серно-кислотной промышленностью, которая основана на переработке серных колчеданов. Наши русские серно-кислотные заводы работали, главным образом, на привозном сырье, которого ввозилось в Россию за последние годы перед войной 1914 года до 9 миллионов пудов, что̀ составляло больше половины общего потребления в России серных колчеданов (исчисленного приблизительно в 15 — 16 миллионов пудов). Русские заводы, расположенные в северной, западной и южной России, получали колчедан преимущественно из Испании и Португалии и отчасти из Норвегии и Малой Азии. Заводы же, расположенные в восточной части России (считая к востоку от меридиана Москвы), работали на отечественном колчедане, добывающемся на Урале и Кавказе.

«Слабая постановка вообще химического дела в России не позволяла развиться многим отраслям этого дела, в частности серно-кислотному делу, несмотря на существующие благоприятные естественные условия. Так, например, Кыштымский медноплавильный завод на Урале, выплавлявший до 600 пудов меди, а также Верх-Исетский, выплавлявший около 150 тысяч пудов меди, потребляли оба вместе около 25 миллионов пудов серы, что̀ могло бы, при надлежащей утилизации серн. газов, дать около 30 миллионов пудов серной кислоты и с избытком покрыть весь внутренний спрос в России на серную кислоту. Аналогичные данным, благоприятные условия для производства серной кислоты, давно уже учтены в Германии, например, в силезской цинковой промышленности. В силу действующих в Германии строгих санитарных правил, цинковые заводы обязаны улавливать выделяющиеся при обжиге сернистые газы, т.-е. превращать их либо в серную кислоту, либо в соли. При огромном развитии силезской промышленности получается, таким образом, колоссальное количество серной кислоты (а также ее солей), что, в связи с указанной обязательностью ее производства, сделало стоимость этих продуктов чрезвычайно низкою. Дешевизна германской серной кислоты и явилась причиною значительного ввоза ее в русские районы, смежные с Германией (например, в отошедшую от нас Польшу). Впрочем, уже на время войны производительность русских серно-кислотных и азотно-кислотных заводов настолько увеличилось, что последние могли бы при нормальной обстановке почти пол-

ностью удовлетворять потребность внутреннего рынка в серной и азотной кислотах» [1]).

Первый завод по улавливанию продуктов перегонки каменного угля был построен в начале войны в течение 5½ месяцев с американской быстротой; к концу войны Россия имела уже свыше 20 таких заводов.

Химическая оборона страны требует значительно меньших средств, чем механическая, как-то: приготовление пушек, пулеметов и т. д. Поэтому создать химическую промышленность мирную с тем, чтобы она, когда нужно, перешла на задачи военного времени — легче, и мы имеем все шансы для того, чтобы развить у себя эту мирную химическую промышленность.

Мы имеем в огромном количестве сырье, имеем навыки, имеем заводы, которые следует оживить и направить для химической промышленности мирного времени.

Химическая промышленность необходима нам не только для успешной обороны нашего Союза против империалистических хищников, но в особенности для того, чтобы поднять производительность нашего хозяйства.

Так, говоря о применении химии к утилизации наших громадных лесных богатств, проф. А. Л. Чугаев (см. статью «Нужна ли России химическая промышленность» в журнале «Человек и Природа», 1921, № 2, Петербургское Госуд. Издательство, 1921) пишет:

«Россия издревле богата лесами. Немало их сохранилось и до настоящего времени, несмотря на хищническое их истребление. Огромное количество сводимых лесов идет на топливо и в качестве строительного материала. Но есть другие способы использования дерева, несравненно более рациональные и дающие гораздо больше выгоды обитателям лесной страны. Главная масса дерева состоит из клетчатки или целлюлозы. На-ряду с ней дерево содержит так наз. лигнин и другие примеси. Целлюлоза, сама по себе, представляет чрезвычайно ценный материал не только по своей выдающейся прочности и устойчивости по отношению к различным химическим деталям, но и по способности своей при надлежащей механич. и химич. обработке превращаться в целый ряд полезных и важных продуктов и изделий. Но для этой цели целлюлоза должна быть предварительно очищена от примесей, особенно от лигнина, что и производится на особых заводах, которых очень много в Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, которые имеются и в Прибалтийском крае, но которых, к сожалению, очень еще мало в наиболее лесистых местностях России. Фабрикация целлюлозы в главнейшей части своей — химическая. Размельченное дерево подвергается действию химических реагентов (сульфит кальция, едкий натр и др.), которые растворяют (при высокой температуре в автоклавах) лигнин и оставляют чистую клетчатку, которую хорошо отмывают и сушат. Такая клетчатка идет в огромных количествах на приготовление бумаги и картона. После обработки надлежащими реагентами (уксусный ангидрид) из нее получается другое вещество, ацетил-целлюлоза, прочная и весьма

[1]) Проф. П. Г. Тимофеев, Экономическая география С.С.С.Р. Государственное Издательство, 1924 г., стр. 247--249.

устойчивая масса, из которой изготовляется особый лак и формуются тонкие прозрачные пластинки. Это—незаменимый материал при фабрикации крыльев для аэропланов, а также для изготовления кинематографических лент, безопасных в пожарном отношении.

«Та же клетчатка, или целлюлоза, при обработке смесью азотной и серной кислот, дает так наз. нитро-клетчатку, или пироксилин разных сортов. Последний обладает взрывчатыми свойствами и идет на приготовление бездымного пороха. Но применения нитро-клетчатки существуют и другие. Смешивая ее с камфорой, мы получаем пластическую массу, носящую название целлулоида, из которого изготовляются разнообразнейшие изделия: гребенки, коробочки, футляры, ручки и оправы для всевозможных предметов и т. д. До последнего времени из целлулоида приготовляли и еще продолжают приготовлять кинематографические ленты, но так как он легко воспламеняется, то это служило неоднократно поводом возникновения опасных пожаров со многими человеческими жертвами. Поэтому в настоящее время стараются заменить в этом случае целлулоид другими продуктами, из числа которых только что упомянутая ацетил-целлюлоза, —как мы видели, также производное клетчатки,—является бесспорно наилучшим.

«Если дерево нагревать до высокой температуры в замкнутом пространстве и без доступа воздуха, то оно, не будучи в состоянии гореть, за недостатком кислорода, сначала буреет, потом чернеет и, наконец, превращается в уголь. Одновременно с обугливанием, из дерева выделяются горючие газы и пары, обладающие резким пригорелым запахом; часть их при охлаждении сгущается в жидкость, образуя черный деготь, «водянистую» (подсмольную) жидкость, часть остается в виде газа, обладающего способностью гореть на воздухе и по своим свойствам напоминающего светильный газ, добываемый из каменного угля. Такое химическое превращение дерева, по своему характеру чрезвычайно важное, носит название сухой перегонки.

«Сухая перегонка дерева дает, кроме угля и дегтя, еще два ценных продукта: уксусную кислоту, из которой, в свою очередь, добывается ацетон и древесный спирт. Все эти вещества имеют много важных технических применений.

«Когда дерево горит, хотя бы в печи или костре, оно также сначала подвергается сухой перегонке. Достаточно при начале горения в одном месте развиться высокой температуре, чтобы соседние части дерева стали обугливаться и давать газообразные горючие продукты. Но при горении эти последние не могут сохраниться, ибо, встречая избыток кислорода, сгорают по мере своего образования; сгорает постепенно и остающийся уголь. При заводской сухой перегонке, эти два процесса разделяются друг от друга: идет только первый, второй задерживается. Только уголь, в котором заключается далеко преобладающая теплотворная способность дерева, утилизируется затем в качестве топлива, а летучие продукты получают другое, несравненно более выгодное применение.

«Сухая перегонка дерева составляет одну из немногих отраслей химической промышленности, которая и

в прежние годы (до войны) была поставлена у нас, в России, на широкую ногу, особенно на севере, также в Нижегородском крае и пр. Осуществилась она, однако, главным образом, кустарями на маленьких заводиках, будучи нередко связана с добыванием скипидара, и производство это в техническом отношении оставляло желать много лучшего. Но еще досаднее то обстоятельство, что у нас для получения древесного угля, огромные количества которого потребляются особенно на Урале для металлургических целей (выплавка чугуна из руд и пр.), в широком размере пользуются сгоранием дерева в кучах, или в массах при малом доступе воздуха, при чем древесина обугливается, а ценные летучие продукты сухой перегонки просто без всякой пользы выгорают. Мы имеем здесь как бы бурный поток или водопад, ежегодно низвергающий огромные массы воды и еще не приводящий в действие ни одного двигателя, не оживляющий ни одной фабрики, ни одного завода».

Но и самая продуктивность нашей земли, самое земледелие наше находится в прямой зависимости от той же химической промышленности. Современная наука—ботаника и физиологическая химия—учит нас, а практическая агрономия подтверждает, что хорошие урожаи, даже при плодородной почве, могут быть получаемы только при правильной постановке удобрения. И надо признаться, что при сколько-нибудь интенсивной культуре нельзя обойтись без удобрений, или туков искусственных, а таковые доставляются исключительно химической промышленностью.

Существуют три основных категории удобрительных туков, без которых не может быть хороших урожаев, без наличности которых в почве вообще не может жить растение. Это — соединения фосфора, соли калия и соединения азота.

Во многих местностях России встречается особая горная порода, род камня, обычно окрашенного в более или менее темный цвет. Эта невзрачная на вид порода содержит фосфор в виде кальцевой соли фосфорной кислоты и носит название фосфоритов. Сами по себе фосфориты не могут служить удобрением, не могут снабжать растение фосфором, в котором оно нуждается, так как они нерастворимы в воде. Но после обработки серной кислотой фосфориты переходят в так называемые суперфосфаты, обладающие способностью растворяться в воде или, вернее, в кислых растительных соках, и по этой причине представляющие превосходный удобрительный тук, усвояемый корневыми волосками растений.

Россия за последнее время (до войны) выбрасывала на свои поля всего около 12 миллионов пудов фосфорных удобрений в год. Для сравнения приведем другую цифру: Германия на свою ничтожную сравнительно посевную площадь ежегодно тратит свыше 120 миллионов пудов фосфорных туков, т.-е. в 10 раз больше, чем Россия. Нечего удивляться, что урожаи у нас в среднем раза в 4 хуже, нежели в Германии. Чтобы показать всю огромную важность постановки на должную высоту суперфосфатного вопроса, укажу, что по вычислению одного специалиста, если бы Россия так же удобряла свои поля, как

Германия, то получала бы ежегодно свыше 4 миллиардов пудов пшеницы, а этого количества хватало бы на весь мир.

Не вправе ли мы после этого сказать,— замечает проф. Чугаев,— что химия, которая не в состоянии научить нас делать золото из меди или железа, научает нас искусству делать хлеб из камня, ибо таковым на самом деле яляется любой фосфорит.

Мы обладаем всем необходимым для осуществления фабрикации азотистых туков. Если у нас есть фосфориты, нужные для производства суперфосфатов, и сырье для получения серной кислоты, необходимой для того же производства; если у нас найдены залежи калийных солей, то мы обладаем и главным условием успеха для связывания азота. Таким условием являются достаточные запасы дешевой энергии.

Наиболее обычным источником энергии, применяемой в технике, является топливо. Но энергия, скрытая в топливе и проявляемая при горении последнего, обходится слишком дорого. При фабрикации искусственных азотистых удобрений ищут поэтому других, более дешевых источников энергии, и находят их в виде энергии текущей или падающей воды, заставляют работать быстрые реки, водопады, пороги. Падающая вода приводит в движение водяные двигатели, которые, в свою очередь, приводят в движение динамо-машины, производящие электрический ток.

Запасы такой текучей воды, энергия которой еще не использована, и притом весьма значительные, имеются у нас на-лицо, особенно в северном районе России и на Кавказе, и едва ли не самым разумным способом их утилизации будет направление этой даровой силы на производства, столь необходимые для успеха нашего земледелия.

Мы не говорим уже о тех замечательных перспективах, которые открывает перед нами создание заводов по улавливанию продуктов перегонки каменного угля, которым мы так богаты.

Если бы мы стали искать,—говорит картинно профессор Чугаев,—среди фактов современной науки и среди практических достижений современной техники доказательств в пользу старинного учения алхимиков, будто способность вещества менять свою форму беспредельна и будто на этом основании можно надеяться приготовить золото из неблагородных металлов и открыть средство, которое лечит от всех болезней, если бы мы стали искать таких доказательств, то, пожалуй, не нашли бы более ярких и убедительных, чем те, которые опираются на химические превращения каменного угля.

Удобрение, краски, лекарства против различных болезней, начиная от расстройства кишечника и инфлуэнцы и кончая сифилисом, взрывчатые вещества, несущие с собой разрушение и смерть и помогающие человеку прокладывать себе путь через недоступные горы, вещество в сотни раз слаще сахара и, наконец, золото, правда, не в виде желтого металла, как такового, а в виде эквивалентной ему огромной ценности, ибо каменноугольная промышленность доставляла Германии ежегодный доход в сотни миллионов марок,— разве это не настоящая алхимия? С точки зрения народного хозяйства это

даже больше, чем алхимия, ибо здесь дело идет о ценностях менее условных, чем ценность золота.

И на самом деле каменноугольный деготь в короткое время из тягостного для заводов отброса сделался настоящим рогом изобилия, из которого и до сих пор продолжают сыпаться открытия, приносящие миллионные доходы.

Развитие химии окажет нашему сельскому хозяйству колоссальную помощь в борьбе с различными вредителями: саранчей, сусликами, полевыми мышами и т. д., уничтожающими ежегодно сотни тысяч десятин посева. Химическая война против этих внутренних наших врагов должна вестись систематически, планомерно и применяться все в более и более широком масштабе.

В С. Штатах сельское хозяйство использовало боевые, отравляющие вещества для борьбы с грызунами, с хлебным долгоносиком и с паразитом хлопковых плантаций. Воздушный флот в Америке занят распылением ядовитых веществ в полях, плодовых садах и на плантациях. Морской департамент в связи с военно-химическим управлением занят изучением специальных ядовитых красок для судов, которые не позволяли бы ракушковым моллюскам отлагаться на днищах судов. «Газы» применяются также для уничтожения моллюсков, врастающих в деревянные части сооружений, погруженных в воду [1]).

Следует прибавить, что благоприятным условием для развития в С. С. С. Р. химической индустрии является расширение нашего текстильного производства, тесно связанного с красильным делом. По последним данным текстильное производство в С. С. С. Р. расширяется.

По плану Всероссийского текстильного синдиката производство текстильных товаров к концу мая 1924 г. должно увеличиться на 25.000.000 аршин и в течение июня еще на 35.000.000 аршин. К 1 июля текстильное производство увеличиться по сравнению с теперешним на 30%. Вновь вводится в работу около 600.000 веретен, 24.000 станков и необходимое для этого количество печатных машин.

Таким образом возобновит работу большинство бездействующих текстильных предприятий. Получат работу до 30.000 безработных текстильщиков.

В связи с превысившим всякое ожидание спросом на мануфактуру, особенно на дешевые сорта деревенского типа, ряд текстильных трестов подал в В. С. Н. Х. заявки о расширении производства. Иваново-Вознесенский трест — крупнейший в Союзе — предполагает увеличить свое производство в полтора раза.

Второй по мощности трест — Орехово-Зуевский—наметил расширение производства свыше, чем на 20%. Назначил к пуску новую фабрику большой мощности Красно-Пресненский трест.

---

[1]) См. подробнее статью Е. Деньгина, Военно-химические этюды („Военная Мысль и Революция", 1923, кн. 6). См. также интересную статью Г. Д. Угрюмова, Мирное применение боевых отравляющих веществ („Военно-Химическое Дело" Труды Военно-химического отделения В.Н.О. при высшей военно-химической школе Р. К. К. А., под общей редакцией Я. Л. Авиновицкого, В. Н. Баташева и А. Ф. Яковлева, выпуск I, Москва 1924 г., стр. 140—163, изд. „Военного Вестника").

Серпуховской трест предполагает увеличить свое производство почти в два раза. Ходатайствуют о расширении производства и мелкие тресты.

Если сложить цифры всех заявок трестов, то предполагаемая производственная программа нынешнего 1924 года будет доведена до одного миллиарда метров ткани.

* * *

В заключение мы снова повторим тот призыв, коим закончили нашу брошюру о мировой борьбе за нефть [1]:

«Кроме С. Штатов нет другой страны за исключением Советской России, которая обладала бы такими безграничными естественными богатствами. Россия — единственная страна на европейском континенте, имеющая в своем распоряжении все основные элементы производства, без которых ни одна страна не в состоянии собственными силами обеспечить свое существование. Мы имеем хлеб, имеем уголь, имеем железо, имеем хлопок и вдобавок богаты нефтью, многочисленные источники которой у нас еще не затронуты,—в то время, как запасы американской нефти истощаются, а мексиканским грозит опасность быть затопленными. Между тем, чуть ли не каждую неделю последнее время мы читаем о новых фонтанах, которые начинают бить из земли (Биби-Эйбат, Грозный и т. д.) и выбрасывают 200 — 300 тысяч пудов нефти в день, образуя целые нефтяные озера.

«Неужели мы будем продолжать искать помощи для разработки наших естественных богатств у капиталистических держав, которые находятся в стадии сильнейшего разложения и сами не знают, чем наполнить свой голодный желудок? Прав, тысячу раз прав т. Гастев, когда он бьет набат в «Правде» (от 3 июня) и взывает: «Бьет час. Пора перестать ждать, перестать надеяться на заморское счастье. Из той рухляди, какая осталась, будем все делать своими собственными силами... Надо стать ловкими сыщиками жизни, уметь быстро ориентироваться и развертываться». Неужели из тех столбов нефти, которые порой на несколько десятков сажен в вышину подымаются над землей, мы не сумеем упорным трудом на нашем потенционально-могучем железно-угольном фундаменте выстроить громадные колонны, на которых мы соорудим здание нашей возрожденной промышленности. Мы ничего не создадим в один-два года, и кто надеется, что иностранный капитал, иностранные инженеры помогут нам в короткий срок поднять наши производительные силы,—тот утопист. Новаторы в области социально-революционных опытов, мы—увы!—являемся консерваторами в области поднятия наших производительных сил, эксплоатации безграничных наших подпочвенных богатств. Мы страдаем европоцентризмом и америкоцентризмом и все надеемся, что вот придет барин из Америки, «барин все устроит». Пора нам рассчитывать и надеяться только на самих себя. История Каширской станции, созданной упорным четырехлетним трудом наших рабочих и крестьян, работавших под руководством наших инженеров

---

[1]) Мих. Павлович, Мировая борьба за нефть, изд. „Молодая Гвардия", Москва 1922 г.

и трех техников из простых рабочих Антонова, Громыхалина и Силантьева, созданной в условиях неслыханной разрухи без помощи иностранного капитала и иностранных мастеров, история Волховской станции и многие другие примеры показывают, что если не в пять, то в десять лет мы при напряжении всей нашей энергии, воодушевленные духом инициативы и создания, при умелом пользовании теми хотя бы зачастую и примитивными орудиями, какие имеются под рукой, сумеем до основания преобразить нашу отсталую страну.

«Строители жизни, вперед во главе воодушевленных вами батальонов на осаду старой рутины, на штурм всяких упований на американского или английского дядюшку, вперед к созданию новой жизни собственными руками, собственным умом на нашей земле, изобилующей такими сокровищами, каких не имеет ни одна страна».

Психология панических настроений.

Глава из книги:

„Психология общественных движений“.

Л. Войтоловский.

> Неисчерпаемые проблемы социальной орган
> зации только тогда откроются перед психотехнико
> когда мы будем исходить не просто из общей пс
> хологии и будем работать не грубыми катег
> риями подражания, подчинения, вн
> шения, но будем производить специальные пс
> хологические исследования в целях той или ин
> социальной ситуации, пользуясь преимуществен
> экспериментальным методом. И здесь так же, к
> и повсюду в области эксперимента, будет име
> значение не экспериментирование над действител
> ными общественными группами, но создание пс
> хологических схем, пользуясь которыми можно был
> бы варьировать психологические факторы, имек
> щие решающее значение. Если это только когд
> либо произойдет, психотехника сознательной орг
> низации станет одной из наиболее значительных
> важных глав прикладной психологии; теперь ж
> было бы бесплодным излагать отдельные ее задач
> так как мы не имеем еще сколько-нибудь обст
> ятельных специальных исследований в этой област
>
> Г. Мюнстерберг, Основы психотехники.

Начнем с фактов.

«Прилив все новых народных волн набегал непрестанно. Даже в отда ленных от Ходынского поля частях города вечером 17 мая оказывалось на столько сильное скопление народа, двигавшегося по направлению к завтраш нему гулянью, что местами затруднялся даже проезд экипажей. В полноч народ, заполнив собою весь овраг, составлял компактную массу, при чем рас стояние, отделявшее его от линии буфетов, местами не превышало 15 шагов, около часу ночи численность собравшейся перед буфетами толпы определя лась в 400 — 500 тысяч человек» [1]).

[1]) В. И. Штейн, Ходынская катастрофа 1896 г.

«И хотелось и нельзя было спать. Глубоко взбаломученное море глухо и порывисто вздрагивало, движение не прекращалось. Края все росли и ширились,—люди прибывали и прибывали толчками. Они доходили до середины, и она колыхалась, глубоко и мерно. Чем сильнее разгорался рассвет, тем чаще и глубже становились толчки. Казалось, что земля вздрагивала; а мы перекатывались по ней, как горох по полу. Воздух недвижим,—его словно совсем здесь нет» [1]).

«К 3 часам ночи народ составлял сплошную стену, больше чем на полверсты в глубину, и в иных местах вплотную придвинулся к буфетам, на которые стал сильно напирать, при чем из толпы неслись громкие жалобы на страшную тесноту; жалобы эти походили на рев и указывали на то, что в толпе гибнут уже люди. По мере приближения времени раздачи угощений давка в толпе все более возрастала. Около пяти часов утра народ занимал всю видимую площадь перед линией буфетов, по направлению к Москве, и первые ряды оказались тесно прижатыми к буфетам, вследствие напиравшей сзади толпы в 500 — 600 человек» [2]).

«С восходом солнца началось что-то непонятное. Все смотрели и не видели, что̀ такое происходит вокруг и идет на них. Чувствовалась какая-то нудная, смертельная неловкость. Было тесно и душно. Все невыносимо угнетало и возбуждало досаду на себя и на всех кругом. Так зарождалось в толпе озлобление и зверское настроение. Серый дым костров широким покрывалом заволакивал все. Он как-то досадливо лез в глаза, щекотал дыханье и еще более усиливал все растущее раздражение... И насколько привлекало и радовало вечером людское множество, настолько теперь оно пугало [3]).

«Над людскою массой стоял густым туманом пар, мешавший на близком расстоянии различать людские лица; находившиеся даже в первых рядах обливались потом и имели измученный вид; одни стояли с широко раскрытыми налитыми кровью глазами, а у других лица были искажены, словно у мертвецов; из толпы немолчно неслись ужасные, как бы предсмертные крики и вопли, а атмосфера была настолько насыщена испарениями; что люди задыхались от недостатка воздуха и зловония. Лиц, впадавших в бессознательное состояние, толпа поднимала на свои головы; они перекатывались по головам до линии буфетов, где их принимали на руки солдаты. Однако, несмотря на готовность народа приходить на помощь ослабевшим, значительное число лиц было задавлено на смерть еще до начала раздачи угощения. Несколько умерших таким образом людей толпа передавала по головам, но многие трупы, вследствие тесноты, продолжали стоять в толпе. Народ с ужасом старался отодвинуться от покойников, но это оказалось невозможным и только усиливало давку. Впоследствии, когда началась раздача гостинцев, и народ хлынул через буфетные проходы, мертвецы, стиснутые толпой, двинулись вместе с ней и падали лишь на площади гуляния» [4]).

---

[1]) В. Краснов, Ходынка.
[2]) Ходынская катастрофа.—„Историч. Вестник", 1909 г., кн. II.
[3]) Краснов, Ходынка.
[4]) В. Штейн, Ходынская катастрофа.

«А давка все росла, увеличивая испуг, готовый ежеминутно превратиться в слепую бессмысленную панику. Растерявшаяся, немощная толпа инстинктивно хваталась за всякое средство, пытаясь урегулировать страшную толчею, придать себе хоть какой-нибудь смысл и единение. И вот, толпа, уже наполовину одичавшая, тонувшая у себя самой под ногами, как миллионы слепцов, застрявши в овраге, принималась петь: «Спаси, господи, люди твоя». На мгновение толпа жарко и сильно подхватывала слова молитвы, но вскоре пение слабело, терялось, и сбитые в кучу люди по-прежнему задыхались в тесноте, ничего не видя, зверея и теряя сознание» [1].

«Тем временем напор на буфеты настолько усилился, что многие артельщики заявили, что дольше оставаться не могут, если не последует разрешение на раздачу народу угощения. Вследствие этого действительный статский советник Бер, не выждав времени, назначенного в об'явлении для раздачи подарков, и не предупредив об этом даже полковника Руднева, в исходе 6 часа утра 18 мая разрешил приступить к выдаче угощений. Когда артельщики начали выдачу и послышались крики: «Ура! Раздают!», толпа, находившаяся у прохода между буфетами снаружи, с ужасающей стремительностью кинулась в проходы. Одновременно с этим и толпа, находившаяся внутри, на площади гулянья, бросилась к тем же проходам. Из толпы понеслись взрывы гнева и ярости. Над гигантской площадью из стиснутых человеческих грудей рвались проклятья, стоны, вопли безумного ужаса. Было слышно, как хрустят кости, ломаются руки, хлопают внутренности и кровь... Проникавшие на площадь выскакивали из проходов оборванные, мокрые, с дикими глазами. Многие со стонами падали, другие ложились на землю, кладя под голову полученные узелки, и умирали... От неровностей почвы у самых буфетов многие падали и вызывали падение шедших позади. Местами образовались груды тел. Но обезумевшая толпа уже ничего не разбирала. Она топтала упавших, топтала трупы, оглашала звериным воем площадь и продолжала давить, напирать и бессмысленно метаться... Общее число пострадавших на Ходынском поле по официальным данным — 2.690 человек... У мертвецов, двигавшихся с толпой, лица были раздуты, темнобагрового цвета, с выступившими из орбит глазами и выпяченным языком» [2]...

Для воспроизведения этих страшных сцен, разыгравшихся 18 мая на Ходынском поле, я воспользовался вышеупомянутым описанием В. Краснова («Ходынка») и следственными материалами по этому делу, собранными В. И. Штейном и напечатанными в «Историч. Вестнике». Несмотря на потрясающие детали, картина в общем страдает психологическими неясностями. Слышны крики и вопли обезумевшей от ужаса толпы, видны задавленные мертвецы с выпяченными глазами и высунутым языком, но вся толпа, точно стиснутая железной рукой за горло, приведена в полумертвое состояние. Это об'ясняется тем, что полумиллионная масса очутилась как бы в ловушке и сразу почувствовала себя, как медведь, припертый рогатиной в своей берлоге.

---

[1]) В. Краснов, Ходынка.

[2]) „Исторический Вестник", 1909, кн. XI.

Спертый воздух, дым от костров, невероятная давка и сознание неотвратимой беды действовали на всех, как удушливые газы. Это было не столько психическое, сколько физическое оглушение. Так чувствуют себя люди в театральном зале, внезапно охваченном пламенем со всех сторон. Под влиянием смертельной опасности их интересует только то, что может облегчить их собственную судьбу; все остальное им чуждо и отходит на задний план. А потребность бежать от опасности заставляет их панически кидаться из стороны в сторону, прокладывать себе дорогу ценою жизни других, выбрасываться из окон на мостовую. Б е ж а т ь — вот первое движение, подсказываемое страхом. Затаив дыхание, человек, охваченный страхом, весь с'еживается, старается сделаться по возможности меньше, укрыться подальше от источников страха. Страх дает крылья.

...И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой
Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой —
И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется всадник медный
На звонко-скачущем коне.
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду всадник медный
С тяжелым топотом скакал [1]).

Прежде чем перейти к психо-физиологическому анализу страха, остановимся еще на описаниях панического бегства. Вот одно из таких описаний, заимствованное из военного дневника:

«Вечером, 16 августа, после четвертого отступления из Избицы, наше движение неожиданно превратилось в бегство. Трудно сказать, почему и откуда хлынула какая-то внезапная растерянность, но что-то зловещее завертелось, завихрилось, как снежный буран. Опять смешались люди, лошади, зарядные ящики и двуколки с фурманками перепуганных жителей. Дисциплины как не бывало. Не было армии, не было командиров. Это был сброд усталых, измученных, голодных людей, ежеминутно готовых превратиться в панический поток.

«Кругом пылали пожары, гремели пушки. Мы не знали, кто справа, кто слева. И когда наступила ночь в грозном и оглушительном гуле безостановочно катящихся обозов, зароились мерзкие слухи... Никто ничего не знает, никто не верит. Но ползут, расползаются дикие, нелепые сказки, которые

[1]) П у ш к и н, „Медный всадник".

липнут к душе, как смертельно засасывающая тина. Задыхаясь под бременем сумасшедших и бессмысленных слухов, все с затаенным ужасом всматриваются в жуткую тьму, все ждут неминуемого коварства и подстерегающих бед. И вдруг, свирепо пронзая темноту, пронесся зловещий, оглушительный крик:

«— Втикайте! Вбывають! Кавалерия сзади!..

«Мгновенно, как смерч, закрутились дикие вопли. В воздухе засвистели кнуты, загремели ругательства, хлесткие, как удар нагайкой.

«— Р-рысью! — орали люди звериными голосами. — Рысью! Передавай дальше! Р-рысью!..

«И масса вооруженных людей, повинуясь безумному приказу, рванулась и ринулась вперед. Задевая и опрокидывая повозки, бешено мчались в темноте зарядные ящики и двуколки. Слышно было, как трещат и ломаются оглобли, как стонут подмятые под колеса люди.

«— Вбывають! Из пулеметов бьють! — ревела обезумевшая толпа. — Рысью! Передавай дальше! Р-рысью!

«Но с каждой минутой движенье становилось невозможней. Во многих местах образовались огромные людские заторы. С гиком и свистом мчались какие-то кавалерийские части и, врезаясь в гущу обозов, кричали хриплыми голосами:

«— Вали, ребята, вали!..

«Где-то далеко сзади затрещали ружейные залпы, заметались озлобленные крики:

«— Чего стали, мать вашу так?.. Чего дорогу загородили? Р-руби постромки!

«И мгновенно по всей толпе покатилось зычными перекатами:

«— Постро-омки... Р-р-руби постромки!..

«Я сидел на артиллерийском возу, куда забрался с вечера, измученный усталостью и бессонницей. Два солдата, бывшие со мной на возу, наскоро пошарили в сене, соскочили наземь и, повозившись с минуту в темноте, вдруг ускакали на лошадях, бросив меня на распряженном возу среди дороги. Я спрыгнул с воза и наткнувшись на груду опрокинутых ящиков и щебня, скатился в канаву. В канаве было темно, как в погребе. Оглушенный падением, я не знал, в какую сторону отступают войска. До меня доносился сверху только скрипучий грохот колес, звериные вопли и гул тяжелых шагов, похожих на биение гигантского сердца. Но я твердо знал, что вся эта обезумевшая масса занята только собой, и никому из них до меня нет ни малейшего дела»[1]).

При сопоставлении паники на поле сражения с паникой «Ходынки» — первое общее, что бросается в глаза, это резкая **асоциальность** всех элементов, входящих в состав толпы, одержимой страхом. Под этой «асоциальностью» я разумею **утрату социальных инстинктов**, что выражается полным разбродом и отчужденностью друг от друга каждого из участников толпы. Это великолепно показано Красновым в его очерке «Ходынка». Люди, вначале охваченные чувством симпатии и общности, так

---

[1]) Из книги автора „По следам войны".

радостно настроенные и осчастливленные самым пребыванием в однородной толпе, под влиянием неопределенной тревоги начинают испытывать нудную неловкость, какую-то гнетущую досаду на себя и на всех. И по мере того, как укрепляется чувство страха, рассасывается и испаряется ощущение силы и уверенности в себе. Растерявшаяся и немощная толпа вначале инстинктивно еще хватается за всякое средство, за всякую попытку поддержать бодрящее единение: подхватывает слова молитвы, помогает обессилевшим выбраться на воздух; но затем угроза смерти вконец раз'едает коллективную спайку, и толпа распадается на множество растерянных, беспомощных и раздавленных ужасом одиночек, которые бегут во всю прыть от воображаемой или реальной опасности, как Евгений от «Медного всадника».

В этом порыве панического бегства есть своя резонная логика. Это — последняя ставка на коллективность, т.-е. последняя попытка в совокупном бегстве найти совместные пути к спасению. Здесь на помощь коллективному (видовому) сознанию приходят древнейшие инстинкты. Бежать без оглядки от опасности—это образ действия, унаследованный от длинного ряда животных предков и навсегда сочетавшийся в животном царстве с чувством страха и ужаса. Движимая инстинктом самосохранения разбитая армия бежит. Но не следует смешивать, разумеется, ту коллективную среду, которую составляет толпа бегущих солдат, с коллективной организацией, рожденной на почве «общественного соприкосновения», как выражается Маркс. Достаточно сравнить толпу, идущую н а врага (шествие красноармейцев у Сейфуллиной), с толпой, удирающей о т врага (паническое отступление на фронте), чтобы ясными стали отличия, отделяющие п а н и ч е с к у ю толпу от а к т и в н о й.

Последняя, т.-е. активная, толпа (толпа победителей) одухотворена единством стремлений и согрета общим эмоциональным порывом. В ней каждая отдельная единица исполнена силы, бодрости, веры и высокого мужетсвенного энтузиазма, — тогда как в панической толпе живая связь между каждым отдельным индивидом исчезает. Глохнут и рвутся те социально-психические скрепы, под влиянием которых взаимная индукция как бы постоянно питает и умножает напор коллективной воли. На смену бодрой активности является слепая, т р у с л и в а я п о к о р н о с т ь и п а с с и в н а я п о д р а ж а т е л ь н о с т ь, на почве которой беспрепятственно совершается в обществе насаждение реакционных, мистических и всяких противообщественных прививок.

Другими словами, в обществе, охваченном паникой, пышным цветом распускается противообщественная отрава: одинокость, упадок духа, безнадежность, мистические настроения... В такие моменты на всех социальных поприщах — и в редакциях газет, и в партийных организациях, и в парламентах,— вместо смелых, решительных борцов, появляются робкие, слезливо мигающие трусы. И это вполне понятно. Уже старая психология в лице Галля определяла страх, как чувство, противоположное мужеству. У человека, одержимого страхом, рот раскрыт (что указывает на подавленность воли: разиня), глаза неуверенно блуждают, мускулатура расслаблена, колени трясутся, ноги бессильно подгибаются. В душе—ни радости жизни, ни чувства общности с миром. Он глух к окружающему и охвачен одной потребностью: приникнуть,

с'ежиться, сжаться, исчезнуть с лица земли. На языке коллективной психологии такое душевное состояние обозначает полный распад соборности, смертельный удар по той полноте самочувствия, из которой слагается действенная сила толпы.

С этой точки зрения вся борьба общественных сил по своему социально-психическому смыслу сводится к оглушению эмоциональной отзывчивости и тем самым—к утверждению духовной апатии в рядах противника. Поясню примером. На известной стадии социально-экономических отношений определенные групповые силы приходят к пониманию своей классовой солидарности, к пониманию тех средств и путей, которые ведут к утверждению их морального и материального господства. В этих средствах и в способах достижения этих средств воплощаются социально-политические идеалы данного класса. Последние, проникая в сознание класса в виде кратких, концентрирующих внимание и постоянно повторяемых лозунгов-формул, приобретают над ним (над сознанием) огромную силу, становятся идеями-двигателями, накладывающими печать на целые эпохи. Такие краткие лозунги, формулирующие тактику и потребность масс, являются скрытой пружиной многочисленных стремлений и усилий, а значит — обильным источником страстей, размах и сила которых растет с усложнением жизненных интересов и умножением потребностей класса. Таким образом психика многочисленного класса и сопутствующих ему групп оказывается приспособленной к известной гармонической общности, к эмоциональному единству. А при такой эмоциональной однородности, мы знаем, любое стечение народа легко превращается в толпу. Стоит только коснуться волнующих и близких вопросов. Так, в медовый период русского либерализма достаточно было на любом банкете воскликнуть: «Долой самодержавие!», как все собрание разражалось бурными аплодисментами и готово было реагировать со всем доступным ему революционным пылом. Т.-е. революционный лозунг, попадая в эмоционально-податливую среду, приводил к мгновенной концентрации чувства. И вот, против этой-то все возрастающей, жизнеповышенной чуткости революционного класса (или революционных общественных групп) и направляются все тягчайшие удары противоборствующей государственной власти. Добиваясь победы над противником, царское правительство прежде всего стремилось парализовать во враждебных ему общественных группах способность к повышенной и соборной (коллективной) отзывчивости.

В этом вся подавляющая сила террора и репрессий.

Ибо цель всякого классового террора отнюдь не в мести и не в из'ятии одиночек. Задача террора—оглушить коллективную чувствительность врага, посеять в его рядах асоциальность, вычеркнуть из арсенала его политических средств способность повышенно откликаться на явления общественной жизни. И самым могущественным оружием в этом смысле является устрашение противника. Ибо общество, охваченное паническим настроением, не только утрачивает чуткость к дисгармониям общественной жизни, но, как мы увидим ниже, само становится источником угнетающих и тревожных эмоций, доводящих его до мертвящей немоши, забитости и апатии. Оттого, как и в мире

животных. применение угрозы чрезвычайно широко распространено в социально-политической борьбе и является одним из самых могущественных факторов социального оглушения.

На этой почве нередко возникают весьма любопытные социальные парадоксы. Стремясь запугать противника, воинствующая реакция охотно пускает в ход такие средства, которые вскоре оказываются гибельными для нее самой. Таковы, например, некоторые интересные факты из практики «Союза русского народа». Как известно, эта погромно-монархическая организация состояла из элементов трех категорий, весьма различных по своему социальному положению. Наиболее «мирную» группу этого воинствующего союза составляли помещики-аристократы, предпочитавшие проводить свою классовую политику путем непосредственного давления на родственные им государственные сферы, по возможности не пользуясь рискованной помощью во Христе погромствующих «низов». Что касается последних, т.-е. низов, то они складывались из одних абсолютно враждебных категорий. К первой — принадлежали кулаки, кабатчики, мелкие лавочники—злейшие ненавистники «крамолы», так или иначе колеблющей священные основы «порядка», т.-е. собственности. Их идеологию целиком выражала Почаевская лавра, радевшая не столько о восстановлении «подлинного самодержавия в его древне-национальном духе», сколько о воскрешении патриархальных форм производства:

«Предоставим крестьянам в своих хатах выделывать на машинах пуговицы, иголки, булавки и тому подобное; благодаря этому, и старый, и малый будут зарабатывать достаточно на свое пропитание», благочестиво наставляли своих прихожан полуилиодорствующие, полупоповствующие «Почаевские Известия» [1]).

Ко второй категории союзнической «черни» принадлежали «босяки», золоторотцы, раклы, почетный и потомственный лумпен—все деклассированные элементы царских времен. Голодные отверженцы общества, пугачевцы и бунтари по натуре, всегда готовые грабить, насильничать и громить, они составляли самые боевые кадры «черной сотни». В периоды «затишья» между «крайней правой» и «крайней левой» «Союза русского народа» вырастала непроходимая пропасть. В то время, как высокородные Бобринские, Крупенские, Дубровины, Пуришкевичи, Замысловские, всемилостиво опекаемые свыше, купались в жирных субсидиях и кредитах, какому-нибудь Сашке Косому или Гамзей Гамзеичу, проводившему свой жизненный путь между кабаком и острогом. приходилось довольствоваться спорадическими выступлениями в порядке частной инициативы где-либо в темном переулке или единоличными искоренениями крамолы за подобающую мзду «от сочувствующих». Но чуть запахнет в воздухе «активными выступлениями», как Сашка Косой и Гамзей Гамзеич попадали в герои дня. С ними заигрывали. На их головы сыпались щедрые субсидии и еще более щедрые «гарантии», они становились во главе таинственных дружин и организаций: «За веру и царя», «Белые соколы», «Черные вороны», «Черные черепа», «Желтые рубашки», и улицы начинали клокотать

[1]) „Почаевские Известия" 1908 г.

погромно-патриотическим задором. Вот тут-то и получались весьма эффектные неожиданности. Завершив свое погромное действо и водрузив на места — по церквам и полицейским участкам — хоругви и знамена, «народная стихия» наотрез отказывалась вступать в берега. Так, «Союз Михаила Архангела» в Москве в ответ на призыв к «успокоению» выступил с обвинительным манифестом против всей высшей бюрократии, резко изобличая последнюю в том, что она всячески поддерживает финансистов, опаивает народ водкой, а доход от винной монополии тратит на уплату «жидам» процентов по внешним займам, игнорирует интересы крестьянства, не оказывает поддержки мелкому сельскому хозяйству и т. д. и т. д. [1]).

Еще более резкий характер носило выступление петербургских «союзников». Это выступление заканчивалось грозной филиппикой по адресу правительственной власти: «Мы утверждаем, что современное правительство ничего не сделало для ограждения личности и свободы частных граждан от произвола администрации. Нельзя же почитать лойяльными мерами такие акты, как закрытие газеты, как высылка в административном порядке смелого борца, как взлом дверей и обыск в доме» [2]). Тщетно официозная «Россия» взывала к благоразумию «союзников» и предостерегающе восклицала: «Только у нас, в России, мнящие себя правыми выступают на тот же революционный путь, которым идут левые. Низведение патриотической печати на степень революционных листков есть работа на пользу революции». Расходившаяся «черная сотня» становилась все решительнее и круче в своих требованиях. Мологский отдел «Союза русского народа» выступил с категорическим «ходатайством» о необходимости «понудить крупных землевладельцев в видах успокоения народа уступить на льготных условиях землю малоземельным крестьянским обществам». А знаменитые курские «союзники» вслед за погромными движениями в городах подняли широкую волну аграрных беспорядков и принялись за разгром имений своих именитых соратников по «союзу» — Марковых и Булацелей. Понадобились очень решительные меры, чтобы внушить курским лумпенам из С. Р. Н., что они собраны в боевые дружины отнюдь не для того, чтобы жечь и грабить имения курских зубров.

Причина этого любопытного явления кроется в неосторожном применении «устрашающих» мер. Под'ем революционного движения поставил реакцию перед необходимостью нанести революционной общественности оглушительный удар. Надо было «запугать» противника, т.-е. разбить его героическое настроение и поселить в рядах его страх. И это неминуемо связано, как в животном, так и в человеческом обществе, со стремлением придать себе возможно более грозный вид, устрашить противника своей преувеличенной силой. Зверь ощетинившийся рычит и, чувствуя, что гнев его страшен, в упоении собственной яростью и силой раздувается свыше меры. В человеческом обществе грандиозность размеров отдельного лица заменяется количеством участ-

---

[1]) „Заговор против России", изд. Московск. отд. С. Р. Н.

[2]) „Русское Знамя", конфиск. номер.

ников. Чтобы угроза показалась внушительней, правящий класс в лице своей партии «союзников» стремится придать своим погромным побоищам характер национального движения: с нами-де «весь народ». Помахав раздушенным платочком, граф Бобринский брезгливо протягивает сановную руку Сашке Косому. Но и Сашка Косой, и Гамзей Гамзенч, и Федор Постный, и Пашка Мясников, и Петька Курбатов, и Федька Погожев (главари тульских дружин «За веру и царя»), и сотни других безымянных отверженцев, слившись в одну боевую организацию, спаянную общими чувствами ненависти и злобы, помимо собственной воли, поддаются законам массовых действий. Вспыхнувшее групповое сознание берет верх над графской идеологией. «Перманентный громила» неожиданно окрашивается в революционные цвета, выпускает острые аграрные когти, обращает жадно оскаленную пасть в сторону своего союзника справа («уступить на льготных условиях землю малоземельным крестьянским обществам»).

Это, впрочем, случилось в такое время, когда не только голодным золоторотцам ударил в голову хмель свободы, но даже трижды прожженная бестия реакции, сам Сикофантов-Суворин из «Нового Времени», писал тогда, мечтательно заглядывая в глаза Милюкову, на страницах своей газеты:

«Революция дает необыкновенный под'ем человеку и приобретает множество самых преданных фанатиков, готовых жертвовать своей жизнью. Борьба с ней потому и трудна, что на ее стороне много пыла, отваги, искреннего красноречия и горячих увлечений»...

Да, на стороне революции были под'ем, отвага и красноречие, но в руках царского правительства находились пушки и пулеметы, департамент полиции, охранка и казначейство. И реакция развернулась во-всю. Это был методически продуманный и с адской последовательностью осуществляемый план беспощадного оглушения. На первом плане стояли еврейские погромы. Под звуки военного оркестра, с именитыми черносотенцами во главе, под сенью царских портретов и хоругвей и под руководством казенных инструкторов движется погромное шествие по городу.

«Для начала бьют стекла, избивают отдельных встречных, врываются в трактиры и пьют без конца. Военный оркестр неутомимо повторяет: «Боже, царя храни», эту боевую песнь погромов. Если повода нет, его создают: забираются на чердак и оттуда стреляют в толпу, чаще всего холостыми зарядами. Вооруженные полицейскими револьверами дружины следят за тем, чтоб ярость толпы не парализовалась страхом. Они отвечают на провокаторский выстрел залпом по окнам намеченных заранее квартир. Разбивают лавки и расстилают перед патриотическим шествием награбленные сукна и шелка. Если встречаются с отпором самообороны, на помощь являются регулярные войска. В два-три залпа они расстреливают самооборону или обрекают на бессилие, не подпуская ее на выстрел винтовки... Охраняемая спереди и с тылу солдатскими патрулями, с казачьей сотней для рекогносцировки, с полицейскими и провокаторами в качестве руководителей, с наемниками для второстепенных ролей, с добровольцами, вынюхивающими поживу, банда носится по го-

роду в кроваво-пьяном угаре [1]... Босяк царит. Трепещущий раб, час тому назад затравленный полицией и голодом, он чувствует себя сейчас неограниченным деспотом. Ему все позволено, он все может, он господствует над имуществом и честью, над жизнью и смертью. Он хочет — выбрасывает старуху с роялем из окна третьего этажа, разбивает стул о голову грудного младенца, насилует девочку на глазах толпы, вбивает гвоздь в живое человеческое тело... Истребляет поголовно целые семейства, обливает дом керосином, превращает его в пылающий костер, и всякого, кто выбрасывается из окна, добивает на хостовой палкой. Стаей врывается в армянскую богадельню, режет стариков, больных, женщин, детей... Нет таких истязаний, рожденных горячечным мозгом, безумным от вина и ярости, перед которыми он должен был бы остановиться. Он все может, все смеет... «Боже, царя храни!» Вот юноша, который взглянул в лицо смерти—и в минуту поседел. Вот десятилетний мальчик, сошедший с ума над растерзанными трупами своих родителей. Вот военный врач, перенесший все ужасы порт-артурской осады, но не выдержавший несколько часов одесского погрома и погрузившийся в вечную ночь безумия. «Боже, царя храни!..» Окровавленные, обгорелые, обезумевшие жертвы мечутся в кошмарной панике, ища спасения. Одни снимают окровавленные платья с убитых и, облачившись в них, ложатся в груду трупов — лежат сутки, двое, трое... Другие падают на колени перед офицерами, громилами, полицейскими, простирают руки, ползают в пыли, целуют солдатские сапоги, умоляют о помощи. Им отвечают пьяным хохотом: «Вы хотели свободы — пожинайте ее плоды». В этих словах вся адская мораль политики погромов [2]...

За погромами шли карательные экспедиции, за экспедициями — казни. Потом опять погромы, *казни, экспедиции. Методически, яростно и непрерывно* перемежались эти зловещие рубрики, и на протяжении страшного «конституционного» десятилетия (1905 — 1914) смерти от виселицы, погромов и карательных экспедиций стали привычным явлением русской жизни.

И практика оглушения принесла соответственные плоды. Над Россией пронеслось дыхание мертвящей апатии. Образовался глубокий омут самоубийства. Изо дня в день под разными заголовками стала повторяться одна и та же *печальная повесть о людях, которым все «опостылело и надоело», которые* не сладили с собственной пустотой и с сумрачным равнодушием уходили от жизни. Глубокий интерес представляет газетная хроника тех лет. На юге, на севере, в столицах, по всем углам нашей обширной равнины трещат короткие

---

[1]) „Во многих случаях сами полицейские чины направляли толпы хулиганов на разгром и разграбление еврейских домов, квартир и лавок, снабжали хулиганов дубинами из срубленных деревьев, сами совместно с ним принимали участие в этих разгромах, *грабежах и убийствах и руководили действиями толпы*" (Всеподданнейший отчет сенатора Кузминского об Одесском погроме). „Толпы хулиганов, занимавшиеся разгромом и грабежами,—как признает и градоначальник Нейдгарт,—восторженно его встречали с криками у р а". „Командующий войсками барон Каульбарс"... обратился к полицейским чинам с речью, которая начиналась словами: „Будем называть вещи их именами. Нужно признаться, что все мы в душе сочувствуем этому погрому".

[2]) Л. Троцкий, „Царская рать за работой".

выстрелы юных самоубийц. Траур по ушедшим, страх за живых заставлял тревожно и торопливо доискиваться причин этой страшной эпидемии, а смерть между тем, гримасничая и кривляясь, как толстый, откормленный Фальстаф, уже напялила на себя какой-то скоморошеский саван.

«На-днях в Симферополе,—читаем мы, наприм., в «Южн. Вед.»,—в помещении цирка, в момент, когда на сцене шел водевиль: «Не умер», какой-то неизвестный молодой человек, одетый по последней моде, в котелке и пенснэ, выпил большую дозу нашатырного спирта и, громко крикнув: «А я умер!», подбросил вверх бутылку, которая упала на арену. В цирке произошел переполох. На вопрос полиции и врача, кто он и что побудило его отравиться, молодой человек ответил, что это его личное дело и что у него нет ни имени, ни фамилии, ни места жительства» [1]).

Такими эпизодами пестрят все газеты. Интересно прислушаться к тем газетным комментариям, которыми сопровождались подобные сообщения. Они чрезвычайно пространны и могут быть переданы приблизительно так.

Декорация! Поза!—раздраженно заявляют одни.—Оскопленные души, которым хочется хоть чем-нибудь порисоваться. И вот, одни украшают равнодушный глоток цианистого кали похоронным маршем Шопена и истерическими проклятьями по адресу прозаической жизни. Другие — аккомпаниментом румынского оркестра и ресторанными кутежами. Третьи — звоном эффектно подброшенной бутылки. А, в конце концов, все об'ясняется мальчишеским тщеславием, желанием хотя бы ценою смерти привлечь к себе общее внимание. И в основе-де всех таких эпидемий, давно известных истории, лежит не что иное, как «нравственная зараза», влияние примера и подражательности. Вспомним, например, странную эпидемию самоубийств среди девушек города Милета, описанную у Плутарха. Без всяких видимых оснований, несчастные налагали на себя руки одна за другой. Ни мольбы матерей, ни просьбы и убеждения отцов — не оказывали ни малейшего действия: ежедневно предавались земле десятками трупы юных самоубийц. И только, когда бороться со злом взялись милетские власти и издали указ, чтобы трупы самоубийц выставлялись голыми напоказ, на всеобщее позорище, эпидемии немедленно прекратились. В интересах общественной гигиены надо прекратить рекламирование на страницах газет последних минут самоубийцы, надо «утереть репортерские слезы», ибо эти слезы, по образному выражению одного из газетных публицистов, «служат как бы микробами, которые переносят заразу».

Другая серия публицистов, не отрицая значения «заразы» и эстетического привкуса в эпидемии самоубийств, ищет причины переживаемой трагедии в условиях городской культуры. Город, полагают они, убил живую душу природы, не дав ничего взамен. Вместо цветов и зелени — перед глазами угрюмые дома-казематы, стучат машины, гудят электрические провода, сверкают нагло рекламы. Тайна ночи и трепет далеких звезд тонут в потоках бульварного огня. Люди, вечно враждебные и хмурые, еще больше истребляют

[1]) «Южн. Вед.», 1910, март.

друг в друге радость жизни, и вместо жизнерадостного веселья сеют отчаяние и смерть. Только в такой противоестественной обстановке и рождается нелепая мысль: а стоит ли жить? не разумнее ли умереть? Только город мог взлелеять культ смерти, создать в искусстве апологию одиночества и внушить разобщенным с природой людям, что в уходе от жизни есть какая-то красота. И не потому ли наступление весны, например, весны, пробуждающей во всей живой природе ощущение праздника жизни, в городском человеке вызывает только тоску по смерти; и она, восхваляемая поэтами смерть, собирает обильную жатву беспричинно гибнущей молодежи.

Не то, — возражают третьи. Влияние города в Европе дает себя чувствовать куда сильнее, однако не в Европе выведен грозный статистический закон рокового четырехлетия (1906 — 1910): ежегодно на 10.000 учащихся 32,2 самоубийств — не в Европе, а у нас, на трупах нашего юношества. Расцвет революционной общественности был счастливым годом, почти не знавшим самоубийств среди учащихся. А с возвратом к разбитому корыту, с каждой ново йпобедой реакции, происходит прогрессивное возрастание самоубийств. Русская конституция, русское освобождение, о котором мечтали столько поколений, за которую принесено столько жертв в недрах и рудниках Сибири, в казематах Петропавловки и Шлиссельбурга, в тюрьмах и застенках всей России,— разрешилось уродливой Третьей Думой... И это разочарование с мучительной болью ударило по сердцам наиболее чуткой молодежи.

Итак, разочарование в жизни, неоправданные политические надежды— вот главный источник самоубийств, по мнению большинства публицистов. Хотелось конституции, а на деле—разбитое корыто. И в результате разочарованный прогрессивный студент с горечью задает себе вопрос: для чего же шлиссельбуржцы сидели так долго в одиночках? для чего декабристы сидели так долго в Нерчинских рудниках? И приходит к отчаянному выводу: нет, жить после этого не стоит. Но в том же номере «Южных Ведомостей», в котором рассказывается о молодом симферопольском интеллигенте, покончившем самоубийством с такой звенящей напыщенностью в цирке, сообщается также о самоубийстве симферопольского городового:

«В три с половиной часа ночи, в ночь на 12 марта, на Салгирной улице, стоя на посту, двумя выстрелами из револьвера покончил самоубийством постовой городовой первой полицейской части Александр Алексеев. Из найденной в вещах самоубийцы переписки видно, что покойный сильно о чем-то тосковал и что жена его, в письмах тоже жалуясь на жизнь, в очень трогательных словах все его успокаивала и старалась поддержать в нем упавшую бодрость духа» [1])...

А день спустя после случаев, описанных в «Южн. Вед.», сообщалось о самоубийстве городового в Москве, а за неделю до этого — о самоубийстве офицера в Одессе, а еще раньше—о самоубийстве урядника в Джанкое и т. д., и т. д. Вряд ли кто из публицистов «Русских Ведомостей», «Современного

---

[1]) „Южн. Вед.“, 1910, № 61.

Слова», «Русского Слова» или «Речи», из статей, из которых я заимствовал вышеприведенные мысли, стали б серьезно утверждать, что и покончивших с собой городовых, урядников, стражников и офицеров снедали угрюмые мысли о судьбах политических каторжан в Шлиссельбурге и привело их к самоубийству отчаяние по поводу их собственного участия в полицейском гнете. О «кающемся уряднике» что-то ничего не слыхать в литературе. А вот историк Моммзен рассказывает, что в эпоху гладиаторских игрищ свободные патриции, т.-е. представители тогдашней реакции, ее убежденные апологеты и глашатаи, во время гладиаторских представлений сходили на арену и сотнями падали под ударами гладиаторских кинжалов. До того велика была в то время свирепствовавшая в Риме эпидемия самоубийств. — добавляет историк. Факт этот, как и многие другие аналогичные факты, явно свидетельствуют о том, что в эпохи мрачной подавленности угнетатели наравне с угнетаемыми расплачиваются усталым равнодушием к жизни, и что дело тут, пожалуй, не только в потерянных идеалах. Да и можно ли говорить серьезно об идеалах, утраченных в конце второго десятилетия жизни? Когда же было разочароваться, если разочарование, по свидетельству статистиков, длилось уже четыре года, а многим самоубийцам еще не минуло 17 лет. По данным д-ра Гордона за 1906—1910 г.г. самоубийством покончило свыше 9 тысяч, из них 363 гимназиста и гимназистки. В каком же возрасте слагались те идеалы их жизни — о смысле ее, о государственном строительстве, — крушение которых привело их к цианистому кали? Наконец, когда же, в какие блаженные времена мерцающие образы семнадцатилетней фантазии сбывались?

Во все времена у всех народов находятся люди, которым все «надоело и опостылело», которые утратили вкус к жизни, которых не влечет, не тянет ни революция, ни реакция, которые не ждут и не жаждут ни лавровых, ни терновых венцов и уходят от жизни, не создавая, однако, школы последователей. И если в указанную эпоху таких равнодушных к жизни оказалось слишком большое количество, то это не значит, конечно, что они явились жертвой «психической заразы». «Зараза» еще могла бы создать известный способ самоубийства и, в силу предсмертного безразличия, сделать более распространенным, например, самоповешенье, как это было в 80-х годах, чем нашатырный спирт и цианистый кали, которому отдавали предпочтенье самоубийцы девятисотых годов. Но самая склонность к самоубийству заложена глубже — в самых основах общежития. Если в рассматриваемую нами эпоху самый ничтожный, повидимому, повод одинаково легко заставлял бросаться в об'ятия смерти и представителя оппозиции, и сторонника реакции, то причины этих самоубийств надо искать не в отсутствии идеалов (ибо кто тоскует по идеалу и смыслу жизни, тот ищет, а не уходит от жизни), а в отсутствии воли к жизни.

А воля к жизни есть один из видов проявления коллективной активности, которая составляет основу и силу всякой общественности и питается чуткостью и отзывчивостью общественных элементов. Убить социальную чуткость и впечатлительность в человеке это значит подавить в нем чувство общественности, а вместе с тем подорвать интерес и привязанность к жизни.

Цель и средство реакции во все времена и во все эпохи — заглушить повышенную чуткость, распылить, оторвать друг от друга социальные частички, окружить их холодной, разобщающей атмосферой трусости, страха, уныния, тупости и апатии. Но тут наступает мщение общественной Немезиды. Апатия, созданная и поддержанная системой всеобщего оглушения, втягивает в свои мертвые петли и самих угнетателей. Тупое уныние в среде оппозиции рождает ответное падение коллективного напряжения и в лагере реакции. Наступает пора всеобщей подавленности и оторванности от жизни (ибо творческая энергия реакционного лагеря давно исчерпана до конца). Гнетет не отсут*ствие идеалов и учреждений, на общем чувстве к которым могли бы об'единиться групповые органы оппозиции,* — гнетет отсутствие чуткости и отзывчивости, отсутствие об'единяющих желаний и настроений, полная прострация в сфере жизненных интересов. Человек предоставлен самому себе (как в толпе на «Ходынке»), и продолжение нити его нервной системы, незримо сплетавшие его со всей окружающей жизнью, оборвано. Разрушена коллективная связь между людьми, и придавленные покорностью и страхом, оглушенные леденящей апатией, люди бродят, как равнодушные мертвецы. Человек предоставлен самому себе, и, резюмируя эту мертвенную тенденцию жизни к оторванности и к угрюмой злости, со злым издевательством поет типичнейший поэт той эпохи Федор Сологуб:

По улицам люди ходили...
Такие же злые, как я,
И злую тоску наводили
Такую же злую, как я...
И шла мне навстречу царица,
Такая же злая, как я,
И с нею безумная жрица,
Такая же злая, как я...
И чары несли они обе,
Такие же злые, как я...
Смеялся в ликующей злобе,
Такой же, как злоба моя...
Пылали безумные лица,
Такой же тоской, как моя,
И злая из чар небылица,
Вставала, как правда моя...

Все, что сливало, об'единяло и давало радостное сознание общности, было убито вместе со смертью социальной отзывчивости, и отсюда эта мертвящая проповедь искусства той апатической эпохи:

«Какой интерес заставлять себя разбивать свою голову ради счастья людей 32-го столетия? О, я знаю этот куриный бред о какой-то мировой душе и священном долге! Но даже тогда, когда я ему верил умом, я ни разу не чувствовал его сердцем» (А. Куприн).

Или:

«С какой стати я принесу свое «я» на поругание и смерть для того, чтобы рабочие 32-го столетия не испытывали недостатка в пище и половой

любви? Да, чорт с ними, со всеми рабочими и нерабочими всего мира» (М. Арцыбашев).

А молодость, восприимчивая и еще достаточно чуткая, отнюдь не разочаровавшаяся в своих идеалах, еще не усвоившая даже азбуки общежития, но тревожно настороженная и ждущая коллективного воздействия извне, в лучшем случае получила привычное повторение старых, жеваных слов, разогретое кушанье без прежнего вкуса, без прежнего пыла. И отсюда эти страстные вопли об одиночестве. которыми переполнены все ее письма.

Приведу некоторые из них:

«О, если бы возродить ту солидарность, которая еще так недавно поддерживала огонь жизни,—пишет студент П. С.,—какая живая струя ворвалась в это время в университет вместе с расцветом общей свободы! Она оживила и профессоров, и студентов, соединила их, сделала близкими... Я знаю. о т т у д а могут возопить, что это было время политики, анархии; неправда, не так уж потому, что не одной лишь политикой занимались студенты в то время, и никогда лекции не посещались так усердно, практические занятия не велись так оживленно, как именно тогда. До нытья ли или до жалоб было тогда? Факультетские собрания с участием профессуры, разнообразные проявления жизни центрального университетского органа, диспуты профессоров со студентами, еще многое, многое... Все это считалось тогда вполне допустимым и даже необходимым, это заставляло так много думать, чувствовать, переживать, ощущать жизнь и в себе и в других»...

«Если стреляются студенты от голодухи, то гораздо большее количество от серой, тоскливой монотонности и скуки... Главное—разрешить вопрос тоскливого, страшного студенческого одиночества»,—пишет студент Р.

«Нет жизни,—говорит студент В.,—а вместо нее одиночество, оторванность, раз'единенность и полная заброшенность одиночек.

«Наконец-то, поставлен верный диагноз тяжелым фактам наших дней,—пишет курсистка С. в письме, озаглавленном «Банкротство духа и потребность живого общения».—В основе их не нужда, не рознь отцов и детей, а разобщенность живой массы, невозможность единой, общей жизни, широкого духовного общения, всего того, чего так жадно и живо требует молодая, здоровая душа».

«...Серо и сумрачно кругом, одиноко и пусто,—жалуется И. Ш.,—и вовсе не важно, умрем ли мы сейчас насильно, по своей воле, по воле мысли нашей, или дотянем до конца наших дней. В этом сером и сумрачном тумане мы все равно — ж и в ы е м е р т в е ц ы».

«Такие письма пишутся и рассылаются не единицами,—пишет Гр. Д—й,—их не свалить на патологию; они пишутся здоровыми, продолжающими жить под гнетом страшной апатии и одиночества, они пишутся мною, вами,—всеми, всей молодежью. Т р а г е д и я в э т о м, в здоровых, в живущих, а не в отошедших, кто так или иначе нашел выход из тупика» [1])...

---

[1]) Из статей автора „Мысли молодежи о самоубийствах в ее среде“, — „Киевская Мысль“, 1909 г.

Этими тоскливыми жалобами переполнены все газеты того скверного времени. Растерянные, беспомощные, убитые окружающим равнодушием сотни юных жизней валились как листья с пересохших ветвей, и смерть их ложилась на совесть целого поколения как мучительный выкуп за утрату социальной отзывчивости, за андреевщину, веховщину, мережковщину, за всеобщий упадок духа. И на почве того же отрицания жизни и нахлынула в эти скверные растленные годы волна кошмарных убийств. Как раз те самые газеты, на столбцах которых печатались вышеприведенные письма самоубийц, изо дня в день пестрели колоссальными заголовками: дело Гилевича, дело Тарновской, дело Прилукова, дело ксендза Мацоха, дело Наумова, дело Скадовского, дело Панченко, дело де-Ласси... Типографские столбцы не успевали закончить печатанье одной сенсационной «драмы из жизни большого света», как место Гилевичей и Прилуковых заступали все новые и новые убийцы. А вперемежку с «процессами-монстр» не столь выразительно и крикливо, но с подобающей пикантностью ежедневно подносились читателям уголовные будни: «убийство из ревности», «растление пятилетней», «труп в корзине», «школьные садисты», «сельская передоновщина», «арестантские шутки» и т. п. и т. п. В моем распоряжении нет статистических данных, но, даже бегло просматривая газетный материал, не трудно заметить, что это были какие-то исключительно кровожадные годы. Из любой газеты в любом провинциальном городке узнаешь о десятках кровожадных дел. Не люди, толкаемые голодом, а представители «высших» классов ежедневно калечат, убивают друг друга, насильничают, и если не всякий решается топтать ногами или распороть живот своему «ближнему», то всякий с наслаждением читает и перечитывает, *как это делается*. С особым удовлетворением барахталась т. н. читающая публика в этой кровавой луже, требуя, чтобы ее посвящали во всю кошмарную технику пролития крови. Мыслью, сознанием впитывала она в себя эти обрывки разнуздывающих драм и, точно влекомая какой-то скрытой жаждой злодейства, изо дня в день переживала во всех сенсационных и гнусных подробностях, как сын убивает мать, как любовник рассекает на части и зашивает в корзину тело своей возлюбленной, как монах обкрадывает наивных богомольцев для какой-то уличной Мессалины, как учитель в припадке педагогического садизма истязает трепещущего школьника, как, замирая от восторга, говорят о еврейских мучениях думские садисты и проч. и проч. Но, разумеется, больше всего внимания уделяется жгучим подробностям великосветских убийств,—тем, прогремевшим на всю Европу процессам, которые репортерская публика окрестила общим названием «современные типы». Интересно читать, с какой старательностью и печать, и общество, и наука открещиваются от родства с Тарновскими, Панченко и Гилевичами. Прежде всего, конечно, были призваны на помощь светила психиатрической науки, которые со всей ученой торжественностью об'явили и Тарновскую, и Прилукова, и Наумова, и Панченко, и Гилевича, и де-Ласси, и Скадовского—«людьми с психопатической душой». Пусть так. Но разве сумасшествие упомянутых лиц снимает с них клеймо «современности»? Давно прошли те времена, когда сумасшедший считался существом ни на что не похожим, исключением из общего правила. Современная

психиатрия твердо установила, что всякий душевно-больной является как бы квинт-эссенцией своего времени. В палатах помешанных мы, по словам величайшего психиатра Эскироля, «встречаемся с теми же самыми идеями. с теми же заблуждениями, страстями и страданиями, которыми отравлена вся современность: это—тот же мир, но только все черты здесь резче, краски ярче, тени гуще и действия поразительнее, потому что человек является здесь во всей наготе, не скрывая своих помыслов и недостатков, не прикрывая страстей прельщающим покровом и не маскируя пороков обманчивой внешностью». Другой выдающийся психиатр наших дней Эрнст Кречмер в книге, переведенной теперь почти на все языки, с замечательной последовательностью стирает всякие грани между психиатрией и нормальной психологией, между психическими импульсами помешанных и душевными побуждениями вполне здоровых людей.

«Переходом из области психиатрических явлений в нормальную психологию,—говорит Кречмер,—мы не делаем скачка; продолжая шаг за шагом переносить связь между строением тела и душевными задатками из области чисто психиатрической во все многочисленные варианты психопатической личности и отходя все дальше и дальше от исходного пункта наших исследований—тяжелого душевного расстройства,—мы неожиданно попадаем в мир здоровых людей, оказываемся среди знакомых нам лиц. Черты, которые мы видели там искаженными, мы встречаем и здесь, но в знакомой нам нормальной окраске» [1]).

В переводе на язык социальной психологии это означает, что т. н. клинические случаи—не что иное, как сжатая психофизиологическая формула тех общественных настроений, из недр которых рекрутируются психозы. Так что даже установив безусловное сумасшествие Тарновских, Прилуковых и Панченко, — наука нисколько не спасает всего здорового общества от причастности к их преступлениям и порокам. Пусть кривые и искалеченные, но все эти Прилуковы, Наумовы и Скадовские — прямой продукт создавшей их среды; в их помыслах и деяниях мы читаем греховную тайну эпохи и господствующих классов.

Не будем останавливаться на подробностях каждого процесса в отдельности. Несмотря на различие возрастов, типов и темпераментов, все они—и блестящая светская красавица Тарновская, и опустившийся циник де-Ласси, и бесшабашно-щедрый Прилуков, и жадный скряга Гилевич, и семидесятилетний пакостник Панченко—связаны крепким узлом социально-психологического единства, и события их жизни неизменно протекают в сфере кафе-шантанных кутежей, скандальных оргий, альковных драм, циничного сводничества и кошмарных «таинственных» убийств. Откуда же этот злодейский урожай живой пинкертоновщины? Что означают эти зловещие фигуры? Одряхлевший ли класс рассказывает историю своей жизни, раскрывая тайны своей опустошенной души, или в летописях этих кроваво-гнусных деяний скрыт еще другой, более глубокий смысл? Посмотрим, что служит скрепляющей связью между

[1]) Э. Кречмер, Строение тела и характер, стр. 193.

всеми эти разномастными подстрекателями, убийцами и предателями. С первого взгляда не трудно убедиться, что в их жилах бушует сладострастие; больная, разнузданная и извращенная свидригайловщина. Они идут напролом, не считая ни жертв, ни ран, наносимых и себе, и другим. Но, конечно, гораздо чаще—другим. Со дна их сладострастной души встает необузданная кровожадность. И в этом кровожадном, садическом сладострастии все их духовное бытие. Возьмем, например, Тарновскую. Опьяненная сознанием своего полового владычества, она с ужасающей безответственностью швыряет любовников друг против друга, злорадно высмеивает их убийства, самоубийства и преступления, и чем дальше, тем удушливей вспыхивает в ее чувственно-диком опьянении какая-то беспредельная кровожадность. Временами последняя принимает чисто сатанинский характер, как бы растет, разжигаемая похотью своих покорных любовников. Беспредельной жестокостью и цинизмом дышат слова ее, когда она с отвратительной усмешкой советует Прилукову умереть, так как для нее он сделался бесполезным. Ей надо, чтобы каждый ее любовник горел той же лютой злобой и бессердечием, что она, и всегда готов был на любое преступление ради нее. Без этой рабской покорности ей поклонники не нужны, и она заставляет их покупать ее благосклонность ценой мучительства, подлогов, убийств. И с гаденьким сладострастием, визгливо хихикая и пресмыкаясь, отдаются во власть хлысту и когтям этой беспощадной садистки Наумовы, Прилуковы и Стали.

То же в процессе д-ра Панченко. На каждом шагу развертывается перед нами та же расчетливая кровожадность, наигрывающая на том же свидригайловском сладострастии. Разгул похотливости отдает одного из героев этой драмы, молодого Бутурлина, во власть кафешантанной певички и вскоре превращает его, блестящего конногвардейца, в сюсюкающего Миффа [1]). И та же жажда половых (уже недоступных) наслаждений гонит этого слабосильного потомка слабосильных и хилых аристократов в сети д-ра Панченко. И любопытно, что этот семидесятилетний старец и сам во власти уличной проститутки, которая, наигрывая на его извращенной старческой похотливости, заставляет его вести какую-то мерзостную игру со всякого рода отбросами и заведомыми преступниками. Ради нее, между прочим, состоит Панченко редактором порнографических листков, ради нее изобретает «целебные бальзамы», торгует «сифилитиконом», продает плодогонные пилюли и таблетки для возбуждения, ради нее хладнокровно подготовляет неслыханное убийство. Таков же и сам де-Ласси, секретно подстегивающий свой дряхлеющий пыл изделиями д-ра Панченко и ни на миг не останавливающийся перед поголовным истреблением всех своих близких, как только в голове его рождается подозрение, что и этим жалким остаткам любовных утех грозит опасность от разорения.

Картина ежедневных убийств, совершающихся в обществе, есть прежде всего картина его духовного распада и немощи. Пусть кривые и искалеченные, но все эти Панченки, де-Ласси и Гилевичи суть продукты всей тогдашней общественности. Конечно, в мире расслабленных прожигателей, среди отпрысков

---

[1]) Герой романа Золя „Нана".

безыдейного класса есть больше всего шансов для появления подобных героев. Как справедливо писал тогда Луначарский: «Это люди, которым не приходилось бороться с жизнью и у которых нет ничего, за что стоило бы бороться. Естественно, что они адски скучают. В атмосфере этой скуки, в монотонном чередовании балов, кутежей, любовных интриг и т. п., рождается и гигантски развертывается неумолимая жажда острого, жгучего наслаждения. И вот тут-то является женщина, как предмет такого наслаждения, как торговка им». И неудивительно, что среди этих махровых выродков всего пышнее распускается свидригайловщина. Но не одна любовь к кутежам или жажда острых и жгучих наслаждений создает Гилевичей и Наумовых, и не та или иная общественная группа выдвигает их из своих рядов, а вся совокупность асоциальной жизни. Эта жизнь сама плодит в своих недрах всю эту гнуснейшую свидригайловщину. И если одна группа выдвигает Гилевичей и де-Ласси, то другая служит питомником Вадимов-Кровяников [1]) и их многочисленных последователей. Тупость, уныние, апатия, оторванность от жизни и моральное оскудение — вот та духовная атмосфера, которая выращивает Гилевичей и Наумовых — в морали, Азефов и Гартингов — в политике и апологетов «бейлисиады» и «жидотрепки» — на думской трибуне. Здесь, в прихотливом и злобном хороводе, сплелись и закружились и светская львица Тарновская, и д-р Панченко, и мещанин, насилующий свою пятилетнюю дочь, и дворник, хладнокровно раскалывающий череп своему седому отцу, и солдат, и купец, и чиновник, и проститутка. И чем ниже общественная чуткость и впечатлительность, тем обнаженнее и циничнее разгул кровожадной свидригайловщины. И тот екатеринославский дворянин, который так настойчиво предлагает себя в палачи, и газетчик, добивавшиеся чести присутствовать при казни Богрова, и юноши, со свирепым безумием проповедывавшие погромы, и сельский учитель, записавшийся в стражники, — это все лица, одержимые бесом свидригайловщины. Это — все продукты коллективной растерянности, оглушенности, паники. Это — хрипение души, смертельно уставшей и распростертой в бессилии перед пустотой и тупостью жизни.

А в поисках оживляющих элексиров—маленькое, злое, напуганное и сладострастно сюсюкающее «я» становится хозяином личности. Так вырастает интерес к порнографии. Лавочническая литература «Биржевок» и «Синих Журналов», услужливо бегущая навстречу своему потребителю, разнуздывает воображенье похабием всякого сорта и фабрикует пинкертоновщину на всякие вкусы. Никто уже не интересуется больше, почему совершено преступление, а лишь к а к его совершили. И в этом «к а к» должно быть побольше крови сыщиков и кошмарных сцен. Ибо в этом вся душа пинкертоновщины, требующей техники убийств и механики разбоев и зверства. «Записки мазохиста», «Наше преступление» Родионова, описания «кукушки» у Ценского, исповеди сыщиков, провокаторов, убийц, самоубийц — вот модные новинки

---

[1]) Знаменитый убийца проституток в начале настоящего столетия, оставлявший на месте убийства записку: „Вадим-Кровяник, русский Джек-Потрошитель".

тогдашней литературы, по поводу которой В. Розанов иезуитски хихикал в «Нов. Вр.»:

«А мы-то думали и думаем, что наша Русь так тиха и безобидна и кроме «Нравов Растеряевой улицы», описанных Глебом Успенским, да «Река играет» Короленко—ничего и нет у нас. Пейзажи—Тургенева и «быт»—Толстого... Не наивничают ли наши художники-беллетристы?»

И пока художники того времени копошились «У последней черты», пока Арцыбашев придумал, как бы поэффектнее перевешать и перестрелять своих героев из «Клуба самоубийц», интеллигентская веховщина всех мастей и оттенков занялась прокладкой дорог в «потустороннее». Под сенсационными описаниями убийств, под эффектными письмами самоубийц запестрели в газетах статьи о вере, о боге, о теософии. Это растерявшаяся, немощная «толпа» инстинктивно хваталась «за всякое средство», пытаясь изжить «смертельную, нудную неловкость» и придать своему душному прозябанию хоть какой-нибудь смысл, хоть в чем-либо найти единение. Это русская феодальная монархия, со всеми обслуживающими ее группами, подошла к своему последнему этапу, к своей исторической «ходынке».

«...И вот толпа, уже наполовину одичавшая, тонувшая у себя самой под ногами, как миллионы слепцов, застрявшие в овраге, принималась петь: «Спаси, господи, люди твоя» [1]...

Каждая газетная строчка вопила о гнили, насквозь проточившей общество до самой сердцевины. Ежедневная хроника стала адом, в который сам старик Карамазов не отказался бы поверить. Вообще вся дворянская Русь каждым фунтом своего тела кричала о торжестве карамазовщины. Митеньки, уже нагулявшие порядочное брюшко и мясистые затылки, валялись у ног «инфернальницы» Тарновской. Бедные и безличные Алеши сотнями печатали свои предсмертные размышления на страницах «Русского Слова». Иван Карамазов в лице просвещенного либерала, владеющего всеми словесными forts détachés, вел душеспасительные беседы с чортом. А смердяковская веховщина радостно призывала к самоустроению духа. Из гущи Гилевичей и Скадовских, из душного омута самоубийств и убийств вдруг вынырнули богоискатели, богоборцы, богоприимцы, богоносцы, мистические анархисты; посыпались лекции о медиумизме, спиритизме, оккультизме, астральных телах, о тупике неверия и решительной перемене вех.

«На мгновение толпа жарко подхватывала слова молитвы, но вскоре пение слабело, терялось, и сбитые в кучу люди п о-п р е ж н е м у з а д ы х а л и с ь в т е с н о т е, н и ч е г о н е в и д я, з в е р е я и т е р я я с о з н а н и е» [1]).

И опять трещали короткие выстрелы убийц и самоубийц...

Тогда же свыше вдохновленный раздался трубный глас Карташева и Мережковского. В религиозно-философском обществе потекли прекраснодушные диспуты на тему: «Может ли современный мыслящий человек верить в божественность Иисуса Христа?». Красноречие Розанова и Бердяева клубилось бурным потоком. На этих собраниях председательствовал А. В. Карта-

---

[1]) В. Краснов, Ходынка.

шев, который вкупе с Мережковским пламенно звал русскую интеллигенцию раз навсегда отказаться от своего старинного греха—«политического самомнения» и заручиться религиозным догматом на предмет спасения человечества от «грядущего хама»...

Ах, ныне тот же А. В. Карташев вкупе и влюбе с Мережковским, пламенея тем же священным пламенем в защиту священной верности «нашему древнему политическому обету», пророчески наставляют эмигрантскую интеллигенцию в Париже:

«Вопреки малодушно-холопским и коварно разлагательским нашептываниям мы верим и исповедуем, что своеобразная, почти трехмиллионная русская эмиграция высоко ценна и необходима для восстановления России, ибо в ней сохранились в непрерывности и неоскверненной чистоте обломки священных начал русской государственности... Здесь есть у нас носители исторически-традиционного, священного для народа авторитета власти» [1]).

А. В. Карташев в качестве лидера и политического вожака эмиграции! Господа Гилевичи, Бутурлины и Скадовские в роли «неоскверненных обломков священных начал русской государственности»! Если отбросить мысль о притворстве и лицемерии, можно ли придумать нечто более пригодное для иллюстрации последней степени оглушенности? В этой трехмиллионной беспомощно-стиснутой одичавшей куче слепцов многие давно уже трупы. Другие, задыхаясь, ничего не видя и теряя сознание, бессмысленно тянутся к романовским дарам—«нашему древнему политическому обету», чтобы, получив свой узелок, подложить его под голову и умереть, как те, на Ходынке... Таков порочный круг исторической неизбежности. Царствование, начатое смертельной давкой, устроенной последним «носителем исторически-традиционного авторитета власти» на Ходынском поле в Москве, роковым образом должно было завершиться таким же страшным, паническим удушьем, созданным обломками «священных начал» под серым и нудным небом позорной и злобной эмигрантщины.

---

[1]) „Вестник русского национального комитета“, 1924, № 8.

Страничка из истории интервенции.

(Воспоминания журналиста.)

М. С. Фарбман [1].)

I.

Все, кто в 1918 году следили за полемикой в союзных парламентах и в прессе по вопросу о допустимости военной интервенции в России, или, как это тогда называли, о «восстановлении Восточного фронта», помнят, вероятно, как правительство Вильсона в течение ряда месяцев отказывалось допустить военное вмешательство, насколько неожиданно, как раз тогда, когда в либеральных кругах Америки и Англии считалось установленным, что Вильсон одержал в этом вопросе окончательную победу, военные отряды Англии, Франции, Японии и Соединенных Штатов приступили к фактической оккупации русской территории со стороны Мурмана на севере и со стороны Владивостока на востоке.

Этот внезапный переход Вильсона в лагерь сторонников военного вмешательства настолько противоречил заявлениям правительства и духу и традициям американской политики, что для об'яснения этой перемены политики были выдвинуты различные гипотезы. Официозная версия американского правительства, что своим участием оно хотело получить контроль над действиями Японии и Сибири, дает только частичное об'яснение, так как очевидно, что Вильсон имел в своем распоряжении достаточно сил и влияния, чтобы вовсе не допустить японскую оккупацию. К тому же эта версия совершенно не об'ясняет цели Мурманской экспедиции, в которой Япония не принимала и вовсе не могла принимать участия.

В кругах, которые были вообще хорошо осведомлены, в свое время утверждали, что истинной причиной перемены фронта явилось заявление Франции, что она не в состоянии продолжать войну, если союзники не смогут, восстановлением Восточного фронта, отвлечь часть германских войск с запада на восток, и что если это восстановление Восточного фронта не сможет быть

---

[1]) Предлагаемая читателю статья написана американским журналистом новожизненского толка. Фарбман был за границей одним из главных организаторов борьбы против интервенции.

осуществлено вследствие нежелания Соединенных Штатов допустить военное вмешательство в России, то для Франции не будет другого исхода, кроме мира с Германией.

Была ли эта угроза Франции заключить сепаратный мир с Германией за счет России единственным фактором, заставившим Вильсона столь круто изменить свою политику, трудно сказать. Но не подлежит сомнению, что это был самый веский аргумент в руках союзников. Произведя на Вильсона впечатление призраком сепаратного мира, Франция поторопилась инсценировать чехо-словацкое восстание, и этим дала возможность Вильсону оправдывать военный поход против революции необходимостью защищать «мирное движение чехо-словацких легионов».

До чего эта перемена фронта была внезапна и до чего она противоречила истинным намерениям американского правительства, можно судить по тому факту (далеко не единственному), что, по словам видного американского государственного деятеля и ближайшего друга Вильсона, Герберт Гувер собирался ехать в Москву с официальной миссией обследовать продовольственное положение России и организовать американскую помощь, но был остановлен внезапной посылкой американских отрядов в Мурманск и Владивосток. Насколько американское правительство было далеко от мысли об интервенции, я мог лично убедиться, когда летом 1918 года собирался ехать в Америку со специальной целью принять участие в кампании радикальной прессы («New Republic», «National») против интервенции. Государственный департамент в Вашингтоне (миниидел) дал разрешение на в'езд, а американское посольство и консульство в Лондоне всячески облегчили мне формальности с визой не вопреки моей репутации решительного врага интервенции, а именно потому, что они сочувствовали борьбе с идеей вмешательства, которую я вел на страницах либеральной и радикальной английской печати. Для американских настроений того времени весьма показательно, что одновременно со мной собирался в Америку А. Ф. Керенский, незадолго до того произнесший речь на конференции Рабочей партии в Лондоне с призывом к интервенции. И вот, государственный департамент, давая визу мне, отказал в ней Керенскому. Оба эти факта, ничтожные сами по себе, однако подтверждают, что в июне-июле 1918 г. правительство Соединенных Штатов не помышляло об интервенции. Разрешение на в'езд мне и отказ в визе Керенскому не могло бы иметь места, если бы вашингтонское правительство держало курс на интервенцию.

Некоторые детали моей поездки весьма характерны и любопытны. Так, напр., американское консульство потребовало, чтобы, согласно правилам, была поставлена русская консульская виза на моем паспорте прежде, чем поставить свою. Но бывшее русское консульство, к которому я обратился за визой, отказалось ее выдать,—очевидно, по тем самым причинам, по которым американское консульство соглашалось дать мне визу на в'езд в Америку. Вследствие этого отказа, моя поездка повисла в воздухе. Тогда я спросил, не будет ли действительна виза М. М. Литвинова, как советского консула. К моему удивлению, американский консул не протестовал. Как курьез, вспоминаю, что, подходя к дому М. Литвинова, жившего тогда в окрестностях

Лондона, за получением визы, я наткнулся на двух английских филеров, дежуривших у его дверей. По слухам, большевики арестовали мистера Локкарта, неофициального представителя английского правительства. Англичане заявили, что они арестуют Литвинова и весь состав советского представительства, как только этот слух подтвердится. Литвинов и 30 человек большевиков были, действительно, арестованы и высланы из Англии. Об аресте и высылке Литвинова я узнал уже на пути в Америку из телеграммы, перехваченной беспроволочным телеграфом.

Виза Литвинова на моем паспорте вызвала подозрительное отношение ко мне американских чиновников при высадке в Нью-Йорке. Мой паспорт долго исследовали, а меня допрашивали и передопрашивали несколько раз; но мои остальные бумаги были в полном порядке, а рекомендательные письма к видным государственным деятелям явно произвели впечатление, и я получил разрешение сойти на берег. Штемпель Р. С. Ф. С. Р. и подпись Литвинова на моем паспорте были затем в течение двух лет постоянным препятствием при передвижениях, и я должен был буквально воевать каждый раз, когда обращался в какое-нибудь консульство за визой. Только много спустя, когда я исколесил раза два Европу и когда виза Литвинова затерлась среди сотни германских, английских, бельгийских, голландских, скандинавских и латышско-литовско-эстонских виз, любезность, оказанная мне в 1918 г. Литвиновым, перестала служить для меня источником вечных неприятностей. Впрочем, и время тоже стало другое.

Мое первое американское впечатление связано с покушением Каплан на Ленина. Едва наш пароход замедлил ход при в'езде в доки—это было 2 сентября 1918 года, — на него, вместе с полицией и таможенными чиновниками, забрались и газетчики, и мы узнали сенсационную новость: Ленин тяжело ранен, и его положение безнадежно. Тогда фантастические выдумки о том, что делается в России, еще не были так часты; кроме того, редакция этого сообщения, так же, как и его источник, делали известие очень правдоподобным. Было несомненно, что в России произошли чрезвычайные события. Покушение имело место, Ленин—в этом не могло быть сомнения—был тяжело ранен. Тяжело ранен—значит убит,—так страстно хотели верить пассажиры на нашем пароходе; таково же было настроение во всей Америке, и потому на следующий день, 3 сентября, нью-йоркские газеты вышли с некрологом о Ленине. Помню определенно некролог «Нью-Йорк Таймс», самой большой и самой влиятельной из американских газет. О мертвом всегда лучше говорят, чем о живом, в особенности, когда при жизни об этом человеке говорили одно дурное,—не по убеждению, а часто — увы!—вопреки собственному мнению, так сказать, по долгу пропаганды. Теперь о Ленине можно сказать хотя бы небольшую часть правды,и она была сказана с достоинством,сдержанно и не без коварства: ушел, мол, самый крупный и едва ли не самый умеренный среди большевиков. Теперь готовьтесь к делам, которыми удивят мир сорви-головы Троцкий, Бухарин, Зиновьев. Так или иначе этот некролог звучал диссонансом среди хора других заметок и статей, в которых в обычном стиле уличной прессы Ленин изображался, как платный агент германского генерального

штаба. Впрочем, даже «Нью-Йорк Таймс», повидимому, чотбы загладить свою ошибку со злосчастным некрологом, вскоре вновь предоставила свои столбцы для поругания Ленина. Именно в «Нью-Йорк Таймс» были впервые опубликованы знаменитые «документы» о большевистско-германском заговоре, добытые за большие деньги М. Сысоном — чиновником департамента пропаганды. Эти сысоновские документы и история их опубликования являются позорнейшей страницей в истории поругания и клеветы на революцию. Полковник Раймонд Робинс, бывший с августа 1917 года по май 1918 года во главе американской миссии Красного Креста в России, рассказал в своей книге, как ему предлагали в России купить эти документы и как он отбросил их, как слишком явную и грубую фабрикацию. Государственный департамент и департамент пропаганды, у которых эти документы находились уже в течение нескольких месяцев, не решались опубликовать их, зная их темное происхождение и более чем сомнительную ценность. Но внезапный переход к интервенции, серьезно смутивший общественное мнение, вынуждал какими-угодно мерами повлиять и воздействовать на общественную совесть. И сысоновские документы были пущены в ход, а чтобы придать им бо́льшую ценность и достоверность, нашли двух профессоров истории с большими и заслуженными научными именами, которые своими подписями удостоверили, что эти документы выдерживают научную экспертизу и должны считаться достоверными. Впечатление было ошеломляющее. Это уже не сомнительные слухи. Теперь подлинно доказано, что вожди революции—просто исполнители воли и приказаний германского генерального штаба. Теперь свободный американский народ, сам вышедший из великой революции и прошедший через очистительную гражданскую войну, может со спокойной совестью поддерживать интервенцию, так как очевидно, что своим вмешательством он не собирается помешать торжеству свободы и революции, а только помогает русскому народу, освободившемуся от тирании монархии, освободиться и от кучки узурпаторов, захвативших власть по приказу и в интересах генерального штаба общего врага. Интервенция, которая еще вчера давила на совесть американского народа, как преступление, становилась в свете сысоновских документов почти подвигом.

Когда спустя несколько дней выяснилось, что опасность миновала и что Ленин находится на пути к выздоровлению, я как-то выразил по этому поводу свое удовольствие в присутствии одного редактора большой либеральной и чуть ли не радикальной газеты Нью-Йорка. Редактор, который до того говорил мне, что он сам почти социалист и что если бы идеал коммунизма был осуществим, то он считал бы это счастьем для человечества, очень удивился моему восторгу от выздоровления Ленина. «Чем же это вас так радует?» спросил он.—Помимо чисто человеческих чувств,—ответил я,—меня радует факт, что Ленин, который, повидимому, борется с крайними течениями в своей партии, сможет довести свою политику компромисса с Западом до конца. Если бы он был убит, его место заняли бы более крайние и более непримиримые вожди революции, к тому же охваченные жаждой мести за смерть Ленина.

Они бы повели такую политику, что о примирении вовсе не могло быть и речи. «Вот потому-то мы и хотели смерти Ленина», ответил, не задумываясь, редактор.

II.

Я уехал в Америку, чтобы принять участие в кампании против интервенции. Когда я приехал, интервенция была уже фактом, и либеральные журналы, которые раньше писали против интервенции, теперь хранили вынужденное молчание. О настроениях, которые господствовали в Америке, я получил некоторое представление в тот же день. Уже по дороге из гавани в гостиницу я натолкнулся на демонстрацию, которую иначе как культом национального флага назвать нельзя. «Унион Жак», красно-сине-белый флаг Соединенного Королевства, пользуется огромным уважением Великобритании, как признанный символ единства национальности. В Соединенных Штатах уважение к национальному флагу «Стар Спринхлед Баннер» переходит в бурное всенародное преклонение.

Второе сентября пришлось на понедельник. Первый понедельник в сентябре, Лебор Дей, в Америке—день труда. Это был первый Лебор Дей во время войны, и рабочие демонстрировали свое приятие войны. Бесконечная процессия рабочих братств (профессиональные союзы) тянулась по Авеню и Бродвей. Каждый рабочий нес небольшой флаг, впереди каждого братства развивались знамена и огромный национальный флаг, кроме того, процессии носили целый ряд флагов совершенно небывалых размеров,— огромные, почти квадратные полотнища в ширину всей улицы. Мужчины снимали шляпы, женщины размахивали платками, воздух оглашался торжественными кликами. Все улицы сплошь были украшены национальными флагами, которые висели, не как в Европе, симметрично по два у входа или с балконов, а из окон всех этажей и в большом беспорядке, что создавало впечатление какого-то чрезвычайного национального возбуждения. Сначала я полагал, что флаги вывешены по случаю праздника труда, но потом оказалось, что большая часть флагов висит со дня об'явления войны и не снимается, являясь как бы обетом оставаться непоколебимыми до окончательной победы. В каждом доме, откуда уходил солдат на войну, вывешивался вдобавок специальный флаг — белая звезда на красном фоне; с ними перемежались флажки с золотой звездой,—вместо белой,—в память убитого на войне солдата (обычный траур считался недостойным величия жертвы).

Вечером, когда я вышел на Бродвей,—эту центральную артерию Соединенных Штатов,—я был охвачен как бы вихрем. То, что я увидел и почувствовал тогда и чувствовал все время до конца войны, был истинный террор войны. Бродвей отражал этот террор своеобразно, но не оставлял никакого сомнения, что (перефразируя известную надпись на фронтоне одного советского здания в Москве) «война, это—вихрь, сметающий всякого, становящегося на его пути». Бродвей в его наиболее многолюдной и залитой огнями части, между 30 и 50 улицами, напоминал ярмарку. Бродячие труппы актеров устраивали на переносных сценах летучие спектакли, собирая деньги на по-

дарки «фор тэи бойс»—для солдатиков, отправляющихся на войну. В поперечных улицах, где было тише, ораторы, стоя на «ящиках от мыла», собирали толпу фразами о законности войны и необходимости победы. Я подошел к одной группе. Оратор рассказывал о своем пребывании в Англии в начале войны и о том энтузиазме, который господствовал там. Говоря о том, как в Англии огорчались от того, что Соединенные Штаты не вступили в войну раньше, он стал расписывать любовь английского народа и английских государственных деятелей к Америке. Один из слушателей, повидимому ирландец, отнесся иронически к этой части речи и сделал какое-то замечание, выражавшее сомнение. Оратор замолк, вынул из кармана шелковый национальный флаг, развернул его, покрыл им свою грудь, как салфеткой, вынул часы и сказал: «Я даю вам две минуты времени, чтобы убраться отсюда,—иначе я вас арестую». Наступила тишина, ирландец не двигался. Прошла минута. Оратор предупредил, что одна минута прошла и что он не советует испытывать, насколько его угроза серьезна. Не оставалось сомнения, что, по прошествии еще одной минуты, с ирландцем поступят по всей строгости законов военного времени. Ирландец повернулся и, не говоря ни слова, вышел из толпы. Оратор спрятал свой шелковый флаг и продолжал речь.

На следующий день я решил посетить двух-трех американских социалистов, к которым я имел рекомендательные письма от английских пасифистов. Я надеялся найти у них об'яснение тому, что меня так сильно поразило накануне. Раньше всего я зашел к вдове очень известного социалиста-миллионера, последователя Генри Джорджа. Она вполне разделяла мои надежды на скорое окончание войны, но когда я сказал, что английская Рабочая партия стремится не столько к победе, сколько к длительному и хорошему миру, и не прочь была бы согласиться на мир, достигнутый не пушками, а переговорами, она замахала на меня руками.

— Вот, вот,—сказала она,—до нас сюда доходили слухи об этом детском недомыслии, но мы не хотели этому верить. Нас вы не проймете этими сентиментальностями, подсказанными хитрым врагом. Мы здесь знаем, что единственный возможный конец войны, это—безусловная и сокрушающая победа союзников, а единственный мир, это — сдача немцев на милость победителей.

Она сказала это с такой простотой, точно видела этот конец перед своими глазами. Через пять недель война окончилась, как она предсказала, но тогда мне казалось это безумием, и я ушел от нее еще в более подавленном настроении. Я уже не стал ходить к другим американским пасифистам. Было очевидно, что «Анкандишенель Саррендер» (сдача на милость победителя) была программой-минимум Соединенных Штатов, а в редакциях радикальных и боевых еженедельников «Нью Републик» и «Нэшан», которые на себе выносили всю тяжесть борьбы за революцию и против интервенции, царило полное уныние. О России писать нельзя, нельзя не только бороться против интервенции, но лучше вовсе не упоминать о России. Интервенция стала частью войны, и поэтому всякий, кто выступил бы против интервенции, неминуемо подпадал под действие законов об измене и помощи врагу. Насколько сурово

іепартамент юстиции намеревался разделаться с пропагандой против интервенции, он продемонстрировал на первом же процессе, когда за умеренное юззвание—протест против интервенции—пять русских социалистов были ıриговорены к 100 годам каторги,—по 20 лет каждый. О борьбе с интервенцией не приходилось и думать. И все же мне казалось, что и при интервенции есть одна область, в которой американцы не могут и не останутся глухи,—ıменно, если апеллировать к их чувству «благотворительности».

И вот у меня стал вырисовываться такой план: американцы кормилı Бельгию во время войны, они не прекратили своей помощи и тогда, когда сами ıступили в войну, а Бельгия была оккупирована немцами. Почему бы не апеллировать к ним теперь в интересах России? Почему бы не сказать им: «Вот ıы заявляете, что любите русский народ, и даже войну сейчас ведете для его ıлага. Хорошо. Но знаете ли вы, что вы фактически блокируете Россию от ıусского хлеба? Ведь немцы, открытые враги России, заняли хлебоносные ıоля Украины, а ваши союзники, чехо-словаки, заняли не менее хлебородные ıбласти Волги и Сибири и не пропускают хлеба, который всегда шел оттуда центральные губернии. Сознаете ли вы, что думает о вас и о ваших союзıиках голодное население России? Может ли оно поверить, что вы его друзья, ıогда ваша тактика ничем не отличается от тактики его заведомых врагов? ıсли вы хотите, чтобы они поверили в вашу дружбу, вы должны прекратить ıлокаду голода. Вы не только должны разрешить возить хлеб с Волги и Сиıири в центральные губернии; вы должны позаботиться, чтобы это было сдеıано; вы должны организовать это так же, как вы организовали для Бельгии.

Чем больше я обдумывал этот план, тем более реальным и осуществиıым он начинал казаться мне. Я ни с кем пока не говорил о нем, ожидая приıзда в Нью-Йорк полковника Э. Гауза, интимного друга и советника Вильıна, к которому я имел рекомендательные письма от его друзей в Лондоне. ıроме того, Гауз знал меня по двум статьям-воззваниям против интервенıии, которые я переслал ему из Лондона.

Но пока я дожидался Гауза и обдумывал свой план прорыва хлебной ıокады России, английская полиция, у которой я со времени моего сотрудıичества в качестве лондонского корреспондента в Петроградской «Новой ıизни», числился на очень плохом счету, — пасифист, про-джермен и чуть ли ı большевик,—послала обо мне донесение американской полиции или контрıзведке. Если бы английская полиция знала, что я собираюсь в Америку, то вероятно, никогда не попал бы туда, но, к счастью, между Америкой и ıнглией состоялось соглашение, что если одна сторона дает визу на право ıезда, то от'езжающему незачем и спрашивать разрешение на выезд. Но ıгда из документов об от'езжающих английская полиция узнала, что я ıехал в Америку, она сочла своим долгом, в соответствии с добрососедскими ıношениями, известить дружественную полицию, что в Америку приехал ıловек, «неблагополучный по России». И вот однажды, дней через 10 после ıего приезда в Нью-Йорк, в дверь моего номера раздался стук, и хозяйка ıложила, что меня хочет видеть какой-то друг, которого она назвала типичıй еврейской фамилией. Раньше чем я успел сказать хозяйке, чтобы она

попросила посетителя подождать, пока я оденусь (был очень жаркий день, и я писал, сидя без пиджака), мой названный друг был уже в комнате, уселся на стул и попросил спичку закурить. Еврейская фамилия его была, повидимому, только «камуфляж», чтобы побороть во мне всякое подозрение. Подавая ему спичку, я спросил его, кто он и какое у него ко мне дело. Вместо ответа он отогнул левую часть своего пиджака, и мне в глаза сверкнул небольшой жетон, прикрепленный к подкладке. Я этот жест хорошо знал по американским фильмам в кинематографах и поэтому больше не спрашивал. Хорошо зная, что этот едва заметный масонский жест обладает силой, которой бесполезно противиться, я начал одеваться. Он же, сообщив, что его шеф хочет меня видеть, стал собирать мои рукописи и книги в мой небольшой ручной чемоданчик. Когда я оделся, а он аккуратно сложил все, что, по его мнению, будет интересно его шефу, мы вышли и по виадуку отправились в «Нижний город» в здание таможни, занятой во время войны «осведомительным департаментом».

Допрос, тянувшийся более 3-х часов, производился различными офицерами «осведомительного департамента» с стремительностью и чисто американской бесцеремонностью и настойчивостью. То один, то другой из офицеров подходили ко мне, наклонялись близко к моему лицу и, глядя в упор, спрашивали: «кто вас сюда послал?» или: «скажите, зачем вы сюда приехали?». Хотя некоторые из допрашивающих были в чине капитана и даже майора, они, по манерам, были типичнейшие «рафнек», и допрос пересыпался проклятиями, ироническими замечаниями и угрозами.

Я был в очень неудобном положении, так как мне казалось очевидным, что даже один намек на мою истинную цель приезда,—борьба с интервенцией,—приведет их в неистовство и будет иметь для меня самые печальные последствия. Поэтому я всячески обходил вопрос, указывая, что, как журналист, я исполнял свое давнишнее желание поближе узнать Америку, но они не унимались и без стеснения заявляли, что не верят ни одному моему слову, что теперь, мол, не такое время, чтобы совершать переезды через океан, здорово-живешь, из простого любопытства. Они обещали «вытянуть» из меня всю правду, если бы для этого пришлось просидеть всю ночь. Я начинал чувствовать, что они слишком упорны и настойчивы и что мне придется сказать им всю «правду», если я не хочу остаться надолго в здании Нью-Йоркской таможни или подвергнуться риску, что со мной поступят еще более круто. И все-таки я не мог решиться вступить с этими людьми в откровенную беседу. Они безусловно смотрели на себя, как на самых ответственных людей государства, занимающих один из важнейших постов защиты отечества; в глазах американцев Кастом Гауз во время войны было нечто вроде «Чрезвычайной Комиссии». Так же думал и я, но не решался делиться с ее агентами моими мыслями. Но когда я убедился, что это совершенно неизбежно, и если я не скажу им сейчас, то мне все равно придется им сказать завтра, послезавтра или через неделю, я, скрепя сердце, начал говорить, как я смотрю на революцию, на интервенцию и взаимоотношения русского и американского народов. Я старался показать им, что интервенция—несчастье для обоих народов и никому

кроме вреда ничего не принесет. Теперь интервенция стала фактом, и я понимаю, что с этим приходится считаться. Но,— спрашивал я,— нет ли возможности что-нибудь сделать, чтобы ослабить ее печальные последствия? И я стал развивать перед моими следователями план прекращения хлебной блокады России по инициативе американского правительства. Пока я все это излагал, комната, в которой мы находились, как-то незаметно превратилась в небольшую конференцию по русскому вопросу. Мои следователи задавали мне вопрос, а я отвечал. Не будь войны и не будь создана легенда о большевиках, как агентах Германии, насилующих волю русского народа в интересах немцев, американцы никогда не могли бы двинуть свои войска на интервенцию. В сущности, и офицеры осведомительного департамента с отвращением относились к военному походу в Россию, но их уверили, что он необходим как в интересах победы над немцами, так и в интересах освобождения русского народа.

С чем американские чрезвычайки никак не могли примириться, это— с тем вопиющим, с их точки зрения, фактом, что Троцкий, который так недавно зарабатывал меньше 6 долларов в неделю в качестве рабочего в портняжной мастерской Нью-Йорка, играет теперь в России такую дерзкую, неподобающую для портного роль. Я попробовал усумниться, был ли когда-либо Троцкий портным, но я сейчас же увидел, что эта легенда слишком глубоко засела и слишком неразрывно связана с их взглядом на большевиков, и поэтому не стал настаивать. Я только сказал: «Уэль, вы видите, что Россия, как и Америка, становится страной великих возможностей».

Отношение ко мне значительно изменилось, и мои следователи наперебой стали давать мне советы, как необходимо действовать. Одни советовали ехать сейчас же в Вашингтон, повидать президента и изложить ему мой план; другие считали необходимым сначала повидать Гувера. О задержании меня больше не было и речи. Мой чемоданчик с рукописями, письмами и книгами мне вернули. Стали пожимать мне руки, хлопать по плечу и желать успеха. Затем, по американскому обычаю, вышли проводить меня до лифта, снова пожимая руки, желая успеха.

Был уже вечер, когда я возвращался в свою комнату на 36 улице, и хотя я очень устал от напряжений допроса и столь неожиданной дискуссии, я чувствовал большой прилив энергии. Успех, который я одержал в здании таможни, убеждал меня, что в моем плане есть зерно истины. Я чувствовал, что «нащупал почву», жаждал приступить к настоящей дискуссии с государственными деятелями и с нетерпением ожидал возвращения полковника Гауза в Нью-Йорк.

III.

Полковника Гауза называли во время войны «некоронованным президентом». Действительно, не занимая никакого официального положения, Гауз был одновременно как бы премьер-министром иностранных дел и чрезвычайным послом Соед. Штатов. Вильсон не делал ничего без совещания с Гаузом. Он нимало не скрывал этого, а, наоборот, демонстративно подчеркивал свою дружбу и свои совещания с Гаузом по всем государственным делам. Хотя у

американского правительства всюду в Европе были послы и некоторые из них, как лондонский посол Пэйдж, заслужили титул «великих послов» все же когда Вильсону нужно было вести особо серьезные дипломатические переговоры, он посылал в Европу Гауза. И Гауз без какого-либо официального мандата всюду был принимаем как доверенное лицо американского правительства.

Власть американского президента всегда была значительной. Она соединяет в себе прерогативу верховной власти с положением премьера в конституционном кабинете. Вильсон довел свою власть до максимальных пределов. Он фактически правил помимо кабинета через личных друзей, которых даже не считал нужным ввести в ранг министров. Это президентское «самодержавие» вызвало раздражение не только в республиканской части Сената, но и во всей стране. Оно и послужило главной причиной катастрофического провала на выборах 4 ноября 1918 года, когда Вильсон одним ударом лишился большинства и в Сенате, и в Палате народных представителей. В сентябре же запастись поддержкой полковника Гауза значило обеспечить за собой одобрение президента.

Свидание мое с Гаузом состоялось дня через четыре после моего приключения в здании Нью-Йоркской таможни. Он известил меня по телефону о своем приезде, и я отправился к нему, в его маленькую меблированную квартиру. Гауз встретил меня со свойственной американцам простотой и любезностью и, хотя сам был очень осторожен и сдержан в своих заявлениях, расположил меня к полной откровенности. На его вопрос о моих американских впечатлениях, я без стеснения сказал, что я подавлен террором, господствующим в стране, и что меня удивляет, до чего отсутствует states monstep (государственный смысл), который, как видно, всецело поглощен жаждой сплетен.

— Меня,—сказал я,—еще никто в Америке не спросил, что думают в России об интервенции, а все только жаждут знать, не имею ли я какой-либо новой сплетни о Ленине или о Троцком.

Когда я это сказал, Гауз улыбнулся. Не знаю, относилась ли его улыбка к запальчивости, с которой я это сказал, или его развеселила бестактность моей филиппики. Во всяком случае я видел, что мое замечание не рассердило Гауза. Продолжая улыбаться, он ответил:

— Я не разделяю вашего пессимизма по поводу будто бы замены states monstep сплетней, хотя я согласен, что gossip действительно занимает чересчур большое место в современной демократии. Но я тоже не спрошу вас, что думают в России об интервенции, потому что слишком хорошо знаю, что там могут думать о нас. Уверяю вас, что президент пошел на эту меру не с легким сердем. Но об этом сейчас бесполезно говорить.

Я сказал ему, что не пришел жаловаться и о прошлых ошибках говорить, а спросить его мнения о «моем плане». Как только я высказал основную мысль, Гауз подверг меня перекрестному допросу:

— Я всецело сочувствую этому и считаю это реально выполнимым при одном условии, а именно: если будет дана гарантия, что хлеб, который мы

будем ввозить в Советскую Россию с Волги или из Сибири, не будет захватываться немцами или не будет передаваться им советским правительством.

Я стал энергично доказывать, что вывоз хлеба немцами из Советской России немыслим. Оккупационная армия, конечно, может забирать хлеб там, где есть излишки; напр., немцы из Украины вывозят хлеб и фураж в Германию. Но вывозить хлеб из голодной страны, отбирать последний кусок у голодающего населения никакая оккупационная армия не сможет.

— Но допустим невозможное,—говорил я:—допустим, что Америка организует ввоз хлеба в Россию, а немцы при попустительстве или в заговоре с Советской властью захватывают этот хлеб и вывозят его в Германию. Это, несомненно, очень огорчит вас, как гуманного человека, но как политика, я полагаю, вас такой оборот дела, быть может, даже обрадует. В самом деле, подумайте об огромном впечатлении в России и во всем мире этого предметного урока: Америка делает усилия, кормит население России, несмотря даже на интервенцию, а германская оккупация вырывает последний кусок хлеба у населения, с котрым она только что заключила мир.

По смеющимся лукавым глазам Гауза я видел, что я удовлетворил его вполне своим ответом. Как опытный организатор политической пропаганды, он понял, как великолепно можно «преподнести» публике этот новый поворот политики и возможные его последствия. И действительно, Гауз стал меня всячески поощрять и желать успеха. Лично он, к сожалению, в настоящий момент не может брать на себя никакой инициативы. Он поэтому ничего не может сделать, пока дело находится в первоначальной стадии. Он ведь не имеет никакой власти,—но советует мне ехать немедленно в Вашингтон и развить мой план перед членами правительства и лидерами Сената. Он же будет следить за успехами моей кампании и в момент, когда это будет нужно, безусловно поддержит меня.

В тот же вечер я выехал в Вашингтон с рекомендацией Герберта Кролли, редактора «Нью Републик», к верховному судье Брандейзу. Если Гауз был мозгом Вильсоновской политики, то Брандейз, по общему мнению, был ее совестью. К сожалению для меня и моего плана, Брандейз, по известным причинам, в то время уже отошел от президента. Когда я встретил Брандейза, дело у них еще не дошло до полного разрыва, но охлаждение между ними уже не скрывалось.

Брандейз, как и Гауз, занимал очень небольшую меблированную квартиру. Он принял меня в своем рабочем кабинете, небольшой комнате с письменным столом у окна, с полкой книг вдоль одной из стен, столом и двумя стульями вдоль другой. На стене, над стулом, на котором сидел Брандейз, небольшой портрет д-ра Герцля, покойного вождя сионистов, и небольшая карта Палестины. Брандейз — убежденный сионист и активный деятель движения. О Брандейзе, его судейской совести, идеализме и чистоте убеждений в Америке рассказывают легенды. Кролли, давая мне письмо к нему, сказал, что, если я в Вашингтоне не успею ровно ничего, а поговорю только с Брандейзом, то моя поездка окупится стократ.

Я, конечно, очень волновался, когда в ответ на мой стук в дверь я услышал обычное: «Кам ин». Я вошел, передал письмо Кролли и, по его приглашению, сел. Пока он читал письмо, я с удивлением и волнением рассматривал обстановку комнаты и самого легендарного justice Брандейз. Он поразительно напоминал Линкольна. Хотя он не так высок, как Линкольн, но у него тоже чрезмерно большие и длинные руки, ноги и такое же странное, в складках, лицо, некрасивое, но подкупающее. Прочитав письмо, он сказал:

— Кролли пишет, что вы знакомы с положением дел в России. Я буду очень рад, если вы мне расскажете, что знаете.

Хотя я шел к Брандейзу с определенным желанием слушать, а не говорить, но я не мог не подчиниться и стал отвечать на вопросы. Когда я кончил, он сказал:

— Я вам очень благодарен. То, что вы мне сейчас рассказали, очень ценно, потому что оно подтверждает рассказы моих друзей, только что приехавших из России.

Я стал излагать свой план. Он слушал очень внимательно, потом встал и сказал:

— Мне необходимо пойти в здание суда. Если вы ничего не имеете, проводите меня. По дороге поговорим.

Всю дорогу он опять только расспрашивал, а я отвечал на вопросы. Наконец, уже почти у самого здания суда, он сказал:

— Я нахожу вашу мысль здоровой. Вам надо все это изложить в меморандуме на имя Лансинга (мин. ин. дел). Если хотите, покажите мне копию меморандума.

Когда на следующий день я принес ему меморандум, он его вполне одобрил. Тогда я попросил оказать мне поддержку и поговорить об этом с президентом. Он отказал.

— Теперь не такое время,—сказал он,—чтобы я мог пойти к президенту и заявить ему свое мнение по какому-либо вопросу. Я этого сделать не могу, в особенности по русскому вопросу, по которому мы с президентом, к сожалению, не сходимся («dou see eye to eye»). Если бы президент позвал меня и хотел выслушать мое мнение, я был бы счастлив сказать его с полной откровенностью. Сам же я больше не могу и не возьму на себя инициативы встречи и совета.

Значительно позже, когда Вильсон был в Париже, я несколько раз встречал Брандейза. Он тогда уже определенно разошелся с президентом. К политическим разногласиям присоединились разногласия по вопросам юстиции. Департамент юстиции неистовствовал, законы военного времени не только не отменялись, но даже применялись с большей силой, несмотря на окончание войны. Брандейз горько чувствовал невыносимо тяжелое положение судьи в столь пристрастное время.

IV.

Мне не повезло. Оба источника «личного» влияния, на которые я возлагал столько надежд, сорвались. Мне оставалось пойти долгим и неверным бюрократическим путем. Но я не сдавался и на следующий день отправился в огромное неуклюжее здание государственного департамента, помещающееся рядом с Белым Домом. Передав свою карточку, я просил проводить меня к секретарю Лансингу, так называются в Америке министры. По какому делу? По русскому. Тогда мне надо отправиться вниз в русский департамент. Пришлось подчиниться. Бюрократическую лестницу надо проходить, начиная с самой нижней ступеньки. Им оказался политический секретарь директора русского департамента. К счастью, он, взглянув на меморандум, адресованный министру, скоро сообразил, что мне с ним неинтересно будет разговаривать, и отнес меморандум к своему шефу, которого, если память мне не изменяет, звали м-р Милес. Через несколько минут меня пригласили к нему.

Маленький незаметный чиновник, он всю жизнь переписывал бы бумаги, но, как заведующий русским отделом, он вдруг почувствовал необыкновенно широкое и, главное, бесконтрольное поле для экспериментирования. Он пробежал мой меморандум: вполне оригинальный план... он его очень одобряет, но он уверен, что я соглашусь, что они сейчас организуют еще лучший и вернее достигающий цели, к которой мы оба стремимся... Их план тоже основан на хлебной политике... Да, хлеб играет нынче бо́льшую роль, чем пушки...Так вот, они решили создать, в областях, оккупированных чехо-словаками, по возможности близко соприкасающихся с Сов. Россией, идеальные условия существования... Америка пошлет туда товары, машины, туда подвезут хлеб и там будут организованы колонии довольных и сытых. Об этом скоро узнает нищее разоренное население Сов. России, и всюду будут встречать чехо-словаков не только как избавителей от советской тирании, но и как надежду на обилие и благополучие. Так произойдет сокрушение Сов. власти.

Было тошно слушать эту глупую и циничную болтовню. Вот они, проводники Вильсоновского идеализма!

Я ему заявил, что не вижу никакого сходства ни в намерениях, ни в методах наших планов. То, что он собирается делать, это—взять население измором, фантастическим миражем благополучия и сытости после сдачи; я же считаю необходимым прекратить голодную блокаду России немедленно. Я встал и попросил доложить обо мне Лансингу. Он как-то смутился, тоже встал и попросил подождать, пока он сходит к министру. Через несколько минут он вернулся и сообщил, что Лансинга сейчас нет, но что его личный секретарь м-р Роберт Крайн будет очень рад видеть меня у себя. Это известие меня обрадовало, так как со мной было рекомендательное письмо из Лондона к его отцу, Чарльсу Крайну, известному общественному деятелю, интересовавшемуся Россией. Ознакомившись бегло с моей запиской, Крайн сказал мне:

— Ваша идея мне очень нравится; надеюсь, что ее одобрит и м-р Лансинг, но его сейчас нет в Вашингтоне. Он вернется только через несколько

дней, но я считаю, что вам необходимо раньше всего заручиться одобрением и содействием проф. Массарика. Массарик—теперь главный и наиболее авторитетный советник по русскому вопросу. Если он одобрит ваш план, то половина дела сделана.

Я не хотел обращаться к Массарику и об'яснил Крайну, что это очень неудобно, так как мой план является косвенным порицанием всей затеи чехословаков и, следовательно, самого Массарика. Было бы странно и даже бестактно обращаться к нему за помощью против него же, но Крайн убеждал меня, что это безусловно необходимо.

Кроме того, все мои страхи напрасны,—Массарик любит Россию и русский народ, и такой план оказания помощи России, несомненно, его сильно заинтересует. Он хорошо знает Массарика и уверен, что мое свидание с ним будет очень полезным. Он тут же написал несколько рекомендательных слов на своей карточке, упомянул, что я корреспондент «Новой Жизни», газеты Максима Горького, и что я привез из Англии хорошие рекомендации к его отцу. Дав мне эту карточку, Крайн еще раз сказал, чтобы я оставил свои сомнения и немедленно отправился к Массарику:

— Вы делаете хорошее и нужное дело,—так не портите его капризами.

Скрепя сердце, я отправился к Массарику, который жил в большой гостинице, недалеко от государственного департамента, но, признаюсь, облегченно вздохнул, когда узнал, что Массарика нет дома. Я оставил карточки, рекомендательную Крайна и мою, и копию меморандума к Лансингу и сказал, что зайду утром на следующий день. Весь остаток дня и вечера я волновался. Сознавал необходимость этого визита, но боялся, как бы не вышла какая-нибудь неприятность.

В 11 час. я опять постучался в дверь Массарика. Он вышел и очень приветливо пригласил меня зайти в его комнату. Оказалось, что он видел накануне Крайна и знал о моих сомнениях; поэтому он сразу мне заявил, что он одобряет вполне мое предположение,—«не столько вследствие его гуманитарной цели, сколько ввиду политических возможностей, которые оно открывает». Он не верит, что удастся привезти сколько-нибудь значительное количество хлеба, но ему эта мысль нравится, потому что она разбивает интервенцию, разрывает блокаду и, главное, открывает возможность новых переговоров с Москвой. Он тут же заявил, что если президент одобрит план, то он готов ехать немедленно в Россию—вести переговоры с Лениным о мире.

Когда я решил написать свои воспоминания об этой моей поездке в Америку, я заранее знал, что некоторые моменты я не сумею передать. Мое состояние, когда Массарик выразил готовность немедленно ехать со мною в Россию для переговоров с Лениным о прекращении интервенции и гражданской войны,—один из тех моментов, которых я не могу и не берусь описывать.

В течение нескольких дней я ежедневно бывал у Массарика, и мы обсуждали шансы мира с Россией. Делать практически пока ничего нельзя было, так как президент не совсем был здоров и не принимал никого, а Лансинга все еще не было в Вашингтоне. Во время моих посещений Массарик подробно рассказывал мне о том, как началось чехо-словацкое движение и как оно пре-

вратилось в восстание против Советской власти. Явно чувствовалось, что он относится к создавшемуся положению, как к несчастью, и он не скрывал, что был бы счастлив, если бы можно было с честью ликвидировать восстание.

Я пока занимался агитацией среди государственных деятелей, членов Вильсоновского кабинета и сенаторов, т.-е. обходил их всех и излагал им свой план, просил поддержки. Я виделся и говорил с большим числом политиков, но, за исключением сенатора Джонсона из Калифорнии и министра внутр. дел в Вильсоновском кабинете Лейна, не припомню, чтобы кто-либо произвел на меня впечатление действительно большого характера или выдающегося человека в каком-нибудь другом отношении. Впрочем, я должен оговориться, что, в силу обстоятельств, я встречал, главным образом, деятелей демократической партии, бывшей тогда у власти, и почти не сталкивался с лидерами великой старой партии («Г.О.П.»), как со времени Линкольна величают партию республиканцев. Я об этом очень жалею теперь.

V.

В течение двух недель мне удалось ознакомить и заинтересовать моим планом весь официальный Вашингтон. Успех, казалось, был обеспечен, но бюрократический путь был убийственно медленный. Каждый день заходя в здание государственного департамента и узнавая у Крайна, что Лансинга еще нет, я бродил по бесконечным коридорам этого неуклюжего здания, угрюмый и разочарованный, чувствуя, как мой энтузиазм притупляется и растет во мне ненависть к «машине» (как в Америке метко называют всякую политическую и бюрократическую организацию).

Только в эти дни я вспомнил, что в восторге неожиданного политического успеха я забыл, что я журналист и что в моем распоряжении есть, следовательно, и иной путь, кроме бюрократического. Если путь прессы,—рассуждал я,—бессилен что-либо создать, то он вполне достаточен, чтобы встряхнуть бюрократию и заставить ее действовать. Я не считал, что план американской помощи в России достаточно созрел для печати, но то, что говорил мне Массарик о необходимости скорейшей ликвидации чехо-словацкого восстания, должно, я полагал, произвести большое впечатление и послужить предупреждением, что интервенция дала лишь одни отрицательные результаты и что пора поэтому пересмотреть заново вопросы об отношении к революционной России. Поэтому я попросил Массарика дать мне интервью для «Манчестер Гардиен», корреспондентом которой я состоял, но куда за 4 недели моего пребывания в Америке не послал ни одной корреспонденции и ни одной телеграммы. Такое интервью, мне казалось, должно произвести впечатление в Англии и отразиться на бюрократическом творчестве в Америке. Массарик вполне соглашался с этими доводами и обещал мне интервью в ближайшие дни, как только он подберет необходимый материал и документы. Через несколько дней интервью было написано. Я принес его Массарику на просмотр. Он одобрил его, попросив исправить только отдельные выражения, касающиеся истории восстания. Интервью заканчивалось решительным заявлением

Массарика, что интервенция не дала ожидавшихся от нее результатов, и выражением надежды, что чехо-словацкое движение вскоре будет ликвидировано. Я переписал интервью с необходимыми сокращениями для посылки по кабелю и, так как это была пятница, то решил послать ее только на следующий день с таким расчетом, чтобы она прибыла во-время для понедельничного номера, полагая, что столь важное интервью, намечающее новый поворот в русской политике, редакция «Манчестер Гардиен» пожелает сопроводить передовой статьей. В субботу с утра я отправился прямо из дома на телеграф и подал мое интервью в 900 слов для отправки по кабелю. Уходя с телеграфа, я чувствовал себя, как человек, который сделал большое и полезное дело. Был чудесный осенний день, и я пошел за город и долго бродил по берегу реки Потомак, занимающей в истории Америки такое же место, как Рубикон в истории Рима: приказом Линкольна перейти Потомак и атаковать форт Зумнер началась американская гражданская война. Кружным путем я вернулся домой. Когда часов в пять я снова вышел на улицу, меня поразило необычайное оживление. Вскоре я увидел газетчиков, бегавших по улицам с экстренными телеграммами: то было обращение Германии к Вильсону с просьбой о перемирии. Сдача на милость победителей началась. У меня помутилось в голове. Конец войны,—мучительное желание последних двух лет начинает сбываться. Но я не мог радоваться: конец войны, а я послал сегодня такое ненужное, такое лишенное всякого интереса интервью о желательности прекращения интервенции. Что подумают обо мне в редакции? Они, конечно, усумнятся не только в моем инстинкте журналиста, но и просто в здравости моего рассудка. В течение 4-х недель, когда это чрезвычайное событие подготовлялось и его страстно ожидали, я не написал ни слова, а именно сегодня, в день, когда весь мир дождался великого момента, я посылаю телеграмму в 900 слов с историей чехо-словацкого мятежа [1]).

И что теперь будет с моим меморандумом? Еще две-три недели, и я, может быть, достиг бы больших результатов, а теперь все это так не ко двору. Мне стыдно теперь в этом признаться. Но в тот момент я чувствовал себя самым разбитым и сконфуженным человеком в мире.

Полковник Гауз, который несколько дней спустя уехал во Францию со знаменитыми 14 пунктами Вильсона, как с программой перемирия, перед от'ездом передал мне через Нормана Гепгуда, известного американского журналиста, чтобы я теперь оставил свою идею, что в ней больше нет нужды, и что скоро будет заключен мир, в который будет включена и Россия. Гауз ехал в Париж, с уверенностью, что от имени Соединенных Штатов продиктует условия сдачи, как потом Вильсон был уверен, что он продиктует условия мира. Увы, это была иллюзия! С первых же шагов выяснилось, что условия сдачи и мира продиктуют союзные генералы. Подписание перемирия в Спа

[1]) Что в редакции „Манчестер Гардиен" обо мне должны были подумать хуже даже, чем я воображал, я понял только через три недели, когда прибыли английские газеты. Оказалось, что в моем интервью, помещенном, конечно, на последней странице, не осталось ни одного замечания о желательности прекращения интервенции. Цензура на этой или на той стороне тщательно вытравила из интервью всю политику.

выяснило, как неосновательны были уверения Гауза, что в борьбе с интервенцией не было больше нужды. Когда перемирие было подписано, Вильсон отправился в Конгресс и прочел условия перемирия, т.-е. тот текст, на подписание которого он дал свое согласие. Когда же на следующий день получился по телеграфу текст, который, действительно, был подписан, то оказалось, что в Спа, где присутствовали только генералы, условия перемирия были основательно изменены. Этот инцидент страшно рассердил Вильсона, но ему ничего не оставалось, как проглотить пилюлю и опубликовать новые условия. Среди новых пунктов перемирия был и тот, по которому Германии вменяется в обязанность оставить свои войска в России, пока союзники не предложат ей эвакуировать оккупированные области. Этот пункт условий перемирия изобличал всю ложь фраз о восстановлении Восточного фронта и сказку об интервенции, как борьбе за независимость России, «проданной большевиками в Брест-Литовске за сохранение их власти».

Этот пункт перемирия показал, что интервенция только теперь начинается, и поэтому борьба, которая была временно оставлена, должна была начаться с новой силой. В редакции «Нью Републик» было решено выпустить воззвание против продолжения интервенции и использования для этой цели немецких войск. Для подписи под этим воззванием мы решили обратиться, между прочим, и к Массарику, избранному президентом чехо-словацкой республики. С этой целью редактор «Нью Републик», Алирин Иогансон, и я отправились к Массарику. Мы поздравили Массарика с избранием в президенты и обратили его внимание на новую ситуацию в России, созданную условиями перемирия. Необходимо было протестовать, и его имя, такое популярное и авторитетное, могло бы остановить это новое движение. Но Массарик нам об'яснил, что он теперь не может этого сделать. Он—накануне от'езда в Прагу, и теперь он не должен делать никаких политических выступлений, не посоветовавшись со своим правительством. Мы распрощались. Я вышел очень разочарованным. Джонсон, видя мое настроение, сказал:

— Не судите его слишком сурово, у него на руках собственное бэби, о котором он должен заботиться.

Это была святая правда. Все оказались заняты мыслью только о своем собственном бэби.

Берлин.
10 марта 1923 г.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Путевые заметки с Урала.

Лариса Рейснер.

(Лысьева.)

Ветер отчесывает волосы дыма с фасада заводской конторы, которая возвышается над площадью, как лоб, пожелтевший от лихорадки. Перед ним тяжеловесная церковь, напыщенная святая София из грязного кирпича, крытая даровым домодельным железом, ничего не стоившим жертвователю. Кинематограф «Триумф» показывает ей свой экран, обложенный известкой, как белый нездоровый язык.

Под сенью рынка, злобно и мелочно торгующего в тени трех'этажного кооператива (кстати, лучшего на всем северном Урале), мирно пасется стадо коз и хрюкают свиньи. Низкие облака идут домой с утренней смены, не успев смыть угольной пыли с лица. Стоя среди мусора и ухабов, стальной гриб водокачки хмуро отмечает их проход. Брезгливо отступив на несколько верст от этой грязи и суеты, покоится Урал, пологий, синий и седой.

Тревога в конторе, тревога.

Старший бухгалтер с видом спокойной безнадежности (папки его подтянуты, как пустой живот) толкает упирающуюся дверь Иван Дианыча.

— Денег? Славу богу, 50 рублей в кооперативе одолжили. Живем, ничего.

Осаждают Мыльникова: хоть два рубля в счет майской получки...

К широкой кисти листопрокатчика приделана крошечная рука, которая выступает, как взволнованный свидетель.

— Что было, то я проел. Дети голодом сидят. Думаю, развернуться как-нибудь из положения можно же? — Рука делает несколько беспокойных движений над письменным столом. Денег нет. Как-то этот разговор кончается.

Но телефон: жестепрокатный цех бузит.

— Завком? Кильдебаков?

Иван Дианыч держит трубку, повернув боком широкий ломоть загорелой шеи, свою круглую деловитую голову с хитрым мягким носом. Ах, лукав этот Дианыч, и осторожен, и настойчив, хоть губы у него от улыбки гнутся концами вверх—как хорошие стальные коньки для фигурного катанья. Башковитый мужик, говорят рабочие.

Из окна видно—люди бегут к жестепрокатному. Женщины связанными, маленькими шагами—по шпалам, мужчины через рельсы и лужи, не разбирая, с руками, глубоко засунутыми в карманы. Грязное, мокрое, скверное утро. Что же, жестепрокатный, так жестепрокатный.

Рост человеческий измеряется шириной плеч, мощь завода — работой его основных цехов: доменного, мартэна и прокатного.

При Колчаке Лысьва потеряла много людей и похоронила две мартэновские печи. Людей положили в братскую могилу, станки удалось спасти— их нашли под откосами, далеко от завода, и вернули в родные цеха—но печи погибли. Зрелище величайшей печали в самом сердце живого завода—бескрышные стены, грудыломи, обломки погибших машин, среди которых пробивается трава и осмеливаются расти какие-то жалкие полевые цветки. Между развалин лазит Герин,—инженер, в неизменной кепке, с навостренными ушами, серо-коричневый с своем плаще, как умное насекомое, окрашенное под цвет ржавого железного листа, по которому ползает. Все они тут гуляют—от директора до ученика фабзавуча—по этому угрюмому пустырю, одержимые горячкой восстановления. Иван Дианыч (улыбка—полукруг вниз, концы вверх), любовно осмотрев машинное кладбище, предается вслух необузданным мечтам:

— Третью печь пустим еще в этом году. Спрос на нас есть... Потом сломаем весь этот балаган, правый конец восстановим, крышу...

Возле здоровых печей, из которых только что выдоили парное железное молоко, дымится толпа изложниц, с их оттопыренными железными ушами, надерганными рукой под'емного крана. Жар вибрирует над грудами шлака, к которому рабочие успели примостить свой чайничек. Кран бегает далеко, в другом конце этого длинного зала, над которым еще не целиком восстановлена крыша. Скрежеща, он снует высоко под потолком, похожий на исполинский челнок, пробующий заткать его пробоину.

У номера второго идет завалка. Печной приоткрывает дверцу, и рабочие как бы сами бросаются в огонь вслед за лопатой, нагруженной железными отбросами. Они откатываются, ослепленные, с пылающим лбом, с соленым вкусом пота на губах. Старинный, варварский, давно вышедший из употребления способ работы—от которого мы по бедности пока не смеем отказаться. Белокурый крепкий человек отнимает руку от глаз, вскипевших на этом жаре, как яйца, брошенные в самовар. Его рыцарская рукавица, отдыхающая на лопате, дрожит. Это Ермаков, Александр Терентьич, построивший печи двадцать восемь лет тому назад. Только раз за всю жизнь уходил он от них— с Красной, в восемнадцатом году—и уж от Вятки шел обратно отбивать у белых эти четыре пещеры мартэна, которые нянчил в дни их недолгого машинного детства, на которых сжег три четверти своей жизни. Но невредимыми застал только две.

Сутунка занимает целый дом. Это длинная, злая гадина, плоский огненный солитер, который без конца проходит через стан, становясь все длиннее, тоньше и раздраженнее. Она летит через весь цех, приподняв шею, цепляясь за все шероховатости пола своим телом червя, подтягивая хвост к голове

и свиваясь золотыми петлями. Ее тащут щипцами сперва обратно в стан, потом через все здание к стальным волам, вделанным в пол и образующим как бы ручей, которым распаленная сутунка плывет к резцу. Ножницы откусывают от нее кусок за куском, медленно втягивая в рот длинное тело горячей змеи. Один из рабочих скользит—но ставит свое тело на ноги судорожным напряжением мускулов, извернувшись, как кошка, выброшенная из окна. Падение—смерть. Замедление—смерть. Неловкость—смерть. Этот цех приговаривает только к высшей мере наказания. У металла, извивающегося в 800° жару, нет оттенков; у него один цвет—цвет ожога. Но высшее мастерство возвращает людям беззаботность. Они неторопливы, уверены, сдержаны и только никогда не опаздывают. Каждый делает свое—перескакивает через красное железо, чтобы взять его за шиворот и послать двадцатипудовую ленту в машину, как летом бросают в реку большого ленивого пса; схватывает сутунку и подтягивает ее к ножницам, при чем пылающее железо тащится сзади, обнюхивая эти дырявые легонькие лапти, бегущие перед самым его носом. Но все вместе связаны, как волокна провода, по которому бежит трудовой ток. При размеренности всех движений, которая чужому может показаться сонливой, рабочие все время напряженно наблюдают друг за другом, и именно в решающую минуту — не раньше и не позже—чья-нибудь рука непременно разделит тяжесть, отведет огонь, предотвратит удар.

Через год вместо двух станов будет три.

Железопрокатный и жестеотделочный.

Сперва—как он вообще выглядит, этот великолепный и мучительный цех, где люди всего искуснее над грязными шумными машинами с вонючим дыханием и никогда не мытым черным ртом, и с ядовитым потом, выступающим на чугуне и стали. Цех—колесо.

Первый из огромных маховиков стоит возле входа, за двумя станками, из которых один работает, второй, разобранный, пустует. Со своими четырьмя короткими столбами он напоминает допотопную могилу.

Второе колесо в сумраке паров, плывущих от прокатных станов. В грохоте трудового дня он порождает странную иллюзию сырого вечера, ползущего с болот, туманного и густого. В неопределенном мерцании испарений вращается медленное и бесшумное колесо нажима. Может быть, у него тоже есть свой голос, но в шуме этого цеха он тонет, как скрип штурвала на корабле, когда с людоедским лязгом развертывается и падает якорная цепь.

Великолепная артель у этих станов. Крупные, сильные люди, достигшие полного расцвета всех своих сил, почти все выше среднего роста и той мускульной стройности, которую машина воспитывает в своих приближенных. Старший дублировщик отдыхает, поставив на пустой ящик свой железный сапог, которым во время работы прижимает к полу горячую жесть. Белокурый его лоб, наполовину прикрытый черной, без козырька, шапочкой, истекает потом. Едва слышен голос, высыхающий, как капли воды, которыми обрызгивают воспаленные суставы машин.

— За смену пропускаю от восьмисот до тысячи пудов, маломерки до етырех тысяч.

— Сколько?

Ветриков кричит прямо в ухо: «Рубль шестнадцать за смену». От его убахи, покрытой широкими мокрыми пролежнями, исходит запах, как от жеıеза во время химических реакций. У стана катальщик Кураев, один из ревосходнейших рабочих этого цеха. Легкий стук его клещей о металличекий пол заставляет поторопиться замешкавшегося печного. Его белые лапи и онучи (белая крестьянская береза в рабочем лесу) осторожно избегают етящих навстречу тетрадок красной жести. Кураев отрывает от поданной топы первый лист. Это уже совершенство движений: искры едва успеют заолотиться и потухнуть на куске металла, с бешеной скоростью вылетающем з машины и отбрасываемом назад, под валы, этим бойцам с расстегнутой рудью, в валенках и старой красноармейской шапке, сдвинутой на затылок. Iерез мгновение он висит на рычаге, меняя степень нажима, и рвет его, как ıедведь дерево. К концу своих тридцати минут, после которых его заступает Ветриков—Кураев течет, как в бане. Одна рука в кожаной рукавице неколебимо тверда на клещах, но другая, обнаженная, желтея, как залитое юдой лицо—начинает медлить и дрожать. Машина, как наглый курильщик, обдает его голову облаком горького пара, и коммунист, доброволец восемıадцатого года, хрипит среди хрипа, скрежещет среди скрежета, кричит месте с кричащей жестью:

— Нет, лучше на фронте, чем здесь гореть.

Но это только минута, только один из молниеносных оборотов машин, дно из слов, неразличимых в победоносном вопле металла. Пусть только осмеет частица, пушинка какая-нибудь, приклеиться к оголенному листу, Кураев смахнет ее беззаботным движением руки, едва защищенной рваной ерчаткой.

Бешеное умножение продолжается. Каждая раскатанная полоса складывается пополам. Из одной две, из двух — четыре, из четырех — шестнацать. И после каждой прокатки, как после допроса, остывающий металл озвращают в печь на пытку, и после каждого нагрева машина вынуждает у его все новые и новые уступки. Там, где уже абсолютно нечем дышать; реди яда и грохота, между кипами готовой жести, на которые из станов наламваются все новые красные листы; между умалишенной каруселью маховика—и мостовым краном, покачивающимся над этой преисподней, как пьяый гигант, — к стене прибит белый листок: «Помните о Ленине».

Горизонт здания теряется в тумане угольных испарений. Как бы надвиается ночь, озаренная кострами, на которых кипит масло.

Прокатка кровельного: очаги с железными бровями, низко надвинуыми на глаза из темно-красного пламени. Колесо и кран. Толпа рабочих едет 250-пудовую вагонетку, как конюха—горячую лошадь.

Палкин — уполномоченный цехом. Коммунист. Короткий узкий нос, стоенный, как напильник. Круто сломанная кость подбородка, опаленная кожа о свежими следами ожогов. Усы над верхней губой, рыжеватые, как окалина

на металле. На ходу он дожевывает хлеб, переступая с лаптя на лапоть, и неспокойно трогает рукой фартук в дырах.

— Мастер не годится. Мастер груб и незнающ. Вон, вон, вон.

— А кого ты мне дашь?

Хитрый мягкий нос Дианыча в полном соответствии с его круглой шапочкой. Но Палкин понимает все тонкости: слабого на это место поставить нельзя. Между двух грохотов они договариваются. Над рулями нажима, едва их не задевая, проносятся краны, неся охапки готового кровельного. На одном из них в свое время потел, нацеливаясь на жирные болванки, этот самый Иван Дианыч, ныне директор Лысьвенского завода.

Рядом с прокаткой чистая комната паровой машины. Сюда сбежала и спряталась тишина. Здесь отчаянные люди, ведущие огромный завод без гроша в кармане (с деньгами каждый дурак справится), с великолепной наглостью обсуждают вопрос скорой электрификации. Но еще три строки о жести, чтобы кончить беглый очерк этих цехов, составляющих мощь производства и почти одновременно заболевших острой лихорадкой недовольства, вызванного снижением зарплаты.

Итак, жесть. Она еще раз возвращается в тяжкий, мутный огонь обжигательных печей, выходя из него с просветом на середине каждого листа. Обугленные края чернеют, вокруг неопределенного серебристого изображения, которое металл вынес из пламени и не сумел сохранить.

В отделку!

Тов. Шадрин, с умным маленьким личиком стареющего рабочего, сидит на табуретке перед валами, и, как кассир, считающий деньги, бросает в машину одну железную бумажку за другой. Он работает с необычайной быстротой, от времени до времени прерываемый дымным кашлем.

— Сижу здесь с 14-ти лет. Раз, раз, раз, — летят подачки, но сколько ни бросай застановщик, он всегда останется у машины в долгу.

Своими раздутыми маслянистыми губами негра вал с неутомимою жадностью глотает железо.

— Ранен был три раза, вернулся домой в семнадцатом, в гражданскую в мае пошел стрелять, и стрелял до самого двадцать первого.

Кашель. Клубок гари, выброшенный машиной, рассеивается. Шадрин затирает угольный плевок.

— Хотя месяц в развитие получаю, то сразу мне легче. Пора переходить на другую работу. Горшков, делай.

Горшков — комсомолец, бравший Пермь и Омск, многие города уральские бравший, повисает на стволе, регулирующем наводку валов. У него крупное лицо, выпуклые губы, глаза без тени, большие прямые руки. Весь человек, вообще, сосновой прямизны.

— Партия? Всяка работа проделанная доказала, что при наличии большинства в нашей партии нам будет лучше жить. Потом Ленин сделал призыв.

Тов. Шадрин за смену прогоняет через стан тысячу пудов железа. У него двое детей, и он получает за день 93 копейки (считая, конечно, приработки. Но ведь с ней так: чуть возрастет производительность труда, — норма

повышается, закрепляя за собой завоеванный уровень. Сверхурочное становится обязательным, а надбавка забирается куда-то еще ближе к пределу человеческих сил).

Но скорее назад в жестекатный цех. Там работы уже остановлены, и началось общее собрание.

Кто хочет видеть завоевания великой революции, пусть пойдет в завод в дни беспорядка: не в мирные трудовые недели, а именно в часы, отмеченные в трудовом календаре бузой, вольнкой, или как ее еще называют. При первых признаках возбуждения, овладевающего фабрикой, ее хозяева во всем мире посылают за солдатами. Через окно, у которого председатель фабзавкома сейчас наблюдает беготню лысьвенских рабочих, когда-то наблюдали ее старые инженеры, с перекошенным лицом вися на телефоне, проволока которого на другом конце была намотана на казацкую шашку.

Правда, тов. Маслянников (профсоюз) не совсем спокоен. У тов. Кильдебакова (завком) вид человека, разорванного пополам распрей рабочего с рабочим государством. Дианыч пока что усмехается,—рогульки его улыбки кверху. В жестекатном станы уже стали. Стало колесо и не дышит—совершенно мертвая вещь, ни в одном атоме не сохранившая следа своего бесконечного кружения. Начинает директор—о валах, приходящих в негодность.

— Что ни валок, то женский род. Не успеешь оглянуться, а он уже с трещиной.

О том, что новые заказаны и идут в Лысьву. Что мастер при них будет знающий, выписанный из Чехо-Словакии. Что профессор Пыжнов превосходный специалист и враз с'экономил заводу 1500 пудов мартэновских слитков. Все эти рассуждения перелистываются, как предисловие: умное — но никем не читаемое. Рабочие ждут паузы, чтобы начать молотить.

Рваное пальто и шапка в пятнах, сидящие высоко на колесе, дают вопросу ту логически нелепую и вместе с тем единственно правильную формулировку, в которой он и должен обсуждаться.

— Вот у нас жалованье сбавили—а работы между прочим прибавили?

— Мало жалованья? Хотите опять получать миллиарды? Это тоже нелогично.

Никакого прямого отношения к делу не имеет, — но под ложечку.

— Если теперь полетит (он — рубль), мы не удёржимся.

Дуновение задумчивости и ответственности. Как столб вбита отправная точка. Положение, из которого все исходят, которое никем, никак, ни при каких условиях не оспаривается. Краткая социальная аксиома: власть советская должна быть.

Прислонившись спиной к этому крепкому колу, Дианыч наглеет. Задевает больные струны—конкуренцию с югом, притязания далекого северного соперника—Гужона на более низкую себестоимость. Этого не надо было говорить. Спор вспыхивает снова, пока на частностях.

— А лесничим сбавили?

— Сбавили. Долго я пыхтел над ними!

Дианыч думает, что отделается лесничими. Ну нет. Шутки в сторону

— А почему в Англии продукт производства дешевле, а зарплата выше?

Внимание. Колеблется синий чад. Крупные снежинки сажи садятся на лица.

— Эдаких надо маленько счистить.

— У нас в литейном техноруки—руки в брюки. Десяткам ходят.

— Один стан шлепал без спеца,—ничего, не хуже других.

Опять голос—ведущий к колдоговору, сегодня перезаключаемому на самых невыгодных для рабочих условиях.

— Своих-то не надо давить!

— Ставки сбавили, а цены на продукт подымаются.

— Рабочие усердие свое возьмут—а еще не сбавлять. У нас и так руки опали.

Глубокая горечь прорывается наружу, упреки справедливые, на которые трудно отвечать. Дианыч барахтается. Но из рядов ему—беспощадно и высокомерно:

— Ты записываешь на бумажку—а у меня в башке все избито,—а то бы я тебе накрутил.

Сзади, вздорно и запальчиво:

— На один стол по одному спецу.

— Врешь, я сейчас один на три стола сижу. По-твоему, так набавить придется. Нет, милый.

— В потолке-то избито, да измучено.—Он вон как заливает. Почему десятник 70 рублей получает,—а который человек горит—убавили?

— Несогласны на ваш договор, не хотим! Вон!

Черным лесом стоит негодование. Смотри, Дианыч, дальше нельзя—назад. Круглая голая голова все еще посмеивается, но глаза внимательно ловят каждый бросок. Привык мальчишкой бегать среди горячих листов, не обжигая пяток.

Уступка.

— Мастер, можем мы обойтись без десятников?

— Давай цифры!

Их зачитывают.

Маломер: 1020 листов—семнадцать рублей сорок восемь копеек; 1100 листов—двадцать три рубля десять копеек. 752 листа—одиннадцать рублей одна копейка.

— А где артель Суханова?.. Где три рубля, так нам ее не надо!

Наконец, буря разражается.

— Недопустимо! Сбавили полцены!

— Завком, что смотришь?

Тов. Кильдебаков стоит, как после потасовки в своей избитой кепке.

— Мы, как добросовестные граждане, подняли производство. Нельзя оплату трогать. Несправедливо. Кое-как домой дойдешь,—рубаха пополам трескается.

— Крупчатка была 2 р. 40 к., а теперь 3 р. 50 к.

— Зачем нам союз—он с нами должен итти,—а играет с администрацией. Глаза завешали!

У Дианыча даже нос несколько на-бок покривился.

Раздосадованный каталь, сидя высоко на машине, встает, и, потягиваясь по медвежьи, когтит рукавичные угольные лапы на ближайшей балке. Его спина, стянутая кожаным кушаком, выражает избыток силы и усталости. Наверху, на плече молчащей машины три пробужденных раба Микель-Анджело, подперев голову, слушают с лениво курящимися папиросами. Много кричит старик: борода—уголь пополам с седой рудой. Круглое злое лицо, которым он лягается, как копытом. Полосатый кафтан, как-то равномерно загрязненный.

— А когда мы вас перевыбирать будем? Два месяца как в Ленинский набор вошли, а ни до чего еще не допущены. У нас есть кого посадить. Мужики с головами. А этих старых заправил назад к молоту, тогда запросят прибавы, пойдут с нами в одно.

— Нехорошо, видно. Сам жмурится, стыдно глазам-то.

— Стачку!

— Валки новые без рук работать не будут.

— Стачку! Угрожаете закрыть завод—нет, рабочие никогда не позволят.

Сверху, с колеса шапочка без козырька и меховой кочковатый воротник в третий раз подымают общее над частным. В третий раз люди, бросаясь за этим спокойным и негромким голосом, натыкаются на светлую, стеклянную стену ответственности.

— Тяжело будет перенести рабочему классу! — Этими пятью словами колдоговор, пожалуй, уже принят. Приняты многие месяцы удвоенного труда—бурных жениных попреков, тяжелой зимы и возрастающей цифры долгов.— Тяжело будет перенести рабочему классу. Это значит,—помните, ни одного лишнего дня этой тягости, ни одной копейки, отнятой здесь и отданной на ненужное. Берите—но не забывайте, чего стоит каждый день и час неслыханных тарифов. Не позволяйте пухнуть спецу, штатам, всей этой стае мелких цифр, накладных расходов, обременяющих каждый пуд угля и руды, ложащихся непосильной ношей на всякую лысьвенскую ложку и плошку.

Прекрасная речь Маслянникова. Все, что можно сказать в защиту настоящего—во имя будущего. Его слушают—и на него смотрят. На кожаную фуражку, отливающую металлом, на черную рубаху с белой пуговкой у ворота, на высокие сапоги горняка—эту военную форму заводского Урала, какую-то, чорт ее знает, неподкупную, что ли, негнущуюся, строгую. При виде ее всегда вспоминается—или фронт, годы кожаных курток,—или вход в шахту, черную, как нёбо у злых собак. Если судить по ругани и крику—буза еще продолжается.

— Народ обессилеет и не станет работать!

Но до сих пор не было видно всего цеха, безмерно большого, налитого испарениями, туманом, синеватой пустотой. Теперь он вдруг есть. Скорлупа неудовольствия и нервного внимания, отделявшая собрание отт всего осталь-

ного, разжалась, перестала быть. Дымом уходит в дым, в курящееся ничто. Шум проснувшихся забот разнимает последние паутины. В резолюции... принять, но просить через фабзавком... Пожилой рабочий, утомленный стоянием, направляется к своему станку. У него на голове дырявый котелок. Крыша цеха тоже дырявая — еще не смогли починить.

Разряды полетели, прибавочные полетели, спецодежда, масло в цехах, вредных для здоровья,—все сдвинулось и переползло на ступень ниже. Колдоговор! Основные цеха взволновались. Что же говорить о механическом заводе (посудном), где вся работа делается бабьими руками, и притом по самым низким разрядам, от первого до пятого.

Рано, часов 7. В эмалировочном сухо и тепло. Жар равномерно разлит по всему светлому, просторному зданию. Не сразу почувствуешь его страшный гнет, который сперва ложится на плечи, как хорошо сложенный, удобный ранец. Горячий пол очень постепенно разогревает подошвы, пока во всем теле не разольется горячая усталость, готовая к каждому столу прислонить тяжелую глиняную голову. Только бы уснуть!

Между тем труд здесь непрерывен, мелочен и заботлив. Посуда, такая ленивая, такая склонная к стоянию на одном месте—уже на полках для просушки, усаживающаяся, как в буфете, какими-то оседлыми рядами,—требует от рабочих большой подвижности и внимания. Беготня с ней. Стоя лицом к особому умывальнику, прижав живот в отсырелом переднике к его краю, макальщица в течение восьми часов опускает в густую эмаль кастрюльки, горшки, тарелки, миски, ложки, все эти обыденнейшие вещи (у всякого они есть, и никто их не замечает, как прислугу), которые не хотят войти в долгую кухонную жизнь без белой подкладки, без этого ослепительно-чистого передничка, выдаваемого чернорабочей посуде один раз—и на всю жизнь—в день ее скромного рождения. Восемь часов под-ряд макальщица сажает в эмалевую ванную тяжелые и легкие предметы, и притом бережно и осторожно, как грудных детей, чтобы они не глотнули воды. Затем в течение двадцати, пятнадцати секунд трясет влажную посуду, одной рукой опираясь на косяк или придерживая тяжесть щипцами, тряся, размахивая и переворачивая ее в воздухе, пока синее платье и белый фартук, которыми одета новая вещь, не растекутся равномерно по ее пузатому телу и не подсохнут. Все эти маленькие, на вид такие тщедушные, а на самом деле неутомимые женщины ругаются на чем свет стоит. Мало того, что зарплату уменьшили—еще и фартуки отобрали. Хуже, чем отобрали. Макальщицам, работа которых несколько чище, чем у их помощниц, прижимающих мокрые горшки к груди и бедрам,—им спецодежду оставили, как знак отличия, как привилегию за тяжелый и квалифицированный труд, разламывающий плечи, поливающий ноги огнем, который едва затихает к утру, после нескольких часов неутолительного сна. И вот, между мастерицами и помощницами возгорелась гражданская война. Обтиральщицы ходят сердитые, нетерпеливо подняв на плечо доску, уставленную сырой посудой, уперев руки в бок, бранчливо шлепая босыми ногами. На Шурочку—свой фабзавком—только фыркают. С Кильдебаковым разговаривают воинственно, но он им отвечает с той щепоткой насмешки и превосход-

ства, на которую так обижаются женщины и которую втайне любят. Одним словом—как мужчина.

Они ему:

— Должны постараться вы. Мыла нет. Эмаль самая едучая, садится прямо на тело. В баню придешь, как шкурка снимается.

— Поневоле из газеты вычтешься.

— Нигде леготы не видно!

Но едва Масленников или Кильдебаков за дверь — Шурочку на клочки:

— Мыла! спецодежды! Слишком хладнокровное отношение — не знаем, сколько зарабатываем. Пятнадцатиминутный перерыв на обед, так что и ноги не успевают отомлеть.

Делегатка им:

— Вы упрек зачем на меня накалываете? Я тут не при чем.

— А мы, может, сердце отводим.

— Да, на завком не можете горе из'ять, так на меня!..

— Ты мимо меня ходишь, я к тебе по-соседски и подступаюсь.

К жалобам женщин, особенно этого цеха, относятся не очень серьезно. Между тем даже старая макальщина, на месте которой не каждый мужчина выдержит, получает по пятому - шестому разряду.

— Эх, бабы!

У печного волочащийся гладкий шаг, и развинченной грации, с которой он подталкивает к печи и вынимает из нее противень, как бирюльками уставленный шаткой посудой, — дивится весь цех. Обе смены жмутся около него, приходя и уходя с работы — якобы с жалобами. Красавец щурится, свистит и всех выслушивает:

— Эх вы, яги!

Цех штамповальный

холоден, шумен и черен. Сквозные двери его длинного сарая стоят открытыми друг против друга. Между ними сквозняк и рельсовая дорожка, та самая, которая в 1905-м году стоила рабочим бурной забастовки, и устройства которой вынудили у господ Шереметевых неделями ожесточенной и победоносной борьбы. Справа и слева от прохода скользящие ремни льют водопады сил на сотню станков, придающих грубым горшкам их форму. Станок почти бесшумно берет вещь в работу. Встретив сопротивление ее шершавых боков, он сдирает с них грубую кожу и взвизгивает только тогда, когда готовая штука сваливается в корзину.

Вдоль окон сидят женщины. Машины, которыми они пришивают ручки к чайникам, чашкам и горшкам, очень напоминают швейную. Только вместо нитки строчит огонь, вместо иглы — толстый металлический палец, каждое прикосновение которого сваривает металлы.

Тов. Шилова работает у своего аппарата семь лет. Семь лет—много или мало? Лучшие годы жизни, всю молодость, все, что человеческая жизнь может вложить в семь весен, в семь зим — любви — удач — потерь. Семь лет на то, чтобы пришить миллионы ручек к миллионам сковород и ночных горшков.

Искры летят на ее суровый фартук, платок и маленькие руки. Тов. Шилова сидит на чугунном табурете, который трясется, как лафет пушки во время пальбы, и с годами вызывает какую-то сложную женскую болезнь. За смену, за каждую тысячу штук получает 85 копеек.

— Если быстро натужиться—наработаешь. А если с отдыхом—а он нужен, понимаешь, маковка—нужен, то и не наработаешь. Но у нас несравнительно—нельзя замедляться.

Машина неистовствует, каждое прикосновение — ожог и блеск отдаленной зарницы на грязной стене.

— Ох, горит на нас все.

Тов. Мушкина мужественная женщина. В ее лице цех сработал себе тонкого, стройного человека, со станом и грудью восемнадцатилетнего мальчика. Одна из немногих, несмотря ни на какие сокращения, не отказавшихся от выписки газет, за которые платит 2 р. 30 к. Шьет чайники.

— Через великую силу гнешь их больше тысячи. Нет, Марусенька, на крупной посуде никак не можно!

Все эти станки—аристократы машинного царства. Стоя на месте, они не связаны в своих движениях, разнообразных, как движения рук. Возле них штамповальная—груба, настойчива и монотонна, как дикарь, закрепощенный фабрикой. Ничего не видя, ничего не понимая, она с животной страстностью наносит свои удары, придавая железным кускам смысл и форму жизни. Она сидит на корточках, как первобытный гончар, и с шумом сбрасывает со своих колен черную, тяжелую посуду. Кривой, оборванный человечек в лаптях и старой кофте послушно кормит ее железными лепешками.

— Нет, — говорит. — В партию нам рано. Пусть жисть вперед покажет.

И, недоброжелательный, жует трубку, как корешок.

— А вы, товарищ?

Прерываемый громом молота, припадающего к куску железа, отданного в его власть, заугленный человечек произносит великие имена:

— ...но их окружили под Октюбой—сорок тысяч казаков пошло в плен. Освобожденный из Колчаковской тюрьмы, воевал Секирин против Грузии. Коренной вотяк, старая узловатая коряга, выкорчеванная революцией из северных болот, он подводил под республику мятежный Дагестан. Тверскому, говорит, отряду мы сделали пересечку, и крепость Гуниб ходили выручать — и выручили. Двадцать второго года сделалась демобилизация. Теперь жена, трое детей и жалованье в месяц идет по 5-му разряду—17 рублей (с премиальными до 30-ти).

— Ну, брат, останавливай, надо направить!

Штамп в последний раз с неукоснительной силой опускается на кусок подставленного железа и, помедлив, его отпускает. Тарелочка со звоном скатывается в корзину, помеченная его варварским поцелуем.

Не всякая усталость горит гневом и дымит словами. Человек с плечами, раздавленными трудом, может вдруг опустить все ветки, стать тяжелым, залиться печалью, как водой. Ядовитые цеха—без них не обойтись. Как ни механизирован труд—кто-то должен дышать серой, стоять в лужах, в течение двух

часов раз'едающих подошвы, должен присутствовать при купании жести, переходящей из ванны в ванну. Наука говорит: самое большее три года, четыре. Больше человеческие легкие выдержать не могут. Но там, где статистика ставит многоточие и подводит итоги, вовсе не пустой лист бумаги, а живая жизнь людей, даже не подозревающих о каком-то роковом пределе и мирно продолжающих дышать желтым ядом—четыре, пять, сколько придется лет. Этот труд, как и всякий другой, оплачивается по ставкам, повысить которые сейчас невозможно. Отнято масло, являющееся единственным, хоть и не очень сильным противоядием, разряды урезаны. Как ни странно, но в этих цехах, самых тягостных, новый колдоговор прошел как-то менее шумно. Есть предел, за которым притупляется чувствительность. Сквозь облако пара, вызывающего кровотечение из носу и острую боль в сердце, жизнь должна выглядеть совсем не по-нашему. Сера и олово делают все относительным—разоружают волю к борьбе. Головокружение, такое мучительное в начале, превращается в однообразное и привычное опьянение.

Пощады этим цехам! Они первые должны быть открыты воздуху и свету. Им самое солнечное окно, самый сильный поток свежего воздуха в новой. будущей фабрике. А пока эти жизни донашиваются, как старое платье. Его уже нечего беречь, в праздник никто не оденет—а на каждый день еще хватит.

Ни людям, ни даже металлу воздух круглой залы, прикрытой влажным куполом, не проходит даром. Под'емник двумя руками купает жесть в горячей сере и воде. После ванны проползание через горячее олово, из которого она выходит блестящей, красивой и мертвой, а люди с розовыми пятнами на скулах, с волосами, склеенными потной слюной. Последнее превращение, апофеоз металла, наглого и дешевого, созданного для консервных банок, грошевых игрушек и ложек, дерущих рот в бесплатных больницах.

Проходя через алебастр и опилки, он попадает в быстрые руки тов. Горбуновой, которая на минуту превращает жесть в царственные зеркала. Первое. что она видит,—это белый платок, бесподобные брови и плечи женщины.

Но ведь жесть мертвая и ничего не понимает.

Если муж был красноармеец; если он убит в гражданскую войну; если после него осталось двое детей; если в день зарабатываешь 60 копеек; если фартук на животе промок, и сгорел на сере; если стоишь чистильщицей в ожигательном цеху — т.-е. вылавливаешь из бака с кислотой всякую посуду, чистишь ее песком, опять окунаешь в воду, опять чистишь, так что из-под ногтей кровь идет, несмотря на резиновые соски; если весь день дышишь густой. зловредной вонью—и стараешься при этом так себе, не очень (кто же станет особенно стараться на этой однообразной мокрой, глупой бабьей работе?); если в цех ходит комиссия, справедливо доказывая, что при всем напряжении своих сил чистильщица Сорокина могла бы, за свои шестьдесят копеек, пропустить еще несколько сот горшков; если при этом сама Сорокина вошла в ленинский набор и отлично понимает, что отдать надо—но все-таки бережет и жалеет какую-то крупицу своих сил—из чувства самосохранения, спрятанную в ее мускулах и костях, на черный день, на случай крайней нужды и болезни, — понятно, что лицо у Сорокиной отнюдь не веселое, а от вечных ко-

миссий в душе стукают друг о друга бешеные крышки кастрюлек. Кто с ней ведет переговоры?

Переговоры ведет Балкова, уполномоченная цехом. А кто такая тов. Балкова? Это человек небольшого роста, который питается одним хлебом, обмакнутым в помоеобразном кофе без ничего, цветет как лето, носит на бок свой черный платок, отчего имеет вид разумной зайчихи, с одним, несколько приподнятым, ухом, а также пользуется доверием всего цеха. Это настоящая новая работница—с мужем и прежней семьей, оставшимися где-то на перекрестке исторических дорог, которыми прошли—голод—тиф — Колчак и революция. Один из тех самостоятельных людей, которые без посторонней помощи нашли дорогу к партии и книгам, спокойно бедствуют, работают, делают жизнь своего цеха более выносимой и, не замечая, весело тащат на плечах большой и нужный кусок заводской жизни.

Кытлым.

(Платина).

I.

Кытлым по-вотякски значит котел. Он и есть котел, большая горная чаша, поставленная в вечные снега. Облака перелезают через его зубчатые стены, оставляя на них клочья своих пенистых, пышно взбитых подолов. Кроме туч, издавна ходили горами охотники — на пушнину, на медведя, на птицу. А впрочем—немного. Из-за трудных дорог, из-за лесных пожаров, из-за помещика, ревниво оберегавшего свой кусок тундры. Какой прок в этом Воробьеве? Сидит он на земле, рядом с господином дю-Парком и воюет из-за дороги. Если, говорит, ты землевладелец и дворянин — руби себе отдельную. Многие дни таким образом дворянин и кавалер проводил в кусту, поджидая дю-Парковский бубенчик, вороную тройку и кузовок, чтобы всадить в него добрый заряд дроби, а промахнувшись по соседу, то хоть французова борзого кобеля, бежавшего рядом с повозкой, хорошенько ошпарить. Со своей стороны дю-Парк от кытлымской жизни очень уставал. Сидит, сидит в своем дому безвыездно и вдруг, обложившись подушками, нет, нет и пролетит по запретной воробьевской дороге, рыская по ухабам, надвинув на уши меховую вотякскую шапку и защитив седалище особой периной. Однако пробивали сию перину дробинки господина Воробьева. Был он добрый охотник и свою амуницию лил в собственном дому из беловатого металла, в изобилии находившегося на пустырях, а также во мшистом болоте, составлявшем большую часть его бесполезных угодий. Конечно, не сам же дворянин бегал по дебрям, собирая свое серебро, не серебро—но раздавал мальчишкам по копейке, за что и наносили они его в помещичий дом кульками, из которых барыня большую часть на помойку приказывала выбрасывать. Не терпела сей домодельной дроби в супружеских карманах. Будучи не благороден, этот металл отличался чрезмерной тяжестью и самые прочные новые карманы в полдня продырявливал. Так или иначе, но воробьевская дробь была жестка, глаз же и рука метки,

вследствие чего дю-Парку действительно пришлось прорубить дорогу через непроходимое болото. Господин Воробьев все равно радовался, ибо француз денег на постройку пожалел, тонкий настил из бревен вскоре прогнил и обвалился. В первый же год один славный жеребец совершенно сломал себе левую переднюю ногу, провалившись в болото. В том же году приказчик господина Воробьева неожиданно скрылся, приобретя—по пьянству своему и невежеству—у крестьян мешок белой дроби за 50 копеек. Дуракам счастье. Вскоре распространились слухи об его богатстве, приобретенном неизвестно каким образом. Жизнь в тайге еще года два мирно сосала свою медвежью лапу, пока вдруг господин Воробьев не совершил неслыханной сделки. За три рубля серебром приобрел он у охотника секрет. Первое: что металл, коим били искони рябчиков, а также тарантас и борзого кобеля соседа дю-Парка, не что иное, как чистая платина, белое золото, драгоценнейший из драгоценных металлов. И второе: во всех соседних ложка́х на Северном и на Сосновке—где ни плюнь, везде лежат ее богатейшие россыпи. Со всех соседних гор пенистые речки сбегают в кытлымский котел, и каждый из них несет с собой платину, чтобы небрежно ее спрятать и забыть, кое-как прикрыв тонкой настилкой моха, забросив камнями, или просто опустив на дно светлого ручья. Большие деньги дали Воробьеву англичане и французы за его голое каменье. Говорят, до пяти тысяч рублей наличными, квартиру с дровами, освещением и сухим отхожим местом, еще пожизненное обеспечение, в виде должности «для особых поручений» при компании. Затем Кытлым, отгороженный от мира подоблачными горами, лесистый, болотный, трущобный Кытлым потряс мир славой своих платиновых месторождений, легендой о богатствах, разбросанных на десятки верст, об этих речках, играющих миллионами, о болотах, на которых варвары стреляют диких уток пулями из чистого золота. Не чьи-нибудь,—всесильные Уркартовские руки взялись за создание платинового королевства на Урале. Вошел в компанию и русский капитал, но в незначительном количестве. Ему милостиво было разрешено присоединиться к триумфальному шествию акционеров. Пять драг перевалило Кытлымский перевал. Каждая из них стоила более трехсот тысяч золотом. Их везли медвежьими тропами, и железные фургоны на каждом шагу проваливались в трясину под неимоверною тяжестью двигателей, колес, ящиков и котлов.

Машины совершали свое путешествие с роскошью, которой прежде отличались только свадебные поезда мелких ангальт-цербстских принцесс, ехавших к нам на царство откуда-нибудь—из Риги или Ревеля, в золотых каретах, с коленями, обернутыми собольими мехом, которого они в отечестве не видели, и с последними ценами на нюхательный табак, мясо и овощи, записанными в девический дневник. Но шествие машин! Перед каждой повозкой по двести лошадей—а вечером лагерь, разбитый возчиками, напоминал привал странствующего Могола. Еще год спустя тайга горела на сотни верст кругом, запаленная часовыми, которые бросали в темноту горящие ветки, чтобы разогнать свой сгустившийся страх,—и мрак коротких волчьих ночей. В 1904 и 1905 годах компания начала высасывать из земли сказочные дивиденды. Чуть ли не в первый год окупились все машины, все расходы по доставке их в Россию. В то

время, как страна переживала свою первую революцию—в год неслыханного финансового краха и полного развала всего хозяйства страны—раз в неделю бешеная тройка неслась через тайгу, унося из Кытлыма его семидневную добычу—около миллиона рублей. Не этими ли легкими деньгами ссужала затем Европа наше имперское правительство, побиравшееся у ее дверей? Апогея своего хищническое хозяйство достигло в годы, предшествующие войне: 1912, 1913 и 1914-м. Буквально на Кытлымские миллионы и миллиарды подготовлялась мировая война, за которую нам теперь предлагают заплатить е щ е р а з. Добыча достигла фантастической цифры — двадцати - двадцати одного пуда в год. Россия завоевала мировой рынок, доставляя 90% всей добываемой на земном шаре платины. Платиновый ливень становился все гуще, все тяжелей, все обильней. Опытные геологи произвели разведку соседних гор. И хотя результаты этих экскурсий хранились в величайшей тайне, слух о том, что все вокруг Кытлыма—и глина, и леса, и болота, и камень — все чистая платина,—распространился очень скоро. Безумие овладело округом. Открытие Тылая, Косьвы, Сосновки, Ободранного Ложка быстро следуют друг за другом. Вокруг равномерно работающих драг садится армия старателей, варварски ковыряющих землю. Половина из них разоряется вдребезги, попадает в лапы скупщиков и полиции, пьет, режет, находит и,—не имея средств, чтобы вести более тщательные работы,—ревниво прячет свои находки, заваливая мохом и листвой одинокие шурфа, похожие на могилы. Однако не все, дышавшие воздухом платиновой лихорадки, становились ее жертвами. Россия в те годы уже была заражена ядом, более сильным. Как ни пенился Кытлымский котел,— в самом его сердце сидели люди, делавшие искательскую работу, как всякую другую, лишь бы купить на выручку кусок хлеба и несколько книг: на первых драгах, пущенных в ход компанией, работали, строили и учились будущие кытлымские партизаны, его комиссары и хозяйственники.

И, наконец, геолог Дитковский — большевик, которого компания спокойно посвящала в свои планы и открытия, не подозревая, конечно, что этот чудак, обуреваемый идеями социального равенства—а, впрочем, знающий специалист,—через каких-нибудь три года нанесет жестокий удар царственной концессии.

До сих пор иностранцы забыть не могут 1917 года. Такие прибыли! такие перспективы! Благожелательное правительство, присущая колониальной России дешевизна рабочих рук, тайга и 500 рабочих, оторванных от мира, находящихся в полной власти предпринимателя. И вдруг—всему этому конец.

Зачем Колчаку было итти в Кытлым? Мостить болота трупами, дышать гарью лесных пожаров, чувствовать со всех сторон уколы партизанщины, проваливаться в трясину со своими пушками и обозами? Но по полевому телеграфу, по стальной бечевке, висевшей от сосны к сосне,—из Парижа и Лондона шли длинные и повелительные приказы. Чорт возьми, адмирал, для чего же мы вас нанимали?

Телеграф икал от иностранных слов, от этого взбешенного urgent, urgent, urgent, с которым Европа стремилась к серебристой платине, мирно дремавшей в земле, под оборванным пологом из моха, хвои и снега. Пришпоривае-

мые из-за границы, белые в декабре 1918 года действительно приблизились к Кытлыму. Рабочим, осмелившимся на целый год лишить кучку иностранных проходимцев их сказочных барышей, был преподан жестокий урок. Расстреляли: Орехова, Сергеева, Иканина, Шумаева, Наймушина. Потом еще: Грибенкина, Ярославцева, Исмогиловых—отца и сына, молотобойца молодого Касаткина, Зенкова, пекаря Коробкова, Хомутого, Белоглазого, Дылдина, Новоселова, Старцева Александра, Крюкова слесаря, старателя Полозникова, Покрышкина, Рогачева, Мансурова, Сергеева Ванюшку и Колодкина. Видя такие расправы, народ приисковый озлобился и поднялся уходить. Тронулись целые горные села с детьми и скотом. Вся Сосновка встала, несмотря на зиму и лютый снег. Однако везти огромные обозы было нечем, содействия им дали всего пять лошадей—кытлымцы сами запрягали. Семьи вернулись, мужики пошли. Тогда-то Дитковский и организовал свой отряд особого назначения. Правда, ребята у него были—рыло к рылу. На все войско десять винтовок, остальные—без оружия, с одним лбом. Спустились в долину, но оказалось поздно—пересекли их соликамским трактом. Выход из котла закрылся. Пришлось зимой, прямым сообщением, итти по двухаршинному снегу. В связи с плохой дорогой отряд наполовину рассыпался. На косьве, после встречи с первой Дутовской разведкой, бросили обоз. Отряд разделился, конница и пехота по одной линии, а семнадцать человек с Дитковским—по другой. Рассказывает об этом т. Ермаков, рослый человек с круглой крепкой головой, обсыпанной белокурой стружкой: «Время вышло, где нам опять встретиться? Сажен за сто, однако, слышим — свищут пули. Продолжаем итти дальше, не замедляясь. Спутников никаких не попадается, и нас никто не достает. Снег. Лес. С'ели лошадь. Снег оглубел. Поставили мы на месте коней, которые дальше итти не могут. Остались при них старички. Сказал Диктовский Саканцеву:—Ты будешь начальник над этими лошадьми. Мы выберемся и за тобой прибудем. Этой лошадки мы несколько обрубили. Лыжи начесали, сырые, но употребить можно. Пошло нас дальше тринадцать человек. Сам не знаю как, но идем. На шестые сутки слышу выстрелы. Все были в таком состоянии, что не понимают. А. Диктовский:—Как хотишь, пулеметы трещат!—Ну, ладно. На это направление держимся. Еще сутки целые идем. Утром опять: слышим отлично. Идем, идем и на дорогу Молчановскую пересекаем. Тут уже лыжи к чорту, а Диктовский опять нам направление:—Кто знает, дескать, кто здесь!—Вдруг стрельба на нас. Ребята от жалости плачут, а берут свои лыжи тяжелые. Однако, слышим скрип. Идет обоз. Куда? В Косьву. Кому? Армии. Какой? Красной. Тогда он дал две буханки хлеба на тринадцать человек, но больше воспрепятствовал. Сажень не доходя, где их начальник был, Силин, разводящий сообщает:—Так и так. Идет какой-то отряд.—Встретили нас как следует. Пулеметы рассыпали, цепь. Видим, баба печку затопила—шаньки пекти. Пока Дитковский документ доказывал, пали на снег, огонька сделать не смеем, наклонились, на дыму греемся, черные все и страшные. Выходит начдив и кричит:—Тех-то давай.—Подняли беспамятных. Врач им бульону вливал. Живое мясо, а не солдаты!»

Через год республика во второй и последний раз заняла Кытлымский прииск.

II.

Процесс добывания платины безобразен, нелеп и возмутителен. Подумайте, тайгой, непроходимыми болотами и перевалами, в трущобы волокут великолепные машины. Водворяют их в горном котле, где десятки верст болотной грязи замешаны миллионами пудов камня. Посредине роют яму с грязной желтой водой, на которую спускается пловучая платформа. На этом плоту двух'этажная землечерпалка, приводимая в движение электричеством, со скрежетом и визгом пережевывает от 90 до 140 кубических сажен камня, грязи, моха, песка и воды, чтобы в конце концов оставить на влажном войлоке шлюзового отделения едва заметную горсточку металла. Драги скребут и глотают день и ночь, пожирают горы земли, обломки камня, деревья и рощи; вся долина превращается в кладбище ради нескольких крупиц, которые человечество почему-то решило считать драгоценными. Если на минуту забыть об этой относительной ценности—создается картина сумасшедшей расточительности. В стране, где производство страдает без электрификации, почти три тысячи киловат брошены в болото, в яму, полную глины и помой, зимою не обитаемую, летом покрытую облаками и тучами комаров, вредную, холодную, обложенную вечными снегами. Целый материк пахотной земли ковыряется домодельными плугами, а пять гигантов, плавая в мутных ямах, как слабоумный в собственных экскрементах, перекапывают трясину, с упрямством маниака, пожирая свои собственные берега и заваливая их за собой ровными грядами обглоданных, переваренных и изверженных наружу камней. При этом драги играют в какую-то странную игру. Окруженные с четырех сторон толщами болот, на сотни и тысячи верст обложенные землей, они на своих унылых лужах изображают мореплавание. Кричат голосами настоящих кораблей, бросают и выбирают якоря, и со своей палубы, которая мечется от берега к берегу, смотрят на сушу высокомерным капитанским мостиком. Серые широкоскулые черпаки непрерывно спускаются к воде, подняв на голову железный, мокрый подол. У самой воды они приседают и, перекувырнувшись, ныряют с небольшим плеском. Неутомимые, упрямые стальные жабы, выплывающие на поверхность с полным ртом, набитым грязью и камнями. Собственно вся драга состоит именно из этих черпаков и огромной металлической кишки, которую они набивают землей. Потоки воды с яростью хлещут навстречу каждому новому ковшу. Они обливают цилиндр, который медленно подставляет под душ свои дырявые бока. Песок, как сквозь сито, просеивается сквозь них на особые латки и под водой оседает на войлочных тюфяках. Пищевод драги, не торопясь, подталкивает камни к выходу, пока резиновый ремень не выносит их к берегу, длинный и узкий, как хвост, из-под которого сыплются с'еденные драгой обломки гранита. Это тот же старинный золотоискательский станок, но только в гигантских размерах. Горы земли переваливаются в брюхе драги, целая река выполаскивает из них несколько фунтов платины. Отделение, в котором производится окончательная промывка, называется шлюзовым и от остальных работ ограждено решетками. Дверь на замке и под печатью. В конце каждой смены ее снимают. Контролер-коммунист садится на перекла-

дину, над самым промывочным столом, свесив вниз непромокаемые ноги и руку положа на револьвер. Второй у двери. Почти безлюдная драга наполняется рабочими. Артель, зашитая в брезент и кожу, как водолазы, входит в эту львиную клетку, в которую заперты всего-на-всего невидимые, потерянные в грязи, платиновые зерна. Из мокрой водяной постели подымают засоренные тюфяки и окунают их лицом вниз, в главный бак. Вода бьет фонтанами и плюется пеной, пока крадут и перебирают ее жесткие одеяла, пока выбивают из них семена, оставленные рекой. Краны заперты, поперек жолобов опущены заграждения. Водворилась бы тишина, если бы драга не продолжала работать с шумом землетрясения, если бы черпаки не ползли снизу вверх и сверху вниз, визжа и чавкая, как железные свиньи. Лихорадка искателей бьет все отделение. Артель, сама не замечая, пьяна близостью воды, прикоснувшейся к золоту. Пьяна видом столов, с которых катится вода, унося легкие камни и оставляя тяжелую, непомерно тяжелую грязь. Пьяна вдребезги, скрытно, без вины — угорела артель, как угорел весь Кытлым. Ведь все здесь запойно и неизлечимо трясутся старательской трясучкой. Коммунисты от нее обкладываются книгами, читают Ленина поздно ночью, после долгого рабочего дня, когда электрические аллеи Кытлыма блещут в трущобной уральской ночи; коммунисты глотают Ленина, как хину от лихорадки. Все больны. Крестьянин, пришедший на Кытлым ради высокой зарплаты, чтобы подработать на лошадь, на новую баню и плуг, и—на другой год возвратившийся на прииски, сам не зная почему, притянутый платиновой похотью. И он пьян, и рабочий-коммунист, который был в государственном университете, блестяще учился, но, не имея средств для того, чтобы содержать свою семью, упал назад, в казарму, безнадежно,—и он тронут и навсегда помечен платиной. И странный рабочий — не рабочий: или разжалованный за грехи чекист, или сосланный уголовник, ожесточенно заливающий горло горячим кирпичным чаем, желтым, как моча, и ковыряющий Советскую власть с выдержанной злостью вычищенного, — и он принадлежит Кытлыму. И сотни рабочих, спящих на вонючих и клопиных нарах своих казарм оглушенным сном, поставив промокшие слюнявые сапоги на общую плиту, вытянувшиеся на своих досках, накрыв голову полушубком и выставив голые ноги, промороженные дражной водой,—и они все дышат платиной, из-за платины, ради платины. Кто же свободен от нее? Кроме небольшой кучки рабочих коммунаров, которые спасаются, следя за великими мировыми событиями сквозь мутное и кривое стеклышко еженедельных докладов; кроме этих людей, которые со своих болот, со своих драг, за десять верст бегут на собрание ячейки, чтобы прочесть отчет областной конференции, единственный, для верности приделанный к столу экземпляр, кроме этих немногих людей, которых партия отвоевала у платины,—кто же еще свободен? Может быть, только Гурьян Мальцев, старейший игрок и авантюрист Кытлыма. В шлюзовом отделении только он сохраняет спокойствие. Его нельзя не узнать: оттопыренные ночные уши и на влажном столе светлые, чувствительные руки игрока, осторожно и страстно перебирающие песок. Он один видит невидимую платину в куче грязи. Скребок его играет с необычайной смелостью. Вычесав последние камушки и бросив их течению, он вдруг весь остаток, все, что уцелело от бес-

конечной промывки, равнодушно размазывает по столу, дает слизать и унести воде. Потом щеткой, простой кухонной щеткой, чистит края своего латка и осторожно, как белые кошки, его руки гонят серебряную мышь назад, под гладкий, мягкий, скользящий поток воды. Все еще платины не видно—а он с ней поступает все бережнее, играет с ней в воде, как с любовницей, щекочет ее, как ребенка, гонит и ловит, как дичь. Можно часами смотреть — и вся артель смотрит, как очарованая за этими удивительными пальцами, у которых изощренное осязание, как у десяти белых слепцов, бегающих без поводыря, как у десяти белоснежных гончих, идущих по следу серебряного оленя. Наконец, он держит ее, платину, и треплет ее, и рассыпает, как распущенные волосы. В воде собирается синевато-белая горка с тусклыми искрами. Она спокойно лежит под водой, и никакое течение ее не унесет: тяжелая, как железо,—еще тяжелее. Люди дрожат, когда контролер ее подбирает совком и сушит на огне, и встряхивает, как лабазник муку. Гурьяну же совершенно безразлично. У него бескорыстное лицо игрока без счастья, игрока, переставшего играть. Всю жизнь Мальцев искал платину и много ее находил. Мелочь он не трогал, за большую добычу схватывался с казной и оставлял у нее на зубах половину, а другую терял на следующей неудачной ставке. Мальцев бегал от огня и убегал. А ведь это совсем не легко.

Тайга горит вокруг Кытлыма ежегодно—никто не знает, отчего. Пожар бежит и возвращается. Об'ест сотню верст и без совести вдруг вернется, чтобы обрушить мачтовую сосну, чтобы сломить зеленые пальчики елки, клятвенно поднятые, хотя ноги ее в огне. Пожар—у него свои прихоти, как у зверя. Сегодня не тронет—а завтра задерет. Растянувшись на обгорелой земле, заложив руки под голову, он спокойно докуривает какой-нибудь ствол, искривленный, как трубка, и смотрит за своими детьми, за огненными белками, прыгающими по соседним верхушкам. Пропустит мимо пешехода и всадника на испуганной лошади пропустит—и дым его саженного чубука мирно плывет над спаленной тайгой. Но нельзя верить огню. Он—смерть. От ничего озляется и вдруг высовывает красное чудовищно злое лицо из ствола упавшей березы, из белого ствола, в котором копался целый день, пережидая дождик. Как матрос, бросается вверх по стволу, перебирая красными руками, чтобы поднять на верхушке и размотать по ветру свой длинный дымный флаг. Вокруг побоище. Тысячи деревьев с обгорелым корнем, с ободранным стволом, охнув, падают поперек таежных тропинок. Есть леса, как едва зажившая рана, подернутая тонкой зеленой кожицей. Вместо старых сосен растет молодой лиственный лес. От времени до времени мертвые деревья издают скрипучий стон—им скоро падать. В память пережитого пожара лес разбрасывает маленьких черно-белых бабочек, черно-белых, как особые марки, изданные в годовщину несчастия. У них крылья белее бересты и чернее угля. Такими ожившими лесами огонь овладевает с особенной радостью. Он возвращается, как орда завоевателей в только что взятый, сожженный и покинутый город, чтобы переловить спасшихся, чтобы схватить беглецов, неосторожно вернувшихся на развалины. Он отыскивает свои старые стоянки, свои дозорные костры, поросшие розовым шиповником, места побоищ, где еще не успели

гнить гигантские остовы деревьев. Куропатка не уйдет, заяц не выскочит, юшадь не вынесет.

Гурьян видел пожары и уходил от пожаров. Ходил по платиновому следу—и за ним ходили. Но в 1917 году, в революцию, его охватила великая тоска еремен. Старатель перестал быть старателем и пошел искать, где лучше. Воевал, попал в Сибирь, ничего не нашел, оглох, вернулся. Может быть, старый охотник искал обновления жизни, как случайность, как новой богатой россыпи. Копнул в одном месте человеческую породу, нарвался на грязь, на камень, на воду—и не стал искать дальше. Во всяком случае к старательству урьян не вернулся. Революция оскопила платиновую лихорадку. Старик пришел и стал на советскую драгу. Его лицо игрока с совершенным спокойствием наклоняется над пенистой, влажной, взрытой постелью платины. Он берет ее естрепетными руками, обнажает и моет, как новорожденную.

Около шестисот рабочих живет в Кытлыме, в его казармах, таких грязных, гнилых и тесных, что о них не хочется писать. 600 человек, отрезанных т мира, на иждивении дрянного кооператива, где нет ни крупчатки, ни изюма, о зато дамская пудра и краска для волос. 600 человек в горах, в болоте. на глушительных драгах. 600 человек, всегда мокрых и часто больных, ибо климат Кытлыма жесток и изменчив. Как же они?

Казармы тяжело ропщут, и нечего греха таить — еще мало ропщут, поому что совершенно правы. Нельзя, невозможно держать рабочих в старых, т компании унаследованных, бараках. Это значит с'экономить гроши и проелать такую контр - революционную агитацию, какая не снилась никаким елогвардейцам. В двух шагах от казармы живет платиновый вор, старатель, аведомо накравший несколько фунтов,—живет чисто и светло, в каменном оме, ежедневно выпивает с семейством двух толстых коров, гонит бражку и янет двухрядную гармонь. А рядом коммунист, партизан Дитковского, умиавший с голоду, сидя на платине в 1920, 1921, 1922 г.г., получивший суставный евматизм или туберкулез, на драге мирно гниет в немыслимой казарме и не ожет себе наробить на избу. Леса горят кругом, на сотни верст, на миллионы ублей, не справляясь ни с какими разверстками Главлеса, а рабочий не может обиться бесплатного или очень дешевого теса на постройку. Действительно, елепость какая-то. Сидят люди в тайге, где деревья тысячами мрут от старости, где их рубить некому, некому с земли подбирать (так называемая очистка есов, к которой мы пока только стремимся, как к идеалу, состоит в том, что павшее дерево очищается от ветвей для того, чтобы оно вплотную прилегало земле и таким образом могло с к о р е е с г н и т ь), а рабочий забит в клоиную щель, потому что мы вдруг решили спасать подорванное революцией есное хозяйство. А что будет, если где-нибудь рядом с Кытлымом появится—отя бы Уркартовская концессия, даст рабочим сапоги, в двадцать четыре часа арубит светлого строевого леса, поставит глазастые солнечные дома, привеет прозодежду и консервы. Ведь никого у нас не останется. Люди сбегут или альются ядом зависти. Возненавидят свое производство. Один старый кытымский рабочий, тоже из партизанских сотен, говорил мне об этом с потрявющей серьезностью, как о надвигающейся контр-революционной опасности.

Ведь мелочь: по Уралу бегают так называемые горно-заводские железные дорожки, игрушечные штуки, расхлябанные, медленные, которым ничего не стоит сойти с рельс из-за коровьей плюшки, из-за семечковой скорлупы. Валятся они под откос ежеминутно. Нету ни одного порядочного уральца без шишки или шрама на лбу. Но не в этом суть, а в том, что эти знаменитые дороги ежегодно стоят республике несколько миллионов рублей золотом. Есть такой декрет, кем-то и где-то изданный: на трубы этих локомотивов непременно надевать особые намордники от летящих искр. Никто их не имеет, никогда не одевает и купить не может из-за отсутствия «таковых сумм». Бюрократическое кольцо замыкается с чувством глубокого удовлетворения, и старые керосинки продолжают свою колоссальную кампанию поджогов. А рабочий за бревно платит 18 рублей, получая в месяц, скажем, 11 р. 50 копеек (ученик), он может радостно трудиться, откладывая в месяц минус 7 рублей 50 копеек. У нас всегда работают скачками, с судорожным напряжением в какую-нибудь одну сторону. Добились изумительных результатов на производстве. Не только своими силами наладили старые, но пустили две новые драги. Силовую станцию с 1.400 киловат усилили до 2.900, и при более коротком рабочем дне сохранили максимальную производительность, установленную компанией в 1913—1914 годах. Что еще важнее—из прииска Кытлым стал производством. Платина загнана в кровь, вместо хищнической авантюры,—движущей силой стало ясное, трезвое и интенсивное хозяйство. Добыча потеряла острый шальной привкус. Она ведется в атмосфере спокойного обладания и чистыми руками. Они не крадут—вот и все. 60 человек спокойно бедствуют, сидя на этой ничьей—советской—всем и никому не принадлежащей платине. Ее плоть убита, ее грешный, с ума сводящий запах, ее до крови лакомая белизна все-таки умерщвлены 5 лет тому назад, когда кытлымские рабочие, еще не разбираясь в программах, голосовали по шестому номеру. Уже тогда мучимые тайною мыслью о национализации, они не дали правлению отвести Дитковского.

— Промолвка тогда пошла: быть голосованию о большевиках. Видим, дело идет к шуму, к завязке дело идет. Акционеры ему нажим дали, стали выгонять. Заступился народ, провели его председателем совета. Сделали подписку рук, он нам нужен был — драги взять в свои руки. Вся подпись пошла за него.

Здоров Кытлым с этих пор — за этим смотрит Шляхтин, секретарь ячейки, партизан Соловьев, начальник милиции, бывший матрос каторжанин, человек исключительной стойкости и чистоты — т. Гаврилов, пом. директора, но все, что касается быта рабочих, в полном пренебрежении. Рядом уживается — самая строгая дисциплина, чувство ответственности и фантастическое неряшество, все границы переходящее пренебрежение к тому, что при самых малых затратах люди могут и должны получить новый быт. Не в упрек Кытлыму будь сказано — он нисколько не хуже в этом отношении такой промышленной столицы Урала, как великолепный Надеждинский завод,—но на этой политике партия рискует потерять всякий политический кредит.

Старателей вокруг Кытлыма сидит и работает до 200 человек. Это наш приисковый нэп.

Во-первых, нет денег на новые драги, хотя даже дорога, соединяющая Кытлым с силовой станцией, проложена по сплошной платине. Это целый материк, целая медвежья Америка, погруженная в болото. При свете бессонной уральской ночи ее леса и воды, камни, травы и трясины стоят в немеркнущем белесоватом сиянии, — светятся платиной, серебрятся белесым снежным блеском неизмеримых богатств, погруженных в жидкую землю. Но у нас пока нет денег, чтобы за каждый рубль, брошенный в это болото, взять сотню или тысячу. Нет свободных трехсот тысяч, чтобы дать в долг этой земле под чудовищные ростовщичьи проценты, под поручительство четырех горных рек, четырех гор чистого дунита и всего кытлымского котла, полного платины. На мелкие прииски, расположенные высоко в горах, вообще не стоит тащить драги. Месторождения поверхностны и не окупят, может быть, механизации добычи. Всюду, где мы сейчас не можем или не хотим ставить драги, работы производятся артелями старателей.

Болота распространились на вершины самых высоких кряжей. Болота на Косьве, на Конжаке и на Сосновке. Старые горы страдают размягчением черепа. У них жирное мокрое темя, замешанное камнями. Лошади карабкаются как собаки с камня на камень, низко опустив голову и вынюхивая, за что бы зацепиться копытом. Только в конце июня, когда уже коростель тарахтит и гянет в лесах и рябчики садятся парить яйца, тайга начинает пропускать пешеходов. Тогда тов. Соловьев вскидывает за спину винтовку, берет серебряный свисточек для приманивания дичи и начинает об'езжать старательские гнезда. Идущие с приюска девки, которые про все знают и молчат, встретив его на болотине, узнают и кланяются с веселыми глазами. Старый контролер на Косьве, бывший приказчик Абамелек-Лазаревых — тонкий, ни разу не пойманный вор, с елейным святым лицом, угощает его ухой. Но лошади у старичка нет. — «Мы проедем прямо на прииск, — говорит Соловьев и дает своей сибирке нагайкой, — а вы идите пешком, здесь ведь не больше трех верст». И хотя лошади идут легкой рысью и ровным шагом—старичек поспевает на «американку» минут через пять после нас. На его шафрановом лбу едва проступает несколько капелек лампадного масла, иконописные уста усмехаются, и артельный старшина бархоткой своих цыганских глаз слизывает с них пыльцу молчаливого уговора. Соловьев привязывает лошадь легким узлом, чтобы всегда допрыгнуть, трогает револьвер и идет смотреть стан.

Медленно работает эта артель, и с животным упорством. Ленива на розыски. Платину тащит, как медведь малину: лишь бы найти богатое месторождение, сесть на нем и огребать, не двигаясь с места. Старший велит вести разведку, рыть новые шурфа, мыть пробы, но старатели, все молодые крестьянские парни, едва слушаются, копейки не хотят поставить на неизвестность, истощенное поле будут рыть с бычачьим упорством, только бы не менять старое на новое. В этой охоте за невидимой добычей, где все в инстинкте, в чутье, в отгадке, они, упираясь, плетутся за своим старшиной, ценя его тайные знания и смертельно ненавидя за воровскую подвижность, за беспокойство, за непоседливость. Так коренной мужик ненавидит кочевника.

Сегодняшняя добыча выше среднего и почти вдвое больше указанной во вчерашних ведомостях. Но доводчик лжет со спокойной наглостью: участок-де слаб, с десяти кубов всего столько-то золотников платины. С десяти кубов или с пяти? Соловьев не повышает голоса, но парни, в послеобеденной истоме, разбросавшие ноги вокруг костра и наблюдавшие за весами контролера с деревянной пристальностью, вдруг садятся и переводят на него жадные глаза.

— А кстати, — говорит Соловьев, — у вас будет новый контролер. Коммунист.

По ту сторону жаркой реки кустами пробирается красноармейская шинель с портфелем и револьвером. Из-под вспотевшей фуражки видно загорелое лицо с квадратным подбородком. Артель не шелохнется—вся шайка, живущая по-звериному, без потребностей, без каких бы то ни было интересов, кроме тех, которые умещаются на роговой скорлупе карманных весов, едва переваливается на бок, чтобы оценить, сколько стоит олицетворяемая им опасность.

С чужими артелить трудно. Старые опытные мужики зарываются в землю всей семьей, с сыновьями, с женами сыновей, впряженными в тяжелые старательские тачки. Их рабочий день кончается с наступлением ночи. Двужильный труд упорен, мелочен и терпелив; не прерывается ни говором, ни песней, ни отдыхом. Бабы с замкнутыми алчными лицами рвут землю, как сухие сосцы больной коровы. Мужики с остервенением рубят породу; они ненавидят эту продажную землю, которая отдается всякому и подолгу остается бесплодной.

Совсем старые старатели-одиночки похожи на алхимиков. Высушенные солнцем, ставшие легкими, как оброненное птицей перо от вечных перемен счастья, они сидят на краю шурфов, свесив ноги к воде, со скептической миной и понукают к тяжелой работе неопытных учеников: «Ниже копай, Митюха, ниже, под водой бери!». И Митюха, обливаясь потом, подгоняемый своей молодой жадностью, вынимает куб за кубом, моет сито за ситом и, не найдя ничего, набрасывается на болото с новой яростью. А старичек курит и усмехается суете сует. Даже великое счастье не даст ему ничего: ведь они с жизнью давно перестали играть всерьез. Она нигде не записывает его жалких долгов, но и своих проигрышей не платит.

Но никого бог не обманывает так, как верующего. Чаще всего это не русский, а вотяк. Он бежит за платиной с бесконечной преданностью, терпеливо снося ее пинки и измены. Десятками лет терпит неудачи, уверенный, что когда-нибудь судьба сжалится и сразу исправит все причиненное зло. В конце концов старый старатель с радостью принимает и любовно копит все новые и новые поражения; каждое из них увеличивает головокружительную сумму, которую счастье забрало у него в долг. Каждая потерянная надежда дает право на выигрыш. Каждая обида приближает дни чудес. Так проходят десятки лет униженного, ничем не вознагражденного трудолюбия. Старатель вполне одинок—и все еще отгоняет от себя непрошенных компаньонов. К чему чужие люди? Он не хочет дарить им ни одной доли из того клада несчастий, который когда-то превратится в самородок неслыханной величины. Но болото по-прежнему — болото. Вода день ото дня холодней, и глаза, запухшие на искусанном

комарами лице, тщетно ищут в грязи серебряного урожая. Наконец, в жаркий день, когда топь дымится и преет, и, покрытая зеленью, полощет горло влюбленным птичьим криком, вотяк стоит перед иконописным контролером на толстых, раздутых ревматизмом ногах, просит места в больницу и плачет. Он уверен, что на дне последней ямы, которую он сегодня принужден оставить, теряет свое нареченное счастье. Судьба останется там, в дыре, где плавают свалившиеся в нее лягушки, широко разбросав по воде весла задних лапок, и лопаются ленивые болотные пузыри.

Пичугин, знаменитый сосновский старатель, похож на конокрада. У него цыганские, неизреченной хитрости, глаза и борода цыганская. Когда он облизывает кусок папиросной бумаги, чтобы скрутить папиросу, то похож на большую черную бутылку с приклеенным к губе белым рецептом. На допросе держится с мудрой осторожностью. Как умный зверь, едва обнюхав вопросы, он отступает от капкана, неизменно ступая в свои собственные следы. И, отойдя на безопасное расстояние, смотрит оттуда с ласковым виляньем в глазах и с настороженными волчьими ушами. Едва за тов. Соловьевым закрылась дверь, он оборачивается ко мне с бесшумным смехом старой охотничьей собаки, с улыбкой, у которой добродушие висит вдоль белоснежных клыков двумя слюнявыми обвислыми губами.

— А знаете, сколько у меня на самом деле платины? Двадцать фунтов. Найдет Соловьев—его, а не обнаружит—пусть не пеняет.

Обычно старатель, как только разбогатеет, сейчас же ставит себе каменный дом с зеленой крышей. Пичугин удержался в старой избе, семья его неизменно хлебает пустые щи и с женихом дочери он на всю округу ведет жесточайший торг из-за приданого.

— Как же вы живете в этой грязи, Пичугин? Неужели не хочется на волю?

— Зато сынам и внукам хватит.

Он с любовью подумал о семействе, которое из поколения в поколение будет жить в скупом мужицком достатке, с этой платиной, спрятанной под полом, как придушенный младенец, с куском кислого хлеба, обеспеченным на сто лет, с правом для трех поколений пройти жизнь с медленностью и спокойствием сытого клопа, ползущего по стене.

— А знаете, т. Соловьев, ведь у Пичугина двадцать фунтов. Он сам мне только что признался.

Цыган снял шапку, отыскал Ленина, повешенного в углу вместо икон, повел глазами, полными веселья, чувства безопасности и насмешки, и перекрестившись:

— Что ты, матушка, выдумываешь? Вот те христос, никогда я ничего не сказывал. Разве кто-нибудь может доказать?

Пятый конгресс Коминтерна.

Ф. Кацелюш.

Предлагаемый обзор составлен на основании докладов и прений на конгрессе, а также опубликованных к конгрессу материалов Коминтерна: 1) Уроки германских событий. Германский вопрос в президиуме Исполкома Коминтерна в январе 1924 г. 2) Два года борьбы и работы. Обзор деятельности Исполкома и секций Коминтерна за период с IV по V конгресс. 3) К вопросу о программе Коммунистичеокого Интернационала (материалы). 4) Евгений Варга. Под'ем или упадок капитализма. (Дальнейший материал дают также статьи в журнале «Коммунистический Интернационал»; по истории Коминтерна вышла книга Л. Д. Троцкого и первый том К. Радека.) Мы старались дать лишь сводку фактов и течений, но по техническим причинам не могли, конечно, избежать того, что приходилось выбирать главнейшие пункты, при чем в выборе их, а также отчасти в сопоставлении различных взглядов, быть может, сказалась некоторая неминуемая суб'ективность; но мы думаем, что нам удалось свести ее до крайнего возможного минимума.

1. Уроки германских событий.

Самым важным участком в жизни Коминтерна за период времени между обоими последними конгрессами (ноябрь 1922 г. — июнь 1924 г.) являются события в Германии. На этот счет, полагаем, не может быть разногласий. Поэтому мы подробнее всего остановимся на этом вопросе,—тем более, что подлинные материалы опубликованы лишь в последнее время.

«В течение всей весны и лета 1923 г. экономическое положение в Германии неуклонно обострялось; кризис, имевший исходным пунктом Рурскую область, парализовал все германское хозяйство, германская валюта сведена была почти к нулю, массы стали на путь активного революционного выступления. Дело дошло в мае месяце до всеобщей стачки в Рурской области, сопровождавшейся успешной вооруженной борьбой рабочих против германской полиции и белогвардейцев, при чем аналогичные же движения разыгрывались в Верхней Силезии, Саксонии и других частях государства. Влияние вождей социал-демократии на массы быстро падало за счет столь же быстрого роста престижа коммунистической партии. Все чаще и все серьезнее начинали, даже

в лагере противника, поговаривать о возможности победоносной пролетарской революции» («Два года», стр. 19 — 20). В августе положение обострилось еще больше. «Рурская борьба создала в Германии совершенно такую же обстановку, какая наблюдалась к концу войны — проявления отчаяния, крупные восстания: не говоря уже о больших стачках, мы были в значительной части Германии свидетелями полной смуты, когда в целом ряде местностей и областей власть фактически очутилась в руках рабочих организаций. В крупных бастовавших районах политическая власть оказалась в руках рабочих, при чем отдельные союзные правительства были бессильны справиться с рабочими восстаниями... В Вюртемберге было об'явлено осадное положение, но нам, несмотря на это, удалось (в среду) созвать совещание фабзавкомов, которое и состоялось, несмотря на то, что рейхсвер рыскал в поисках за ними по всему городу; а в воскресенье мы провели наш партийный с'езд, к концу которого на Штуттартском главном вокзале состоялась грандиозная демонстрация собравшейся публики; в понедельник правительству пришлось отменить осадное положение... Ко времени фашистского выступления были, несмотря на запрещение, проведены (наши) демонстрации не только в Штутгарте, но и повсюду в Средней Германии, на севере, западе и востоке государства. В июле и в августе мы имели в Тюрингии и Средней Германии такое положение, когда рабочие взяли целиком снабжение продовольствием в свои руки, реквизировали грузовики и ездили в деревню за получением продовольствия непосредственно от крестьян, так что никто не мог сомневаться в том, что мы стояли непосредственно перед крупными событиями» («Уроки», стр. 36—37, доклад Реммеле). На эту набросанную т. Реммеле картину положения ссылается и т. Зиновьев, считая ее решающей. «Реммеле рассказывал, как массы оставались всю ночь на улице, захватив грузовики, какое было настроение у женщин. Товарищи, для нас это самое важное, важнее томов написанных тезисов. *Нужно иметь это чувство масс... В Лейпциге 25 октября не было*, но в Германии было. Были ли вы рупором этого настроения?» («Уроки», стр. 67).

Реммеле тут же приводит об'яснение, что именно высший пункт движения стал в то же время поворотным пунктом вспять. «Забастовка против *правительства Куно представляла собой, несомненно, высший пункт движения*, а, по моему глубокому убеждению, также и поворотный пункт движения. Когда социал-демократы вступили в большую коалицию, с.-д. рабочие снова поддались иллюзиям... Социал-демократы, которые стихийно были в наших рядах во время всех боев, которые вместе с нами проделали забастовку против правительства Куно, — все эти массы оказались исполненными новых иллюзий. Центральным вопросом продолжает оставаться завоевание этого с.-д. большинства» («Уроки», стр. 37). Тов. Брандлер тоже подчеркивает: «Выход в отставку Куно обрубил крылья движению... Стачка, вопреки постановлению Ц. К., прекратилась за отсутствием внутренней силы... Сила движения оказалась сломленной» (стр. 28).

По «центральному вопросу — завоеванию этого социал-демократического большинства»—мы приведем ниже слова т.т. Рут Фишер и Зиновьева.

А пока последуем в хронологическом порядке — за минорной аргументацией т. Брандлера.

«В какой мере рабочие полагались на наше руководство? Они бесспорно полагались на него во всех текущих злободневных вопросах... Только в Саксонии мы пошли еще дальше... Мы использовали злободневные вопросы. Что из этого вышло? По сравнению с преследуемой нами целью — дрянь, но по сравнению с тем, чего хотел и добивался и считал победой пролетариат, сравнительно много: свобода движения в смысле образования контрольных комиссий, фабзавкомов, пролетарских сотен». «Эта политика породила в пролетариате опасные иллюзии, предстоящий путь он рисовал себе слишком легким... *Сначала буржуазная коалиция, затем с.-д. правительство при поддержке коммунистов, затем правительство промежуточное между коммунистами и социал-демократами и, наконец, правительство из коммунистов, минуя тяжелую кровавую борьбу»* («Уроки», стр. 26—27). Тов. Брандлер в другом месте говорит, однако, совершенно противоположное: «Переживаемый экономический кризис расколол пролетариат[1]). Безработные... отчаянно *борются, покинутые на произвол судьбы работающими.* Среди работающих тоже царит упадочное настроение: им вечно грозит безработица или работа неполным рабочим днем. Если бы понадобилось итти с оружием в руках в решающую битву, некоторая часть работающих ринулась бы в эту битву тотчас же, но вести необходимую мелкую борьбу (демонстрации, стачки и пр.) они отказываются» *(«Уроки», стр. 33). Эти слова* (курсив наш) далеко не деталь, они относятся к сути всей аргументации тов. Брандлера о том, что массы еще не созрели для революции. Наконец, еще одно кардинальное противоречие: с одной стороны, т. Брандлер указывает на то, что после падения Куно стачку не удалось продлить даже на один день, несмотря на постановление Ц. К.,—«ни один человек не посмеет утверждать, что *борьбу можно было продолжать и дальше»; с другой стороны,* тут же говорится: «В Саксонии, в Центральной Германии дело обстояло так— Куно оказался опрокинутым раньше, чем стачка в Берлине успела настоящим образом развернуться, и если бы саксонские товарищи об'явили не экономическую, а политическую стачку, это было бы равносильно началу вооруженного восстания» («Уроки», стр. 33).

На «уроке немецкой революции» *останавливается* т. Троцкий в своей речи: «Через какой этап мы проходим?», произнесенной на V всесоюзном с'езде работников лечебно-санитарного и ветеринарного дела 21 июня и напечатанной в «Известиях» от 13 июля. «В конце 1923 г., — говорит Троцкий,—коммунисты потерпели в Германии величайшее поражение,

---

[1]) *Не совсем понятен следующий своеобразный аргумент т. Брандлера:* „*Но повредили* нам не только сопутствующие нашей политике иллюзии (с.-д. масс, очевидно. *Ф. К.*). К этому присоединилась еще переживаемая страной полная финансовая катастрофа (Курсив наш. *Ф. К.*)... Аграрии не хотели продавать собранных продуктов“ (Другого пояснения подчеркнутым словам Брандлер не приводит. *Ф. К.*).

никак не меньшее, чем наше поражение в 1905 г... У нас в 1905 г. не хватило сил, что обнаружилось в бою, а в Германии коммунисты не довели дела до столкновения сил, не мобилизовали и не использовали сил; таким образом, здесь непосредственная причина поражения в руководстве партии». «Нельзя себе представить (об'ективных) условий более зрелых, более подготовленных для захвата власти. Если точно описать их, то их можно, как классический образец, ввести прямо в учебник пролетарской революции». «Кризис национально-государственного существования, доведенный оккупацией до высшей точки; кризис хозяйства и особенно финансов; кризис парламентаризма; полный упадок уверенности в себе господствующих классов; распад социал-демократии и профсоюзов; поворот мелко-буржуазных элементов в сторону коммунизма; резкий упадок настроения фашистов. Таковы политические предпосылки. Что мы видим в области военной? Очень незначительную постоянную армию: сто — двести тысяч человек, т.-е., по существу дела, армейски организованную полицию. Силы фашистов чудовищно преувеличивались и в значительной мере существовали только на бумаге». «Имели ли коммунисты за собой большинство трудящихся масс? На этот вопрос нельзя отвечать лишь статистически. Вопрос разрешается динамикой революции». «Что такое, собственно, соотношение сил? Понятие это очень сложное и слагается из многочисленных элементов». Троцкий тоже цитирует здесь аргументации Ленина накануне Октября: достаточно, если в восстании примет участие активное меньшинство при благожелательном выжидательном или даже пассивном настроении большинства. «Разговоры о том, будто у массы не было боевого настроения, — замечает т. Троцкий, — имеют очень суб'ективный характер и отражают по существу неуверенность верхов самой партии». Причину поражения партии, «самого жестокого из всех возможных поражений, внезапного отступления с первоклассных позиций без боя» т. Троцкий видит в том, что партия, «обжегшись на мартовских событиях, до последних месяцев 1923 г. отклоняла самую мысль об организации революции, т.-е. подготовке восстания», «она упустила сроки», «срок восстания был установлен тогда, когда по существу противник уже использовал упущенное партией время и укрепился». А между тем «не только самые отсталые рабочие массы, но и широкие круги крестьян, мелкой буржуазии, интеллигенции,—все это надеялось, что вот коммунисты скоро придут к власти и перестроят общество. Такие настроения само по себе являются одним из надежнейших симптомов зрелости революционной обстановки»... «от компартии все ждали, что она выведет страну из тупика».

«В сентябре... — говорит тов. Реммеле, — один из товарищей защищал в Ц. К. (Германской компартии) точку зрения. что, поскольку в Саксонии условия назрели, нужно выступить. Ц. К. отклонил это, как авантюристскую точку зрения, а на другой день прибыло решение Исполкома Коминтерна. Был принят план наступления, при чем концентрационным пунктом должны были стать Среднегерманские области. Вся партия и весь партийный аппарат были тогда мобилизованы и ориентированы на вооруженное восстание» («Уроки», стр. 37—38). Тов. Зиновьев сообщает текст телеграммы Исполкома Комин-

терна от 1/X — 1923: «При условии, что цейгнеровцы готовы, действительно, защищать Саксонию против Баварии и фашистов, нам следует войти в правительство, на деле провести вооружение 50 — 60 тысяч, игнорировать Мюллера. То же и в Тюрингии» («Уроки», стр. 55). Как знает читатель, за те несколько дней, которые просуществовало саксонское министерство социал-демократов и коммунистов, это вооружение не удалось. «Партия имела в Саксонии только 800 винтовок» (доклад германского представителя Исполкома Коминтерна; «Уроки», стр. 5). В этом докладе говорится о «крушении военного плана, принятого Исполкомом» [1]). «Допустим,—говорит тов. Зиновьев,— что наша оценка оказалась ошибочной, что нельзя было вооружить 60.000, даже 60 человек. Оказалось, что мы положение переоценили [2]). Но зачем нам нужно было выступать так, как социал-демократия? Зачем было выступать с болтовней о «конституционной почве, на которой мы стоим», с заявлением, что «мы ответственны только перед ландтагом»? («Уроки», стр. 57). «Запастись оружием в 9 дней нельзя было, но почему вы не сделались страстным рупором народа?» (Там же, стр. 67). На заседании президиума Исполкома Коминтерна т. Рут Фишер напомнила и т. Зиновьев подтвердил, что «когда во время IV конгресса Коминтерна пришло известие о вступлении коммунистов в саксонское правительство... Ленин, Троцкий и все другие единогласно решили, что этого не следует делать, что это будет оппортунизм» (стр. 59) [3]).

Резолюция, принятая V конгрессом Коминтерна, говорит о саксонских событиях: «Октябрьская капитуляция произошла почти без борьбы — из-за предательства с.-д. вождей и несостоятельности руководящих кругов компартии».

«В Саксонии, — заявил т. Зиновьев на V конгрессе, — оппортунистические ошибки достигли своего апогея. Для нас скоро стало совершенно ясно, что разыгралась воистину банальная парламентская комедия коалиции с так называемыми левыми социал-демократами... В оправдание тому, что происходило в Саксонии, нельзя ссылаться на переоценку нами революцион-

---

[1]) В другом месте указывалось также на то, что именно Рур оказался не плюсом для стратегии революции, а минусом, поскольку он был отрезан оккупацией от остальной Германии. А также на то, что борьба с Баварией и фашизмом была лишь предлогом для продвижения в Саксонию рейхсвера на подавление пролетариата.

[2]) „Троцкий написал статью об установлении срока, в которой он поставил вопрос календарно. Это была ошибка. Должен сознаться, что Радек был против, Брандлер—тоже. Мы решили, что срок послужит лишь для ориентировки и должен быть определен в самой Германии. Стало быть, в вопросе о сроке не было ошибки со стороны Исполкома и Р.К.П.“ („Уроки“, речь тов. Зиновьева, стр. 55).

[3]) Тов. Рут Фишер сообщает о прениях среди немецкой делегации на IV конгрессе Коминтерна. „Мы ставили вступление в правительство в зависимость от 10 условий, в том числе вооружения рабочих и созыва конгресса фабзавкомов в Саксонии. Социал-демократы готовы были проглотить все, например, снабжение бедноты углем и распределение хлеба,—только не эти два пункта. Тогда теоретик нашей партии, Тальгеймер, и с ним вся делегация, во главе с Мейером, заявили: „Да ведь нам незачем заострять эти пункты, самое важное для нас—это итти в ногу с социал-демократами в экономической области, а от этих пунктов можно отказаться“ („Уроки“, стр. 46).

ных возможностей. Это весьма дешевый аргумент. Рассчитывать, что революция удастся наверняка, никогда нельзя... Мы и не думали упрекать Брандлера за то, что он не победил... Если повторится революционное положение создавшееся в октябре 1923 г., мы опять будем настаивать, что революция стучится в ворота. Нам не в чем раскаиваться... Все (представители наикрупнейших компартий, собравшиеся тогда в Москве) согласны были, что надо ставить ставку на революцию... Повторяю, что мы будем, разумеется, лучше проверять цифры, точнее подсчитывать наши силы, но опять мы поставим все на карту революции». «Переоценка положения — это еще не самое худшее. Хуже то, что, как это показал пример Саксонии, в рядах нашей партии оказалось много пережитков социал-демократизма». «Саксонский опыт показал нам, как обстоит дело с единым фронтом и рабочим правительством у правого крыла Коминтерна» (Отчет о деятельности Исполкома Коминтерна).

«Мы прозевали на редкость благоприятный исторический момент», — заявляет в своем докладе Президиуму стоящий на позиции Брандлера германский представитель Исполкома Коминтерна («Уроки», стр. 11). Но кончается этот доклад так: «Леви был бы прав, если бы мы не удержали партии в марте. Но мы ее удержали, мы сказали: ближе к массам на практической почве. И теперь снова встает тот же вопрос. Держась чисто-агитационной линии, мы будем иметь прекрасные, маленькие коммунистические партии. Снова встанет вопрос: секта или масса» («Уроки», стр. 20—21). На это отвечает т. Зиновьев: «Этим призраком секты нас не возьмешь. В России мы являемся массовой партией. Спор идет о том, должны ли мы быть хорошей агитационной партией, должна ли агитация быть коммунистической или центристской» («Уроки», стр. 66). «Октябрьское поражение—не поражение, так как оно не было борьбой. Оно — полный разгром партии». Так начинает свой доклад «темпераментная» т. Рут Фишер («Уроки», стр. 44). «Мы все сходимся на том, что потерпели тяжкое поражение. Я полагаю: было бы преувеличением сказать «разгром». Но во всяком случае — это серьезное поражение» («Уроки», речь т. Зиновьева, стр. 53). «Мы уже очень хорошо знаем, что приходится понести двадцать поражений, прежде чем добьешься одной победы. Так уж плохо устроена мировая история» (там же, стр. 70, речь Зиновьева). «Октябрьско-ноябрьский кризис обнаружил факт крупной несостоятельности партии... Она не только не сумела двинуть массы... но и мешала частичным выступлениям их. Вступление коммунистов в саксонское правительство, допущенное Исполкомом в интересах вооружения пролетариата, вылилось в органическую конституционную работу в правительстве... Большинство партии потеряло надежду на успешную борьбу... Возмущение против Ц. К. партии, доказавшего свою полную несостоятельность, было среди членской массы всеобщим» («Два года», стр. 20—21).

В январе 1924 г. состоялось в Москве совещание в составе президиума Исполкома и представителей различных течений германской компартии; в результате было исключение правой группы из Ц. К. германской компартии (отчет об этом совещании—это те «Уроки», которые нами цитируются). А в апреле состоялся во Франкфурте с'езд германской компартии, который

принес полное и окончательное поражение группе Брандлера: на с'езде 92 делегата голосовали за левую, 34 за группу центра, а группа Брандлера не получила ни одного мандата. Те персональные перемены, которые — главным образом в связи с германским вопросом — произошли у нас, читателю известны.

Саксонские события, вернее — реакция против них, наложила свою печать на всю физиономию пятого всемирного конгресса Коминтерна. Эти события характерны и для правых уклонов в компартиях других стран. «В Германии, — сказал в своем докладе конгрессу председатель Коминтерна,— нарыв лопнул. Там дело дошло до конца. Логическое завершение правого уклона мы видели в Саксонии. Но думаю, что если в Чехо-Словакии дело не дошло до такой политической катастрофы, то только потому, что там события не настолько созрели». На конгрессе приводились в качестве красноречивого образчика опасности правого уклона резолюции лейпцигского и пражского партс'ездов. В первой говорится, что «рабочее правительство не представляет собой ни диктатуры пролетариата, ни мирного парламентского перехода к ней», во второй говорится, что оно «не что иное, как мирный переход к диктатуре пролетариата»; обе резолюции говорят, что рабочее правительство действует «в рамках и в первую голову средствами рабочей (в другой резолюции: буржуазной) демократии, опираясь на пролетарские органы и пролетарское массовое движение». В лице тов. Зиновьева конгресс самым решительным образом выступил против такого понимания рабочего правительства, как обходящегося без революции, без гражданской войны, в рамках демократии. «После Лейпцига и Праги, и в особенности после Саксонии, — говорил тов. Зиновьев,—шутки в сторону... Саксонский опыт создал новое положение. Это грозило началом ликвидации революционной тактики Коминтерна». В отчете председателя Коминтерна и в прениях о нем вопрос о рабочем правительстве был одним из самых важных и содержательных. «Уже 11 июня 1922 г. в расширенном пленуме Исполкома Коминтерна я сказал: рабочее правительство является синонимом советской республики. На меня немедленно напали представители немецкой правой... Моя ошибка,— говорит т. Зиновьев, — состояла в том, что я в то время не понял, что речь идет тут не о стилистике, а именно об оппортунистическом толковании верного лозунга». Дело не в споре из-за слов: синоним, псевдоним диктатуры пролетариата. Термин «рабочее правительство» просто переводит с латинского на революционный язык «диктатуру пролетариата». «Рабочее правительство отнюдь не является военной хитростью, предпринятой с целью перехитрить бога и буржуазию и предотвратить гражданскую войну. Интернационал должен быть хорошим стратегом, но в природе не существует стратегии, при помощи которой можно было бы избегнуть гражданской войны и как по гладкому паркету притти к рабочему правительству». «Пусть пролетариат всего мира и с.-д. вожди и все наши противники узнают, в чем состоят наши стратегические маневры. Нам нечего бояться этого, тов. Шмераль». Не каждое рабочее правительство есть действительно пролетарское, социалистическое правительство. Это категорически было отмечено еще на IV кон-

грессе. А в резолюции этого конгресса говорилось, что коммунисты должны из'являть готовность образовать рабочее правительство совместно с некоммунистическими рабочими партиями и организациями только в тех случаях, когда существуют гарантии, что оно поведет борьбу против буржуазии: вооружением пролетариата, обезоружением буржуазии, введением контроля над производством и переложением главного бремени налогов на имущие классы. «Т.т. Радек, Цеткин и Крейбих, — говорит т. Зиновьев, — утверждают, что рабочее правительство означает коалицию всех так называемых рабочих партий... но ведь это рабочие партии только на словах... в таком случае, рабоче-крестьянское правительство означало бы коалицию всех рабочих и крестьянских партий. А между тем почти во всем мире еще нет ни одной действительно революционной крестьянской партии. Достаточно поставить вопрос таким образом, чтобы понять, насколько это ложно и не по-марксистски». В прениях т. Цеткин, не соглашаясь с т. Зиновьевым, заявляет: «В России рабоче-крестьянское правительство может являться синонимом диктатуры пролетариата, но это не так в странах, достигших более высокой степени капиталистического развития. Там это правительство является выражением определенного конкретного исторического положения, — периода, когда буржуазия еще не может удержать власть в своих руках, а пролетариат еще не достаточно сплочен, чтобы взять всю полноту власти в свои руки». На это в своей заключительной речи т. Зиновьев отвечает, что это напоминает аргументацию Пауля Леви о том, что — честь и слава русской революции, но она все же только крестьянская революция в отсталой стране, а на западе мы без с.-д. рабочих ничего не сделаем и необходимо следовать коренным образом другой тактике. «Если тов. Клара хочет сказать, что в Европе неминуемо будут до победы пролетарской революции так называемые рабочие правительства типа Макдональда или Шейдемана, то это верно. Но что̀ это значит? Разве это — то рабочее правительство, которого мы требуем в нашем лозунге?... Мы добиваемся совсем другого, подлинно рабочего правительства. Коалицией всех рабочих партий его не добиться». Впрочем, т. Зиновьев заявляет: «Можно сильно сомневаться в том, что мировая революция придет непременно через дверь рабочего правительства... Рабочее правительство — это путь, по всей вероятности, менее всего возможный. В странах с развитой буржуазией мы завоюем власть не иначе, как в гражданской войне, а если мы устраним буржуазию путем гражданской войны, то едва ли нам придется в течение сколько-нибудь значительного периода времени иметь дело с промежуточной ступенью». «Лозунг рабочего правительства имеет лишь ограниченное значение», тогда как «тактика единого фронта... имеет почти универсальный характер» (из речи на IV конгрессе).

Тов. Радек настаивал в прениях, что нынешнее выступление Зиновьева означает ликвидацию решений III и IV конгрессов о лозунге «ближе к массам», о едином фронте и рабочем правительстве. В своей заключительной речи т. Зиновьев, цитируя свои выступления на IV конгрессе и принятые этим конгрессом решения, наглядно доказывает, что никакой перемены тактики Коминтерна не произошло. «В Германии,—говорит т. Радек,—мы пережили

огромное поражение. Товарищи с этим соглашаются и тоже говорят, что мы отброшены назад и что вера пролетариата в свои силы упала. И вместе с тем они заявляют, что ничего не изменилось и что на завтра они опять будут готовы к борьбе. Это иллюзия». «После 1920 г., после нашего поражения в Польше, неудач в Италии и мартовского восстания в Германии, капитал перешел в наступление, и начался новый этап, который мы зафиксировали на III конгрессе... Нам необходимо было удержать массы, находившиеся в отступлении, и для этой цели мы применяли тактику единого фронта». «Тактика единого фронта должна честно и открыто проводиться [1]); я считаю, что прямо опасно говорить о маневрировании» (Отсылаем читателя к вышеприведенным словам т. Зиновьева с его выводом: «Нам нечего бояться этого, тов. Шмераль». *Ф. К.).* «Если мы заявим, — продолжает т. Радек: — ни в коем случае правительство вместе с с.-д., то этим мы говорим с.-д. рабочим массам: так как вы не коммунисты, то мы не можем бороться вместе с вами» (Шум и протесты в немецкой делегации). «Тов. Зиновьев сказал в своем докладе, что во Франции и Германии мы приближаемся в решающих центрах к завоеванию пролетариата. В этом корень вопроса. Это неправильная оценка положения». В своей заключительной речи т. Зиновьев характеризует взгляд Радека как выражение идеологии пораженчества. Уже в своем докладе Зиновьев, возражая против даваемой Радеком оценки сил германской социал-демократии и компартии, а также соотношения сил во Франции, указывает на рост коммунистических голосов на последних выборах и на еще более яркий рост наших голосов при недавних выборах в германские фабзавкомы. Если Радек указывает на то, что прежде была советская республика в Баварии и Венгрии, то это нисколько не опровергает того, что Коминтерн прогрессировал с тех пор от обществ пропаганды к настоящим боевым партиям; тогда, после войны, стихийное возбуждение масс было велико, партии же были очень малы, были обществами пропаганды.

В резолюции после прений об истекшей деятельности Исполкома и секций Коминтерна, а также о тактике Коминтерна в будущем, пятый конгресс целиком одобрил линию, изложенную в докладе председателя Коминтерна. Между прочим, в резолюции подчеркизается, что «Исполком самым решительным образом отклонил всякие попытки использовать лозунг рабоче-крестьянского правительства не в целях агитации за пролетарскую диктатуру, а в целях создания буржуазно-демократической коалиции».

Остановимся еще на вопросе о завоевании масс. По существу, он тесно связан со всем предыдущим. Брандлеровцы «тешили себя мыслью, что им удастся толкнуть на активное выступление левое крыло социал-демократии» («Два года», стр. 21).

Еще на январском совещании в Москве, о котором упоминалось выше, германский представитель Исполкома Коминтерна в своем докладе о саксон-

[1]) „Если мы скажем, что тактика единого фронта только агитационное средство, то... мы закроем глаза на возможности, которые еще могут вернуться в Германии“ („Уроки“, стр. 19).

ских событиях заявил, что помимо крушения военного плана «и вторая часть плана, т.-е. совместное выступление с.-д. и коммунистических рабочих масс, оказалась тоже несостоятельной... Ц.К. решил избегать всякой борьбы, так как отчаялся в возможности установить единый пролетарский фронт» («Уроки», стр. 5—6). Сопоставим с этим слова представителя левой на этом совещании, тов. Рут Фишер: «Есть два решения проблемы завоевания масс. Завоюем ли мы их тем, что будет драпироваться в с.-д. мантию и притворимся возможно более конституционными? Или тем, что открыто покажем свое настоящее коммунистическое лицо?» «Весть о том, что гамбургские рабочие сражаются с оружием в руках, взбудоражила берлинских рабочих, тогда как на саксонский эпизод они не реагировали вовсе». «Своей тактикой единого фронта мы снова привязали к социал-демократии левых рабочих» («Уроки», стр. 49). Уже тогда, на январском совещании, т. Зиновьев делает из саксонских событий следующий вывод: «Мы должны понять, что нам надлежит вести борьбу не только без, но и против левой социал-демократии» («Уроки», стр. 55). В своем докладе перед конгрессом он развивает эту мысль. «В целом ряде стран,—говорит он,—социал-демократия стала третьей партией буржуазии. В этом-то и заключается новизна международного положения. В этом тактический ключ в руках коммунистов. Вспомним спор в германской партии о пресловутой победе фашизма над ноябрьской республикой; эта теория Радека и Брандлера, будто социал-демократия побеждена фашизмом, оказалась явно ошибочной, неверным ключем, который неизбежно должен был привести к оппортунистическим выводам. Если было бы верно, что с.-д. боролись против фашизма и были им побеждены, то отсюда вытекало бы сближение коммунистов с с.-д., а не усиление борьбы против последних». Нет, «социал-демократия стала крылом фашизма». Далее т. Зиновьев формулирует три вида единого фронта: единый фронт снизу — он уместен всегда или почти всегда, затем единый фронт снизу и одновременно сверху — его надо применять не всегда, но довольно часто, но только как метод агитации и мобилизации масс, а не как метод политической коалиции с социал-демократией, и, наконец, третья форма—единый фронт только сверху—он не допустим никогда. «К сожалению, у нас на практике чаще всего применялся именно этот последний метод». Отметим здесь также следующие слова: «Социал-демократическим рабочим мы должны говорить: мы готовы вступить даже в такое правительство, которое примет самые элементарные наши условия: разоружение буржуазии и вооружение рабочего класса. Это должны понять все борющиеся рабочие, так как иначе им просто-на-просто грозит расстрел. В этом заключается искусство правильного подхода к массам».

В связи с вопросом о завоевании масс приведем очень важную по существу полемику т. Зиновьева с т. Гулой из чехо-славацкой компартии». «В статье Гулы, — говорит т. Зиновьев, — проглядывает общественная оппортунистическая теория, будто о революции можно помышлять только после того, как будет завоевано и организовано в партию статистическое большинство, чуть ли не 99%». «III конгресс, под руководством Ленина, принял

резолюцию, что мы стараемся добиться завоевания рабочего класса посредством организации социально-решающих слоев». «Это один из важнейших лозунгов Ленина». «Всем нам знакома блестящая работа Ленина о результатах выборов в русское Учредительное Собрание. Мы провели эти выборы, уже будучи у власти. Все же наша партия получила 9,5 милл. голосов из 36 милл. против 25 милл. эс-эров и меньшевиков. Тов. Ленин говорит об этом открыто: у нас еще не было численного большинства, но у нас было большинство в решающих местах и в решающий момент, а это самое главное». «Мы должны продолжать борьбу за завоевание большинства в решающих слоях рабочего класса. Но, конечно, это ни в коем случае не значит, что мы позволим оттеснить себя в положение социал-демократии. Это было бы методом Каутского: сначала на 100% организовать рабочий класс, об'единить его в партии и профсоюзы, затем провести голосование и после всего «сделать» революцию по всем правилам искусства. Таким путем мы, конечно, никогда не придем к революционным боям, не станем, действительно, революционной партией». Для читателя приведем также аргументацию т. Гулы; он говорит: «Завоевание большинства среди важнейших слоев пролетариата является в конечном счете противоречием, так как его можно истолковывать так же, как завоевание меньшинства пролетариата, в особенности если неизвестно, какие слои рабочего класса являются более важными, какие просто важными, о завоевании которых нам... не надо заботиться».

Уроки германских событий типичны и не являются изолированным моментом. «В течение этого года, — заявил т. Зиновьев в своем докладе конгрессу, — наша борьба на 90% должна была вестись против «правых» уклонов; думаю, что то же будет и на этом конгрессе... Нельзя недооценивать «правую опасность»... Мы переживаем теперь период упадка между двумя волнами революции, и вполне естественно, что в этом периоде неизбежно должны возникать опасности справа. С.-д. пережитки в нашем собственном лагере все еще сильнее, чем мы предполагали». «За последний год мы имели вспышки движения в Болгарии, Германии и Польше. Не подлежит никакому сомнению, что они не были случайными; это симптомы того, что мы находимся между волнами революции. Вообще, последний год богат событиями: рабочее правительство в Англии, выборы в Германии, Франции, Италии, рабочее правительство в Дании, сильное развитие мелко-буржуазных течений в Америке, полугодовая стачечная борьба в Норвегии, распад двухсполовинного Интернационала, международная конференция транспортных рабочих, стачечная волна в Англии, железнодорожная забостовка в Китае, забастовка 150 тысяч текстильщиков в Индии и т. д.». В Германской компартии «кризис был очень глубок, опасности были велики, существовала опасность раскола партии, но... партия теперь, в общем и целом, идет по маршруту Коминтерна... немецкая партия проявила себя, как партия в основном здоровая, организм хорошо справился с тяжелыми недугами... Общие политические перспективы в Германии в основном остаются прежними. Положение чревато революцией. Новые классовые битвы уже опять в ходу, идет гигантская борьба... Я во всяком случае не вижу никакого особого немецкого вопроса».

II. Политика переходного периода.

(Вопрос о программе Коминтерна.)

Этот вопрос был поставлен еще на повестку дня IV конгресса (в 1922 г.); на нынешнем V конгрессе не предлагается пока принимать окончательную программу. Программные проекты имеют пока лишь ориентировочный характер. Тем не менее, то, что сделано до сих пор, является замечательным, в высшей степени важным этапом в зафиксировании пролетарской политики в переходный период от капитализма к социализму. По своему историческому значению доклад тов. Бухарина является гвоздем конгресса. Он устанавливает важнейшие теоретические вехи для периода диктатуры пролетариата, исходя из русского опыта, но учитывая также положение других стран.

Как отметил сам докладчик, важнейшей частью его доклада является анализ нашей «новой экономической политики». Уже полтора года раньше, на IV конгрессе, т. Бухарин заявляет: «Новая экономическая политика отнюдь не является, как полагают некоторые товарищи, чем-то вроде секретной болезни, которую приходится скрывать. Это не только уступка атакующему нас противнику, но и правильное разрешение общественно-организационной проблемы». Уже тогда, на IV конгрессе, как т. Бухарин, так т. Зиновьев категорически подчеркивали, что стадию нэп'а в той или иной форме придется пережить и другим странам после победы пролетариата. Но теперь заложен также теоретический фундамент под это учение. Это не только результат нашего русского опыта, а вытекает из самой сути революционного марксизма.

В докладе на V конгрессе Бухарин снова говорит об «извиняющейся ориентировке». «После введения новой экономической политики мы, русские коммунисты, а отчасти наши друзья из иностранных партий, почти все без исключения испытывали ощущение, будто мы делаем что-то не совсем правильное, будто мы должны извиняться за нэп»... «Мы не думали, что эта политика сама по себе целесообразна, рациональна; мы считали, что должны были ввести ее из политических соображений... Но теперь мы со спокойной совестью можем сказать, что правильно как раз обратное, именно обратное... Новая экономическая политика не является исправлением военного коммунизма, а, наоборот, единственной целесообразной политикой пролетариата». «У нас военная политика была раньше, а экономическая политика была позже. Но возможно, что в других странах это будет иначе... Решающим является то, чтобы все наши партии прекрасно различали между целесообразностью политической и экономической и чтобы эту целесообразность они умели комбинировать в зависимости от положения в той или другой стране».

Как сообщил в своем содокладе тов. Тальгеймер, в вопросе о взаимоотношении между военным коммунизмом и новой экономической политикой он, Тальгеймер, расходится с тов. Бухариным, и по этому пункту была дискуссия в программной комиссии. «Мы должны помнить, — сказал тов. Тальгеймер, — что нэп в России не был бы возможен без предварительной стадии военного коммунизма. Он не был бы возможен потому, что волю буржуазии,

ее сопротивление надо было основательно сломить, прежде чем буржуазия готова была подчиниться руководству рабочего класса». В отличие от Бухарина, предполагающего возможность того, что военная политика не будет предшествовать экономической, т. Тальгеймер утверждает, что более или менее продолжительный период военного коммунизма будет и в революциях других стран предшествовать нэп'у. Программная комиссия не могла предвидеть в программе все эти возможности и ограничилась изложением основных черт новой экономической политики, как общей формы перехода к социализму, а также основных черт военного коммунизма (последний с точки зрения свержения буржуазии, требований гражданской войны и т. д.). Тогда как — в общем — в одной линии мы имеем политику целесообразности, в другой — мы имеем политику экономической и стратегической необходимости.

Каково теоретическое об'яснение и обоснование целесообразности новой экономической политики? «Такая прозаическая штука, — говорит т. Бухарин, — как рыночная конкуренция, есть не что иное, как совершенно специфическая и новая форма классовой борьбы». «Самое опасное, с чем придется столкнуться победоносному пролетариату, когда он завоюет политическую власть, это — многообразие экономических форм... Если бы не существовало никаких (экономических) противоречий, мы могли бы ввести социализм единым актом... Но здесь далеко не все так просто, как в представлении т. Бориса, который заявляет: пошлите к чорту всякую социализацию, не являющуюся полной социализацией. Мы не в состоянии технически осуществить Борисовскую полную социализацию, у нас нет организационных сил для того, чтобы социализировать все вплоть до мелкого крестьянского хозяйства... политически мы восстановили бы этим против себя мелкое крестьянство (и ремесленников)... мы должны были бы создать такой грандиозный административный аппарат, который обошелся бы нам дороже, чем даже неорганизованное производство... Раньше мы рассуждали приблизительно так, что мы уничтожим враждебные нам формы хозяйства путем административного вмешательства государственной власти. В действительности же, судя по различным эмпирическим фактам и принимая во внимание не только русский опыт, но также экономическую картину других государств, мы можем утверждать, что развитие пойдет иначе, мы преодолеем враждебные нам и отсталые хозяйственные формы через рыночную борьбу... Конкурентная борьба со стороны крупных пролетарских предприятий есть революционная борьба, классовая борьба с буржуазией».

Докладчик оговаривается, что «в первоначальной стадии... в обстановке распада... это превосходство крупных предприятий не так бросается в глаза... часто мелкие предприятия, мелкая торговля и т. д. оказываются более выгодными. Вероятно, мы еще в течение десятилетий будем иметь кризисообразные явления, но общая линия вытеснения форм хозяйства, не имеющих общественного характера, через конкуренцию — единственно правильная».

Как видит читатель, это — п р и н ц и п и а л ь н о совершенно новая ориентировка. «Это совсем другая точка зрения, чем раньше, — говорит т. Бухарин, — но я думаю, мы можем сейчас сказать со спокойной совестью, что

только эта перспектива верна, что только ее можно правильно обосновать, и что именно она является сильнейшим оружием против всякого пессимизма в этой области». «Раньше мы думали, что нам удастся (в области планового хозяйства) вычислить, составить план и проводить его механически в жизнь— и больше ничего... Теперь нам стало ясно, что после установления диктатуры пролетариата плановое хозяйство в общем и целом будет в значительной степени расти органически».

На первый взгляд может показаться, что эта аргументация является поворотом и сближением с теориями Каутского. Но только на первый поверхностный взгляд. В «Материалах», изданных по вопросу о программе Коминтерна, мы находим весьма желательное дополнение к этой аргументации, а именно характеристику органического «врастания социализма», данную т. Бухариным в его докладе на IV конгрессе. «Ревизионистское понимание,— говорит Бухарин, — состояло в том, что капитализм врастает в социализм... Можно действительно утверждать, что одними декретами, одними принудительными мерами мы не сумеем выполнить нашу задачу, но что потребуется продолжительный органический процесс, или, выражаясь по принятому, процесс действительного врастания в социализм. *Но различие между нами и ревизионистами — в установлении срока для начала этого врастания. Ревизионисты, которые не хотят никакой революции, утверждают, что этот процесс врастания совершается уже в лоне капитализма. Мы же утверждаем, что он начинается лишь вместе с диктатурой пролетариата*» («Материалы», стр. 76, курсив наш. *Ф. К.)*. «Наши противники смешивают два совершенно различных вида созревания: созревание капитализма внутри системы феодального господства и созревание социализма в лоне капиталистического общества... Различие между обоими типами созревания новых формаций состоит в том, что капитализм от начала до конца рос внутри феодальной системы, росли не только рабочие, но также командные слои, весь общественный аппарат... Но для социализма нельзя себе представить такого метода созревания даже при самых благоприятных условиях, даже если мы математически точно определим границу зрелости капитализма. Невозможно, чтобы уже в лоне капиталистического общества рабочий класс командовал производством. Это нелепость, это противоречие в понятиях... Капитал имел свои административные, свои правящие слои уже во время феодального господства. Пролетариат же, угнетенный не только экономически, но также политически и культурно, пролетариат, который не имеет своих инженеров, своих технологов и т. д., вынужден учиться всему этому лишь после того, как у него явится возможность к этому, т.-е. тогда, когда он уже осуществит диктатуру пролетариата. Лишь тогда он проламывает двери высшей школы и входит в нее. В культурном отношении пролетариат не развит, он очень невежествен—мы должны сказать это — и отстал по сравнению с буржуазией. Это значит, что в рамках капитализма пролетариат не может созреть для организаторской роли в обществе. Лишь во время своей диктатуры он созревает в качестве органи-

зующей силы, в качестве вождя и подлинного творца нового времени. Иначе и быть не может» («Материалы», стр. 75—76).

Когда говорится: «Пролетариат не в состоянии единым взмахом организовать все» («Материалы», т. Бухарин, стр. 77), то в этом заключается указание как на сосуществование многообразия экономических форм, так и на то, что у пролетариата нет еще достаточной организаторской силы (умения) для преодоления их».

В аргументации т. Бухарина имеется, однако, еще третий момент, конечно, тоже диалектически связанный с двумя предыдущими. Это—вопрос о состоянии производительных сил, о их росте. Если многообразие экономических форм, крупного и мелкого производства, обобществленного и частнохозяйственного, является, так сказать, качественным моментом, то вопрос о производительных силах является моментом количественным, и оба эти момента одинаково важны при решении кардинального вопроса об отсталости в конкурентной борьбе между пролетарскими и чуждыми ему формами хозяйства, борьбе, которая, как мы видели выше, характеризует собой переходный период. «Классическое место в учении Маркса,—говорит т. Бухарин, — гласит, что новое общество заключено уже в оболочке старого. Однако с этой теорией в рядах II Интернационала творят такие безобразия, что нам надлежит быть значительно более конкретными, чем прежде... Все мы сознаем, что пролетарская революция в известный период связана с упадком производительных сил. Таков имманентный закон ее. А наши противники хотят доказать нам, что издержки революции оттого так велики, что капитализм еще не созрел для социализма» («Материалы», стр. 75). В своем докладе на V конгрессе т. Бухарин тоже возвращается к этому вопросу: «Революция подобно войне имеет свои издержки производства, они состоят во временном и частичном уничтожении производительных сил... В различных сочинениях Маркса мы нашли места, показывающие, что это изменение, эта обстановка кризиса составляет базу революционного переворота. Социал-демократическое учение доказывает, наоборот, невозможность революции: до войны производительные силы развиты еще недостаточно для осуществления социализма, во время войны социальная революция невозможна, так как производительные силы частично разрушены, а после войны необходимо ждать их восстановления. А тогда явится новая война. Сказка про белого бычка!

Или другой пример: «В своей книге «Социальная революция» Каутский утверждает, что коль скоро мы способны совершить революцию, то мы не нуждаемся во всеобщей забастовке, а если мы на это не способны, то всеобщая забастовка нам опять-таки не нужна» («Материалы», стр. 69).

В этом отношении мы можем констатировать известную аналогию с той аргументацией Каутского, на которую указывал т. Зиновьев в своей полемике с Гулой: точно так же, как в политической области социал-демократы ждут, пока у них наберется чуть ли не 99% голосов всего пролетариата (а то и других слоев населения), так в экономической области они ожидают, что новый строй безболезненно в одно прекрасное утро вылупится из старого,

выйдет из него во всеоружии, как Минерва из головы Юпитера. «Форвертс» однажды по поводу Стиннеса так и писал, что при новом темпе трестирования промышленности социализм родится из капитализма, словно бабочка вылетает из куколки... А между тем, если Каутские и могли бы, казалось, сослаться на Маркса в том смысле, что социальная революция явится результатом «лопания оболочки», т.-е. развития производительных сил, переросшего рамки старого строя, то это «лопание оболочки» уж никоим образом не может произойти безболезненно, без тех «издержек революции», о которых говорит т. Бухарин.

В этом смысле надо, думаем мы, понимать слова тов. Бухарина на V конгрессе: «Когда говорят, что революция может базироваться лишь на росте производительных сил, то повторяют учение Каутского... Отто Бауэр, Каутский, Гильфердинг и другие говорят, что революционный пролетариат не должен упускать из виду необходимость обеспечить непрерывность производственного процесса». В другом месте того же своего доклада Бухарин сам говорит: «Правильная хозяйственная политика пролетариата должна [1]) служить основой роста производительных сил и способствовать этому росту». Но это не противоречит с предыдущим. В полемике с Борисом т. Бухарин достаточно ясно и категорически подчеркнул, что разрушение производительных сил во время революции, если оно и неизбежно, то во всяком случае лишь временное явление (и частичное, конечно), и ни в коем случае нельзя «продолжать эту формулу математически», как делает Борис. Разрушение производительных сил во время революции именно и должно подготовить почву для колоссального развития их в новом строе. Борьба пролетарского крупного производства с чуждыми экономическими формами в период новой экономической политики будет успешна, как органический процесс, именно на основе более высокой производительности обобществленного производства и отсталости частно-хозяйственного производства, и только на первых порах пролетариату придется прибегать к помощи государственного воздействия, как к коррелативу к этой чисторыночной конкуренции двух различных типов и эпох народного хозяйства.

Кстати, не пора ли сдать в архив термин: «новая экономическая политика» и заменить его словами: «политика переходного периода»? Весь программный доклад т. Бухарина — красноречивое доказательство этому. Между прочим, в докладе т. Зиновьева тоже отмечается, что «новая экономическая политика стала уже порядочно старой». По самому своему существу термин «новая экономическая политика» может вызывать теперь лишь недоразумения и недоумение. Еще на IV конгрессе Ленин, Зиновьев и другие весьма категорически подчеркивали, что нэп не специфически русское явление и будет иметь место и в других странах, а V конгресс окончательно по-

---

[1]) Мы позволили себе здесь несколько перефразировать текст стенограммы. „Правильная хоз. политика пролетариата может быть такая, которая может служить основой роста произв. сил и пр.". Здесь, очевидно, неудачный перевод с немецкого или неудачное выражение на немецком.

хоронил «извиняющуюся ориентировку» и рекомендует нэп как положительную, единственно целесообразную программу переходного периода. В результате дискуссии в программной комиссии решено было, включая в программу, что нэп имеет общее значение для всех стран, тем не менее не зафиксировать название «нэп», а лишь изложить сущность этой политики.

Коснемся здесь еще одного принципиально важного вопроса, поставленного в докладе т. Бухарина, вопроса о так называемой рабочей аристократии. «Одно из наиболее важных различий между II и III Интернационалом, — *говорит т. Бухарин, — состоит в учении об империализме, в учении* о том, что ряд крупных государств эксплоатирует колонии, получает из них сверхприбыль и с помощью ее развращает некоторые слои рабочего класса. На эти подкупленные слои рабочего класса и опирается социал-демократия». «Энгельс говорит даже о буржуазном пролетариате в Англии». «А Маркс пишет: подобно тому, как в пределах одной страны квалифицированная сложная работа находится в известном соотношении с простой, так могут относиться друг к другу и рабочие дни отдельных стран; в этом случае более богатая страна эксплоатирует более бедную, даже если последняя и получает прибыль от обмена». Кроме того, сверхприбыль может быть также результатом непосредственного нажима со стороны государственного аппарата, т.-е. простого империалистического грабежа. «Без этих предпосылок, — продолжает т. Бухарин, — мы не можем вести борьбы с рабочей аристократией, с развращением рабочего класса, с империалистической политикой». Каутский в своем труде, посвященном вопросам программы, открыто и не усматривая в этом ничего дурного заявляет: «пролетариат по составу своему не вполне однороден... часть пролетариата подымается по социальной лестнице, это его аристократия... рядом с этим огромная армия тех пролетариев, которые находятся в столь неблагоприятных условиях, что до сих не в состоянии сорганизоваться и преодолеть гнетущие тенденции капитализма... эта часть пролетариата, благодаря темноте и неопытности (ее) рабочих, в своем горячем стремлении к благополучию и свободе легко становится добычей всякого рода демагогов» (цит. в «Материалах», стр. 69—70). Ясно, что под последними Каутский понимает коммунистов. Итак, сам Каутский признает как основу расхождения между II и III Интернационалом, что первый опирается на рабочую аристократию, а второй — на наиболее революционные слои. «Трагедией рабочего класса, его внутренним расколом, II Интернационал пользуется в целях поддержки буржуазного общества» (стр. 70). «Мы же, — говорит на V конгрессе т. Бухарин, — в учении о сверхприбыли и развращении в счет нее рабочей аристократии имеем оружие, с помощью которого создаем связь между Западной Европой и Азией, между промышленным пролетариатом и отсталыми колониальными народами».

Вопрос о расслоении внутри рабочего класса был вторым пунктом, вызвавшим дискуссию в программной комиссии. Комиссия в результате сочла необходимым категорически подчеркнуть, что все эти расслоения имеют временный, переходный характер и тенденция развития идет по линии устранения этих различий.

Докладчик и содокладчик по программному вопросу (т. Тальгеймер) условились не выдвигать на сей раз перед конгрессом своих разногласий по вопросу об империализме и в частности о теории Розы Люксембург, так как этот спор *целесообразнее вынести на другой форум. Теоретически это спор* кардинальной важности; вот как формулирует его тов. Тальгеймер на IV конгрессе. «Является ли,—спрашивает он,—эпоха империализма с ее катастрофами и кризисами исторической случайностью или необходимостью? С этим связана политическая сторона вопроса: возможно ли от этой эпохи империализма вернуться назад?.. В чисто-теоретическом отношении вопрос приобретает следующую форму: возможно ли неограниченное накопление в пределах капитализма... или же для этого существуют непреложные теоретические преграды?» («Материалы», стр. 87). Как известно, Роза Люксембург отрицает возможность накопления в чисто-капиталистической среде: капитал должен стремиться расширять свое влияние на некапиталистические страны, в результате этой экспансии — войны, революции и неизбежная катастрофа. Исходя из этой теории, т. Тальгеймер утверждает следующее: «...Нарождавшиеся (в свое время) в России марксисты хотели доказать народникам, что в России капиталистическое развитие возможно и необходимо. И что же? Им удалось это доказать, но вместе с тем они доказали и кое-что лишнее, они доказывали, что капитализм неограничен и вечен. Тем самым они дали теоретическое доказательство невозможности социализма» («Материалы», стр. 90). Тальгеймер, говоря это, имел в виду наш легальный марксизм и назвал Туган-Барановского, Струве и Булгакова, но когда из среды слушателей раздался возглас: «Ленин тоже?», т. Тальгеймер ответил: «Да, Ленин тоже» («Материалы», стр. 90). С тех пор в наших журналах велась очень пространная полемика о том, как следует понимать писания Ленина из эпохи 90-х годов о развитии капитализма в России и о теоретических пределах возможности развития капитализма. Вышеприведенные слова Тальгеймера *так или иначе являются, конечно, ляпсусом. Отсылаем читателя* к статьям С. Бессонова: «Старые свидетели нового спора» («Красная Новь», 1923 г., книги 4-ая и 5-ая), Ш. Дволайцкого: «К теории рынка» («Вестник социалистической академии», 1923 г., книга 3-ья) и Н. Бухарина: «Империализм и накопление капитала» («Под знаменем марксизма», 1924 г., кн. 4—5). Тальгеймер указывает на то, что исторически именно этот спор об империализме был началом разногласий в старой германской социал-демократии. На возражение, что его теория фаталистична и предполагает чисто-механический распад капитализма в один определенный момент, Тальгеймер отвечает, что этот момент есть лишь «мысленный предел». Однако напрашивается аналогия между этой ультра-левой доктриной и оппортунизмом Каутского, тоже ожидающим определенного момента, когда социализм, точно спелый плод, должен вывалиться из утробы капитализма... В сущности говоря, именно Каутский, обвиняющий нас в путчизме, является здесь путчистом, только наизнанку.

Тов. Тальгеймер на IV конгрессе защищал, главным образом, необходимость включения в программу Коминтерна так называемых переходных

требований, понимая под ними требования в период до завоевания пролетариатом политической власти. Тов. Бухарин, как мы видели, занимается в своем докладе почти исключительно проблемами пролетарской политики после завоевания политической власти. На IV конгрессе Бухарин энергично противился включению в программу таких требований, как вопрос о рабочем правительстве и тактике единого фронта: «подобные лозунги основаны на чрезвычайно текучем базисе, этот базис заключается в некоторой подавленности рабочего движения... и вот хотят программно утвердить состояние обороны, в котором находится пролетариат, тем самым делая невозможным наступление» («Материалы», стр. 81).

Выступая на V конгрессе как содокладчик по вопросу о программе Коминтерна, т. Тальгеймер заявил, что его доклад не будет находиться в противоречии с докладом т. Бухарина, никаких принципиальных разногласий в программной комиссии не замечалось. В своем содокладе Тальгеймер сообщил о подходе комиссии к вопросу о типизации различных стран с точки зрения революционной стратегии; типизация эта возможна по признаку экономической зрелости страны (может ли она еще развиться дальше в рамках капиталистического хозяйства?), по признаку, является ли страна суб'ектом или об'ектом империалистской политики, и, наконец, по признаку классовой структуры страны. Комиссия категорически подчеркнула при этом необходимость различать зрелость какой-либо страны с точки зрения революционной стратегии от зрелости ее с точки зрения развития социализма (Курсив наш. *Ф. К.)*. Принципиальный интерес представляют решения комиссии относительно аграрной программы: коммунистические партии не могут ни нейтрально, ни враждебно относиться к проектам буржуазно-аграрных реформ, но в отличие от них нашим лозунгом должно быть наделение землей крестьянской бедноты без выкупа у помещиков, при чем, опять-таки, важно следующее отмежевание: Если мы в настоящее время защищаем раздел земли, то делаем это с точки зрения революционной стратегии, но стоим мы на платформе крупного производства и в сельском хозяйстве и нисколько не разделяем воззрений ревизионистов, в частности Давида, что крупное производство не имеет в сельском хозяйстве тех шансов, что в промышленности, наконец, программный проект комиссии подчеркивает, что противоположность между городским рабочим, как покупателем, и крестьянином, как производителем продуктов продовольствия, противоположность, играющая известную роль у социал-демократии, резко перевешивается противоположностью обоих этих классов капиталистам и помещикам. Вопрос о национализации мелкого и среднего землевладения комиссия решила не затрагивать в программе.

III. Вопрос о распаде капитализма.

Тов. Бухарин в своем докладе заявляет: «Мы должны в нашей программе дать более осторожную формулировку процесса распада капитализма. Тот факт, что мы переживаем в общем и целом процесс капиталистического распада, не отрицает и того, что в пределах этого крупного процесса мы имеем также процессы частичного возрождения. Картина, следовательно, более пестрая, чем мы предполагали раньше». Аналогично говорил тов. Зиновьев: «За этот период (т.-е. от III конгресса) мы многому научились, в частности поняли, что с термином «крушение капитализма» надо обращаться осторожно... Даже в Германии, несмотря на многообразные симптомы упадка и разложения капитализма, все же на-лицо имеются и кое-какие симптомы консолидации его. Да и вообще бывают вопросы, в которых не так-то легко сказать попросту: да или нет... да—да, нет—нет, что сверх того, то от лукавого... Мы хотим победить, а не только размахивать кулаками в воздухе, а для этого надо видеть вещи так, как они есть».

В своем докладе о положении мирового хозяйства тов. Варга именно считается с сложностью вопроса. «Капитализм, — резюмирует свой доклад Варга, — не изжил кризиса. Кризис продолжается. В ближайшее время, в 1924 — 1925 г., следует ожидать наступления резкого кризиса в Америке и связанного с ним ухудшения хозяйственного положения в Европе... Но мы не утверждаем, что нынешний кризис непременно в ближайшее время приведет к катастрофе капитализма и к победе пролетариата. Нет такой теории, при помощи которой можно было бы доказать, что катастрофа капитализма произойдет автоматически, сама по себе... (Сказанное выше о положении в 1924 — 1925 г.) означает, что в этот период времени будут сохранены об'ективные условия для успешной революционной борьбы пролетариата и что крупные бои между пролетариатом и капиталом неизбежны. Но как эти бои выявятся политически, это зависит от коммунистических партий». В этой связи Варга цитирует также речь Ленина на II конгрессе: «С одной стороны, буржуазные экономисты изображают кризис как простое «беспокойство», по изящному выражению англичан. С другой стороны, иногда революционеры стараются доказать, что кризис абсолютно безвыходный. Это ошибка. Абсолютно безвыходных положений не бывает... Настоящее доказательство в этом и подобных вопросах может быть только практика».

В своей брошюре: «Под'ем или упадок капитализма?» т. Варга предлагает, во избежание недоразумений, различать накопление богатства и накопление капитала. Анализ экономической действительности приводит Варгу к следующим заключениям: «Накопление капитала параллельно с накоплением богатства (происходит теперь) в С. Штатах, в английских колониях и вообще во внеевропейских капиталистических странах. В европейских странах (происходит) накопление капитала — в большей части или целиком — не на основе роста богатства, а вследствие вызванного концентрацией и инфляцией перехода достояний некапиталистических слоев в руки капиталистов» (стр. 20). Сторонники теории накопления Розы Люксембург, — говорит

т. Варга, — приписывают вопросу, происходит ли накопление, решающее значение в понимании перспектив революции; «некоторые из них, исходя из того факта, что капитализм еще накопляет, приходят к заключению, что вообще никакого кризиса капитализма не существует, и поэтому перспективы революции весьма мрачны» (стр. 17). Классическим примером является ряд статей во французской «Рабочей Жизни» т. Оливье по программным вопросам, в которых утверждается, что во время войны и после нее происходило грандиозное накопление капитала, и то же самое имеет место и в настоящее время, и из этого делается тот вывод, что мировое хозяйство не переживает теперь кризиса и что мнение Коминтерна на этот счет ошибочно. Тов. Варга в своем докладе характеризует эту точку зрения как близкую к ликвидаторству. Кризис имеет место и при факте капиталистического накопления. А тем паче не должно опускать руки в борьбе. Столь же опасным считает Варга и противоположную крайность: мнение ряда германских товарищей, что в настоящее время не происходит накакого накопления и что поэтому должны измениться все наши перспективы.

Как показывает тов. Варга (в своей брошюре), вышеупомянутая теория Оливье совершенно совпадает с теорией Гильфердинга. Последний тоже утверждает, что «во время войны и после нее производительные силы возросли в исключительной степени... особенно расширились те отрасли хозяйства, которые были нужны для ведения войны... эта диспропорциональность—одна из причин мирового кризиса. Но этот рост производительных сил означает в конечном счете, после преодоления кризиса, расширение продукции и новый экономический под'ем. В то же время аграрная революция означает расширение рынка сбыта для продуктов промышленности» («Ди Гезелльшафт», № 11, стр. 9). Против этого т. Варга указывает, что, напротив, одна из важнейших причин современного кризиса — это индустриализация заокеанских стран, которая лишила Западную Европу ее экономического базиса, сырьевые страны отказываются от принципа разделения труда. Гораздо более содержательной, чем вышеприведенная теория Гильфердинга, представляется уже аргументация Лансбурга, редактора немецкого журнала «Ди Банк», что «вчерашние техника и опыт без сожаления предоставляются (старыми капиталистическими государствами) аграрным странам, как позже им будут предоставлены сегодняшние завоевания в уверенности, что завтрашний день обеспечен» (т.-е. что старые промышленные страны всегда будут иметь возможность специализироваться каждый раз в новых областях индустрии, вывозить вместо прежних товаров новые, вроде радиоаппаратов и т. д.). Но Варга не верит, чтобы этот процесс мог протекать безболезненно и без потрясений, как утверждает Лансбург. Этот процесс должен парализовывать промышленность Европы и осуждать ее рабочих на голодание.

Мы позволим себе указать здесь на логическую связь между основными точками зрения в докладах т.т. Зиновьева, Бухарина и Варги, связь, не отмеченную специально на конгрессе, но, тем не менее, проходящую, на наш взгляд, красной нитью в этих важнейших докладах V конгресса. Т. Зиновьев, как мы видели, выступил против подогревания т. Гулой меньшевист-

ской теории Каутского, что для социальной революции необходимо предварительно завоевать статистическое большинство, чуть ли не все 99% пролетариата, подчеркнул против этой теории большевистскую теорию Ленина о решающих слоях рабочего класса. Точно так же т. Бухарин выступает против «тех безобразий, которые творят в рядах II Интернационала с классическим местом в учении Маркса, что новое общество заключено в оболочке старого». «Невозможно, чтобы уже в лоне капиталистического общества рабочий класс командовал производством... даже если мы математически точно определим границу зрелости капитализма». А т. Варга заявляет, с своей стороны, что «нет такой теории, при помощи которой можно было бы доказать, что катастрофа капитализма произойдет автоматически сама по себе». Красной нитью через все эти заявления проходит мысль, чисто большевистская мысль, что нельзя ожидать какого-то статистического, математического, автоматического момента зрелости капитализма к социализму, а необходимо завоевать, предварительно, диктатуру пролетариата: «процесс врастания (капитализма в социализм) начинается лишь вместе с диктатурой пролетариата» (Бухарин). Программная комиссия V конгресса сконцентрировала эту мысль в следующем тезисе: «Необходимо различать зрелость какой-либо страны с точки зрения революционной стратегии от зрелости ее с точки зрения развития социализма». Классическим можно, думается нам, считать то перечисление об'ективных предпосылок зрелости Германии в прошлом году для захвата власти коммунистами, которое сделал в своей речи т. Троцкий и которое я привел выше. Это именно только политические предпосылки, только зрелость, с точки зрения революционной стратегии. О зрелости же с точки зрения развития социализма, об обобществлении пролетариатом производства и т. д. там не говорится.

В частности мы позволим себе подчеркнуть следующую конкретную связь. Т. Бухарин говорит о том, что после завоевания пролетариатом политической власти последнему придется еще считаться с наличностью многообразия экономических форм и будет иметь место процесс органического врастания в социализм на почве конкурентной борьбы и рыночных отношений. Все три докладчика говорят о том, что к термину «крушение капитализма» следует нам относиться осторожно. Не напрашивается ли сама собой аналогия между обеими точками зрения, не являются ли они тавтологией, не говорят ли они, в сущности, одно и то же? А именно: раз и после учреждения диктатуры пролетариата будут продолжать еще некоторое время существовать капиталистические, экономические формы, то «календарное установление срока» крушения капитализма, как определенного момента, нам вообще вовсе не необходимо, если бы даже оно было возможно? Выжидая этого «срока», не упускаем ли мы из виду, что, в сущности, крушение уже имеется на-лицо, не как «математический момент», а как длительный процесс? Точно так же, как врастание в социализм в переходный период пролетарской диктатуры будет длительным органическим процессом, не присутствуем ли мы уже теперь при длительном процессе крушения капитализма, не

рисует ли нам доклад т. Варги именно картину такого, так сказать, хронического крушения капитализма? Чисто-лингвистически слова хроническое крушение являются, быть может, абсурдом, противоречием, contradictio in adjecto, но диалектическая действительность соткана из противоречий, в отличие от рецепта: да — да, нет — нет и т. д.

Возможно, что наша постановка вопроса ошибочна, мы решаемся предложить ее, конечно, только в дискуссионном порядке. Но нам кажется, что она, во всяком случае, является не пессимистической, а оптимистической, должна внушить больше бодрости борющейся революции, подчеркивая, что крушение капитализма, так или иначе, уже на-лицо. Разумеется, вопрос охвачен нами только в самом общем виде и, если он по существу правилен, то нуждается в углубленном изучении. Надо конкретно, по пунктам разобрать элементы крушения. Например, безработица; т. Варга устанавливает, что общая цифра безработных продолжает оставаться постоянной и достигает приблизительно 4 — 5 миллионов человек. Что же, считать ли это уже самим крушением или только стадией подготовки к нему? Ведь мы знаем, что и после произошедшей социальной революции безработица вовсе не исчезнет немедленно, а, напротив, даже—всего вероятнее—усилится, с одной стороны, как результат «издержек революции», с другой стороны, как результат продолжающего еще существовать многообразия экономических форм, т.-е. как сопутствующий результат капиталистических форм. Итак, где же тут провести грань, предельную черту? Точно так же обстоит дело и с многими другими пунктами. Например, неиспользование капитализмом производственных возможностей и технического прогресса, задержка роста производительных сил. Мы знаем, что и после учреждения пролетарской диктатуры будет иметь место конкурентная борьба, в которой новому, пролетарскому типу производства придется лишь в длительном процессе вытеснять отсталые типы; в таком случае, опять-таки, какой смысл имеет выжидать кульминационной точки, «математического» предела крушения капитализма? **Быть может, напротив, запаздывание этой высшей точки, т.-е. крушения, даже на-руку социальной революции, так как оставляет в наследство пролетарской диктатуре не совсем обанкротившиеся производства**; ведь мы в Советской России заинтересованы теперь в возможно лучшем функционировании всех имеющихся у нас многообразных форм хозяйства, в том числе и мелкого хозяйства, — вполне мыслимо, что на Западе пролетарская диктатура будет заинтересована получить и крупное производство в возможно менее обанкротившемся состоянии [1]), безразлично — произойдет ли немедленно после

---

[1]) Термин „обанкротившиеся производства" следует уточнить, его можно понимать в этой связи двояко. Берем следующий пример: в Англии имеется 457 доменных печей, но к началу сего года в действии были только 194, в Америке из 420 печей работали только 270, а к моменту конгресса, вероятно, только 200 и т. д. Здесь банкротство надо понимать в общем смысле—банкротство самого капитализма, его неспособность управиться с ростом производительных сил. А с другой стороны, мы имеем банкротства самих фирм в отдельности, где страдают не от излишка, а от недостатка капитала и пр. Обе стороны

введения диктатуры национализация этих производств в полном размере или нет.

Повторяем, все это мы высказываем здесь лишь в виде постановки вопроса на основе докладов т.т. Зиновьева, Бухарина и Варги. Мы полагаем, что именно из них вытекает отрицание возможности вообще и необходимости для нас ловить «момент» крушения капитализма; важно и возможно установить зрелость страны с точки зрения революционной стратегии, зрелость и срок для завоевания диктатуры, т.-е. в политической области, но другое дело — область народного хозяйства, в экономике точное проведение этой черты невозможно, да нам и не нужно. Экономическая зрелость социализма, с одной стороны, может иметься уже при хроническом крушении капитализма, с другой стороны, даже уже после завоевания диктатуры пролетариата продолжают еще существовать капиталистические формы хозяйства. Политическая грань между феодализмом и капитализмом была проведена в истории вполне явственно хотя бы французской революцией, но в экономической области мы не знаем такой грани, «крушение» феодализма было именно хроническим.

тесно переплетаются в переходном периоде, это—две стороны одного и того же процесса. Говоря в тексте, что диктатура заинтересована получить капиталистическое наследство в возможно менее обанкротившемся состоянии, мы прежде всего имеем в виду вторую сторону. Но здесь возможны очень сложные сплетения.

Назревающий конфликт.

(Письмо из Пекина.)

А. Ивин.

Всякий, кто внимательно следит за событиями, развертывающимися на Дальнем Востоке, согласится, что в ближайшее же время Китаю суждено стать центром внимания международной дипломатии, при чем—даже помимо нашего желания, как и независимо от отношения к нам китайских правящих кругов—китайская проблема неизбежно самым тесным образом переплетется с вопросом о взаимоотношениях капиталистических стран с Сов. Россией. Можно предвидеть, что уже не далеко то время, когда конкретные вопросы нашей политики в Китае придется обсуждать самым тщательным образом, ибо здесь стремительнее чем где-либо назревает у нас острый конфликт со всем империалистическим миром.

Чтобы отдать себе ясный отчет во всей остроте надвигающегося конфликта, нужно не упускать из виду современного, а тем более потенциального значения Китая в экономике главных империалистических стран. Потеря такой колоссальной полу-колонии была бы для всех них страшным ударом, не говоря уже о том, что освобождение Китая оказало бы решающее влияние на национальное движение не только Кореи и Формозы, но и Филиппин, Голландской Индии, Индокитая, Малакки, Бирмы, как и самой Британской Индии, т.-е. главных колоний Японии, Америки, Голландии, Франции и Великобритании.

Являясь центральным фокусом мирового империализма, Китай в то же самое время представляет собою его самое уязвимое место. Уже к началу европейской войны крепкие путы договоров, связывающие Китай, настолько износились и обветшали, что самим же великим державам и прежде всего Америке пришлось констатировать, что удержать в них столь быстро развивающегося гиганта представляется делом безнадежным. Широкое национальное движение 1919 года показало это особенно рельефно и заставило несколько прозреть даже наиболее ослепленных. Вашингтонская конференция и явилась в известной степени результатом такого прозрения. Решено было открыть предохранительный клапан, несколько ослабить чересчур тугие путы, а главное—наобещать, что с течением времени, если только Китай

будет вести себя благонравно, великие державы добровольно, по собственной инициативе, об'явят его совершеннолетним и освободят от «столь необходимой в настоящее время опеки».

Нужно ли говорить, что не только торжественные обещания, но даже и принятые решения по вопросам, касающимся как экстерриториальности, так и повышения китайских таможенных пошлин, остаются до сих пор неисполненными. Более того, не далее, как в прошлом году, Великобританией Керзона была в связи с Линченским инцидентом сделана попытка, правда неудачная, поставить под свой контроль главные железнодорожные линии Китая. Таким образом никакого ослабления тут не наблюдается, и каждое выступление разговорчивого американского посланника Шурмана или более молчаливого представителя Англии — Маклея, как и коллективные ноты и меморандумы всего дипломатического корпуса неизбежно заканчиваются самыми энергичными напоминаниями о святости и неприкосновенности договоров. А между тем с каждым днем эти договоры все более и более трещат по всем швам, и момент насильственного разрыва их Китаем приближается с математической точностью. Самим об'ективным ходом вещей Советской России приходится в подготовлении такого разрыва играть решающую роль. Но прежде, чем коснуться этого вопроса, необходимо остановиться на наиболее примечательных чертах складывающейся в Китае кон'юнктуры.

Стремительное вовлечение Китая в сферу мирового хозяйства, его колоссально развившаяся внешняя торговля и, как следствие, рост потребностей и необычайное вздорожание жизни потрясают до основания весь его хозяйственный и социальный уклад и выбрасывают такую громадную армию безработных, поглотить которую развивающийся в Китае капитализм не в состоянии даже в том случае, если бы темп его развития значительно ускорился. Не в состоянии поглотить этот избыток рабочих рук и все растущая китайская армия. Широкая волна разбоев, как хроническое явление, есть, особенно при данных политических условиях, лишь неизбежный результат бурной социально-экономической революции, переживаемой страной. Конечно, от этих разбоев страдает прежде и больше всего само китайское население, но страдают и иностранцы: список убитых, ограбленных, уведенных в полон в целях получения выкупа граждан великих держав с каждым днем все удлиняется. Само собою разумеется, это порождает все более и более острые дипломатические конфликты, сплошь и рядом разрешению неподдающиеся и лишь сгущающие и без того насыщенную электричеством атмосферу.

Следующим примечательным фактом является необычайный рост китайской армии, вернее—армий, рост не только количественный, но и качественный, отмечаемый всеми специалистами. До сих пор о китайской армии принято было говорить лишь с иронией; настает момент, когда она начинает вызывать опасения. Многие империалистические органы уже забили тревогу о безрассудстве иностранцев, снабжающих Китай всевозможным оружием, вплоть до танков и военных аэропланов. Точно определить количество оружия, импортированного в Китай, не представляется возможным; во всяком случае, оно весьма внушительно, особенно если принять во внимание, что зна-

чительная часть колоссальных военных запасов, освободившихся с окончанием европейской войны, была распродана в Китае. Это насыщение страны оружием с каждым днем все увеличивается, и, несмотря на знаменитое соглашение держав, воспретивших этот род коммерции, американцы, англичане, итальянцы, французы вплоть до чехо-словаков продолжают торговать на перебой, и трудно сказать, кто из них побивает рекорд. Не приходится, конечно, доказывать, что при известных обстоятельствах эта насыщенность страны оружием может сыграть решительную роль в борьбе Китая за свое национальное освобождение.

Третьим симптоматическим явлением может служить стремительное падение иностранного авторитета. С каждым днем китайцы становятся все более и более ingouvernables. Беспрерывными жалобами на это переполнена вся империалистическая печать. Случаи захвата иностранных подданных разбойничьими шайками не сходят со страниц местной прессы, ибо, как с великим прискорбием отметил один генеральный консул, «прошли уже те времена, когда китайский разбойник на каждого иностранца смотрел, как на гостя, правда незванного, а иногда и нежелательного, но все же гостя, на жизнь и имущество которого посягать не полагается»...

Еще более показательна широко развитая практика бойкота иностранных товаров. Не только японцы, но и французы, и англичане, и даже американцы живут под страхом того, что в любой момент, «по самому незначительному поводу», они могут стать об'ектом самого основательного бойкота, руководимого студенческими и коммерческими организациями.

Самовольное взимание специальных пошлин с предметов иностранной торговли, все чаще и чаще повторяющиеся случаи конфискации сборов «соляной монополии», «бесцеремонное распоряжение» доходами железнодорожных линий, в которых заинтересованы иностранные акционеры, — все эти акты нарушения «священных договоров» провинциальными властями красноречиво говорят о том, что дух неповиновения проник уже и в китайские правящие сферы. Совсем недавно генерал-инспектор трех провинций — Цзянсу, Аньхойя и Цзянси по мотивам, входить в рассмотрение которых здесь нет надобности, запретил французскому авиатору Пеллетье д'Уази, совершавшему перелет Париж — Токио, спуститься в Нанкине, пригрозив в случае неповиновения конфисковать аэроплан... Когда отныне знаменитый китайский солдат Ли И-юан, мстя за палочные удары, которым ему пришлось подвергнуться за «самовольную прогулку» по городской стене, примыкающей к дипломатическому кварталу, решил прибегнуть к «безмотивному террору» и в один прекрасный день поколотил сначала итальянца, затем англичанина и, наконец, американца, то — факт зменательный — не китайским, а иностранным газетам, согласно mot d'ordre, полученному от соответствующих миссий, пришлось замалчивать этот инцидент... Лишь речь Троцкого, протелеграфированная Р о с т о й, заставила империалистические органы отбросить всякую сдержанность и излить накопившееся негодование чуть не в площадной брани. В самом деле как же «им» не негодовать? Три гражданина трех великих держав последовательно подверглись «неслыханному оскорблению»,

а китайцы, «науськиваемые большевиками», не только не чувствуют всей глубины содеянного их соотечественником преступления, но еще смеют кричать о нарушении «каких-то суверенных прав», сотни китайских депутатов строчат телеграммы английскому премьеру, требуя «не более не менее», как отозвания «посланника его величества», продержавшего «преступного солдата» несколько дней под арестом в стенах английской миссии. Конечно, едва ли такой «приличный социалист», как Макдональд, обратит серьезное внимание на каких-то членов китайского парламента, что, однако, отнюдь не уменьшает в глазах иностранцев чудовищной дерзости самого факта посылки подобных телеграмм, факта, указывающего на глубокую пропасть, отделяющую сегодняшний «зазнавшийся Китай» от «доброго старого Китая», в котором «авторитет иностранцев стоял на недосягаемой высоте».

На-ряду с жалобами на падение этого авторитета и воплями о необходимости поддержать его во что бы то ни стало, вы постоянно слышите из уст иностранцев негодующие речи по поводу «болезненно-развитого национализма китайцев», принимающего все более и более угрожающие размеры и «неизбежно ведущего к новому боксерскому восстанию». Действительно, рост национального самосознания является одним из примечательнейших фактов современного момента. За последние пять лет этот рост был особенно стремителен. После пред'явления «21 требования», перед непосредственной грозной опасностью, казалось, неминуемого японского протектората вся накопившаяся за столетие ненависть против иностранцев сконцентрировалась на Японии. С другой стороны, японофобское поведение союзнической прессы в Китае во время войны немало способствовало созданию широко распространенных иллюзий о возможности получения помощи от Англии, Франции и особенно Америки. Но окончилась война, была созвана Версальская конференция, и оказалось, что захват японцами Шань-Дуня уже давным-давно санкционирован и Францией и Англией. Оставалась все же крепкая надежда на Америку, на Вильсона. — Эти не выдадут! Но выдали и они. Во имя «высшей цели» — создания Лиги Наций, Вильсон счел возможным уступить Японии в шаньдунском вопросе. «Измена союзников и Америки» всколыхнула весь Китай, создала движение 1919 года: великую эру в истории китайского национального и общественного самосознания. И все же, особенно благодаря Вашингтонской конференции, некоторые иллюзии сохранились, и, как ни пострадал авторитет союзников и Америки, китайская общественность продолжала делать различие между ними и Японией. Проходит некоторое время, и на сцену всплывает Линченский инцидент: нападение китайских разбойников на экспрессе между Шанхаем и Тьянцзином и увод в полон нескольких десятков иностранных пассажиров. Вчерашние японофобы и «китаелюбы» обнаруживают свою истинную сущность. Из Пекина, Тьянцзина, Шанхая и Ханькоу от американских, английских и французских коммерческих палат и других организаций дождем сыплются телеграммы в Вашингтон, Лондон и Париж с требованием немедленной вооруженной интервенции в Китае для наведения порядка. Конечно, business men хватили через край: при тогдашней интернациональной кон'юнктуре ни о каком серьезном вооруженном вме-

шательстве в Китае, да еще вопреки воле Японии, не могло быть и речи; тем не менее Керзон решил использовать созданное Линченским инцидентом раздражение, чтобы реализовать уже давнишнюю мечту Foreign Office о наложении английского контроля на главные железнодорожные линии Китая. Знаменитый проект «интернационализации китайских железных дорог» был вновь — к неописуемому негодованию всего китайского общества — поставлен на очередь дня. Проект, как известно, сорвался и, что особенно пикантно, сорвался главным образом благодаря оппозиции Японии! Пройди он, и мы были бы свидетелями бойкота в национальном масштабе, бойкота, на этот раз направленного уже не против Японии, а против Англии в первую голову, затем и Америки и Франции. Кампания за вооруженную интервенцию, за «интернационализацию» китайских железных дорог явилась вторым решительным моментом для национального самосознания китайского общества. Начиная с этого времени, глубоко пускает корни тенденция выносить за одну скобку с Японией все империалистические державы, не исключая и вчерашнего «благородного и бескорыстного друга» — Америку. Не далее, как в конце прошлого года, в связи с демонстрацией американских, французских и английских флотилий в целях устрашения Сунь Вэня, американцы очутились перед перспективой бойкота, перспективою настолько, повидимому, для них неприятной, что для избежания ее они пошли даже на «потерю лица». Американские крейсера были поспешно отосланы в Манильские воды, а посланник Шурман после свидания с главой кантонского правительства предложил ему даже свои услуги по улажению конфликта с пекинским дипломатическим корпусом. Что касается Франции, то желание ее заставить Китай, вопреки соглашению 1905 года, выплачивать «боксерские вознаграждения» золотым франком вызывают самую решительную оппозицию китайского общества, и до сих пор все усилия китайского министра финансов провести эту меру терпят полное фиаско. Между тем Франция ставит благоприятное разрешение «вопроса о золотом франке» непременным условием ратификации постановлений Вашингтонской конференции и таким образом, при молчаливом одобрении других держав, саботирует созыв интернациональной комиссии, долженствующей повысить китайские таможенные пошлины на 2½%. Ввиду почти катастрофического положения китайских финансов, таможенный вопрос принимает все более и более острый характер. Неисполнение великими державами своих же собственных решений вызывает чрезвычайное раздражение. В стране уже начинается агитация за бойкот всех иностранных товаров, исключая русских и германских. Успех или неуспех этой агитации будет зависеть от дальнейшего поведения пекинского дипломатического корпуса и представляемых им правительств.

Говоря о взаимоотношениях между китайской общественностью и империалистическими странами, мы останавливаемся на главных, так сказать, центральных вопросах; не надо, однако, забывать, что на-ряду с конфликтами в национальном масштабе существует целый ряд конфликтов провинциального масштаба. Если день 7 мая, «день национального унижения», каждый год вызывает во всей стране более или менее внушительные демонстрации, напра-

вленные против японского империализма, в частности против «21 требования», то во многих провинциях существуют свои особые «дни». Так, например, в этом году в Хунаньской провинции таким днем было 1 июня, годовщина убийства японским дессантом двух студентов, принимавших участие в антияпонском бойкоте... От русской границы до границ английской Бирмы и франц. Индо-Китая, от Тибета до побережья Тихого океана, вся страна — целый материк, вмещающий в себе четверть населения земного шара, служит ареной непрекращающихся конфликтов с представителями империалистических держав, и если китайская политика Европы и Америки не будет в самое же ближайшее время пересмотрена самым кардинальным образом, то «новое боксерское движение», действительно, неминуемо. Однако и по своим размерам, и по своим материальным средствам, как и по своей идеологии, оно значительно будет отличаться от движения 1900 г.

Дело не ограничится лишь Китаем, или частью его, как это было четверть столетия тому назад, но неизбежно увлечет в свой колоссальный водоворот и все прилегающие колониальные страны, в большинстве из которых, не надо забывать, китайское население по своему количеству значительно превосходит европейско-американское. Самого поверхностного знакомства с экономикой большинства из этих колоний достаточно, чтобы убедиться, какую громадную роль играет в ней не только китайский коммерсант, но и китайский пролетарий. Недаром недавняя реорганизация Китайской национальной партии вызвала сильнейший переполох у администраторов Формозы, Гонконга, Индо-Китая, Малакки, Сингапура, голландской Индии, Филиппин и др.

Движение будет отличаться и по своим материальным средствам. Мы уже касались улучшения боеспособности китайской армии, насыщенности Китая всевозможным оружием, внушительности контингента лиц, измеряющегося не десятками тысяч, а миллионами умеющих им владеть. Произойди взрыв, — никакой интернациональной карательной экспедиции à la 1900 г. с сегодняшним Китаем не справиться. Во время прошлогодней кампании за вооруженную интервенцию в бряцании оружием иностранных business men и прислуживающей им печати чувствовалась немалая доза bluff'a, ибо для всякого живущего в стране и действительно знающего ее не может быть и тени сомнения, что усмирение восставшего Китая потребовало бы со стороны интервентов такого напряжения сил, таких финансовых издержек, которых бюджет ни одной из европейских стран не выдержал бы.

Что касается идеологии будущего «боксерского движения», то на этом вопросе необходимо остановиться несколько подробнее. Если говорить о передовом Китае, — а именно о нем и приходится говорить, ибо лозунги широкого народного движения, если таковые будут иметь место, могут в настоящее время быть даны только им, — то его идеология все более и более окрашивается социализмом. Говоря это, легко, конечно, навлечь на себя упрек в суб'ективизме и нарочитом сгущении красок. Нам вспоминается, как об'ективность одной из наших статей о современном Китае была, повидимому, взята под подозрение одним ученым ленинградским синологом, осо-

бенно когда ему удалось заполучить несколько номеров китайских газет. В самом тексте, как и в об'явлениях, он уловил так много от старого Китая, что новый, современный Китай представился ему в виде незначительного придатка, какого-то досадного пятна или, если хотите, легкой накожной болезни. Если бы в 1916 или даже в начале 1917 года такой же ученый китаец «русолог» попробовал бы на основании «Света» или такой почтенной газеты, как «Новое Время», судить о России, то могло бы случиться, что и ему тогдашняя новая Россия, стоявшая в преддверии Октября, показалась бы всего-на-всего накожною сыпью, лишь поверхностно затронувшей незыблемые устои «православия, самодержавия и народности». Впрочем, даже в настоящее время любой этнограф в самом же Ленинграде и даже Москве, особенно в Москве и Ленинграде нэпмановских кругов, сможет обнаружить сколько-угодно пережитков самой седой старины, и если главным образом только на основании их он вздумает судить о Советской России, то, вероятно, его суждения будут столь же любопытны и занимательны, как и выводы нашего почтенного синолога касательно современного Китая. Если же подойти к изучению последнего не с узко-этнографической точки зрения, не с злорадно хихикающим обывательским скептицизмом, а с действительно серьезным желанием осмыслить происходящее, отыскать в хаосе сегодняшнего дня намечающиеся контуры будущего, то вас поразит стремительность роста нового Китая, как и непреодолимое влияние Советской России на формирование его идеологии. Когда читаешь ламентации на то, что «мы находимся теперь при общем падении русской культуры, накануне ее исчезновения, быть может, с лица земли» — см. «Восток» № 1, статью В. Алексеева: «Русские писатели в китайских переводах» — или такой перл из рецензии на журнал «Новый Восток», данной всеми уважаемым академиком С. Ольденбургом: «Смущает нас только его («Н. В.») взгляд на Россию, как на вселенского учителя: нам самим надо еще столькому учиться, что немного рано нам учить других», — то невольно поражаешься подобной «об'ективности» наших синологов и академиков. Правда, оба цитируемые нами ученые писали это до того, как им лично удалось познакомиться с «Европой в сумерках на пожарище войны», что, однако, является мало смягчающим вину обстоятельством.

Конечно, учиться у других нам необходимо, но многому, очень многому Советская Россия не только может научить, но и учит и уже научила других. И если только под русской культурой не подразумевать исключительно дворянско-помещичьей культуры старой России, то опасаться исчезновения ее с лица земли не приходится. Есть культура и культура. Если шовинизм, религия, капитализм, «вильсонизм» — культура, то ведь и интернационализм, коммунизм и даже диктатура пролетариата или, скажем, отношение Советской России к народам Востока — тоже культура, новая нарождающаяся культура, культура высшего типа. Последняя не есть, конечно, специфически русский продукт, но все же никто не станет отрицать, что в настоящий момент Советская Россия является ее наиболее ярким символом. В Китае это выступает особенно рельефно.—Все силы, враждебные миру капитализма

и империализма вдохновляются главным образом примером Советской России. О том, каким ореолом окружена последняя в глазах передовой интеллигенции и молодого китайского пролетариата — говорить не приходится: манифестации и митинги, имевшие место по поводу смерти Ленина не только в Пекине, Шанхае и Кантоне, но и в Тьянцзине, Ханькоу, Чанша, Чэнту вплоть до уездных городов самых глухих провинций, служат тому лучшим доказательством. Более того, глухие легенды о «Партии бедных» и их Вожде, «которого боятся все знатные и богатые», уже проникли в самую глубь народных низов, служат предметом долгих разговоров и споров в неисчислимых поселках и деревнях Китая, тревожно волнуют великое крестьянское море. И вот, возвращаясь к вопросу об идеологии «нового боксерского восстания», можно à priori сказать: произойди, действительно, широкое народное движение, всколыхнись необозримый китайский океан, — никакой другой идеологии, кроме самой решительной, самой радикальной, не овладеть народной стихией. Эту идеологию может дать только новый китайский город, который за последние двадцать слишком лет так вырос материально и духовно, что узкий, каменный пояс его средневековых стен превратился в какой-то живописный анахронизм, а кое-где уже уступает свое место железному поясу электрических трамваев и кружных железных дорог. Насыщаемый все более и более, по мере роста своих фабрик и заводов, идеями социализма, интернационализма и классовой борьбы китайский город со своими легальными, полулегальными и подпольными рабочими организациями, студенческими и учительскими союзами, женским движением, вечерними курсами, воскресными школами, своей партийной прессой, своими забастовками, митингами и демонстрациями с каждым днем все более и более напоминает вчерашний русский город, стремительно шедший к Великой Революции.

* * *

Несмотря на всю беглость и поверхностность нашего очерка, мы думаем, что при наличии доброй воли и воображения читатель сможет составить известное понятие, если не об общем фоне китайской социально-политической жизни, то, по крайней мере, о тех ее сторонах, которые необходимо принять во внимание для правильной оценки русско-китайского соглашения и его неизбежных последствий.

Соглашение 31 мая, которым устанавливаются нормальные дипломатические сношения Китая с Совроссией, знаменательно прежде всего тем, что уже само подписание его вопреки сильной оппозиции пекинского дипломатического корпуса является со стороны Китая революционным актом. То, что на такой революционный акт пошло «совсем не революционное» правительство, только усугубляет его значимость. Конечно, самый несообразительный член дипломатического корпуса не может не понимать, что эта революционность вынужденная, что после того как все китайское общество, — от коммунистов и националистов до сатрапов милитаристов, от Чэн Ту-сиу и Сунь Вэня до генерал-инспекторов У Пей-фу и Ци Сье-юаня,— решительно вы-

ступила за немедленное подписание соглашения, саботированного два месяца тому назад вмешательством великих держав, пекинское правительство не могло не примкнуть к «общему заговору».

Чего однако ни один из членов дипломатического корпуса не может простить пекинскому правительству, — это того, что последнее сознательно усыпило их бдительность, провело все прелиминарные переговоры с такой конспиративностью, которой могла бы позавидовать любая революционная организация, и поставило их перед совершившимся фактом. Аресты студентов, коммунистов, в Пекине, расстрелы в Лояне организаторов рабочих союзов являются для дипломатического корпуса плохим утешением, теряют чуть не весь свой смысл, если, в конце концов, правительство действует в русском вопросе как бы заодно с этими же самыми коммунистами, рабочими и студентами, да еще чуть не похваляется, что так ловко вместе с comrade Karakhan надуло столь великих дипломатов.

Если в данном вопросе и милитаристы, и кабинет, и сам президент вынуждены были действовать и даже конспирировать вместе с «русскими большевиками», то—где гарантия, что и в дальнейшем по целому ряду других, столь же и еще более непосредственно затрагивающих жизненные интересы великих держав в Китае, вопросах они не будут вновь «поставлены перед необходимостью» поступать точно таким же образом?

Далее... Факт признания советского правительства Китаем делает «большевистского представителя» равноправным членом, а в случае назначения его послом — и старшиной дипломатического корпуса, а это означает не более не менее, как смертельный удар всем тем правам и привилегиям, которые делали из последнего «сверх-правительство Китайской республики». О коллективных нотах и меморандумах надо будет позабыть и удовольствоваться лишь обычными функциями обычных дипломатических корпусов. Правда, можно будет коллективно выступать от имени, скажем, держав, охраняющих неприкосновенность протокола 1901 г., или от имени держав, принимавших участие в Вашингтонской конференции. Можно-то, конечно, можно, но... все это «не то». Никакая искусственная группировка не сможет заменить собою того дипломатического корпуса, каким являлся пекинский до 31 мая 1924 г.!

Как ни обидны для самолюбия пекинских дипломатов сами обстоятельства подписания договора, как ни чреват зловещими последствиями готовящийся взрыв дипломатического корпуса изнутри благодаря вхождению в него представителя Совроссии, — все же главная неприятность лежит в самой сути соглашения. А суть эта в том, что последние, даже по словам У Пей-фу, является первым справедливым договором, заключенным Китаем с великой державой. Дело даже не в том, что Китай не должен уже платить нам «боксерских вознаграждений», получит обратно наши концессии, являвшиеся своего рода государствами в государстве, будет иметь право судить русских граждан, совершивших преступление на китайской территории, будет по отношению к нам свободно устанавливать свою таможную политику и т. п., а в том, что от всех этих прав и привилегий такая великая держава, как Советская Рос-

сия, отказалась, не как Германия — в результате военного поражения, а совершенно добровольно.

Этот добровольный отказ ставит все империалистические страны в самое невозможное положение. Если и без того их авторитет так стремительно падает, если и без того их «священные договоры» с каждым днем, как мы уже видели, нарушаются все более и более, то, спрашивается, что останется от их авторитета, от «незыблемости» их договоров после подписания рус.-кит. соглашения? Если два-три года тому назад известная часть кит. общества могла удовлетворяться посулами Вашингтонской конференции о «добровольном и постепенном» освобождении великими державами Китая от их опеки, то теперь, после того, как ни одно из главных решений, принятых в пользу Китая, не приведено в исполнение, и когда, с другой стороны, в руках Китая имеется соглашение с Советской Россией, основанное на принципе равноправности,—после этого никакие посулы, как и никакие полумеры, никого не удовлетворят. На этот раз лицемерная маска, прикрывавшая хищнические замыслы великих держав, сорвана окончательно, и последние предстали пред всем китайским обществом во всей своей неприглядной наготе.

Лозунг о «пересмотре всех несправедливых договоров» уже брошен, и 16 пунктов рус.-кит. соглашения становятся очередной программой иностранной политики не только для коммунистической или национальной партий, не только для широких общественных кругов, но и для китайских парламентариев и даже милитаристов. «Токио Асахи», говоря о соглашении, прекрасно формулирует тревогу, охватившую империалистов. «Как отразится,—спрашивает почтенная газета,—отказ С. С. С. Р. от «боксерских вознаграждений», от экстерриториальности и других прав на взаимоотношения между Китаем и великими державами?» и отвечает: «Не трудно предвидеть, что договор, по которому Китай становится в равноправные отношения с Россией, еще более усилит манию (!) китайцев добиваться возвращения своих прав, манию, которая так развилась за последние годы. В то же самое время будет расти и тенденция действовать совместно с Россией против остальных держав».

До сих пор китайская дипломатия шла на американском буксире. В 1917 г., следуя за Америкой, Китай прервал дипломат. сношения с Германией, а затем, повинуясь призыву Вильсона, окончательно присоединился к лагерю союзников. После санкционирования Вильсоном захвата японцами Шаньдуня, Китай перенес все свои надежды на его преемника Гардинга и на Вашингтонскую конференцию. Всего год тому назад, в самый разгар кампании за интервенцию, несмотря на наглое поведение америк. коммерческих палат, известная часть кит. общества опять же ждала помощи от Заокеанской республики. О силе влияния америк. миссии в Пекине можно судить уже по тому общеизвестному здесь факту, что вновь назначаемые кит. министры иностр. дел не решаются занять свой пост, не посоветовавшись предварительно с американским посланником. Неудивительно, если и в недавнем конфликте сов. миссии с кабинетом относительно подписанного С. Т. Ваном соглашения д-р Шурман сыграл немаловажную роль. Но вот наступает 31 мая, и русск.-кит. соглашение скрепляется не только вопреки д-ру Шурману, но и без его

ведома. Видеть в этом простую случайность не приходится уже потому, что во главе Вайтяопу стоит бывший посланник в Вашингтоне, известный своими архи-американофильскими симпатиями. Железная логика об'ективно складывающихся обстоятельств оказывается таким образом сильнее всяких симпатий и антипатий и заставляет даже такое, по самому существу своему враждебное Сов. России правительство, как пекинское, менять помимо своей воли американскую ориентацию на русскую. Можно поэтому сказать, что день 31 мая знаменует собою первую серьезную дипломатическую победу С. С. С. Р. над оплотом капитализма и империализма, Америкой Юза.

Соглашение дает нам новое могучее орудие борьбы против империализма не только на политич. фронте, но и на фронте культурном. Общая сумма остающейся русской части боксерских вознаграждений, долженствующей согласно договору пойти на народное образование в Китае, настолько внушительна, что и за вычетом сумм, предназначенных на погашение различных внутренних займов, составит по самым пессимистическим вычислениям приблизительно о к о л о с т а м и л л и о н о в з о л о т ы х р у б л е й. А так как специальная комиссия из 3 членов — 2 кит. и 1 русск. — для заведывания этими фондами все решения должна будет — опять же согласно договору — принимать единогласно, то на нас в одинаковой степени с китайцами падет ответственность за наиболее разумное и целесообразное их использование. Если мы отнесемся к этому вопросу со всем вниманием, какого он заслуживает, можно быть уверенным, что мы справимся со всеми неизбежными трудностями, значительно двинем вперед истинное просвещение Китая и послужим великому делу возрождения великого народа.

Шум и гвалт, который уже поднимает местная иностранная пресса вокруг «грядущей опасности насаждения большевистских школ», ясно свидетельствует о том переполохе, который вызывает в империалистическом лагере перспектива более тесного культурного сближения новой России с новым, молодым Китаем. Уже пишутся проекты об экстренной необходимости «более целесообразного использования боксерских вознаграждений» на постройку, напр., новых железных дорог, на возведение новых плотин и урегулирование русла свирепой реки Хуан Хо и т. д. и т. п. Некоторые писатели в своем усердии доходят и до апологии «святого невежества», все это потому, что и в такой чисто культурной области, как школа, даже американцы, как это ни покажется странным некоторым синологам и академикам, страшатся конкуренции Советской России.

Очень возможно, что нарисованная нами картина может показаться, особенно присяжным скептикам, чересчур радужной, и однако мы все время старались оставаться на почве фактов, тщательно избегая поспешных обобщений, а тем более преувеличений. В настоящее время перспективы, открывающиеся перед нами в Китае, настолько блестящи, что нет никакой надобности что-либо преувеличивать или приукрашать. Но именно потому, что эти перспективы так блестящи для нас, приходится быть готовыми к неприятным сюрпризам и даже к серьезным осложнениям.

Уже в начале письма мы указывали на неизбежность обострения то грандиозного конфликта, который стремительно нарастает между всем и: периалистическим миром и Китаем, а тем самым и Советской Россией.—ко фликта тем более серьезного, что дело идет не только о национальной н зависимости Китая, но и о судьбах соседних ему угнетенных народов, о суд бах всей Азии, ибо, повторяем, ключ азиатской проблемы лежит в Китае.

Все те договоры — наследие главным образом прошлого столетия, — к торыми величайшая по своим естественным и людским богатствам страна пр вращена в колоссальную полуколонию, уже не отвечают реальному соотн шению сил, столь изменившемуся за последние 20 лет.

Великие державы поняли это слишком поздно, но, даже и поняв, в еще надеются при помощи Вашингтонской конференции, при помощи лживы обещаний отсрочить наступление неизбежного. Соглашение 31 мая и немин емая, независимо от симпатий и антипатий кит. правящих кругов, ориен тировка Китая на Совроссию, разбивая все эти надежды, выдвигает кит. пр блему на очередь дня во всем ее грозном значении.

Окажутся ли «новые правительства» Великобритании, Франции, Япони а завтра и Америки настолько дальновидными, чтобы не лезть на рожон и по корно склониться пред вердиктом истории? Мы глубоко сомневаемся. А ра это так, то обострение вышеуказанного конфликта неизбежно. «Признание нас Японией, Францией и Америкой едва ли сможет значительно ослабит эту остроту. Несмотря на то, что вместо Пуанкаре мы имеем «руссофила Эррио, несмотря на то, что в самом Пекине ведутся русск.-япон. переговоры как и несмотря на «социалистический кабинет» Макдональда,—и Франция, Япония, и Великобритания вновь выступают против нас на Д. В. вместе с Аме рикой, при чем еще более сплоченным фронтом, чем когда-либо, стараясь са ботировать уже подписанное соглашение. Идет ли дело о Китайско-Восточ ной железной дороге, о передаче бывшей царской миссии, об обмене послам между Китаем и Совроссией, повсюду мы наталкиваемся на ярую оппозицию всего империалистического блока.

Местная английская пресса, квалифицировавшая русск.-кит., соглашение как новый Брест-Литовский договор, уже кричит о нарушении нами англо-русск. договора. Можно быть уверенным, что с восстановлением дипломатических сношений с Францией, Японией и Америкой и французская, и японская, и американская печать присоединится к английской, ибо при всей лойяльности нашей дипломатии мы не сможем помешать китайским студентам устраивать патриотические митинги и демонстрации, китайским рабочим, занятым в иностранных предприятиях, — бастовать, китайским журналистам — писать против иностранных хищников, китайским депутатам — требовать пересмотра всех договоров по образцу русско-китайского, как не сможем удержать от бойкота товаров той или иной страны китайскими коммерсантами, или согласиться израсходовать 100 милл. долларов «боксерских вознаграждений» на посылку кит. студентов в Америку. При все обостряющемся национальном движении, при все растущей агитации «против всех империалистов» мы неизбежно будем об'явлены и нарушителями будущих русск.-фр., русск.-яп. и

русск.-ам. соглашений. По существу, наши «прокуроры» будут, конечно, правы, ибо отказ наш от империалистической политики, более того — самый факт существования нашей Сов. России есть самая разрушительная и перманентная пропаганда.

До сих пор мы уделяли весьма мало внимания Китаю; ближайшее же будущее заставит нас изменить подобное отношение к этой великой стране, и возможно, что уже на следующем, XIV, с'езде партии тов. Зиновьеву придется посвятить значительную часть своего общего доклада китайской проблеме, которая все теснее и неразрывнее сплетается с проблемой Советской России.

Пекин,
23 июня 1924 г.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

Литературные силуэты.

А. Воронский.

I. И. Бабель.

I.

Существует мнение, широко распространенное и в писательских и в читательских кругах, что в наше революционное время простая и ясная классическая форма художественного письма безвозвратно сдана в архив. Мнение это усиленно поддерживается и подогревается не только сторонниками так называемого левого фронта и беспощадными (на словах) истребителями старого буржуазного искусства, но и людьми, чуждыми этим и подобным настроениям. Не так давно автору довелось услышать от одного молодого и талантливого прозаика любопытное замечание: «после Толстого просто писать нельзя, проще все равно не напишешь». Толстые рождаются однажды в столетия и очень может быть, что после этого волшебного упростителя, проще, действительно, написать трудно, но просто и ясно писать все же следует. Толстой и Гомер — величайшие реалисты в искусстве, величайшие образцы простоты и ясности — маяки векам и эпохам. И как бы ни была необычайна наша эра, толстовской закваски в искусстве хватит еще на очень долгий срок. Да и не только в искусстве. Противники классицизма в искусстве обычно довольно благодушно проходят мимо языка и формы в публицистике, в политике, в агитации, а между тем в этих областях до сих пор и не без успеха передовые и иные статьи, речи и доклады пишутся и произносятся на обыденном старом, «классическом» языке. Попытки обновить здесь язык, стиль, манеру, конструкцию, попытки иногда уместные и своевременные, дальше частностей, однако, не идут и основного не затрагивают, и всякая поспешность, новаторские потуги чаще всего на практике ведут к досадной и ненужной шумихе, к надуманности и к новшествам, цена коим алтын.

Это становится все более очевидным, и за последнее время в литературе наших дней несомненно усиливается тяга к простоте и ясности классической формы. Не случайно один из одареннейших современных поэтов Сергей Есенин после блуждания в оврагах имажинизма с большой пользой и для себя и для читателя вернулся—будем надеяться прочно—к Пушкину. Другой одаренный поэт Василий Казин тоже отдает дань Тютчеву и Пушкину, и даже

Безыменский, целиком в области формы воспринявший Маяковского, начинает все чаще и чаще вспоминать гениального камер-юнкера. То же самое мы видим в среде комсомольских поэтов, у Светлова, у Ясного, у Голодного и у других. В прозе перевес в пользу классицизма делается все более решительным. Раздерганность, разбросанность, нервная взбудораженность и взвинченность в стиле, имеющие свои основания в пережитом, все больше уступают и отступают, давая место ясной и четкой композиционной и стилистической манере классицизма. Этого требует читатель, этого хочет писатель. Надо полагать, что «царству» Андрея Белого приходит конец. Очевидно, мы вступили в некий очень, разумеется, условный и относительный «органический» период, и это обстоятельство накладывает свой отпечаток на современное художество. Мы получили возможность более спокойно оглядеться, подумать, взвесить пережитое, темп нашей жизни стал более плавным и менее напряженным. Думать, что возврат в известных пределах к классикам есть реакция в искусстве, как уверяют в том тов. Горловы, значит впадать в наивное заблуждение. Нужно вспомнить об оборотной стороне дела, а она — в том, что наша молодая советская литература сплошь и рядом в своих новшествах и открытиях перепевает поэтов и прозаиков упадочного периода, и очень часто противники классиков забывают другую элементарную истину, что классицизм по сравнению со многими позднейшими литературными направлениями отражал наиболее революционные и зрелые идеалы своего времени и что эти идеалы, а не декадентство всех форм и оттенков вошли необходимым элементом в современный коммунизм. Известно также, что наши теперешние литературные течения и кружки, пребывая в стадии полнейшей раздробленности и взаимной войны всех против всех, остаются оторванными от нового массового читателя, замкнутыми и проникнутыми духом узкого литературного направленства; заметную и далеко не последнюю роль в этом отрыве сыграла и продолжает играть формальная и неформальная зависимость современных писателей от поэзии и прозы последних 15—20 лет, от периода реакции и упадка.

Стремление к простоте и ясности в прозе ни в чем так резко не обнаруживается, как в творчестве новых писателей, вступающих в литературу. Очень знаменательны И. Бабель, Леонид Леонов, Сейфуллина и последние «уклоны» Всев. Иванова. Сейчас речь о Бабеле.

Бабель начал печататься всерьез совсем недавно: меньше года. У него еще нет ни одного сборника: его вещи разбросаны в разных журналах. Об'ем напечатанного пока очень не велик. Но едва ли будет преувеличением сказать, что в текущем литературном году художественная проза пройдет под знаком Бабеля. За ним усиленно следят, его усиленно читают. Написано немало критических статей и отзывов и уже закипают в связи с ними страстные литературные и нелитературные споры. Это вполне естественно: во внимании и в интересе к этому писателю нет ничего подогретого, искусственного. «Известно — у нас нередко писателя, имя рек, прокламирует такой-то кружок, такое-то направление, — при чем такое прокламирование далеко не всегда соответствует действительности». Особым мастерством и даже отчаянностью

в этом отличаются тов. напостовцы. Излишне говорить, к чему все это приводит. Про Бабеля можно сказать лишь одно, что его считают «попутчиком»,—к кружкам он не принадлежит. Говорят и пишут о нем не для рекламирования какого-нибудь кружка, а потому, что он чрезвычайно талантлив, своебразен, что его произведения несомненно «заражают». Бабель — новое достижение послеоктябрьской советской литературы, достижение немаловажное и весьма бодрящее.

«Собрания сочинений» у Бабеля нет, но в 100 — 120 напечатанных им страницах он выступает как уже достаточно зрелый писатель. Это не означает, что он закончен, завершен, высказался; наоборот, очень многое и главное все впереди, писатель далеко не развернул своих творческих потенций, не все его вещи находятся на одинаковом художественном уровне, но в манере его письма есть уже твердость, зрелость, уверенность, нечто отстоявшееся, есть выработка, которая дается не только талантом, но и упорной усидчивой работой. У Бабеля есть свое «нутро», свой стиль, но берет он не только нутром, но и умом и уменьем работать. Это чувствуется почти во всех его миниатюрах. Бабель не на глазах читателя, а где-то в стороне от него уже прошел большой художественный путь учёбы. Он культурен, в этом его большое и выгодное преимущество пред большинством советских беллетристов, старающихся выехать на «нутре» и на богатстве жизненного материала и считающих учебу и работу над собой чем-то докучным или даже похожим на буржуазную отрыжку. Оттого, между прочим, у нас и бывает, что после первой напечатанной вещи художник начинает выдыхаться и итти под уклон, ибо в первой-другой вещи берут, действительно, нутром, стараются высказаться от преизбытка и полноты и целиком, так что формальные прорехи читателем либо не замечаются, либо прощаются бессознательно или сознательно из-за «нутра». Предсказывать и пророчить что-либо о Бабеле — дело довольно праздное, но отметить культурность, ум и зрелую твердость таланта нужно. Качества эти дают право надеяться, что Бабель не снизится, не пойдет по стопам своих некоторых молодых собратьев по перу.

Бабель далек от натурализма и бытовых писаний в стиле старого «Русского Богатства», но ему чужд и Белый. У Бабеля есть общее с Мопассаном, с Чеховым, с Горьким, но в них он тоже не укладывается. Мопассан — скептик, Чехов грустит, Горький романтик, и это отражается на манере их письма. Бабель эпичен, порой библейски эпичен. Вот послушайте:

«И тогда Сенька плеснул папаше, Тимофей Радионычу, воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

— Хорошо, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо мне.

Тогда Сенька спросил:

— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет, — сказал папаша, — не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:

— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать» («Письмо»).

Так рассказывал в письме к матери сын о том, как его брат Сенька «кончал» «папашу»-белогвардейца. Папаша в свою очередь «кончил» родного сына Федю. Здесь будничная простота рассказа сочетается с таким же спокойствием. В своих миниатюрах Бабель бесстрастен, спокоен, медлителен, не торопится и не торопит читателя, тем более он не играет на нервах, не старается, чтобы читатель ломал пальцы. Неспешно тянет он свое скупое, взвешенное, продуманное слово. Он эпичен и в тех случаях, когда становится лириком. Но эпос Бабеля не тот, о котором можно сказать: «они вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они», эпос, равнодушный к добру и злу потому, что пережитое давно стало седой былью и уже выветрилось все злободневное и потухли все страсти. Бабель старается быть эпичным в рассказах о Конармии Буденного, в рассказах, помеченных 1920 годом. Он пишет о вчерашнем, идет по свежим следам пережитого, в сущности он пишет о настоящем. Эпос его особый. Он — как только что потухнувший костер: под пеплом горячие угли. Эпичность Бабеля — своеобразный художественный прием, рассчитанный и взвешенный. Современному советскому беллетристу приходится повествовать о событиях совершенно исключительных и иметь дело тоже с исключительным читателем. Ни сюжетом, ни тем более криком, ни пафосом современного читателя не проймешь, если иметь в виду т о л ь к о это. Любой из нас развернет такой сюжет из действительной жизни, что самая потрясающая художественная выдумка побледнеет пред этим сюжетом, а относительно «страшных слов», — то ведь и здесь мы стали привычны ко многому после войны 1914 года и революции. Явись сейчас новый Леонид Андреев со своим «Красным смехом», «Тьмой», «Бездной» и будь он менее манерен и более искренен, он оказался бы просто не ко двору со своими приемами и читателя не только «не запугал» бы, но не произвел бы на него и десятой доли того впечатления, которое производил на некоторые круги в свое время старый Андреев. Другая эпоха, другие люди, другой стиль. Эпичность сейчас является более верным ходом к читателю; наша эпоха по природе своей эпична. Кроме того, тут вступает в силу закон контраста: повествовать о только что пережитом в муках и в крови, рассказывать о событиях и случаях, из ряда вон выходящих, спокойно, ровно, размеренно и деловито — это может подействовать на современного читателя гораздо сильней всяких криков, страшных слов, нервной взвинченности.

На самом деле Бабель совсем не бесстрастен, не равнодушен «к добру и злу» и отнюдь не спокоен. У него есть свое мироощущение, есть определенный подход к эпохе, к людям, к событиям. Но он взял себя в руки, овладел собой как художником. Он рассказывает просто, «без лишних слов», как просто и без лишних слов привыкли мы жить среди самого необычайного и невиданного. И главное, он понимает, что в подлинном художестве задача не в том, чтобы крепче ударить по нервам, а в том, чтобы дать то «чуть-чуть», о котором писал когда-то Л. Н. Толстой, выделить художественную подроб-

ность, обнаруживающую основное в вещи, в человеке, в эпизоде. «Прямо пред моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышками. Еврей затих и расставил ноги. Кудря левой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись»[1]. Здесь нет ничего от Андреева и Достоевского, все рассказано с почти протокольным спокойствием, а между тем каждая мелочь художественно подобрана и особенно это «не забрызгавшись», и картина остается в памяти. Уменье дать это «чуть-чуть» характерно для лучших вещей Бабеля.

Бабель не областник. Он занимателен и сюжетен, но эти качества не выступают у него на первом плане, не становятся самоцелью, являясь лишь подсобным средством.

Очень своеобразно, неожиданно и метко соединяет художник прилагательные с существительными, т.-е. дает определения: «пламенные плащи», «страстные лохмотья», «пыльная проволока кудрей», «густые просторы ночи», «малиновая бородавка», «могучие вечера», «мертвенный аромат парчи», «дым потаенного убийства», «прохладная глубина ночи», «оранжевые бои заката», «прокисшая духота», «блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности», и т. д. Может быть, эта склонность к определениям придает отчасти вещам его медлительность, неспешность и выразительную плавность повествования.

Эпичность Бабеля модернизирована, что приближает его к Мопассану и Чехову, как и форма коротких сюжетных рассказов.

Бабель также лирик. Лиризм Бабеля в меру мечтательный, ленивый, охлажденный, не задерживающий читателя и не мешающий спокойному течению рассказа. Наличие лиризма, между прочим, обнаруживает условность его эпоса. Бабель хитрит с читателем, и он совсем не Пимен, а страстный наш современник.

Появление Бабеля в литературе, успех его рассказов свидетельствуют, что наше художественное слово, несмотря на заминки, на штили, не топчется на месте, но верно и неуклонно развивается в ширь и в глубь, увеличивая в общественной советской жизни свой удельный вес. Далее, Бабель показателен и в иных отношениях. Художество наше идет к простоте, ясности и четкости, к культуре и «европам» в смысле общих достижений. И писатель и читатель не хотят манерничания, вывертов, формальных сальто-мортале. Художник не воспитывается, не выходит из литературных стойл, закут, кутков, кружков и кружочков. Он растет где-то в стороне от них. Его выращивает жизнь, эпоха, события, мир, рабочие, крестьяне, компартия, а не секты. И сколько бы ни втирали очков неопытным читателям баяны разных кружков, факт остается фактом: Бабель, Всев. Иванов, Сейфуллина, Леонов, Казин, Есенин выросли сами по себе и пришли в литературу помимо кружков и деклараций.

[1] Курсив всюду автора статьи.

Бабель укрепляет связь литературы с республикой советов и с коммунистической партией. Он близок к нам и хорошо ощущает, «как пахнет» наша жизнь, наша эпоха. Можно, пожалуй, без преувеличения сказать, что Бабель — новая веха на извилистом и сложном пути современной литературы к коммунизму. Кое-кто не видит этого, но содержание произведений Бабеля совершенно недвусмысленно.

II.

Бабель — миниатюрист. Им напечатано пока около 30 миниатюр из книги «Конармия» и несколько отдельных вещей, в том числе «Одесские рассказы». Книга «Конармия» еще не закончена, не закончены и «Одесские рассказы». Лучшими, основными и наиболее значительными являются миниатюры «Конармии», но для выяснения художественного ядра писателя целесообразней начать с некоторых отдельных вещей. Кое-какие из них художественно слабей «Конармии», но дают отчетливое представление о «нутре» художника.

Бабель — писатель физиологический. В этом он верный сын своего времени. Физиологичны Бор. Пильняк, Всев. Иванов, Сейфуллина, Никитин. У каждого из них своя «физиология», своя она и у Бабеля. Общи истоки. Они в эпохе. И общ один еще великий прародитель: Л. Н. Толстой; именно он, а не Достоевский, лег «китом» для современной советской прозы, но — это тема особая.

Для Бабеля священна данность, действительность, жизнь, примитивы человеческих интересов, побуждений, страстей, вожделений, характеров, все, что принято называть грубыми животными инстинктами. Священна данность *не в том, что она принимается по принципу «все действительное разумно и все существующее действительно»*, а в ином. Бабель — язычник, материалист и атеист в художестве. Он враждебен христианскому, идеалистическому мировоззрению, почитающему плоть, материю низменным греховным, а «дух», «духовное» — единственно ценным началом в жизни человеческой; в особенности Бабель - художник — противник творимых сладостных легенд, отвлеченной «духовности», бездейственной мечтательности, оторванных и одиноких блужданий «в эмпиреях и в прелестях неиз'яснимых», самодовлеющих фантазмов, небесных утопий, бесплотного рая. Наоборот, он любит плоть, мясо, кровь, мускулы, румянец, все, что горячо и буйно растет, дышит, пахнет, что прочно приковано к земле.

Поэты и прозаики, воплощавшие в себе художественную реакцию, наступившую после 1905 года, об'явили жизнь грубой, пьяной бабищей и звали забыться в чаровании красных вымыслов и в творении сладостных легенд. Бабель берет эту грубую, пьяную бабищу—жизнь. Он знает, что у нее «ужасно громадный живот», «пузо, вспученное и горючее», «ноги... жирные, кирпичные, раздутые», «грудь толстая», «плечи круглые, глаза синие», словом, на-лицо та самая бабища, которая столь отвратно действовала на утонченных людей декаданса. Бабищу-жизнь Бабель то-и-дело сталкивает с любителями и

с поклонниками «духовности», с творцами эмпирей, с чистыми небесными небожителями и херувимами, у которых ни «пуза» нет, ни плечей, а одна только бесплотность и крылышки белоснежные и нежные трепещут. Поступают бабищи с небожителями довольно неуважительно, совсем даже грубо, и писатель на их стороне. Одной такой бабе Арине Исус дал Альфреда — ангела. Все в нем хорошо, «а родить от него нельзя не токмо, что ребенка, а и утёнка не мыслимо, потому забавы в нем много, а серьезности нет». Баба обрадовалась сначала несказанно, а потом ночью навалилась на него «пузом» и придушила нечаянно, да еще отказалась простить Исуса за то, что подсунул ей такого. В «Сказке про бабу» другая бабища Ксения мужа захотела. Старуха Морозиха привела к ней на кухню некоего Валентина, «неказистого, но затейливого». В свадебном хмелю он вместо того, чтобы делать, что полагается, начал плакать, рассказывать, как его обидели и какие необыкновенные он сны видит. Пришлось его выкинуть на двор. Плачет баба. «Промашка, — отвечает ей Морозиха, — тут попроще был надобен». В рассказе «Линия и цвет» небезызвестный А. Ф. Керенский отказывается купить очки за полтинник, несмотря на свою близорукость. Он не хочет видеть линий, ему достаточно цветов. Ему дорога его близорукость: «Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я об'ят чудесами даже в Клязьме... Весь мир для меня гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля»... Кончает этот «зритель» тоже печально. Автор встретился с Керенским в июне 1917 года в Петербурге: «Митинг был назначен в Народном Доме. Александр Федорович произнес речь о России, матери и жене. Толпа удушила его овчинами своих страстей... вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды: — товарищи и братья!..». Толпа оказалась куда как невежлива и совсем не поняла этого Альфреда, этого Ромео от политики, который искал в 1917 году свою Джульетту, а нашел своеобразную Арину. Троцкий здесь только — линия, итог, черта.

В признании верховных прав «бабищи» Бабель не так непосредственен, как это может почудиться с первого взгляда. Художник—сам большой мечтатель. Альфредовское начало ему совсем не чуждо. В том же рассказе о Керенском писатель восклицает: «О, Гельсингфорс, пристанище моей мечты!». К своей мечтательности он возвращается не раз и не два в «Конармии»: «Душа, налитая томительным хмелем мечты, улыбалась неведомо куда»... «и я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч»... «Сведенный с ума воспоминаниями о мечте моей»... «меня томит густая печаль воспоминаний» и т. д. Путь сладостных легенд, мечты Бабелю, по всему видно, хорошо знаком. Здесь нужно искать истоков лиризма Бабеля, его эстетизма, за который кто-то уже назвал его полу-декадентом. Бабель — не декадент. Но правда в том, что мечтатель сталкивается в нем с реалистом, ощутившим глубокую правду непосредственной, реальной жизни, может быть, грубой, но полнокровной и цветущей. Столкновением этих противоположных эмоций и настроений питаются основные,

движущие мотивы его творчества, при чем реалист в Бабеле решительно побеждает мечтателя. В рассказе «Пан Аполек» художник признается: «Я дал тогда обет следовать величественному примеру пана Аполека... И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения—я принес их в жертву новому богу». Величественный же пример Аполека состояла в том, что он, будучи художником-иконописцем, отвернулся от традиционной церковности и начал писать «святотатственные» иконы по польским деревням и местечкам, где натурщиками и натурщицами были окрестные крестьяне, бедняки, голь, проститутки. Их он награждал семейными иконами; в Исусах и Мариях они узнавали себя и поклонялись естеству своему. За право писать так иконы Аполек вел отважную войну с иезуитами и католической церковью. Он же рассказал автору апокрифическую легенду об Исусе, который спал с Деборой, новобрачной, лежавшей в блевотине, так как она не могла перенести брачной ночи с женихом. Позор падал на нее и родителей ее, и Исус, полный сострадания, лег с ней и спас ее от позора.

Обет следовать примеру Аполека Бабель выполняет пока в точности: подобно Аполеку он в перл создания возводит естество человека, он пишет о правде «бабищ» Арин и Ксений, о правде Афоньки Биды, о торжестве жизни в моменты смертных боев. Ибо он знает, что Арины и Ксении плодоносные производительницы жизни, а в Альфредах «много забавы, но нет серьезности», ибо нужно гордиться естеством человеческим, и в презрении к грубой бабище-жизни, в стремлении создать подобно Иегове из себя замкнутые мирки поистине только «хула и барский гнев» Альфредиков и зрителей без бинокля.

Творчество Бабеля противоположно и враждебно той нашей литературе, которая господствовала в эпоху реакции после 1905 года. Не так давно Зинаида Гиппиус (Антон Крайний) на страницах эс-эровских зарубежных «Современных Записок» заявила, что, по ее мнению, послеоктябрьские советские писатели являются «непристойными гадами». Вполне понятно: некто иной, как Мережковский, Гиппиус и Философов, в свое время тащили литературу из языческой, материалистической, атеистической, социалистической скверны в горние высоты христианнейшей духовности, пока не ляпнулись сами в ржавое болото белой эмиграции. И теперь у нас еще немало им подобных. В искусстве они прикрываются разговорами о божественном происхождении искусства, о том, что искусство не соприкасается с политикой, что форма самодовлеюща и т. п.

Бабель намеренно берет самые грубые, неотёсанные куски жизни; он подчеркивает «вонючее мясо», пишет «о солдатне, пахнущей сырой кровью и человеческим прахом». Такое подчеркивание, может быть, в известных пределах совершенно необходимо и оправдано как особый художественный прием, но, думается, писатель порой злоупотребляет им, особенно в своих сказках; получается впечатление утрированной грубоватости. Бóльшую умеренность писателю надлежит соблюдать и в использовании для художественных целей «случаев» и «эпизодов», которые нельзя иначе квалифицировать

как патологическими в области пола. Такие места как сон в «Замостье», сюжет рассказа «В щелочку», рассказ о Деборе и Исусе оставляет привкус патологии. И хотя Бабель осторожен и знает, где надо поставить точку, лучше бы таких мест избегать. Мы далеки от того, чтобы не вводить в искусство тем, считавшихся раньше в мещанских кругах непристойными и безнравственными, но в вопросах пола сейчас следует соблюдать сугубую осторожность, так как у нас здесь много тревожного и ненормального. Старые «устои» рухнули, а новые... они еще все впереди. В быту, в частности в вопросах пола и семьи, мы переживаем что-то вроде перехода от 1917 года к 18-му. Это обстоятельство большинство наших молодых художников не учитывает и плывет по течению.

III.

Переходим к «Конармии». Как редактору «Красной Нови», в которой печатается Бабель, автору статьи пришлось выслушать ряд самых жестоких упреков от некоторых виднейших военных работников в Красной армии. Правда, другая часть присутствовавших при этих спорах отзывалась о рассказах Бабеля совсем иначе. Писателю ставили в вину, что в его миниатюрах дана не конная армия, а подлинная махновщина, что местами — это пасквили и поклёп на конармию, что так может писать о нашей армии только белогвардеец и заведомый контр-революционер и т. д.

Подобные упреки основаны на целом ряде недоразумений. «Конармия» Бабеля не преследует непосредственно агитационных целей. О нашей армии писали почти исключительно в митинговом духе. И этот тон был единственный и допустимый в условиях, в которых находилась республика советов. Самая тщательная осмотрительность должна сохраняться и по сию пору, но все же относительно мирный период развития дает некоторые возможности и для иного подхода, когда с художника можно требовать не только любви и горячей преданности к Красной армии, но и художественно-правдивого изображения ее. Агитационный подход верно говорил о нашей армии, но он не углублялся, не изучал художественно быта нашей армии. В «Конармии» Бабеля есть такие бытовые подробности, которые раньше освещались мало: разгром раки св. Валента, Кудря, резавший еврея, эскадронная дама Сашка, мстительный Прищепа, баловство «для смеху» казаков над «пешками» в окопах и т. д. Делать отсюда выводы о политической вредоносности рассказов Бабеля, не вводя эти подробности в общее художественное мировосприятие писателя, значит из-за деревьев не видеть леса.

Далее. «Конармия» Бабеля не есть конармия Буденного. Писатель не имел в виду дать всестороннюю художественно точную эпопею действительной конармии, путем выделения основного ее духа и свойств, как это, например, сделал Л. Н. Толстой в «Войне и мире» в отношении к тогдашнему обществу и тогдашней армии. Конармия Бабеля нигде не дерется. Мы не видим ее в боях. Писатель упоминает об атаках, но не показывает их. «По знаку начдива мы пошли в атаку, в незабываемую атаку при Чесниках».

И точка. Нет также конармии как массы, нет этих тысяч вооруженных людей, двигающихся лавами, с особым, ей только свойственным коллективным духом, с психологией, с бытом. У Толстого есть Кутузов, Пьер, Андрей Болконский, но есть и армия в боях, на отдыхе, в наступлении, в отступлении. У Бабеля в сущности конармии нет, она у него атомизирована, рассечена. У Толстого Кутузов и Наполеон, Денисов и Андрей связаны с армией органически, в них — ее быт, «стиль», дух и т. д. Герои Бабеля — сами по себе; они в конармии, но органически с ней не связаны. Нет поэтому ничего случайного в том, что Бабель выбрал форму самостоятельных, легко распадающихся фрагментов, числом около 30-ти, как нет случайного в том, что для выполнения своих художественных целей Льву Николаевичу понадобилась четырехтомная эпопея: и тот и другой поставили себе различные художественные задания. Толстой дал синтетическую, полную картину русского общества и армии 1812 года снизу доверху, Бабель ограничил себя тем, что из конной армии выбрал и воссоздал ряд типов, лиц, случаев для того, чтобы с их помощью, в образах выразить свое художественное мироощущение. Эти лица, случаи, события он описывал не всесторонне, выделяя типическое, а брал их только с одной какой-нибудь стороны. Толстой действовал прежде всего, хотя и не исключительно, как художник-наблюдатель. Бабель — как импрессионист, хотя у него реалистический глаз наблюдателя — силен всюду. Поэтому все указания на то, что в «Конармии» Бабеля нет подлинных коммунистов, сковавших армию пролетарской дисциплиной, что, помимо эскадронных дам Сашек, в конармии были иные и не дамы, и не эскадронные, а товарищи, что армия не показана в боях и т. д., — все эти и подобные указания могут быть верны, или неверны, или отчасти верны, но бьют мимо цели. Люди, ищущие у Бабеля толстовского подхода, пред'являют писателю вексель, который он не подписывал и не выдавал, и требуют от него того, что совсем не входило в его художественные планы.

Что же в таком случае было и есть в этих планах?

Бабель, как это очевидно из его миниатюр, прошел в конармии суровую и здоровую школу. Конармия научила его ценить правду, истинность, справедливость, непреложность и самоценность «бабищи»-жизни в противовес мечтательной отвлеченности. Здесь он увидел, что правда Афоньки, Балмашева, Сашки неизмеримо выше правды «зрителей без бинокля», Альфредов и Альфредиков. Скорее всего в конармии решился спор между Бабелем — мечтателем и идеалистом и Бабелем — язычником, и «непрелестная и мудрая жизнь пана Аполека» заставила писателя дать обет следовать его примеру и прославить естество человека, а эта немудрая и простая жизнь «солдатни» — Мельникова, Тимошенки, Лёвки, Афоньки и других.

Типы, изображенные Бабелем в «Конармии», весьма разнообразны, особенны, свежи. Бабель не повторяет пройденного, не твердит задов, не подновляет старого. Он — новатор, он — самостоятелен. Полной пригоршней берет он из виденного и слышанного. Обрисовки Бабеля, повторяем, импрессионистичны, и этого никогда не нужно забывать; он оттеняет одну-две основных черты в типе, в образе, в картине, оставляя остальное в тени, в стороне,

неосвещенным, но подчеркивает он всегда четко. Его Долгушевы, Балмашевы памятны. Несмотря, однако, на все разнообразие и неповторяемость, на самобытность и особенность, у всех его персонажей есть общее. Они не случайно попали на страницы «Конармии». Как своеобразно и странно на первый взгляд ведут они себя на одном из самых заостренных фронтов гражданской войны! Чем они живы, о чем думают, какие побудительные мотивы двигают ими, заставляют «геройски рубаться»? Афонька Бида мстит полякам за то, что они у него убили лошадь; он не знает покоя, пока не добывает у них себе другой доброй лошади, оставив кровавый след в польских деревнях. Командир эскадрона Мельников готов выйти из рядов коммунистической партии из-за лошади, взятой у него Тимошенкой, в партии он все-таки остается, но конармию покидает. Политкомиссар Конкин со Спирькой охотится за польским штабом и выдерживает бой с 8-ю поляками, чтобы добыть барахло «для ребятишек», и при этом острит еще: «помрем за кислый огурец и мировую революцию». На глазах у кучера начдива Лёвки умирает Шевелев; Лёвка почти на виду у Шевелева насилует его любовницу Сашку, но всецело поглощен заботой доставить матери Шевелева за Тереком «одежду, сподники, орден за беззаветное геройство». Прищепа огнем и мечом истребляет родную станицу за то, что станичники при белых разграбили его имущество. Эскадронная дама Сашка во время боя занята случкой своей лошади с жеребцом. Семен Курдюков мстит за брата отцу своему и «кончает» его. Эскадроны атакуют поляков, и «великое безмолвие рубки» слышно над полями, а бок-о-бок идет своя обыденная, торжествующая, немолчная, неугасимая, исконная, древняя жизнь с жеребцами, с женщинами, с любовью, с барахлом, со сбруей, с полтинниками, с обозами, с ограблением костелов. При чем же здесь социальная революция, коммунизм, III Интернационал, республика советов? Новая это армия, революционная или старая, всегда жившая жеребцами, кобылами, маркитантками и барахлом? А между тем художник как будто нарочно заставляет своих героев эту «жеребятину» сопрягать и соединять с коммунизмом и с мировой революцией. Письмо Мельникова о выходе из партии начинается высокопарными словами о задачах ком. партии, и тут же он пишет: «Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян», а в другом письме, к Тимошенко, он шлет ему «вместе с трудящей массой Витебщины пролетарский клич: даешь мировую революцию» и желает, «чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы»... Курдюков путает в письме к матери московскую «Правду», родную беспощадную газету «Красный Кавалерист» с рябым кабанчиком и с лошадью Степкой. Балмашев убивает женщину «из винта» во имя блага социальной революции, и есть смысл в остроте Конкина: «умрем за мировую революцию и кислый огурец», а Афонька Бида зверски издевается над дезертиром дьяконом, как над изменником республики советов. Может почудиться, что художник только иронизирует, сопоставляя мировую революцию с «жеребятиной». Но это не так. В письме Мельникова к Тимошенко, в рассказах Конкина и Балмашева, в действиях Афоньки вы чувствуете подлинный революционный пафос, и не даром они «беспощадно рубаются с подлой шляхтой».

И жеребятина и мировая революция — все это очень серьезно. От коммунизма Афоньки очень далеки, но трудовая жизнь, но прошлый панский и барский гнет, война и революция научили их искать своей правды, своей справедливости. О, они совсем не «серая скотинка» старого времени, не идущая дальше жеребятины! Их жизнь, их борьба, их смерть окрашены жаждой правды и справедливости на земле. Понимание этой правды — смутное, туманное, отвлеченное, но крепко засевшее в голову. Они почти все правдоискатели: Сашка Христос, Балмашев, Левка, Мельников, Сашка Эскадронная, Афонька, даже Курдюков, даже Кроль из «Одесских рассказов», даже Конкин, «обиженный» махновцами. «Сырая кровь солдатни» с их прахом для них совсем не то, от чего стараются с презрением и с «барской хулой» отвернуться надзвездные мечтатели и эстеты, а свое, родное, кровное, живое, праведное и непреложное. Белые жеребцы и барахло, сподники и одежда, это ведь—человек и жизнь его, и когда закон жизни нарушают, это ощущается как неправда. Тут не тупая жадность и привязанность к вещам, а настоятельное требование восстановить правду жизни. Поэтому белый жеребец фигурирует рядом с ком. партией и Конкин острит о мировой революции и кислом огурце. В конце концов правдоискательство их отвлечено не оттого, что лишено конкретности, наоборот, оно все земное, а лишь оттого, что оно смутно, инстинктивно.

Бабель не подкрашивает своих героев. Он рассказывает о погроме костела, о расправах и убийствах, обо всем, что в известных кругах принято называть зверством, хамством, животной тупостью, дикостью. Но сквозь жестокость, видимую бессмысленность и дикость писатель видит особый смысл, скрытый, правдоискательство. И эпизод, случай, лицо получают новое освещение. Ни беспредметного зубоскальства, ни легковесной иронии, ни обывательского подхихикивания, ни барского и интеллигентского чистоплюйства нет и в помине. Балмашев Никита в письме в редакцию описывает, как он сначала принял женщину в вагон с ребенком и оберегал ее, как мать, от насилий со стороны товарищей, а когда узнал, что, вместо ребенка она везет соль, выбросил ее из вагона и пристрелил:

«И увидев эту невредимую женщину и несказанную Россию вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики» («Соль»).

Прищепа опустошил родную станицу за убийство родителей и за расхищение имущества. Он старательно собрал расхищенное, расставил отбитую мебель в прежнем порядке, а потом сжег все, пристрелил корову и сгинул в конармии, ибо он искал не мебели, а своей правды. Туп и животен подросток Кикин, сетующий, что ему не дали воспользоваться случаем, когда махновцы насиловали еврейскую девушку Рухлю, но и он ищет своей правды, как ни отвратительна она: «вот народ рассказывает за махновцев, за их геройство, а мало-мало соли с ними поешь, так вот оно видно, что каждый камень за пазухой держит». То же самое и в других рассказах. Афонька ищет в жестоких расправах утоления своей жажды правды, Лёвка тоже по-своему справедлив в хлопотах об «исподниках» Шевелева, Мельников ратует во имя поруганной, по его мнению, справедливости. «Коммунистическая партия,—пишет он,—основана, полагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых». А вот описание смерти телефониста Долгушева, замечательное по своему столкновению двух миропониманий, одна из лучших страниц в «Конармии»:

«Человек, сидевший при дороге, был Долгушев, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что, — сказал Долгушев, когда мы под'ехали, — я кончусь. Понятно?

— Понятно, — ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушев строго. Он сидел, прислонившись к дереву, сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли по коленям, и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что.

— Нет, — ответил я глухо и дал коню шпоры.

Долгушев разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво.

— Бежишь, — пробормотал он, сползая, — беги, гад.

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрей, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем, — закричал он весело, — что у вас тут за ярмарка? — Я показал ему на Долгушева и от'ехал.

Они говорили коротко. Я не слышал слов. Долгушев протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушеву в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и под'ехал к казаку, — а я вот не смог.

— Уйди, — ответил он, бледнея,— убью. Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошки мышку.

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона, — закричал сзади Грищук, — не дури. — и схватил Афоньку за руку» («Смерть Долгушева»).

Здесь каждая подробность содержательна и полна глубокой значительности: строгое, смертное требование Долгушева, не пожелавшего, чтобы шляхта «сделала насмешку», суровая, беспощадная жалость Афоньки, ни на минуту не усумнившегося в том, что надо делать, интеллигентское, жалкое «не могу», растерянность, испарина по всему телу и этот взведенный курок, который готов был спустить Афонька в «очкастого», и его презрение и бешенство! Новым светом освещается фигура Афоньки с его «злым и хищным следом разбоя», с его пониманием справедливости, его жалость. Да, эта самая бабища-жизнь столкнулась с мечтательным, с отрешенным идеализмом и чистоплюйством.

Бабель глубоко заглянул в народную толщу Афонек и там даже под покровом жестокостей увидел правду их жизни, непреложной, как роса, воздух, солнце, море, горы. Считать художника близким к какой-то контрреволюции на том основании, что он не дал настоящих коммунистов, значит пройти мимо основного содержания его творчества. Бабель больше наш, чем многие иные, старательно наклеивающие на свои вещи ответственный ярлык коммунизма и пролетарского искусства.

Художник не оправдывает подвигов Прищеп и Афонек, он об'ясняет средствами и способами, имеющимися в его руках, как художника; он следует мудрому завету Спинозы: «не плакать, не смеяться, а понимать».

Но ведь его Афоньки и Прищепы — махновщина? Не в этом плане нужно рассматривать рассказы Бабеля. Об этом уже говорилось выше. Если же посмотреть на них в этом разрезе, то нужно сказать, что махновщина была одно, а это другое: крестьянская стихия, плохо ли хорошо ли, но руководимая своеобразными понятиями о социальной революции, о коммунизме. Стихия эта была обращена на потребу и на победу коммунизма.

Здесь говорилось об основном стержне «Конармии». Но, конечно, она цветистей и разнообразней. У нее, как у большого здания, много пристроек, боковушек. Впрочем, многое тут пристройками и назвать нельзя. Бабель сосредоточил внимание на Балмашевых и Афоньках, но у него есть и истинные руководители конармии, те, кто держал Афонек в узде и дисциплинировал их. Таков Тимошенко в своем ответном письме Мельникову. «Коммунистическая наша партия,—писал он,—есть, товарищ Мельников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутка, а победа или смерть». Сказано прекрасно, и все письмо от строчки до строчки написано о том, как «из железа вытекает кровь». Таков отчасти Мельников, сын рабби Илья, единственный протянувший руку за листовками Троцкого в беспорядочно отступающей мужицкой толпе. Таков еврейский юноша в очках, командовавший пехотой, составленной из местных крестьян. Буденный и Ворошилов показаны эпизодически. Следует пожелать, чтобы художник в следующих миниатюрах усилил свою «Конармию» Тимошенками: они у него удаются не хуже Афонек.

Старое, отживающее и уже отжившее в столкновениях с новым изображены в рассказах «Берестечко», «Рабби», «Гедали». Образ Гедали, талмудиста, мечтающего о «сладкой революции» и IV Интернационале, превос-

ходен: «и я хочу интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории».

Конармия изображена в период польской кампании и обвеяна местечковым, западным пограничным бытом, сложившимся из недружного сожительства польского шляхетства и крестьянства с их костелами, замками Рациборских, приниженным сельским трудом, и еврейского отсталого и затхлого мещанства с хасидизмом, пейсами, с традиционными хедерами и субботами, с контрабандой, грязью и нищетой. Этот быт является основным фоном «Конармии».

Еврейское мещанство художник умеет показать. Это он доказал также и «Одесскими рассказами», серия которых, впрочем, еще не закончена и скорее только начата. Героем в них является Беня Крик, Король, исторический в некотором роде и многим памятный налетчик «Мишка Япончик». Помимо налетов он принимал деятельное участие в самообороне, защищавшей одесских евреев от царских погромов, а позже боролся с белыми и был ими расстрелян. Над «Одесскими рассказами» витает особый дух Молдаванки, странная смесь бандитизма и местечкового мещанства: торговки «тети Песи», «аристократы» и богачи Тартаковские и Эйхбаумы, раввины и приказчики образуют с бандитами свой мир, с особым бытом, с правилами и этикой. Сам Король — причудливое сочетание этого молдаванского мещанства, бандитской смелости, изумительной изворотливости и ловкости. Писатель и здесь остался верным себе. В налетчике Бене он обнаружил правдоискателя и даже боль «за трудящийся класс». Сквозь шутовскую бандитскую маску, проделки и налёты в соединении с непроходимым мещанством он разглядел истинно-человеческие черты, борца и протестанта, искривленного, но тянущегося к своей, пусть бандитской, правде. «Одесские рассказы» поэтому вполне соответствуют основным мотивам рассказов Бабеля.

Герои Бабеля всегда в движении, в действии. Бабель прекрасно владеет диалогом. Действующие лица говорят у него своим языком, в диалоге нет литературщины, стилизации. Это не подделка, а настоящее, художественно подлинное, то, чему верят. Беня Крик—один из самых живых, выпуклых и свежих типов у Бабеля. Он — несомненно крупное художественное открытие, как и Афонька, Балмашев, Мельников, Гедали.

Темой творчества Бабеля является Человек с большой буквы, человек, под влиянием революции пробудившийся в самых низовых народных толщах. Диапазон дарования Бабеля чрезвычайно широк. Он одинаково чувствует себя сильным и тогда, когда пишет о Молдаванке, о Бене, о Тартаковском— и тогда, когда изображает Афоньку, Лёвку, Сашку, Тимошенко, Гедали, пана Аполека. У нас, как, вероятно, и всюду, писатели делятся на национальных и интернациональных. Сейчас у нас национальны Пильняк, Всев. Иванов, Есенин, Сейфуллина, Леонов и др. Понятие «национальный» употребляется здесь не только и не столько как система мировоззрения, политического credo, а как способность в разной обстановке и в инаком культурном быту художественно ориентироваться и питать свой талант. Перенесите Есенина

в Америку, он захиреет, увянет и,что важнее всего, ничего там художественно не воспримет и не даст, как это на самом деле и случилось с ним при его «путешествии» «по европам». С этой точки зрения Бабель—писатель безусловно интернациональный. Природа его таланта такова, что он в Америке сможет писать американские рассказы, в Одессе — одесские, в конармии конармейские и т. д. В России это качество в среде писателей редкое: наше искусство в этом смысле мало европеизировано. И это свойство очень ценное особливо теперь, ибо национальные рамки давно стали непомерно тесны, ограничены, условны и явно отстают от жизни. Правда, в пролетарской поэзии у нас одно время интернационализм решительно преобладал, но он был головной, программный, отвлеченный, не облеченный в плоть и в кровь конкретной действительности. Бабель конкретен, он не бытовик доброго старого времени, но хорошо знает цену бытовому колориту; быт у него никогда не выдвигается на главное место, но его «аромат» разлит всюду: в Афоньках, в Бене, в диалогах, в описаниях и т. д.

Бабель — очень большая надежда русской современной, советской литературы и уже большое достижение. Дарование его чрезвычайно. Будем надеяться, что он будет достаточно строг к себе, не попадется на легкую удочку первых успехов. Залог тому то, что он не только одарен. но культурен и умен.

II. Л. Сейфуллина.

В статье «Об искусстве» Л. Н. Толстой вспомнил про один поучительный свой разговор с Гончаровым:

«Помню, как писатель Гончаров, умный, образованный, но совершенной городской человек, эстетик, говорил мне, что из народной жизни после «Записок охотника» Тургенева писать уже нечего. Все исчерпано. Жизнь рабочего народа казалась ему так проста, что после народных рассказов Тургенева описывать там было уже нечего. Жизнь же богатых людей, с ее влюблениями и недовольством собой, ему казалась полною бесконечного содержания».

Мнение Гончарова нельзя об'яснить тем, что он был городским человеком, но оно, действительно, чрезвычайно поучительно. Взгляды, аналогичные взглядам Гончарова, являлись преобладающими в нашей отечественной литературе прошлого. Жизнь состоятельных, образованных классов «с влюблениями и недовольством собой» служили основной темой для поэтов и прозаиков и, наоборот, жизнь «рабочего народа» занимала подчиненное место. Вторжение в нашу литературу разночинной интеллигенции, революционного народничества, марксизма заметно усилила народную струю в художестве, но не могло установить нормального равновесия. Помимо этого, в народной литературе, или, вернее, в литературе о народе — народ, т.-е. почти исключительно крестьянство, рассматривался либо с «сострадательной» точки зрения (Некрасов), либо его идеалистически подкрашивали (народники), либо, наконец, изображали главным образом со стороны «идиотизма» деревенской жизни (Чехов, Бунин). Изображение народной, крестьянской жизни во всей

сложности, со всеми ее радостями и печалями мы находим только у Л. Н. Толстого, Г. И. Успенского и отчасти у Короленко.

Еще позже, когда широкие интеллигентские круги повернулись спиной к революции, в годы реакции господствовавшая тенденция в литературе была такова, что рабочих и крестьян стали квалифицировать как хамов, нечистоплотных животных и даже как апокалипсического зверя. Торжествовали творцы поэз, упадочники, сладострастные слюнтяи, загробные заумники, мистики, пессимисты и пр. Иное отношение к народу, отражавшее крепнущую революцию, тогда литературной погоды не делало.

Естественно, что новая послеоктябрьская литература своим главным об'ектом сделала народные массы. И в первую голову крестьянство. Рабочий, главный герой революции, пока еще ждет своих писателей, но о крестьянстве у нас уже есть талантливые произведения. На литературе этой есть еще немало старых наслоений, груза, пережитков, подражательности худшим образцам, всякого трюкизма, голого эстетизма, но основная тенденция у нас народная и отчасти интеллигентски-народническая.

Животворное веяние Октября сказалось, однако, не только в том, что жизнь трудового человека стала в об'ективе художественного творчества молодых советских писателей, но и в самом подходе к этому трудовому человеку, в изображении его. Одним из самых примечательных явлений в этом смысле служит творчество Сейфуллиной.

Сейфуллина исключительно послеоктябрьская писательница и по началу своей литературной деятельности, и по содержанию, и по характеру, и по направлению этой деятельности. Пишет она о крестьянстве, интеллигенции и детях в революцию. Пока ею захватывается первый период Октябрьской революции, годы 18-й, 19-й, отчасти 17-й в Сибири и в Оренбургских степях. В этом она сродни сибиряку Всеволоду Иванову. Но у Всеволода Иванова Сибирь экзотична. О ней и людях ее читаешь как об Австралии. В Сибири Всев. Иванова преобладает восток, Азия, сопки, пески, степи, ковыль; его Сибирь глядит узкими, раскосыми глазами, у нее желтое лицо, крепкие выдающиеся скулы. Она разноцветная и пестрая, дикая и первобытная, приключенская, романтическая. Сейфуллиной Сибирь более нам близкая; ее зимы и вьюги напоминают наши, ее мужики схожи с рязанскими и тамбовскими, ее деревня, обычная, аржаная, сермяжная, овинная, деревянная Русь. Областной сибирский колорит придают вещам Сейфуллиной кержаки, язык сибирской деревни, эпизодически появляющиеся киргизы, начало колчаковщины, чистые и прозрачные, как море, озёра. Но это не выдвигается на первый план. В центре стоит деревня и город во дни первых решительных октябрьских побед и начинающейся гражданской войны. У Всев. Иванова, далее, сибирский крестьянин изображен в период красного партизанства, в боях, в восстаниях, в гибели; он уже практически, на своем горбу и хребте испытал, что такое колчаковщина, получил несколько незабываемых уроков. Колчак преподал эти уроки не только середняку и темному бедняку, но и состоятельному, хозяйственному крестьянину. Поэтому в отрядах Всев. Иванова верховодят, начальствуют Вершинины, Селезневы, кряжистые, солидные, рачитель-

ные хозяева, сорванные с насиженных мест. У Сейфуллиной деревня изображается на месте, изнутри, в жестоких столкновениях бедноты и зажиточных, в ломке старого уклада, в первое весеннее половодье. Лед только сломан, и река забурлила и понеслась. Ее деревня еще не знает режима «верховного правителя». Она накануне его. То, что у Сейфуллиной является эпилогом, у Всев. Иванова служит завязкой повести, рассказа, романа. У ней упрямые, домовитые кержаки не только не идут в партизанские отряды вместе с беднотой, но являются пока опорой для будущей и наступающей колчаковщины. Они прижаты беднотой, советской властью. В деревне хозяйничают Софрон, Редькин, Антон Пегих, Павел Суслов, солдаты, вернувшиеся с фронта, солдатки. Они плоть от плоти, кость от кости деревни, земли, поля, — здесь росли, здесь и помрут, но это — не старая, подслеповатая, поповская, забитая деревня, ломавшая шапку пред урядником и не прижимисто-кулацкая, а новая, мятежная, хмельная первым хмелем революции, поднявшаяся и впервые почувствовавшая свою силу. В новой обстановке ей приходится действовать наощупь, в потемках, наугад, больше инстинктом, чем разумом. Софроны предоставлены самим себе. Они культурно и политически одиноки, хотя их и много, хотя за своей спиной они чувствуют свою власть. Они одиноки в проведении начал новой жизни на практике у себя в деревне, должны «доходить» до многого и важного своим умом. Город далеко, местная интеллигенция совершенно чужда и враждебна бедняцкой революции. Есть почти звериная злоба исконного податника, есть вековечное недоверие ко всему барскому, к тому, что росло на мужичьих хлебах, есть сознание, что старому пришел конец, что пришло время «заовражных», «нечо валандаться, прикрутить богатеев», что нужно культурно подняться, а дальше, как, к чему, каким образом — тут все темно, нет руководителей, пути ясно не видать. Оттого Софрон записал почти все село в партию большевиков: «Эй, беднота, заовражники, двигайся. Которые не запишутся, нет им земли». Записывал: мужиков отдельно, «бабу для счета, отдельно. Теперь для их права вышли». Устроил библиотеку, но приказал сжечь Пушкина, принял громоотвод над домом доктора за аппарат для сигнализации казакам и убил его. И в то же время уже потянуло к городскому прянику. История увлечения Софрона учительницей передана психологически верно и тонко. Так бывало и бывает. Полюбил за чистоту, за кисейность, за то, что она воплотила в себе в глазах Софрона новую непохожую жизнь, за то, что была не похожа на деревенских женщин. Если бы весь этот художественный материал обработал скулящий и хихикающий обыватель, или белый, полубелый зарубежный мережковствующий писатель, сколько было бы излито благородного и благороднейшего, культурного и культурнейшего негодования по адресу тех, кто дал волю «самым разнузданным инстинктам темной массы»! Сейфуллина не оправдывает, «не принимает», не скрывает, не подкрашивает; ей это не нужно, ибо для нее Софроны свои, родные; она видит, как жизнь свою они кладут беззаветно и неоглядно за торжество угнетенного труда, как впервые не умом, а всем нутром своим они стали выпрямляться, почувствовав, что теперь «наша власть».

«Артамон Пегих допрашивал:

— Этта самый Ленин и есть?

Софрон гордо, как своего знакомого, представил:

— Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Артамон голову на бок, губами пожевал:

— Ничо, башка уемиста, мозговита. И глазами хитер. Волосьев только на голове мало.

Софрон заступился:

— Ты столь подумай, сколь он, и у тебя волос вылезет».

Софрон убил доктора, заставлял богатого начетчика кержака Кочерова ходить под окнами и собирать людей на собранье, отобрал у него дом, машины, хлеб. Но Кочеровы и Жигановы, когда позже при казаках настал их момент, ставили «отметины» шилом на спине у Софронов — двести отметин за двести пудов хлеба. Софроны искали новой жизни и ради нее они пришли к лозунгу: «бей их всех, сволочей». Жигановы радели о пудах. Софрон усвоил лозунг «бей их» не сразу. Он пережил тяжелое разочарование, обиду, нанесенную ему учительницей Антониной: «Увидел Софрон: тянулся в плен к чистеньким господам, а в них правды нет. Защиты от них не будет. Издали только приманчивы». Мечтал о чистом, о весеннем, о праздничном, а увидел только наружную «приманчивость», трусость, глубокую, припрятанную барскую брезгливость, продажность. И все они тяготеют к богатым. Доктор, убитый зря по нелепому подозрению, тянул все-таки к богатеям-крестьянам: принимал от них приношения, был к ним особливо внимательным.

Писательница хорошо понимает незрелость, условную революционность, ограниченность деревенской заовражной стихии. Когда в ближайшем уездном городке «деревенские всех отшвырнули и били истово, сильно, деловито» купцов на улице за муку, они сгоряча «за компанию» чуть не расправились с членом военно-полевого штаба. Высокий, спокойный человек, осилив стихию и уговорив «заовражных» разойтись, думал:

«Могли спрести! Устали уж, насытились. Деревенское зверье работало здорово. Д-да, стихия. С этими еще придется и нам хлебнуть... да...»

Деревня Софронов, Пегих, Редькиных, бедняцкая протерла только глаза. Она охвачена буем и хмелем революции, первым порывом. Наполовину она еще в прошлом, ибо неграмотна, темна, суеверна, с узким кругозором и руководствуется часто инстинктом только. Тем более она не знает, куда ведут новые пути, каков он и каковы препятствия. В этом смысле Софроны — перегной, удобрение для новой свежей поросли. «Господи батюшко, прими дух большевика Артамона», молится на восток Пегих перед тем, как его полуживого закопали в землю казаки и кержаки. В этих простых, трогательных эпических словах не одно смёртное, последнее целование земли, они звучат как эпитафия над деревней, поднявшейся и унавозившей родимую землю для грядущих поколений. Недаром Иван Лутохин сказал после порки, застегивая порты:

— Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавозили.

Софрон не умеет подойти к приехавшему из города инструктору, не может выжать из него то, что ему нужно и над чем он бьется в одиночку, во тьме, а вот его сынишка 12-летний «Ванька» неожиданно для Софрона того же инструктора засыпал самыми разнообразными вопросами, а после поездки в город и коммунальной уборки сена с помощью реквизированных машин, тот же Ванька вдруг сказал отцу:

— Помнишь, городской-то приезжал зимой. А правду ведь он сказал: Отменить деревню надо. Чтобы как город была, с машинами. Покос от машины какой всему селу собрали.

После смерти Софрона Ванька уехал в город. Это уже глянула подлинно новая деревня, не перегной, не навоз, а будущее, и теперь уже настоящие сознательные, активные строители республики советов, кто наполнил рабфаки, школы, Красную армию и пошел нога в ногу, плечо о плечо с мускулистым хозяином.

Сейфуллина — бытописательница не деревни вообще, суммарной, не сибирского или оренбургского мужика, а деревенской бедноты, впервые реально ощутившей свою силу. В этом ее первая особенность как художника. Она сумела сделать Софронов и Артамонов не только жизненными, правдивыми, убедительными, она приблизила их к читателю с редким умением и силой: они свои, родные, близкие. Это оттого, что она повествует о Софронах не как опытная, знающая деревню наблюдательница со стороны, извне, а как человек, в жилах которого течет кровь тех же Артамонов; она восприняла их уклад, их горе и радости в себя, всосала с молоком матери. Это кровное. Тут все понятно с первого слова, с намека, каждая вещь видна до дна, каждый человек, как из семьи своей. Действительно, Сейфуллина будто вышла из семьи Софрона. Мне представляется, когда настанет время, а оно настанет, и скоро, и наша деревня начнет выделять писательниц и художниц подлинно из хат и без предварительного долгого отрыва и выучки в городах. они, эти художницы, будут писать так же, как Сейфуллина, ибо она сумела посмотреть на деревню глазами деревенской простонародной женщины, как сестра, как дочь Софронов. У нее даже язык, манера, стиль их:

«И опять по слову по Магариному вышло. Вторая пашня подходит, а здоровые мужики царевым делом маются. В своих хозяйствах — бабы, старики, из молодых — только телом неправильные, да чужаки нанятые. Которые из богатых откупились-было, но позабирали и их. Хоть не на самую войну, а все от дому».

Или: «все чаще наезжали из города учителя, агрономы и даже ученые барыни высказывать про Учредительное Собрание и про всякие партии. Книжечки, листики раздавали» («Виринéя»).

У нее свои, деревенские, любимые слова, свой говор: «нашинский, подсобный, думка, покор прописал, молёный, хоженый, приютный, изуроглый, сустрела, окстить, покорливый» и т. д. Это — не подделка, а естественное, простое, народное, далекое от дурного подражания: авось, надысь впере-

мешку с книжными фразами и постоянной утрировкой. Книжны у Сейфуллиной порой страницы, где разговаривают интеллигенты. Тут иногда веет книгой. В повестях же о деревне писательница нашла отменно простой и чистый язык. В таких вещах как «Виринея», «Перегной», у нее диалог по ритму, по языку вполне сливается с повествованием. Так рассказывают деревенские умные Дарьи, Акулины—бойко, ладно, складно, чуть-чуть скороговоркой, словно читает писанное. Образность получается сама собой, от нее не веет литературщиной, они — от жизни.

Сумев взглянуть на деревню глазами деревенской же женщины, Сейфуллина открыла там сложную, богатую и разнообразную жизнь, полную движения, драматизма, событий, — она нашла там резко очерченные индивидуальности, характеры и типы с большим внутренним содержанием. Повести Сейфуллиной наглядно показывают не только всю барственную вздорность мнения Гончарова, вспомянутого Толстым, но обнаруживают и однобокость, крайнюю условность изображений деревни Чеховым, Буниным и, кстати сказать, и Горьким. Читая вещи Сейфуллиной, особенно «Виринею» и «Перегной», невольно думаешь: как бесконечно далеко шагнула и изменилась жизнь на наших глазах. Мы все еще помним тургеневских самоотверженных девушек с их влюблениями и трагедиями, — отважных, жертвенных семидесятниц, помним чеховских сестер с их тоской и томлением — и под ними огромное, необозримое, молчаливое море людское, казавшееся ровным, одиноким и сплошным. О сплошном быте писал Толстой, Чехов, над сплошным бытом терзался Глеб Иванович Успенский. О нем говорили наши лучшие умы, начиная с Белинского вплоть до Г. В. Плеханова. Но сплошной быт издавна уже терял крепость своих устоев и наконец рухнул. Тургеневские девушки давно уже «все они умерли, умерли», умерли или дохаживают свой век чеховские сестры, нет Перовских. Вместо них — трусливо-приманчивые Антонины, озлобленная, тупая обывательщина, канкан, кокаин, ту-стэп, истерички, хватающиеся где-то за рубежом за фалды Керенского. А там, где, казалось, был один сплошной быт, тишина и невозмутимый покой, серое однообразие, — все кипит, бурлит, тянется, развивается, открывая миру могучую, разнообразную, цветистую, исподнюю жизнь. Происходит величайшее событие на Руси: впервые с невиданным размахом, ширью и глубиной в недрах миллионных масс формируется личность, индивидуальность трудового человека, раскрепощенного от сплошного быта. В коллективной борьбе, в единении, в солидарности, в дисциплине растет одновременно личность, свое, отличное. Вот она—настоящая «многогранность», о которой столь много толковалось в интеллигентских кругах, подлинная жизнь труда со своими влюблениями, со своей тоской и недовольством собой, со своими эмоциями и драмами! А у нас, теперь, еще находятся людишки, тянущие комариную зуду об одиночестве, о скуке, о суете сует во дни, когда сплошному быту нанесен смертельный и непоправимый удар! От тургеневских девушек и чеховских сестер жизнь шагнула к Виринеям! Недурно для начала!

Повесть Сейфуллиной «Виринея» на наш взгляд является лучшей из всего написанного ею доселе, и одной из лучших вещей в литературе после Октября. Сейфуллина растет, «Виринея» — очевидное свидетельство этого роста. В «Виринее» художница нашла себя больше и лучше, чем в других вещах; можно сказать — вполне нашла себя. Некоторая торопливость конца, обычный грех Сейфуллиной, не меняет дела. Образ «Виринеи» — нов, самобытен, широк, подкупающ от полноты жизни, которую вобрал в себя, и современен. Виринея полна до краев властных могучих зовов инстинкта, она сильна ими, полнозвучна, но это не подавляет в ней ни воли, ни индивидуальности. Наоборот, богатство и сложность ее натуры питается наличием в ней огромной жизненной силы. Она умеет постоять за себя. Она упряма, своевольна и своенравна, умеет сводить тугие брови, пряма до грубости и одновременно женственна, ибо ей нужно любить, родить и работать. Она—хмельная, непутевая, но и рассудительна и расчетлива, где нужно. Она — мать, любовница, сестра, подруга, товарищ, работница. И главное — в ней нет и тени от прославленной, воспетой и перепетой деревенской пассивности, как нет и интеллигентской худосочности, игрушечности, изнеженности. Виринея крутенька с деревенскими Анисьями за их рабью, самочью жизнь, но знает цену и господам. Она сама по себе, непохожая, со своей собственной стезей-дорогою. Выросла где-то на меже деревни и города, побывала тут и там, обтерлась, нагляделась, научилась грамоте, узнала цену чистой, господской жизни и высоким словам. Ей трудно найти «свою линию», но она находит ее вместе с большевиком Павлом Сусловым, возвратившимся с фронта с родное село. С ним она делит его новую беспокойную жизнь, заражается его чувствами и мыслями и умирает от белых, когда к ребенку «как волчица к волченку пробиралась».

Виринея — новый тип женщины на Руси. Она стала возможна только в нашу эпоху. Она свидетельствует о могучем росте личности трудового человека и, в частности, деревенской женщины, где сплошной быт был доселе особенно прочен. Женщина — цепко отстаивающая «свой ндрав», свою долю, и вместе с тем она — целиком русская женщина, словно впитала она в себя русский буй и хмель, своенравное сибирское непокорство и кержацкую крепость и твердость характера, деревенскую упористость и легкость в работе, непреложный закон земли—засеяться плодоносно и родить, и мягкую женственность неярких цветов, линий и красок Севера. Целые поколения интеллигенции по Наташам Толстого, по тургеневским девушкам и т. д. составляли себе образ любимых и искали их в жизни. Их место для новых поколений занимают Виринеи. Вот о чем говорит прежде всего «Виринея» Сейфуллиной.

Виринея — вполне реалистический тип, и в то же время она соткана из самых заветных, потаенных настроений и дум художницы. Она — ключ к творчеству Сейфуллиной, так как в ней наиболее полно раскрываются различные стороны ее художественного дарования. Ведь в ее вещах живет то же своевольное непокорство, любовь к крепкому суслу жизни, к ее хмелю, к

дурманности, — холодок ко всему «конючему», неискреннему, показному, к сухо и безжизненно - добродетельному, к головному и насильно напяленному на себя—и тяга «к творящей силе человеческого ума», к освобождению от гнета и рабства личности и жаркая жажда выпрямленной жизни. Ей близка и родна деревня, но она знает: «город погнал соки жизни в г о л о в у, заставил шириться ум человека и сделал его д е р з к и м и творящим в с е г д а». И она вместе с теми, кто перекраивает старую Русь согласно творящей силе ума. На этих чувствах «замешаны» повести и рассказы Сейфуллиной, и нет случайного в том, что она берет материал из года восемнадцатого: он наиболее удобен для нее.

На господскую «чистую» жизнь, на отечественную интеллигенцию Сейфуллина смотрит теми же глазами Виринеи. Виринея, разговорившись как-то с инженером, рассказала ему про свою жизнь у умных и образованных и демократичных людей:

«—*В редакцию каку-то ходили.* Книжки мне еще давали читать... Скучные книжки, про бедный народ... Маленько муторно с ими было, больно великатные... Только, гляжу, барин чаще ко мне на кухню, как барыня из дому... А барыня такая: по городскому—ничего, стеклышки эдак на шнурочке, кудеречки реденьки. Ну, а по-нашему: сохлая да конючая. И барин с ей ласков, а видно посдобней, повеселей чего хотел. Ну, и приметила. Не осерчала, виду не дала. А только раз пришла ко мне и говорит: «Виринея, давайте обсудим... Если, мол, тебе нужен — бери. Я, дескать сама уйду». Я говорю: он мне не нужен, а коли сумлеваетесь, рассчитайте... А она: «Нет, — говорит, — зачем расчет, давайте обсудим». И вот эдак раз двадцать все: обсудим. Ну, лучше бы она меня била, чем сосулить эдак. Плюнула я, да тишком рано утром от их ушла».

Эту «конючесть», рассусоливание, «обсудим», «шпыняние жалостными словами», показную, наружную «великатность», эту сухую добродетель без сердца, неискренность, отсутствие простоты и прямоты крепко не любит в «образованных господах» художница. Лев Николаевич Толстой однажды писал: «Почти все чувства людей нашего круга сводятся к трем очень ничтожным и несложным чувствам: к чувству гордости, половой похоти и тоски жизни». Но мелкие и ничтожные чувства прикрывались в этих кругах «жалостными словами» и «обсудим». Толстой был несравненный мастер по срыванию этих покровов. По этому же пути пошла и Сейфуллина. У нее немало этих «конючих». Конючи воспитательницы в «Правонарушителях»: «Тетя Зина всех голубчиками зовет; по головке гладит. Липкая. Самой неохота, а гладит. И разговорами душу мотает»; конюча Антонина в «Перегное» со взглядом чистым и с совершенно мелким нутром; инженер в «Виринее»— самец, распускающий павлиньи перья; барин Холодковский — с бельем и сервизами, с «гигиенической» любовью к 19-летней швее.

Русской интеллигенции, эс-эровской и эс-эрствовавшей в 17 году, Сейфуллина посвятила роман «Путники». Пока напечатана в «Сибирских огнях» только первая часть. Повидимому, роман обещает быть интересным, но он бледнее «Виринеи» и «Перегноя». У Сейфуллиной рассказы и повести

из интеллигентского быта вообще слабей крестьянских вещей: более книжный язык, суше фигуры, нет такой непосредственности; ее стихия родная — деревня. Главным действующим лицом в романе является идейный эс-эр Литовцев и его жена. Он тоже «конючий» в политике. Он не может примириться с Октябрем и с большевиками, для него Октябрь — злое наваждение, торжество разнузданной стихии. Он — чистоплюй, нагружен прекрасными, но отвлеченными принципами и органически не может переварить красногвардейщину, низовую октябрьскую повольщину. Про него верно говорит большевик Степан: «Тебе, любезнейший, твои прекрасные принципы застят живую действительность! А мы ею, действительностью, живем. Не боимся воплей о шкурничестве, о предательстве сепаратного мира»... А ставший близко к большевикам Лебедев, но не совлекший с себя ветхого интеллигентского адама, прибавляет: «Слушай ты, народник-интеллигент, ты долго был телефонистом у народа. Передавал ему прекрасные мысли, святые мысли, Но неужели ты сейчас не знаешь, что провода порваны? Не с кем говорить по телефону! Надо итти, бежать прямо к ним... А живых их голосов ты не слышишь»... Первый период борьбы Литовцева с коммунистами кончается тем, что он вынужден скрыться из города. Приходят казаки. Литовцев восторженно и искренно верит, что они восстановят власть Учред. Собрания. В романе не плохо очерчена худосочная, трусоватая, беспринципная, шатающаяся «семо и овамо» эс-эрствовавшая учительская среда, типичен учительский с'езд, учитель Завирыкин.

У Сейфуллиной есть и другого склада и закала интеллигенты. В том же романе «Путники», в противовес Литовцеву, выведен его старый друг, большевик Степан Типунов, председатель уисполкома; в «Ноевом ковчеге» — другой уездный председатель Шереметев. Они живут действительностью, у них и в помине нет «конючести». Очень верны воспроизведены дни, когда Типуновым и Шереметевым пришлось вести борьбу не только с белыми и с интеллигентским *чистоплюйством и с саботажем, но и с анархо-мужицкой стихией.* Мало того: пришлось эту борьбу вести в своих же рядах против своих же, отважных и боевых товарищей, но потерявших равновесие в первом хмелю революции. Степаны у Сейфуллиной изображены в полном соответствии с годом 18-м: упорность, твердокаменность, сконцентрированная воля, отсутствие интеллигентской резиньяции, дисциплина ума и чувства, деловитость, понимание динамики массовой борьбы, неспособность позировать, простота в геройстве и смерти — все на месте, но все же они далеки от живой теплоты и свежести, с которыми созданы Виринея, Софрон, Артамон. В Степанах все знакомо, художественных прибавлений нет. Такие вещи, как «Александр Македонский» — совсем незначительны.

С любовью, с большой чуткостью написаны Сейфуллиной рассказы из жизни детей. Лучший из них—«Правонарушители». Детская душа близка и понятна ей. И основные мотивы ее творчества в этих рассказах сохранены вполне.

Художественное дарование Сейфуллиной несомненно идет от Толстого и к Толстому. Ее свежесть и оригинальность в том, что она пишет, как писала

бы новая послеоктябрьская женщина-крестьянка новой деревни; она не извне, а изнутри наблюдает деревню. Такого подхода у нас еще не было. Прекрасное знание деревенского уклада, бытовых мелочей, языка и людей придают ее вещам художественную вескость и правдивость. По-толстовски Сейфуллина любит жизнь, в частности—жизнь, пахнущую землей, сеном и соломой, по-толстовски она ненавидит «конючесть» и фиговые листочки. Но непротивленству, пассивности, христианству толстовскому она чужда: она—деревенская, низовая и октябрьская. Чуждо ей также толстовское неприятие города и городской культуры. Ее творчество активно и жизнерадостно. Сейфуллина очень не любит все кровавое, смертное, а так как «концы» и «развязки» в годы, о которых она повествует, почти всегда кровавы, то художница *старается обычно поскорей пройти мимо, не задерживая внимание* свое и читателя на кровавых подробностях, обрывает и ставит точку: ее повести и рассказы почти всегда куцоваты и обрублены.

Сейфуллину считают «попутчицей», но в ее художественном восприятии нашей эпохи больше коммунизма, чем иногда у тех, кто своей специальностью избрал травлю «попутчиков». Она—наш друг и товарищ в художестве. Ее деревенские вещи просты, написаны чудесным языком, доступны *очень широким кругам рабочих и, что особенно важно, широким массам крестьян* и являются образцом того, какая художественная литература нужна деревне. Сейфуллину следует печатать не в тысячах, а в десятках и в сотнях тысяч экземпляров для изб-читален, для клубов, для библиотек.

Диалектика движения или софистика „циркачества“? [1])

(О Мейерхольде).

И. Гроссман-Рощин.

В декабрьской книжке «Печать и Революция» помещена статья Луначарского «Лев Давидович Троцкий о литературе». Автор энергично оспаривает положение тов. Троцкого, утверждающего, что в переходный период пролетарской диктатуры невозможна пролетарская культура. В основном присоединяюсь к мнению Анатолия Васильевича.

Жаль только, что уважаемый автор не дает нам определения культуры. Разумеется, дело не в самодовлеющем значении формальных определений. Но выяснение основ и структуры культуры придало бы аргументации тов. Луначарского больше точности и определенности и вырвало бы почву из-под ног «скептиков». Но хуже всего то, что признание возможности пролетарской культуры сопровождается целым рядом утверждений, в значительной мере спутывающих ценность общих положений автора. Здесь и преувеличенная оценка обновленческих методов Малого Театра, здесь протест и против ультрациркачества Мейерхольда. При чем тов. Луначарский сожалеет, что это ультрациркачество «без всякого права на то заняло подавляющее место в театральных исканиях Пролеткульта». Вот об этом циркачестве я бы хотел сказать несколько слов. Дело, конечно, не в мельком оброненной фразе тов. Луначарского. Дело в том, что все упреки и нарекания по адресу Мейерхольда как бы формулируются в одном термине: ц и р к а ч е с т в о. Как часто вы слышите жалобы оскорбленного интеллигента: «не хожу в театр; все заражено там Мейерхольдовском цирком; даже Художественный Театр не выдержал!». «Все это хорошо, — говорят иные, уже затронутые духом времени, — но это уместно в цирке!»

Вот нам хотелось бы сосчитаться с этим мнением, попытаться вскрыть понятие и значение цирка и роли его в художественном строительстве Мейерхольда.

В широкой публике распространено какое-то презрительное отношение к цирку и клоунаде. Правда, за последнее время делаются попытки реаби-

[1]) Статья дискуссионная.

литировать цирк, выясняется скромная, но по-своему нужная, роль цирка в деле воспитания у широчайших масс чувства ловкости, преодоления препятствий, выявления бесконечных технических возможностей человеческого тела.

Виктор Шкловский, в остроумном анализе сущности цирка, приходит к заключению, что задачей цирка является победоносное реальное преодоление технических трудностей. Это верно. Но не полно. Такое, частично лишь правильное, определение стирает грань между цирком и физкультурой. Целый ряд специфических атрибутов цирка пропадает или приобретает характер рекламной лишь приманки.

Некоторые полагают, что задачей цирка является максимальная нагрузка зрителя «активными восприятиями»,—ведь цирк неистощим в области сочетания различных форм, и каждая из форм технической активности доводится до максимума. Зритель в цирке как будто бы всегда висит над бездной: ибо цирк поражает и держит внимание готовым ко всяческим, еще бо́льшим «невозможностям». Поэтому, думают иные, надо отказаться дать цирку какое-то задание, кроме вышеуказанных. Я с этим решительно не согласен. Конечно, цирк выполняет все вышеупомянутые задания. Но эти задания не арифметический набор приемов; точнее, все эти приемы выявляют и одновременно прикрывают главный замысел цирка, замысел, который, конечно, сознательно никем не поставлен, но внутренне цирку присущ[1]).

Полагаю, что суждение о цирке, как о всяком другом явлении художественного порядка, — а, может, не только художественного, — следует начать с выяснения пределов развития данной области художественности. Выяснить относительную предельность или относительную беспредельность—значит очень часто найти твердую базу для понимания характера и смысла изучаемой области. Без значительного риска ошибиться, можно сказать, что наиболее внутренне-целостной и ценной явится та область творчества, предельность которого не так легко замечается. Щедрин рисует нам статского советника, который до того «мал ростом», что не вмещает ничего «пространного». Вот этот-то статский советник своей «предельностью» и неемкостью уже выявляет не только элемент циркового комизма, но граничит, несомненно, со свойственной всякому цирку пошлостью. Да, цирк комичен и пошловат своей предельностью и неемкостью. Но это только формальный, художественно-пространственный момент. Важнее выяснить содержание, точнее— задание цирка.

Каково же задание и предел цирка?

Позволю себе маленькое уклонение в сторону. Сущность цирка хорошо выступает на анализе роли шута в трагедиях Шекспира. Я, конечно, не буду заниматься здесь выяснением основ творчества Шекспира. Скажу чисто

---

[1]) Мы, разумеется, не утверждаем, что цирк неизменен, и что его роль в будущем не изменится хотя бы путем „симбиоза" с другими видами искусства. Но это дело будущего.

догматически: красной нитью проходит разумом осознанный разрыв между материей и духом, между материей и формой, между вещью и представлением, между фактом и нормой и одновременно стихийно, разумно неоправданное чувствование возможного монизма, *для установления* которого человек не располагает нужными рессурсами в мире закономерности и необходимости. (Философии творчества Шекспира надеюсь посвятить ряд этюдов.) На почве этого дуализма и выясняется роль шута. Шут «нужен» не только потому, что он режет правду-матку в глаза великим мира сего, чего не делают скованные и развращенные сановники и пригнетенный, терроризованный народ. Шут и не только «техническая необходимость», помогающая драматургу связывать и развязывать узлы; шут не только прибаутками и едкими замечаниями экономит время и краски на характеристику персонажей. Шут не только манифестирует безущербность величия героя, величие, которое еще ярче подчеркивается на фоне шутовского «хуления». Нет. Шут потому шут, что он выражает столкновение двух мотивов в душе, как столкновение двух вещей в пространстве. Вот эта вульгарная техническая символика—основа цирка. Кажущаяся беспредельность цирка есть школа маскировки—маскируется полное неумение установить монизм душевных и материальных моментов, диалектика движения аннулируется, ловкачество заостряется. Да, шут толкует столкновения мотивов в душе, как столкновение вещей в пространстве. Повторяю: это шутовство и есть основа и почва всякого цирка. Неверно, будто цирк, хотя бы вульгарно, преодолевает дуализм, издевается над ним. Цирк заражен дуализмом. Взаимоотношение цирка и дуализма приблизительно такое же, как между чистой и нечистой силой—они друг друга полагают и утверждают. Цирк отбрасывает элемент трагедии. Он животно гогочет и радуется предельности и забронированности материи от всяких «вредных» влияний. Цирк—это родина шутовства, это утверждение предела и торжества чисто механической эквилибристики.

И если, по мнению Бергсона, смешное заключается в том, что дух и динамика застревают и коченеют в мертвых механических перемещениях тела, то цирк эту статику или чисто механическое перемещение груды тел в пространстве считает *желанным пределом и издевается над всякой* попыткой прорвать его фронт и утвердить принцип иного движения, нежели жутко-забавное ловкачество.

В сущности, характерным для цирка является не клоунада, а дрессировка животных. Я этим не хочу сказать, что дрессировка фактически обязательна для всякого циркового представления. Нет. Но дрессированная лошадь как бы внутренне присуща цирку, и величайшее понимание сущности цирка проявлено в том, что цирковая клоунада фактически связана с дрессировкой. В самом деле: можно научить лошадь сложным арифметическим выкладкам; можно научить морского льва — это делает Дуров — произносить «папа». Можно научить слона грациозно и изящно, как балерину, ступать по бу-

тылкам. Но что реально от этого меняется?.. Косная материя ни в чем не уступает разуму, и высшая математика превращается в забавный и ненужный «кунсштюк». Все кончается шутовством, которое санкционируется и над которым дико и радостно гогочет цирк. Он рад пределу. Я этим не хочу сказать, что цирк бесполезен или что его нужно «облагораживать»,— нет, цирк полезен, но просто нужно осознать его пределы, чтобы тем лучше цирк использовать.

Я решительно оспариваю мнение, будто цирку присуща диалектика движения... Ничего подобного. Цирк, это—царство механического нагромождения и арифметического дробления, — при чем это делается так, что настоящее движение компрометируется. Цирк это — прикладная софистика перемещения, направленная против диалектики движения.

Теперь несколько слов об ультрациркачестве в художественном творчестве Мейерхольда.

Полагаю, что не вызовет особых возражений утверждение, что в области художественного творчества совершается сдвиг: от созерцания к действию, от эмоции к воле, от «трагического» дуализма к практическому монизму. Вот этот основной переход надо иметь в виду, когда говорим об элементах современного художества. Это общее положение должно быть дополнено конкретным указанием: моделью принципиального практического действия является производство на крупной технической основе, при чем под производством следует разуметь не только техническую базу,—это был бы голый американизм,—а ту классовую борьбу, которая базируется на высшем типе техники. Монизм в области театра выразился в преодолении якобы изначального противоречия между безбрежностью и насыщенностью «души» и ограниченностью, бессилием театрального жеста. Непоследовательные дуалисты допускают еще возможность «изобрести» какой-то специальный комплекс жестов, которые выразили бы торжественное состояние души. В области театрального жеста должна наметиться та же дифференциация, которую мы наблюдаем в области слова в более поздний магический период: жесты, способные выразить и разгрузить «душу», должны отделиться от жестов прозаических, вульгарных, обыденных, трудовых.

Вот преодолеть этот дуализм, не прибегая к созданию привилегированной касты жестов и театральных движений,—это есть только один, но весьма важный замысел театрального творчества замечательного Мейерхольда.

Мы не хотим дать целостной философии творчества Мейерхольда. Мы хотели бы отметить один момент. Ведь Мейерхольд все еще «ищет», но это вовсе не искание «мятежной» души ветхозаветного романтика. Мейерхольд просто щупает ту социальную базу и атмосферу, которые позволят ему до конца развернуть замысел.

За последнее время многие—в том числе мои друзья лефисты—склонны упрекать Мейерхольда в том, что он изменил левым лозунгам, «продал шпагу

свою» во имя контакта с бытом. Думаю, что это не совсем так. Если Мейерхольд научился театральному маневрированию, умению «лавировать и отступать» на вторые позиции, дабы уловить широкого зрителя и уж вместе с ним двинуться дальше—то в этом беды еще нет. «Беда» в другом—и об этом ниже. Уступки же зрителю, может быть, и неизбежны. Надо помнить, что театр кровно связан с конкретным зрителем. Театр не может быть агитационным; клоунада, избыток трюков является еще и до сих пор незаменимым орудием в борьбе с психологизмом, с культивированием величавых трагедий, которым, в сущности, грош цена. Нам часто кажется, что феодализм и романтика в театре уже изжиты; отсюда вывод, что упорное повторение новых приемов излишне.

Но это ошибка. Мы забываем косность и инертность широких масс. Мы забываем, что те, которым до смерти «надоели» трюки Мейерхольда, на самом деле «жаждут мясных котлов Египта», жаждут освободиться поскорее от новшеств революции и вернуться «всерьез и надолго» обратно в лоно героического, а на самом деле,—романтико-феодально-утопического театра, чисто тематически подновленного. Забывают, что не кончена, а, может, только всерьез начинается, борьба с сменовеховцами в области театра: Таиров усваивает кое-что из «циркачества» Мейерхольда и успокаивает мещан, что не так все это страшно,—вот я, Таиров, стану на конструктивную платформу, как сменовеховцы — на советскую, и все же сохраню для вас, о, мои братья во мещанстве, всю «сладость», «негу» и «праздничность» старого театра, этот пусть иллюзорный, но все же кусочек старого мира. А Художественный Театр идет еще дальше—устраивает даже вертящуюся сцену—не боится привнесения акробатизма; этой небольшой пошлиной современности покупается право на культивирование «быта» и «психологии». Мейерхольд чует, что нужно отступать, лавировать, чтобы одержать реальную победу и минировать почву под сменовеховцами.

Я понимаю еще, когда лефисты упрекают Мейерхольда в оппортунизме. Но курьезно, когда подобные упреки раздаются от дрябленьких театралов старого типа. Невольно вспоминаешь курьезы в другой области: контр-революционеры всех мастей скрежетали зубами по поводу н э п 'а. «Помилуйте, это предательство, измена!» — восклицали предатели и изменники.

История и в большом, и в сравнительно малом повторяется...

Громадное значение имеет, конечно, классовый состав зрителей. С одной стороны, потребителем являются широкие слои трудового и нетрудового мещанства. С другой стороны, уже захвачены зрители рабочих кварталов. Здесь-то глубже всего развертываются основные замыслы Пролеткульта. Только здесь, не сразу, быть может, чересчур медленно, но несомненно верно будет найдено полное совпадение производственной формы художественного жеста и социальной направленности. Но, увы, мы уже слышим окрики, что Мейерхольд не по праву царит в рабочих кварталах. Интересно, кому можно предоставить это право?.. Не «хитрейшему» ли Южину, который ловчайше имитирует бег вперед с тонким расчетом остаться на старом месте? При таких условиях

неразумно отказаться от цирковой клоунады, как полемического орудия против помещиков театра.

Часто спрашивают: почему действие происходит на «машинном» фоне? Ведь это не связано с сюжетом?—Забывают, что важен разрыв ассоциации с обстановочкой, с диванчиком, что фон прилегает не к сюжету и не к фабуле только, а к замыслу в целом, отчего сюжет и фабула не стираются, а приобретают особую яркость. Человек-актер и машина образуют единую целостность. А единое, целостное, беспредельное, мощно-торжествующее движение—основной замысел творчества Мейерхольда. Творчество Мейерхольда—в беспредельности и диалектическом единстве—полная противоположность предельности и шутовскому дуализму цирка и «циркачества». Конечно, Мейерхольд широко пользуется цирком и клоунадой. «Циркачество» агитационно используовывается и здесь же компрометируется. Используовывается,—ибо цирк, несомненно, незаменимое орудие в борьбе с традицией, клоунада решительно срывает тогу с героя и мантию с плеч «пророка»... Цирк несомненно дает громадную нагрузку зрителю вульгарной множественностью и ошеломляющим разнообразием, прейскурантным сочетанием «всего». Но цирк здесь же компрометируется: цирк хорош как изобличитель героической ходульности, но когда цирк хочет сесть на трон свергнутых кумиров и утвердить царство софистики перемещения, тогда Мейерхольд через диалектику движения властно указует цирку его скромное место. С изумительной дерзостью Мейерхольд как бы сам «организует» врага, использовывает и, использовав, здесь же уничтожает. Софистике перемещения Мейерхольд противопоставляет диалектику движения.

Конечно, это все трудно «доказать», особенно тем, которые не хотят убедиться: театральную игру нельзя «цитировать». Но вот обратите внимание на игру Ильинского в «Великодушном рогоносце». Здесь сплошное движение, это «перпетуум мобиле»: момент стояния, статики совершенно исключен, беспрерывность и неиссякаемость движения создает то сплошное единство, о котором мечтала скульптура в идее абсолютного покоя. Но эти движения не построены по аналогии с Бергсоновской взаимопроникающей «душой», движение не противопоставляется рядоположной материи.—беспрерывность и целостность дается на основе производственного учета, но такого, который расчищает дорогу беспрерывному, всеусложняющемуся и всепреодолевающему движению. Циркачество—антитеза творчества Мейерхольда. Циркачество — как бы доказательство от обратного, — а творчество в целом — показательная выставка беспредельного монизма.

Мы до сих пор подчеркивали основной замысел, указывали на об'ективные причины, мешающие выявлению творчества Мейерхольда в максимально ясной форме... Но во всем ли виноваты условия? Нет ли здесь вины и самого Мейерхольда? Есть. Я бы сказал: у Мейерхольда нет достаточной социальной зоркости. А это убийственно для работника всяческой, особенно настоящей, эпохи.

До сих пор многие, несомненно левые, работники не уяснили себе роли социального момента. Им кажется, что социальность — это незначительный

момент, только фон, формалисты готовы усмотреть в социальности какого-то тупого цензора, сующего нос не в свое дело и покушающегося на автономию художественного делания. Горестное заблуждение! Как нужно этим работникам вдуматься и учесть золотые слова Гаузенштейна: «Прежние поколения всегда искали во всей истории индивидуальных побуждений. Мы ищем социально-коллективных побуждений. Имеем ли мы право на это? Всякое сомнение было бы смешно. Разыскание социальных условий не является результатом нашего желания. Это не духовный спорт. Это неизбежно вытекает из нашего усиливающегося жизненного чувства: избегать исследования их было бы равносильно самоубийству.

Социальное—вот мера нашего времени и ритм будущего, поскольку мы можем его предвидеть. И оно так же непреодолимо определяет наше мышление, как идея откровения определяла мышление религиозного человека. Мы должны. Закон нашей жизненной энергии принуждает нас к этому. А наша жизненная энергия? Она коренится в организованной мощи инстинкта самосохранения пролетарских масс, растет вместе с неудержимым под'емом нового класса, который видоизменяет лицо земли. Если социология стиля, развитию которой мы хотим содействовать, не для всякого времени есть высшая форма эстетики, то она является таковой еще сегодня и завтра. Она—теоретико-эстетическая надстройка, которая сегодня и завтра заменяет абсолютное познание. Она является относительной, но настолько соответствующей нашим нуждам, что мы имеем право считать ее абсолютной. Соответствующее нуждам времени и есть абсолютное».

Вот эта-то спайка с настоящим недостаточно прочна у Мейерхольда. Отсутствует осознанность социального задания. В победе Мейерхольда над циркачеством чуется какая-то неуверенность: нет твердой поступи, которая приобретается только при наличности связи крепкой, цепкой с коллективом. Это нисколько не идет вразрез с моим утверждением о том, что связь с коллективом несомненно в творчестве Мейерхольда проявлена. Но вопрос идет и о степени этой связи, и о степени осознанности. Вот здесь-то начинается «шуйца» Мейерхольда. Не уступки Мейерхольда быту страшны. Страшна эта социальная незрячесть. При этой слепоте всякая уступка легко и незаметно может перейти в капитуляцию.

То, что Мейерхольд, так сказать, философски неотчетливо осознает широту своего задания, есть только идеологическое выражение слабости «социальной связи». Вот почему нет-нет, а целостное движение порой робко стушевывается перед бойким, сомнений не знающим, самодовольным, потому что шутовски-предельным трюком.

Вот где коренится для Мейерхольда опасность перерождения. Опять-таки и здесь нужно помнить, что добрая воля Мейерхольда может только смягчить кризис, уменьшить зло, вытекающее из того, что новый зритель только нарождается, себя еще не осознал художественно до конца. И несомненно здоровая критика может значительно помочь Мейерхольду. Но вместо критики мы часто видим злостное критиканство.

Почему же мы так часто забываем, что Мейерхольд близится к намеченной цели—изгнанию беса «пассеизма» и выработке художественного самосознания нового зрителя? Почему, вместо понимания широкого замысла, мы занимаемся тщательным составлением прейс-куранта недочетов творчества Мейерхольда? Почему незаконно приписываем ему тенденцию к тому циркачеству, которое он, в общем, преодолевает? Почему забываем о препятствиях, которое сами ставим на пути?

Надо понять основной замысел, и этим самым мы поможем преодолению из'янов, наличность которых и сам Мейерхольд — в этом убежден — не отрицает.

Полемические заметки.

А. Воронский.

I.

Аз, грешный, время от времени вынужден вспоминать о своих литературных противниках, на недостаток коих ни в коем случае пожаловаться не могу. Повинны в таком обилии многоразличные обстоятельства; из них существенны два: практическая работа в художественной области — дело сейчас очень сложное, как сложны, извилисты и часто запутаны пути развития современного художественного слова; известно также, что марксизм теперь — мода, и многие, выступающие от имени его, с тем большей энергией принимают на себя суровейший ортодоксальный вид, чем меньше действительных для того имеется оснований и данных. Прибавьте к этому значительное снижение теоретической мысли, факт на наш взгляд совершенно бесспорный, в силу которого под флагом марксизма сравнительно легко протаскиваются суб'ективная отсебятина, мешанина, путаница мысли, по сути чуждые и прямо враждебные марксизму.

Мы, большевики,— люди, вскормленные в полемических схватках, и вообще говоря полемика для нас дело привлекательное и веселое, но бывает и иначе: когда приходится разжевывать истины общеизвестные, повторять их, полемизировать куда как не весело.

Очень скучно, например, с тов. Лелевичем. Он, кажется, твердо решил, что бумага все стерпит, а читатель «все слопает». В № 3 «Звезды» напечатана его статья «Наши литературные разногласия». Лелевичу очень не нравится моя статья «Искусство, как познание жизни». Он решительно с ней не согласен. Это его право и дело. Но мое право, как автора, требовать, чтобы основные положения статьи передавались правильно и не извращались. Между тем Лелевич, что называется, не стесняется и охулки на руки не кладет. «Ответ» его построен на ряде вымыслов и искажений. Для иллюстрации остановимся на некоторых.

«Для тов. Воронского, — уверяет наш критик, литература это — своего рода альбом фотографических снимков, при помощи которых он «познает жизнь».

А в статье моей, о которой идет речь, написано:

«Художник познает жизнь, но не копирует ее, не делает снимков; он — не фотограф; он перевоплощает ее «всезрящими очами своего чувства». Немецкий критик, умеренный экспрессионист Макс Мартерштейг напоминает остроумное замечание Гёте: если написать мопса, вполне схожего с натурой, то от этого станет только одним мопсом больше на свете и никакого обогащения в этом не будет».

Лелевич приписал мне мысль, против которой я возражал в своей статье.

Дальше. Написано Лелевичем:

«Неутомимо склонять: «познание жизни», «познания жизни», «познанию жизни» и т. д., не подчеркивая классового момента, как это делает тов. Воронский, значит высказать хотя и верную, но все-таки еще очень неопределенную мысль».

А в статье моей напечатано:

«Сознательно или бессознательно ученый и художник выполняют задания своего класса... Успехи, характер, направление, методы научной и художественной деятельности обусловливаются господствующей психологией того или иного класса, психологией, в конечном счете, зависящей от состояния производительных сил данного общества; следственно, изучая, показывая бытие, художник и ученый рассматривают это бытие сквозь психологическую классовую призму».

Почему это называется «не подчеркивать классового момента» — ведомо только Лелевичу.

Лелевич приписывает мне такую мысль: «пролетарской литературы нет, ибо она еще не выдвинула своего Толстого». В подтверждение этой якобы моей мысли он цитирует одно место из статьи, в которой, между прочим, утверждается, что появление подлинно художественных произведений требует наличия некиих существенных предварительных условий: бытового и культурного укладов.

Зачем понадобились критику все эти и другие искажения и выдумки?

Лелевичу надобно было доказать, что я исповедую внеклассовую точку зрения в подходе к художественным произведениям. Так как в статье этой внеклассовости не было, то доказать «тезис» можно было только при помощи выдумок. К ним и обратился наш напостовец.

В статье «Искусство, как познание жизни» говорилось, что искусство не праздная игра фантазии и что художник не творит мир из себя наподобие библейскому Иегове. У искусства, как и у науки — об'ект один: действительность. Подлинное художество опытно. Но в отличие от науки художество есть **образное** мышление. Оно обращается не к уму, а к чувству человека. Так как искусство основано на опыте, оно требует такой же точности, как и научная дисциплина. В этом смысле говорилось об об'ективности. Но искусство не фотография, ибо задача его — в обнаружении **основного** характера изображаемого предмета, его типических черт и свойств. Это было одно, первое положение в статье. Но кроме этого первого были и другие. В статье далее говорилось: в обществе, разделенном на классы (а не во всяком) художник смотрит на действительность сквозь классовую призму. Он

в той мере верно воспроизводит ее, в коей это выгодно классу. Иногда он прямо искажает ее, либо от нее уходит, когда «живая гуща жизни» не выгодна, отвратна данному классу; сплошь и рядом художник видит не все, а только те свойства предмета, явления, на которое обращено его внимание как общественного человека, принадлежащего к определенному классу, сословию. Это было второе положение.

Из всего сказанного, однако, не следует, что мы, марксисты, должны истолковывать классовый принцип так, чтобы художник походил на известную старуху у Г. И. Успенского, которая, лежа на смёртном одре, шамкала: «в карман-то норови, в карман». Это вульгаризация марксизма, самая пошлая. У одних классовая призма содействует верному, точному, об'ективному изображению действительности — это в эпохи расцвета, когда интересы класса всецело или в очень значительной мере совпадают с интересами общественного развития. Кроме того, в талантливых, а тем более в великих произведениях художник часто преодолевает свою классовую ограниченность, поднимаясь до величайших художественных обобщений. Такие и подобные произведения не теряют своей общезначимости и для других классов в другие эпохи. Это было третье положение.

Нужно еще прибавить, что в статье не раз подчеркивалось, что вопрос о реалистической точности (об'ективизм) в художестве «намеренно заострен» ввиду некоторых обстоятельств, которые тоже были указаны. Следовательно, читатель имел дело с особым методологическим приемом.

Что же сделал Лелевич? Он взял первое положение статьи, умолчал о втором и третьем, умолчал о заострении. В результате мне были приписаны мысли, которые не только не содержались в статье, но которые и не могли найти в ней места. Получилась грубейшая фальсификация в расчете, очевидно, на неискушенного читателя.

Лелевич — несомненный «сочинитель» и даже поэт. Но плохой и неискусный.

В статье об искусстве я повторил ряд общеизвестных марксистских истин. Истины эти давным-давно открыты Г. В. Плехановым. Почему их пришлось повторить? Потому, что целая группа тов. напостовцев свихнулась на классовом принципе в самую заправскую вульгарщину. Они рассуждали: произведение, принадлежащее художнику-буржуа или дворянину, не может иметь положительного эстетического значения для рабочего, ибо взятое в целом оно «заражает» дворянскими и буржуазными настроениями. В лучшем случае его полезно изучать как документ, как достояние истории. Мы утверждали, что это анти-марксистский вздор. Маркс «заражался» древне-греческими классиками, Гёте, Шекспиром, находя в них помимо «заражения» об'ективные художественные ценности; Плеханов «заражался» Г. И. Успенским, находя у него много верного и точного в изображении деревенского быта того времени и т. д. На практике опошление классового метода в применении к вопросам художественного порядка приводило и приводит к комчванскому и высокомерному отношению к классикам, к попутчикам, к самодовольной ре-

кламе, к кружковщине и т. д., что вредно отзывается на росте молодых пролетарских художественных сил.

Есть ли на самом деле у напостовцев такое опошление марксизма? Сколько угодно. Для ради примера остановимся на новейших открытиях тов. Лелевича. Один рьяный товарищ как-то утверждал, что затмение луны есть классовая выдумка буржуазии. Этот товарищ, несомненно, увлекался, применяя «классовый метод». Но так же недавно «увлекся» тов. Лелевич, суровейше отчитав Веру Инбер за то, что ее «Сеттер Джек», т.-е. собака, «совершенно не понимает происходивших событий». Мало этого, он увидел в этих стихах о собаке буржуазный подвох. Это своего рода шедевр, достойный того, чтобы быть трояко запечатленным. Впрочем, оставим собачий инцидент: в статье Лелевича, где он возводил на меня всякие напраслины, есть другой перл, хотя и лишенный красочности в случае с собакой, но по своему достаточно наглядный.

Речь идет о «Капитанской дочке». Лелевич хочет поучить, как по-настоящему нужно подходить к художественному произведению. Что же, в час добрый!

«Капитанская дочка»,— раз'ясняет т. Лелевич,— гениальное произведение, заслуживающее и сейчас самого серьезного изучения. Отец и сын — Гриневы, Савельич, штабс-капитан Миронов, Василиса Егоровна, Мария Ивановна и мн. др. действующие лица повести мастерски и об'ективно-верно показанные типы... И, несмотря на это, даже в гениальном произведении дворянская творческая подоплека автора не позволила ему дать об'ективно-верную картину... классовые противоречия затушеваны, смысл великого народного движения искажен... читатель «заражается» эмоциями, вполне соответствующими «социальному заказу» дворянства: величайшим сочувствием к Екатерине II, Ивану Кузьмичу... и неприязнью к восставшим массам»...

Народное движение в повести действительно искажено, верно о сочувствии Екатерине II, но Лелевич пропустил одну «мелочь» в повести: заячий тулупчик. Выбросьте эту «мелочь» из повести—и ее нет, как целого. Она вся рассыпется и станет мертвой. Будут: Гриневы, Мироновы, Екатерина II, Пугачев, искаженное народное движение, будет, словом, мертвый костяк повести. Главная мысль повести, ее основной стержень—в этом тулупчике, который появляется во всех трагических и странных обстоятельствах жизни молодого Гринева. Он выручает его из бед, он сводит его с Пугачевым по-настоящему, он приводит к тому, что Пугачев на плахе, пред тем как сложить свою голову, кивком прощается с Гриневым, находящимся в толпе, тут не сюжет только, а подлинное сердце произведения. Писать о повести в целом, пояснять «Капитанской дочкой», как целое гармонирует со своими частями, какое общее эмоциональное «заражение» оно производит, и пропустить там и сям мелькающий заячий тулупчик, значит ничего не понять в основном художественном замысле автора—значит сосредоточить внимание на второстепенном. Лелевич не понял повести. Искажение пугачевского движения, Екатерину II и т. д. он принял за главное. Он всуе

называет повесть гениальной. С его точки зрения повесть просто вредна, ибо заражает, в конце концов, дворянскими эмоциями. Собственно, это и сказал Лелевич, заявив, что ее нужно «изучать», как образец того, как в повести сказывается дворянская подоплека. На самом деле, гениальность Пушкина в повести сказалась не только в мастерских типах: Гриневы, Мироновы и т. д., но главным образом, в том, что, при помощи тулупчика, писатель действительно гениально вскрыл общечеловеческое и этим общечеловеческим осветил все «странные» обстоятельства жизни Гринева. «Капитанская дочка» действительно образец, но совсем не того, что хотел доказать наш критик: она показывает, как вопреки дворянской подоплеке, которая, конечно, есть в повести, Пушкин поднялся до высоких художественных обобщений. «Капитанская дочка» — совсем не бытовая, историческая повесть, хотя этот элемент в ней, конечно, есть. В силу этого и несмотря на искажение пугачевщины, повесть до сих пор положительно в целом заражает читателя. Здесь очень уместно привести следующие замечания тов. Троцкого, сделанные им на литературном совещании 9 мая с. г.:

«Скажем ли рабочему: «читай Пушкина», чтобы понять, как дворянин, владелец крепостных душ и камер-юнкер встречал весну и провожал осень? Конечно, и этот элемент есть у Пушкина, ибо Пушкин вырос на определенном социальном корне. Но то выражение, которое Пушкин давал своим настроениям, так насыщено художественным и вообще психологическим опытом веков, так обобщено, что его хватило на наше время и, по словам Сосновского, хватит еще лет на пятьдесят».

Как мы видели, Лелевич и предлагает подходить к Пушкину, как к дворянскому художественному монументу. Другой точки зрения он не знает, как только речь заходит о повести в ц е л о м. Здесь напостовская «методология» — как на ладони, и как на ладони непонимание существа художества. Удивительно не это, удивительно то высокомерие, с которым говорятся все эти и подобные невежественные вещи. Поразителен тот критик, который с компетентным видом говорит о повести, не поняв ее сути. Поистине «заразился»... в тяжелой форме!

Кстати по поводу теории заражения. Против определения искусства как образного мышления Лелевич выдвигает другое определение, взятое у Л. Н. Толстого: искусство есть средство эмоционального заражения. Разумеется, искусство имеет дело не с отвлеченными понятиями, а с миром конкретных образов; поэтому оно воздействует не на ум, а на чувство. Это бесспорно. Но это одна сторона дела. Другая, для материалиста, не менее существенная, заключается в том, что подлинный художник конструирует образцы не по произволу, не из себя только, но в соответствии с действительным миром явлений, выделяя основное, типичное, новое. Не всякий образ — искусство: фантазмы, религиозные образы тоже эмоционально заражают, но искусством не являются; образы должны соответствовать природе об'екта. Теорией заражения следует пользоваться с большой осторожностью и с большими оговорками. Плеханов не пользовался толстовским определением. Нужно не забывать, что искусство опытно. Забвение этого принципа привело

Л. Н. Толстого к тому, что он со своей теорией заражения пришел к тому, что истинным искусством признал Библию, Евангелие, Коран, а у себя «Бог правду видит» и «Кавказского пленника», осудив «Войну и мир», «Анну Каренину» и др. свои гениальные вещи. Здесь Толстой моралист и идеалист вступил в жесточайшее противоречие с Толстым художником-реалистом и язычником, требовавшим от художника научной точности (См. его статью «Что такое искусство»).

Лелевич любит ссылки на Плеханова, Меринга и т. д. Все это, однако, не стоит ломаного гроша. Как дело обстоит с цитатами, читатель мог убедиться на одном ярком и сочном примере: на поучительной истории с цитатами редакции «На посту» (Лелевич и К°) из статей тов. Троцкого. Известно всякому, мало-мальски следившему за литературной дискуссией, что получился от этого цитирования сплошной конфуз. Но Троцкий жив, а Плеханов умер. Троцкий сам пресек напостовские упражнения с ним Лелевичей. С Плехановым дело обстоит хуже. В частности, «критик» показал свое искусство и на нашей статье.

Лелевич неоднократно приставал с «Железным потоком» Серафимовича и с «Комсомолией» Безыменского: вот де «попутчики» не дали ничего подобного. Повесть Серафимовича — талантлива, но пролетарским писателем его может об'явить только Лелевич: он целиком из сборников «Знания». Это школа Горького. «Комсомолия» Безыменского хороша в отдельных своих частях, в целом же она непомерно длинна и скучновата изрядно. А его «Война этажей» просто бесталанна. «Правда» поместила ее по недоразумению. Ее место в корзине. Это какое-то стихоблудие. Не знаю, кто писал лучше, но знаю, что очень не плохо начал в 1923 году Бабель, хорошо писал Казин, Вера Инбер, Горький, Пришвин и др. и, к сожалению, Есенин все-таки несоизмеримо талантливей Безыменского.

Лелевич уверяет, что «наши разногласия» с Воронским глубоки и серьезны. К чему такая скромность? Можете прибавить Троцкого, Луначарского, Бухарина, Радека, Мещерякова, Полонского, Осинского и т. д. И совсем это не «наши разногласия», а как справедливо отметил Радек: битье стекол. Это-то вы умеете делать.

II.

Существует ли вообще в природе об'ективная истина?

Тов. Майский очень в этом сомневается. В том же № 3 «Звезды» он пишет по моему адресу:

«Странно слышать также из уст марксиста слова об «об'ективных истинах» в применении к искусству как раз в то время, когда серьезно начинают колебаться «об'ективные истины» в самой «об'ективной» из наук — математике» («О культуре»).

Нисколько не сомневаемся, что для Майского все это очень странно: он очень юный коммунист, вопреки преклонным своим летам, почти комсомолец. Мы же привычны к об'ективным истинам. Об их существовании мы на-

слышаны от таких марксистов, как Маркс, Энгельс, Ленин, Плеханов, Ортодокс и т. д. Тов. Ленин писал, например, в своей книге «Эмпириокритицизм и материализм»: «Человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания». Так писал тов. Ленин против всяких суб'ективистов вроде Майского, полагавших, что с об'ективной истиной благодаря успехам в точных науках, покончено. Может быть, Майский скажет, что одно дело абсолютная истина, а другое—об'ективная. Но это—сущие пустяки. Чтò подразумевал т. Ленин под абсолютной истиной? Полное, совершенное знание свойств об'екта и его сущности. Наши ощущения имеют не только суб'ективное значение, но и об'ективное. Исчерпать до дна природу об'екта нам, однако, не дано. Абсолютное знание состоит из суммы относительных, несовершенных знаний. Во всяком случае «абсолютная истина» это куда сильней, чем «истина об'ективная». Словом, существует ли об'ект, тов. Майский? Существует, но, раз существует об'ект, есть и об'ективная истина, — так ведь?

В каком смысле мы говорим об об'ективных истинах в искусстве? В том же самом, как и в науке. Искусство имеет своей целью обнаружение с помощью образов основного характера, типических свойств предмета, человека, явления. Для такого познания есть два пути: наука обнаруживает «основной характер» с помощью отвлеченных понятий, искусство с помощью конкретных образов. Оно обращается не к уму, а к чувству. Дабы обнаружить «основной характер», художник обязан уметь выделить его в соответствии с действительностью. Выходит, что, как и в науке, в искусстве наши ощущения, наши образы имеют не только суб'ективное значение, но и об'ективное; раз существует об'ект, есть и об'ективная истина. Это—начатки марксизма.

Писали ли что-нибудь об об'ективных истинах в искусстве авторитетные марксисты? Писали. В статье нашей, которую критикует Майский, кое-что об этом говорилось. В книге о Толстом тов. Ортодокс писала: «Творчество Толстого покоится, подобно научному исследованию, на опыте... Следуя этому строго об'ективному методу, Толстой был реалист в истинном смысле этого термина». Считаете ли вы, тов. Майский, что Ортодокс марксистка? Почему вы пропустили мимо ваших ушей эти слова и предпочли иметь дело только со мной? Известно ли вам, далее, что в письмах к Лассалю Энгельс советовал Лассалю «не забывать реалистического элемента из-за идеалистического, Шекспира из-за Шиллера»? Ведомо ли вам, что «реалистический элемент» не мыслим без об'ективных истин?

Но Майскому все это «странно слышать». У вас ревизионистские уши, тов. Майский. Они нет-нет да и выпятятся на целый аршин. Гони природу в дверь.

Майский утверждает, что ссылки мои на Плеханова напрасны. Почему? Плеханов указывал, что, согласно воззрениям Чернышевского, искусство не

только воспроизводит жизнь, но и об'ясняет ее. Майский прибавляет: «сам Плеханов вполне присоединяется к точке зрения Чернышевского». Г. В. Плеханов, действительно, очень хорошо знал, что произведения искусства не только воспроизводят жизнь, но сплошь и рядом и об'ясняют ее. Но к Чернышевскому он не присоединялся, а, наоборот, считал точку зрения просветителей в этом вопросе неправильной. Всякий, знакомый с его книгой о Чернышевском, это знает. Неоднократно также Плеханов выступал и против утилитаризма Писарева. Майский и здесь безбожно напутал.

В № 3 «Звезды» Майский подал руку Лелевичу, выступив по существу с напостовской статьей. Сделал он это с оговорочками, вежливенько, в отличие от дебоширства заправских напостовцев. Вышло это, тем не менее, довольно сумбурно. В статье Майского много нелестных экивоков в сторону «попутчиков»: и обыватели-то они, и революцию-то исказили и т. д. Он даже знает, что у них делается «в глубине души». Прямо прозорливец! Все это, однако, напечатано в «Звезде», в коей печатался А. Толстой, Никитин, Тан и даже... Андрей Белый. Печатались они не где-нибудь на задворках, а на самых видных местах. Называется это плюнуть в колодезь, из которого пил и продолжает пить. Не помогают и раз'яснения, в которых читатель оповещается, что Белый «идеологически весьма далек от коммунизма» (неужто! вот новость!), ибо факт остается фактом — «Звезда» опирается на обывателей попутчиков. Кстати, вышел № 1 журнала «Жизнь» под редакцией Фриче, Демьяна Бедного, Сосновского. Журнал хороший, но «выезжает» тоже на попутчиках: Пришвин, еще раз Пришвин, Ив. Вольнов, Валентин Катаев, Тан, Стоянов, Романов. Начинаешь думать: правы напостовцы — «Красная Новь» положительно развращает даже самых твердокаменных. Казалось бы: Демьян Бедный и Сосновский достаточная гарантия против попутческого засилья, а они — вот они, да скопом: «ба, ты, косой, пожаловал отколе?».

Впрочем, речь ведется о Майском. Примыкая по существу к напостовской ориентации, Майский недоволен пролетарскими писателями. За их «кружковое худосочие». Откуда же оно, это худосочие? Майскому не в домек, что в огромной мере оно питается теми самыми абстрактными теориями о пролетарской культуре и искусстве, которые он сам разводит в первой половине своей статьи в поучение и в назидание т. Троцкому.

Наш деликатный критик вопрошает: «Откуда придет художественная литература «переходного периода»? Из рядов попутчиков или из кругов «пролетарских писателей»?. Для него ясно: из кругов пролетарских писателей. С нашей точки зрения—здесь на-лицо сплошная метафизика, метафизика в самом вопросе. Постараемся пояснить. В № 3 «Звезды» напечатана «Коммунэра о предгубчека» С. Родова. «Коммунэра» из рук вон плохая, сдобренная нестерпимым слюнявым мещанским сентиментализмом. Но дело не в этом. «Коммунэра» Родова ведет свое начало от «Баллады о синем пакете» попутчика Н. Тихонова, баллады мужественной и прекрасной (Родовым списано иногда «из точки в точку». У Тихонова: «колесо к колесу», у Родова: «к аршину аршин», не говоря о ритме и т. д.). Выходит, что баллада попутчика стала образцом для «Коммунэры». Сегодня мы имеем плохое подражание.

а вот т. Ясный пользуется Тихоновым несравненно лучше, а послезавтра, может быть, и даже наверное, явится писатель-коммунист, который напишет лучше Тихонова. Еще примеры: Безыменский вышел из Маяковского (боимся, что тут и угробится), Казин—из Тютчева, Артем Веселый—из Андрея Белого и Пильняка, от них же идет Семенов, Либединский и т. д. Почти вся сейчас молодая советская проза окрашена могучим языческим и реалистическим жизненным током творчества Л. Н. Толстого (Сейфуллина, Бабель, Всев. Иванов и даже отчасти Бор. Пильняк) в противовес линии Достоевского, к которому чаще всего тянется упадочное, гнилое и порой прямо реакционное. Просмотрите № 1 «Перевала», где пишет наша молодежь. Три четверти стихов окрашено Есениным, шуйца и десница попутчиков нам очень хорошо известна; на литературном совещании Вардин и Раскольников уверяли, что Воронский дал попутчикам убийственную характеристику. Но пути развития современного художественного слова чрезвычайно сложны. Откуда придет «настоящая» литература? Оттуда, откуда она приходит: от классиков, от попутчиков, от пролетарских писателей.

Майский пишет, что попутчики «сейчас, действительно, являются наиболее видной группой в литературе». Мы скажем более резко: то, что именуется пролетарской литературой, большей частью является по отношению к коммунистической партии тоже попутнической литературой. Почему? Потому, что Воронские усиленно поливают грядку попутчиков, а на долю пролетарских писателей «остается меньше влаги»,—пишете вы. Это—пустяки: слишком много чести Воронским. Почему грядку попутчиков усиленно поливают: «Звезда», «Жизнь», «Прожектор», «Журнал для всех», «Красная Нива» и т. д.? Об этом очень много говорилось раньше. На литературном совещании это было вскрыто прекрасно в речах Троцкого, Бухарина, Луначарского, Полонского, Радека и других—к ним мы и отсылаем читателя. Вопрос совсем не в том, следует ли всемерно поддерживать писателей, выходящих из рабоче-крестьянской среды, в этом нет никаких расхождений,—вся суть в том, как конкретно решить вопрос во всей его сложности для ближайшего будущего и для настоящего: голые абстракции о пролетарском искусстве тут не только не помогают, а сплошь и рядом заводят прямёхонько в болото комчванства и кружковщины. В этом все дело.

III.

Шкловский человек веселый и любит мудрить. В № 2 «России» он что-то очень намудрил с Горьким. Горький, действительно, пишет сейчас превосходно. Это—новый Горький. Его воспоминания о Толстом—шедевр; его «Мои университеты» («Автобиографические рассказы»), «Из дневника», «Отшельник» и др. последние вещи написаны с превеликим мастерством. Горький так никогда не писал. Горький войдет в мировую литературу не с начала своей литературной деятельности, а с конца. Верно это отмечает и Шкловский. Но Шкловский—формалист, а Горький прибегает к форме воспоминаний,

дневника, заметок, записной книжки. По этому поводу Шкловский твердит о разложении старых форм: романа, повести, рассказа. Конечно, все существующее достойно погибели; нет канонов, нет раз-на-всегда отлитых форм. Но, думается, на наш век, действительно, хватит Гоголя, Толстого, Пушкина, Чехова, Мопассана, Анатоля Франса, Бальзака, Флобера и других. Вопрос с разложением «канонизированных» форм у Горького более простой: Горький в преклонных летах. Он очень оторван от советской действительности, ее не знает, много не понимает. Он—как все большие художники—очень осторожен и знает цену Исбахам и Чурилиным, требующим от художника, чтобы он изображал непременно сегодняшний день, при чем 1921 год для них уже—времена старозаветные. С другой стороны, у Горького—колоссальный материал из прошлого, еще далеко не исчерпанный, и совершенно необычайная образная память. Этим и об'ясняется, что он прибегает не к «канонизированной» форме повести, а к дневнику, к заметкам. Мудрить тут о разложении старых форм не приходится. Многим «старикам» от литературы форма дневника, воспоминаний—единственная или, во всяком случае, предпочтительная в их положении. Только и всего.

Шкловский мимоходом прохаживается по адресу тех, кто зовет то к Гоголю, то к Островскому. Грешны в этом стародумстве. Не прочь иногда «заразиться» даже у патриарха литературы Гомера. Думаем однако, что это лучше, чем звать к... Розанову.—«Новая проза,—пишет Шкловский,—исполнила приказание В. Розанова».—Нечего сказать, нашел отца современной прозы! К счастью, это не так: развинченный, сюсюкающий, подленький, продажный стиль В. Розанова очень далек от ясного, твердого, здорового реалистического письма Горького. Далека от этого и проза Всев. Иванова, Бабеля, Сейфуллиной, Гладкова и других.

Это сплошь и рядом бывает: выступают бог весть какими революционерами и деканонизаторами, а на поверку тащут к Розановым.

Скажут, дело идет о форме. Но Шкловский — формалист: для него искусство есть чистая форма.

О политике и об искусстве. В том же номере «России» некий Стрелец поместил диалог между писателем и политиком. Писатель убежден, что политика для него, как для художника, дело не касаемое: «Я и политика,—уверяет писатель,—это вода и масло. Сколько ни перебалтывайте в бутылке масло с водой, стоит вам поставить бутылку на стол, глядь: масло само по себе, вода сама по себе». Почему? «Поэт изрекает мир — из себя. Он вечно открывает действительность: в себе...» «Действительность начинается в моей поэме, в моей повести. Вашей абстрактной действительности, которую вы расщелкали по счетам и привели к одному знаменателю, я не знаю». У политика мировоззрение есть «сумма установленных истин, неподвижно вырезанных на камне», у художника тема одна—«ток жизни», «особая мысль», из которой вылагается весь мир. Поэтому «искусство непроницаемо для политики». Потому-то и «восстает художник, когда ему предлагают положить в основу своего творчества политическое самоопределение».

Признаться, мы с удивлением читали всю эту несусветимо затхлую труху и дребедень.

Начнем с политики. Да, мы настаиваем на политическом самоопределении писателя, как художника. В каком смысле? Гёте писал: «Наполняйте ваш ум и сердце, как бы они ни были обширны, идеями и чувствами века, и художественное произведение не замедлит явиться». Об этом же в своих «Беседах» говорил и Анатоль Франс. Мы утверждали и утверждаем, что великие писатели были потому велики, что они «наполняли свой ум и сердце идеями и чувствами века. Тогда они преодолевали свою ограниченность и говорили векам». Мы смеем, далее, думать, что коммунизм есть вершина, венчающая в нашу эпоху все лучшее в умах и в чувствах лучших людей. Естественно, что мы настаиваем на том, чтобы художник проникнулся, эмоционально *воспринял и отразил в своих произведениях эти лучшие идеалы и настроения* нашего века. «Писатель» Стрельца представляет коммунизм, как сумму механических знаний, как ряд закостеневших догм, правил, это—схемы, где все разграфлено, расписано, учтено, где живая жизнь с'едена формулой. Этот «писатель» — тупой филистер и мещанин. Коммунизм организует ум, волю и чувства человека. Ленин—живой человек, язычник, атеист, насквозь волевая и эмоциональная натура. У него даже стиль насквозь эмоционален. Ленинизм—живое, боевое мироощущение. Никто из мало-мальски понимающих коммунистов не предлагает усвоить, заучить курс политграмоты по пунктам и писать по заказу на заданные темы. Речь идет об идеях и чувствах века в гётевском смысле, именно о «токе жизни», об «основном смысле», которые пронизывают всё произведение художника, составляют сердце и «душу» его. Если этот ток жизни не перечувствован, а воспринят только головой, пусть художник лучше бросит писать о новом и нарождающемся, пусть лучше он замкнется в кругу интимных, не своевременных, но родных и близких ему переживаний.

Как проявляет себя в произведениях «ток жизни»?

Ипполит Тэн, о котором с таким напрасным пренебрежением отзывается Стрелец, открыл один совершенно правильный закон для художественных произведений:

«Группа чувств, потребностей и наклонностей образует, когда она проявляется ярко и полно в одной и той же личности, господствующий тип, то есть тот образец, который окружен поколением и симпатиями современника; в Греции, это—юноша с нагим и породистым телом, искушенный во всех физических упражнениях; в Средние века — экзальтированный монах и влюбленный рыцарь; в XVIII столетии — изысканный придворный; в наши дни—вечно идущий и печальный Фауст или Вертер. И так как этот тип является самым интересным, значительным и заметным, то художник изображает его пред публикой, сосредоточивая все его характерные черты в одном живом лице... или раздробляя его на составные элементы... Таким образом все искусство зависит от него...» (И. Тэн, «Лекции об искусстве»).

«Ток жизни», «основная мысль», идеи и чувства века находят образное, конкретное воплощение в господствующем типе. Вот о нем, об этом герое нашего времени, и идет речь. Наш век создает такой господствующий тип. Героем нашего времени является боец за социальную справедливость, здоровый, крепкий, дисциплинированный общественный человек, который бьется за новый общественный строй. Коммунист он или нет, это не так уже важно. Это — не господствующий тип развернутого социалистического строя — тогда наверное будет другой тип, это — тип переходного времени. Этот тип только в процессе формирования, он как тип еще не сложился вполне. Пусть поэтому современное художество его еще не нащупало, пусть оно воспроизводит сейчас его криво, частично, по маленьким кусочкам, но оно работает, должно работать над этим. Эти кусочки мы находим у Всев. Иванова, у Казина, у А. Толстого, у Тихонова, у Сейфуллиной, у Гладкова, у Безыменского, у Бабеля, у Пильняка и т. д. Вне этого стремления нет сейчас действенного художественного слова. Стрелец ссылается на книгу «Писатели об искусстве и себе». Но там есть прекрасная статья А. Толстого: она трактует об этом господствующем типе и недостаток нашей молодой литературы видит в том, что она его еще не нащупала.

Вот почему и в каком смысле мы говорим о политическом самоопределении для художника.

Конечно, дело это куда как не легкое, но ведь искусство—не игра в бирюльки. М. Столяров в той же «России» очень своевременно напоминает о пушкинском «Пророке»:

И он мне грудь рассек мечем,
И сердце трепетное вынул
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул...
Восстань, *пророк, и виждь и внемли,*
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

О писателе-пророке мы говорим, о том, чтобы у него вместо сердца трепетного был уголь, пылающий огнем, чтобы он видел и внемлил и жег сердца людей, а не чадил головешкой.

Рассуждения Стрельца, что художник творит мир из себя, тоже не лишены интереса. Тут на-лицо чистейшая идеалистическая метафизика. Художник творит мир из себя. Если это только его мир, то для другого индивида он, повидимому, «непроницаем», непонятен и, следственно, неинтересен. Тогда художник пишет только для себя: другим он не нужен. Если же мир художника «проницаем» для других, он, очевидно, не только мой. Он принадлежит и общественному человеку. Но общественный человек сам — продукт известной общественной среды. Значит, мир не только мой, но он дан и средой, действительностью. Если же он мой и не мой, то встает законный вопрос о взаимоотношениях моего и не моего, суб'екта и об'екта (опять

об'ект, тов. Майский и... Стрелец!). Положительно, во-время вспомянутого нами об об'екте и об об'ективных истинах. Напоминать верные, хотя и «неопределенные», по терминологии Лелевича, истины, оказывается совсем не вредное занятие.

Статья Стрельца—явный анахронизм. Те самые художники, о свободе от политики которых хлопочет Стрелец, недавно писали в «письме» в Ц. К. Р. К. П. (б.): «Мы полагаем, что талант писателя и его соответствие эпохе — две основных ценности писателя».

Так что Стрелец наш стреляет вхолостую.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Синклер Льюис. Мистер Беббит. Роман. Перевод М. Пруссак. Под ред. Левидова. Госиздат. 1924. Стр. 536.

Как когда то английские каперщики на каждом новом клочке земли, к которому несли их приключения и морская отвага, хотели видеть клочек доброй, старой Англии — откуда и выросли словосочетания, как Новый Йорк, нынешняя столица мира,— так теперь, обратно, нам, новоселам собственной родины, везде чудится веселый, широкий шаг американских чудес, которые вот-вот вырастут перед непривычными очами. Еще Блоку когда-то примерещилась на оплаканных им седых русских равнинах „Америки новой звезда", а теперь эти сравнения идут запросто, каждый день — то о Сибири в связи с проектом изменения течений великих сибирских рек, то о Кубани, то об Украине,—но каждый раз неизменно: в России растет Америка. Это— не та Америка, о которой когда-то с неповторяемой желчью и презрением говорил затравленный грязными сплетнями Горький, — это то, что в Америке тонко подметил Уайльд, увидавший единственного поэта Нового Света в Уэте Уитмене, это, то, что создало широкую в своем простодушном благородстве кисть Фенимора Купера, это нечто, что выросло на великолепном сопоставлении Бруклинского моста — и Иелоустонского парка, Панамского канала — и Ниагары. Это несокрушимый романтизм стальных парнишек.

Это все—маленькая апология американизму современника. Нет сомнений, что у нас американомания замешана на настоящем постижении американского строительства; вне того оглушительного джаз-банда, которым сопровождается эдакий блэф-буфф-тарарам решительно все в Америке. Американский читатель наливается той же беспросветной дрянью, как и любой вообще грамотный бездельник в любой точке земшара: он читает романы о миллиардерах, в Европе это заменяется графьями и „великосветскими авантюристками", но это—все та же нечисть, решительно никому не потребная в качестве серьезного чтения. Но журнальная американская новелла о миллиардере, который женится на машинистке, нашла своевременно своего дельного и тонкого истолкователя, который сумел внести в нее любые тонкости писателя, который, раскрыв глубокий смысл вечного анекдота о внезапном обогащении (вчерашняя канцеляристка — сегодня миллиардерша), сумел показать тем, кому это в голову не приходило, что лифтер, стенографистка и прочие, которые „там где-то, вообще"—тоже люди с сердцами, головами, со всем ассортиментом радостей и несчастий, пылающих в роскошно инкрустированных грудях миллионеров и „великосветских" пройдох. Это был О. Генри. Вместо того, чтобы радовать своего инфузорного читателя зрелищем чистейших страстей, ничем не затуманенных, он двинулся туда, откуда родился интерес к этим страстям. Тонкий анализ показал: — интерес этот явился потому, что этот род читателя сдавлен в собственных страстях таким узким кругом переживаний, что необходим экран, Пинкертон, „Жена-бульдог или роковая перчатка" и все что хотите в этом же роде. Генри раскрыл это, как основание новой трагедии, новой трагикомедии; с почти-гениальной простотой он дал инфузорному вкус к этой трагикомедии, он научил его читать самого себя, собственное существование. И в известной мере будет правилен афоризм на ту тему о том, что с Генри кончилась американская бульварщина. Недостаток Генри, конечно, весьма относительный, в том, что он никаких точек над ожидающими их буквами ставить не намеревается. Его бытие — все само в себе, ограниченность его ставит границы и искусству. Но это вот так остановиться не могло. Раз эта целина почата, на ней что-

то да вырастет. И поколение молодых американских романистов перепахивает все по-своему. Раз было установлено, что трагедия возможна и не только на перине из нефтяных акций, что жизнь бродяги-гаучоса—жизнь всюду, а не только там, где он героически отдает свою бесталанную и бесшабашную голову за свою каторжную честь, еще менее не только там, где на фоне своей бесшабашности, на фоне осколков своей жизни, он сумел показать сентимент благородства, прямодушия, именно отсутствие которого характерно для капиталистической камарильи: раз это было установлено, то писатель и пошел прямо к этой вновь открытой жизни, не считаясь с рамками, которые предписывает лицемерие газетчика, не считаясь с тем, что „дозволено" и „не дозволено" тем, кто умеет только судачить о чужой жизни, но не может *ни анализировать, ни говорить о ней.*

Только что вышедший на русском языке роман Синклера Льюиса „Мистер Беббит", завоевавший себе серьезную известность и оценку в Америке, именно *такое продолжение линии Генри*, в указанном выше смысле.

Синклер Льюис—один из молодых американцев, начинающих новую эпоху для заокеанской литературы. Всякие кино-авторы, будь то Брет-Гарт и все, которые начи*нали с него и заканчивались тут же, в не*посредственной к нему близости—и Джек Лондон, и Уптон Синклер, и Генри, и Бирс, и многие другие,—все это дети молодой, неустоявшейся культуры. Для них вопросы культуры — суть вопросы существования, культура—орудие производства, накопление богатств — фортификация культуры. Деревянная, автоматическая целесообразность фактов—их недостижимый идеал, их пафос в установлении того, что любой факт может быть приведен силлогистически ввиду: „эс есть пэ", после этого мозговая работа закончена, факт поставлен на свое место, а что он будет делать на этом „его месте",—это уж его дело. Интеграция культурных фактов производится в чистую, под гребенку. Фабрикация фактов поднимает свою продукцию на недостижимую для Европы высоту. Цивилизация, так сказать, пущена на дело,—на то дело, которое мне сию минуту, вот тут подворачивается. Генри—уже упадок этого стиля, уже некоторый поворот: существование существующего уже не все для Генри, его интересует не только факт, как таковой, а смысл его, развитие ряда фактов, их логика, динамика фактов, и, наконец,—человек у факта. Однако все это—вчерашний день Америки. Война покончила со всем этим. Может быть, с берегов Марны сотни тысяч Джимми Хиггинсов привезли живительную европейскую горечь тэдиума осмысленности. Американский павлин в зелененьких долларах, сухощавый жулик, дядя Сэм, о тысяче и одной звезде,—старина с деревянных гравюр,—он наделал столько фактов, что волей-неволей приходится обеспокоиться о смысле происходящего. И перед лицом этих фактов выяснилось, что факты сами по себе, а дядя Сэм сам по себе, и что фактами с фактами же бороться довольно *затруднительно.*

Американская провинция—тоже провинция не лучше другой, все дело в масштабе. Доллар имеет резиденцию в Нью-Йорке, а ежели он в каком-нибудь Цинциннати соблаговолил разводить пшеницу, *так это просто ему вздумалось, а цинцин*натские поля не смеют рассуждать и должны делать то, что им приказано. Вот и все. Провинция—провинция. Она такова у Флобера, у Эммы Бовари и Фредерика Моро, — она мрачный символ маленького буржуа; а Синклер Льюис весь во влиянии Флобера. Конечно, он нам современник, поэтому вы увидите у него и Уэллса („Любовь и мистер Льюисгэм"), и сумрачного Джозефа Конрада, а, пожалуй, немного и таких новичков, как Дюамель. Впрочем, „прекрасные умы встречаются"; кто сказал раньше это „э",—Дюамель или Льюис,—несущественно.

Мистер Беббит — комиссионер по недвижимым имуществам. Свой дом, авто, порядочная жена, дети, ванна со всеми приспособлениями и все такое. Все на месте, все в исправности, все идет само собой,—а скука смертная. Мистер Беббит начинает злиться с утра, с первой страницы, читатель поеживается, узнавая родную картину: желчь барина, нависающая с утра над маленьким уютным семейным адишкой. А барин оживает на автомобиле, в конторе, где его наркотизует работа, в мужском обществе, крепком и безэмоциональном.

Эпитет этот встречается не раз, он повсеместен, он висит над несчастиями героя: бежать от эмоций, ибо их круговращение неизбежно приводит в мыслительный тупик. За всей жизнью Беббита есть некоторый задний план хронически замалчиваемых неприятностей: свинские и жульнические договоры о найме, ругня со служащими, порции так называемой „горькой правды", однобокого субъективизма чужой мысли, его отдых в мужской компании, — чепухастейшие анекдоты, шаг на месте — болтовня о гостиницах, во многие из коих присутствующим еще только снится попасть, и проч. *и проч. Что сказать, это—отдых, в нем нет* ничего такого, явно одиозного, но он ранит совесть неудобными запросами об убитом на чуточку стыдные пустяки времени. Старая повесть: суета сует и всяческая суета. Будни а-ля-лонг лишают смысла все сделанное: это подстилает совершившееся. — подальше от эмоций. Беббит не совсем удачно женат; это вышло вроде как случайно, он ее поцеловал, а она решила, что они помолвлены, итого — Беббит женился. Несчастие—чрезвычайно распространенное, но его острота от повторимости нимало не стирается: как было в первый раз в пещере неандертальца, так и теперь осталось. Беббит слоняется около женщин, слоняясь, опасается, опасаясь, пробует не слоняться,—а в итоге он для женщины полностью не реализуем. В полглаза он заглядывается на свою стенографистку, но на службе это не полагается,—и эта антимония—уже сердечный удар. У маникюрши очень приятные плечики, но и с той дело не идет в *достодолжном темпе: автомобиль в этот* день сломался, пришлось взять такси; дело заранее, в намерении уже разваливается. „Желанье желаний—тоска", говорил Толстой, и вот эта-то тоска и возит Беббита из одной каши в другую. Он заводит себе любовницу; все отлично: она мила, красива, весела, но обнаруживается и задний план этих мотыльковых радостей: пустая толкотня балбесов и профессиональная зевота человека, встающего с постели в пять часов вечера. Опять разрыв, и Беббит начинает пьянствовать. Жена—это семья, двадцать тысяч условностей, лицемерие по расписанию, консервы чувств и суррогаты мыслей; любовница—без малого пустое место. С одной прорыв в одном положении, с другой—в другом. Стенографистку переманили в другую контору, маникюрша потеряла свое обаяние после пары поцелуев на такси. Любовный баланс мистера Беббита плачевен до последней степени. И Беббит бунтуется. Он проникается либерализмом. Либерализм этот—полное собрание недозволенного,—ему становится жалко стачечников,—о, ужас! филантропия врагам! — он неожиданно открывает, что социалист Энэн, опаснейшая личность в городе, ничего-себе-малый, совсем не дурак и, кажется, порядочный человек; он, в шутку буркнув, позволяет себе защищать его в своем клубе, *и все друзья ощериваются, как собаки*, у которых отнимают кость. Он приходит в ресторан вот с этой самой, которая была так мила с ним и с которой ему нечего делать,—ужас сограждан не поддается описанию. Он пьянствует. Он не хочет входить в Лигу Добропорядочных Граждан. Одним словом, он делается свиньей по не понятным никому причинам. Его начинают подтравливать со всех сторон. Его единственный друг, единственная точка на земле, которая давала ему те эмоции, которые требовались, заморившись на уютном семейном адишке, пускает пулю в свою драгоценную половину, а затем и выходит в тираж на три года пенитенциарного учреждения. Всякий из этих вот Беббитов, которые злятся, пьянствуют и скучают на всех широтах, где слоняется и воюет белый, — хочет какой-то *органичности*: разделение труда сберегает время; но разделение эмоций, как общее правило, ведет к душевному краху. Льюис это рисует с исключительным *мастерством, он—крупный художник*, умелый, тонкий, с большим, глубоким состраданием, острой и точной наблюдательностью. Поссорив своего Беббита с миром,—Льюис по существу романа не находит выхода. Посылка Беббитовского существования неизбежно приводит к разрушению этого существования; формула не дает больше того, что в нее вложено. Трагедия остается трагедией, выхода нет, судьба не поддается разрешению. Льюис разрешает Беббита жизненно, в плоскости личного сострадания Беббита к окружающему: заболевает жена, и Беббит в порыве жалости бросает все свои завиральные идеи. Роман кончается тем, что Беббит благословляет сумасбродный брак своего сына и рекомендует

чему не бояться ни города, ни семьи, ни самого себя. И снова построение открывает в глубине своей новую трагедию: брошенные завиральные идеи суть идеи морально высшие, нежели идеи деньговыбивания, делячества, безобидного посапывания и обидного кулачества,—а в данном окружении идеи морально высшие оказываются морально ниже тех, что по существу человеческой морали стоят выше их. Это—развязка Уэллса (мистер Льюисгэм). Дешевенькое ницшеанство предписало бы герою плюнуть на все четыре стороны и пойти в социалисты, но это путь не для Беббитов. Круг завершается—новое поколение должно выветрить старину.

Мистер Беббит проиграл по всем фронтам. Ему, собственно, крышка. Раз он может пожалеть своих врагов, он погиб, ибо они-то его жалеть не станут. Льюис развел руками над своим Беббитом на последней странице романа,—а Льюис в положении Творца Вселенной относительно Беббита,—и раз эта высокопарная личность отступается от своего творения, то Беббиту ничего не остается. Он просто исчезает. Это всего лишь вопрос времени.

Льюис — прекрасный писатель.

Он вскрыл трагедию американского делячества, да так ловко, что там теперь больше и вскрывать нечего. Человек и деньги—вещи несовместные. Деньгами от денег не спрячешься.

Мистеру Беббиту крышка. Земля ему пухом.

Перевод русский—ниже всякой критики. Роман Льюиса испорчен так, что хуже вряд ли возможно. Переводчик совершенно не владеет русским языком (не умеет склонить даже собственную фамилию), взаимоотношения глаголов с дополнениями, особенно же глаголов с инфинитивами (второстепенными сказуемыми) для переводчика—темный лес,, почему перевод изобилует нелепейшими фразами, в коих зачастую невозможно добраться и до смысла. Редактор в своем предисловии кидает несколько слов об особенностях языка Льюиса, но все это остается для читателя подлинника, а для читателя данного издания остается одна досада на то, как в России ловко умеют поганить хорошие книги.

Сергей Бобров.

С. Третьяков. Итого. Стихи. Государственное Издательство 1921. Стр. 91.

Крученых и Каменский застыли на позициях раннего футуризма. Маяковский уже несколько лет стоит на одном месте и перепевает самого себя. Продолжает двигаться вперед и развиваться только „младшая" линия футуризма: Асеев, Третьяков, Пастернак.

В своем развитии эта группа перерастает рамки футуризма, понемногу сглаживает острые углы своей школы и заметно приближается к молодой пролетарской литературе (последнее относится, разумеется, только к Асееву и Третьякову, но не к Пастернаку). Что этот процесс действительно происходит, можно видеть по некоторым стихотворениям Асеева, Третьякова, по „Противогазам". Но развертывается он все же очень медленно, слишком медленно.

Насколько медленно и как, в сущности, велик тот путь, который приходится при этом проходить футуристам, показывает нам лучше всего рецензируемая книга Третьякова, где собраны его стихи за несколько лет. Третьяков - поэт несомненно талантливый, хотя и уступает в отношении дарования и Пастернаку и Асееву, не говоря уже о Маяковском. Сейчас у него искреннее желание отдать свой талант и мастерство на службу революции. Как и большинство „лефов", он понимает революционное искусство упрощенно, как — исключительно агитационно-плакатное („Марш-плакат", „1-ое мая", „Р. К. С. М", „Молодежи", „Первомайская песня", „Октябревичам", „Траурный марш"). Но в прошлом мы у него встретим и засахаренно-будуарную лирику в стиле Северянина - Вертинского:

Ее называю Ту,
И Ту—это значит молодо...
Ее называю Ту,
И Ту—это значит хитрая...
Ее называю Ту,
И Ту—это значит ласково.

Или:

Я на сердце надену орден подвязки
Которую с колен ты уронишь, танцуя.

И неврастенический индивидуализм (тоже с сахарцем, с сюсюканьем и [illegible])-

Мне не жаль ни нас, ни Германии.
Я один Ты тоже один?
Боже, боже! Какой ты старенький.
Я ведь молод, как первый снег.
Я люблю, когда пожарники
Едут медно, и звон телег.
Мне нравится платье в полоску
И еще шоколад Сюшар.

И своего рода богостроительство (горьковское: бог—„народушко"):

Бог гудёт
Мужицкою погудкой.
Бог идет
Мужицкою походкой,
Землю роет
Мужицким сошником.
Бог бьет
Мужицким кулаком.
Бог это—взглянешь—пьяное рыло.
Бог это щупнешь—мозоль—короста.
Ремень завыл—это бог—воротила.
Пляс—это бог наработался досыта.

Конечно, притти от всего этого хлама к революционному, хотя бы только плакатно-агитационному, искусству—большой прогресс. Но, надо сознаться, Третьяков все же ярче не в своих революционно-выдержанных, а в идеологически-путаных произведениях: тут перед нами, по крайней мере, живой человек, смотрящий на мир своими глазами, дающий свое, своеобразное, преломление мира, имеющий смелость быть самим собой. Революционные же его стихотворения интересны только (да и то не все) с формальной стороны. Это—добросовестное (во всех смыслах) выполнение задания, но внутри—бедность, монотонность, голая „программность", ни новой мысли, ни яркого чувства. Что думает, что чувствует Третьяков (не книжный, а действительный), где он, вообще, этот живой Третьяков—неизвестно. И это тоже не потому, чтобы он был неискренен, подделывался (ничего этого, разумеется, нет), а из-за чисто „формального" подхода к искусству.

Больше всего достижения поэта в формальном отношении (ритмическом, звуковом). Как, например, известный отрывок из стихотворения „Боженька".

Вон барабаны мерят дороги.
Топот патронов торопит лязг.
Скоро прорвутся Крики сирены.

Ночь прошла предпоследних ласк.
Скоро перетопчут, скоро, скоро.
Быстро перережут в визге пуль.
Топот и копыта в гору, в гору.
Первая шеренга и патруль.
Трепет и тревоги тронут рамы.
Сполоснем знамена. Грудь вперед!
Гавани таранами взвили краы.
Кто пойдет—тот умрет.

Но сила Третьякова—в то же время его слабость. Формальные поиски убивают поэта. Его стихи сплошь и рядом превращаются в „путешествия странами слов" (название одного из его стихотворений):

Чу—
жих.
Чу—
сова.
Чу—
чело.
Чу—
до.
Чу—
я.

Или:

ГН.
Гнедые кони, шелохните,
Гони в огни.
Гон гори гор!
Гоньба—гонь—гонь,
Гульба—гуль—гуль,
Плыви плескунья пламь!

Ребусы его часто не поддаются расшифровке. Что, например, значит: √РКП („Миру масм пора прочесть: √РКП")? Наконец, путешествие странами слов переходит порой в путенестния странами заборной литературы—с выразительными 3-х или 5-и буквенными словами (стр. 88).

Маяковский как-то выразился про Хлебникова, что тот был не столько поэт для читателя, для публики, сколько для поэтов. Этих слов нельзя применить к самому Маяковскому: он как раз поэт для читателя, для широкой аудитории, но они прекрасно подходят и к Асееву, и к Пастернаку, и к Третьякову. Их стихи не расходятся и не разойдутся в широких читательских массах, в читательских толщах. Читатель, знающий и любящий Маяковского, равнодушен к Пастернаку и Третьякову. Зато приемы,

ритмы, рифмы Пастернака, Асеева, Третьякова входят и войдут составной частью в мастерство не одного поэта (в том числе и пролетарского). Эти поэты войдут в литературу не сами по себе, а через своих учеников.

А. Лежнев.

П. П. Дорохов. Белые волки. Рассказ для детей. Госуд. Изд. Москва. 160 стр.

„Белые волки", это — рассказ о борьбе Красной армии и партизанов с колчаковщиной, — обычный для нашего времени среднего качества вариант „Партизан" Всеволода Иванова.

Как материал, рассказ вполне пригоден для детского чтения, тем более, принимая во внимание детей среднего и старшего возраста. Дети нужны нам, как будущие помощники наши, как продолжатели революционной борьбы, начатой старшим поколением, и поэтому следует их знакомить со всей действительностью нашей эпохи, но... подносе ее ребенку в детских дозах. Т. Дорохов в рассказе своем детей совершенно проглядел. Ни в одной своей строчке он не пытается подняться (отнюдь не спуститься!) до прозрачности и хрупкости детской психики. Прежде всего, ребенок любит книгу, содержание которой дано крупным шрифтом, а т. Дорохов сплошь и рядом говорит полунамеками, напоминающими звук оборвавшейся бадьи из чеховского „Вишневого сада". Затем не принята автором во внимание любовь детей к занимательному чтению; рассказ написан мозаически, миниатюрными сценками, по смежности совершенно меж собою не связанными, и поэтому рассеивает внимание, как нитка рассыпанных бус, не вызывая нарастающего любопытства у читателя.

А самое скверное в книге это — бесцветный ее язык. Вот некоторые его образцы:

„восторгом охватывает грудь и непередаваемо чарующе звенит нежный, девичий голос";

„райской музыкой казался ему тяжелый шаг красноармейцев";

„высокой, тоскующей нотой взметнулся предсмертный вопль";

„слились в одном комке жарко с хрипом дышащих тел, закружились в диком танце";

„Андреич попробовал улыбнуться:

— Ничего, до свадьбы заживет"...

и т. д. в этом же роде.

Кажется, Толстой говорил, что детские книги надо писать с исключительной к себе строгостью, — этого мудрого правила т. Дорохов или не знал, или не запомнил.

Федор Жиц.

Б. М. Эйхенбаум. Сквозь литературу. Сборник статей. Изд. „Академия" Ленинград 1924. 280 стр.

Ясность цели, нужная для всякой работы, у автора данной книги, повидимому, отсутствует:

„...все статьи объединяются одним стремлением — найти новые методологические основания для изучения литературы, как искусства".

Несколько ниже:

„Вопрос не столько в методах, сколько в принципах".

И наконец:

„...от скептического и беспринципного объективизма к уяснению основных вопросов поэтики, как науки — таково органическое движение современной (опоязовской) филологии".

Таков ступенчатый туман, заволакивающий пути Эйхенбаума, на каждом шагу обещающего все новые и новые открытия в области изучения русской литературы.

А по существу он никуда не ушел от обычного типа критических статей.— Много дельного написал о Державине, Карамзине, Толстом, Тютчеве, Пушкине, Некрасове, остроумно и правдоподобно проанализировал, как сделана „Шинель" Гоголя, и т. д. Но ни в одной из этих статей никаких новых Америк Эйхенбаум не открыл.

Чтобы доказать (не впервые в литературе), что Державин хороший поэт, Эйхенбаум прибегает к такого рода голословным аргументам:

„...как великолепны по власти над материалом слова и опять-таки по его образной точности кони в стихотворении „Колесница".

Следует цитата.

Немного ниже: „Что за могучий ямб, за мощная фонетика".

Опять цитата.

А в чем технически заключается могучесть ямба,—об этом Эйхенбаум благоразумно умалчивает, потому что не все элементы произведения искусства аналитически разлагаются и поддаются точному и бесспорному техническому учету.

Не лишне по этому поводу вспомнить слова Гете: „Художественное произведение искусства приводит нас в восторг и в восхищение именно той своей частью, которая неуловима для нашего сознательного понимания. От этого и зависит могущественное действие художественно - прекрасного, а не от частей, которые мы можем анализировать в совершестве“.

Но опоязовцы — народ решительный, по „ученой“ развязности нередко напоминающий чеховского фельдшера из „Хирургии“. — Для них —все ясно, все просто, все разрешимо, не с разных каких-либо точек зрения, приведенных к одной аналитической основе, а со стороны исключительно формальной, единственно ими признаваемой, как метод изучения явлений искусства.— Но и в этом облюбованном и трудолюбиво возделанном ими маленьком царстве голого технницизма опоязовцы, помимо своей воли, вынуждены нередко демонстрировать свою беспомощность, все операции проделать убогой козьей ножкой.

Пусть в этом смысле извинительно несовершенство анализа поэзии Державина—статья о поэте помечена 16-м годом, когда Эйхенбаум, по его собственным словам, был ближе к философии, чем к чистокровной филологии.

Посмотрим статью о Некрасове, помеченную 1922-м годом, которую автор считает противоположным полюсом статьи о Державине и здесь весьма скромные достижения формального анализа далеки от обещанных Калифорний: „Саша“ написана четырехстопным дактилем, но интонации этой поэмы не напевная, а повествовательная. Трехстопный дактиль в „Песне об Еремушке“ совершенно фельетонный. Многие фельетоны написаны анапестом и т. д.“.

Или.

„Мы имеем у Некрасова самые разнообразные виды стиховой интонации - болтливую скороговорку, которая произносится точно под балалайку, повествовательный сказ, балагурный тон, тон гневный и проповеднический, шансонетку или напев уличного романса (точно под шарманку) и т. д.“.

Все это до известной степени и верно и метко, но почему этим „откровениям“ не место рядом с работами по Некрасову, ну, хотя бы, Корнея Чуковского или других „специалистов по Некрасову“, от которых с неоправданным высокомерием отворачивается Эйхенбаум?! Конкретизация общих мест критической мысли при помощи субъективной терминологии не дает Эйхенбауму никаких прав на новаторство.

Справедливо не удовлетворен автор кропотливыми изысканиями Андрея Белого в области изучения поэтики и поэтов:

„Факты накопляются, статистика растет, но что делать с этими фактами и с этой статистикой, никто не знает. И никто поэтому не знает, что важно и что нет, что надо считать и чего не надо“.

А не этим ли же псевдо-научным пасьянсом занимается Эйхенбаум, когда пытается обосновать стиль Некрасова целиком на пародировании поэтом приемов Пушкина и Лермонтова?!

По его мнению:

„Искусство живет на основе сплетения и противопоставления своих традиций, развивая и видоизменяя их по принципам контраста, пародирования, смещения, сдвига. Никакой причинной (курсив автора. *Ф. Ж.*) связи ни с „жизнью“, ни с „темпераментом“ или „психологией“ оно не имеет“.

Не правда ли, более, чем просто, снизвести все творчество поэта к принципу: все наоборот?!

У поэта, по Эйхенбауму, немыслимо лицо без актерской косметики, ибо поэтическое творчество для него не горение изнутри яркого человеческого пламени, попутно со стихийным своим проявлением приобретающего — пусть не без участия рассудка — тот или иной стиль, наиболее полно оформляющий мысль-эмоцию художника:

„...душа или темперамент— одно, а творчество—нечто совсем другое...

„Другое, это — притворство, игра, техническая нарочитость, ведущие в искусстве к бескрылому „профессорству“, „сальеризму“, а не к созданию поэтических произведений, как думает Эйхенбаум

Ужасно боится наш „новатор", чтобы как-нибудь не взвалить на „хрупкие" крылья искусства конкретных и практических целей жизни:

„Мы любим почему-то „психологии" и „характеристики". Наивно думаем, что художник пишет для того, чтобы „изобразить" психологию или характер. Ломаем голову над вопросом о Гамлете — „хотел ли" Шекспир изобразить в нем медлительность или что-нибудь другое.—На самом деле художник ничего такого не изображает, потому что совсем не занят вопросами психологии, да и мы вовсе не для того смотрим „Гамлета", чтобы изучить психологию. К этим словам нас приучили скучные книги и статьи"...

Когда Некрасов и Григорович запоем, в один присест, прочли „Бедных людей" Достоевского, они восторгались не только стилем повести, но и трогательной жизненной историей, рассказанной Достоевским. Не из-за „приемов" и „приемчиков" непотухающим огнем до сих пор пылают великие произведения искусства, века пронзившие, как дни.— К каркасу жизненной правды, насыщенной бытом, чувством, мыслью, как кожа к мускулам, приросла стилистическая красота поэзии.

Впрочем, к этим мыслям „приучили нас скучные книги и статьи". А куда хотят нас повести игривые опоязовцы? Не к тому ли, чтобы — художнику творить „наоборот", критику — заниматься самовлюбленным высокомерием, а читателю — без удовольствия и пользы читать тех и других!

В стилистическую пустоту, без нервов, без сердца, без мысли, без запечатления в произведениях искусства моментов, волнующих человека, класс, человечество зовет за собою Эйхенбаум.

Носителю активных, бодрых идей современной революционной России не может быть по пути с этим новатором.

Федор Жиц.

К вопросу о политике Р. К. П. (б.) в художественной литературе. Издательство „Красная Новь". Главполитпросвет. Москва 1924. Стр. 109.

Брошюра эта представляет собой стенограмму совещания, созванного отделом печати при Ц. К. Р. К. П. (б.) 9 мая 1924 г. и посвященного вопросу о политике партии в художественной литературе. Большая ценность такой брошюры совершенно очевидна, если принять во внимание, что совещанием подведен итог ожесточенной, длящейся целый год дискуссии и что в ней принимали участие виднейшие работники партии, как Троцкий, Бухарин, Луначарский и др.

На совещании выявились определенно две точки зрения. Одна из них защищалась напостовцами (т.т. Вардиным, Раскольниковым, Авербахом, Лелевичем, Родовым, Безыменским), другая—Воронским и рядом поддерживавших его товарищей. Точка зрения напостовцев, начавших с торжественного „Гром победы, раздавайся" и закончивших меланхолическим „Нас не поняли", сводится к следующему: линия, проводившаяся до сих пор в литературе — главным образом, т. Воронским, — неправильна. Вместо того, чтобы поставить в центре своего внимания пролетарскую литературу, Воронский нянчился с попутчиками, чуждыми пролетариату, искажающими революцию. Такое положение дел не может дольше продолжаться. Необходимо превратить ассоциацию пролетарских писателей в опорный пункт партии на литературном фронте, другими словами—необходимо установить в литературе диктатуру ВАПП'а. Правда, напостовцами последняя мысль редко выражается прямо, а все больше уклончивыми, несколько неопределенными формулировками. Иногда они даже протестуют против того, что им „приписывается" это намерение. „Здесь говорили, что мы требуем диктатуры ВАПП'а над литературой,- возмущается Вардин - это абсолютно не верно. Наш лозунг — диктатура не ВАПП'а, а диктатура партии и в области литературы. Орудием этой диктатуры может стать и ВАПП". Нетрудно видеть, что, отрицая, Вардин только подтверждает то, что ему „приписывается". Как будто не все равно сказать прямо: мы требуем нашей диктатуры, или чуть дипломатически: мы хотим, чтобы партия сделала нас орудием своей диктатуры!

Точка зрения напостовцев не встретила поддержки в совещании. Кроме самих напостовцев, в защиту ее выступили только Керженцев (да и то в значительной мере условно) и Демьян Бедный. [illegible]

часть присутствовавших высказалась против нее (Троцкий, Бухарин, Полонский, Яковлев, Луначарский, Осинский, Радек, Мещеряков, Рязанов). Быть может, самым любопытным в выступлениях напостовцев было то, что они пытались представить дело так, как будто товарищи, подвергавшие их деятельность, их тактику наиболее резкой критике, — как Бухарин и Радек, — придерживаются, в сущности, тех же взглядов, что и они. Стенограмма позволяет видеть, насколько неосновательны эти утверждения. Впрочем, нетрудно заметить, откуда они взялись. Бухарин говорит о том, что „мы не должны отмахиваться от создания пролетарской литературы, от того, чтобы всячески поддержать ростки, которые имеются", о том, что в этих ростках есть „то динамическое начало, которое составляет сердцевину нашего бытия". Вот как говорят напостовцы. Бухарин за пролетарскую литературу. Но ведь то же самое утверждаем и мы. Бухарин — наш единомышленник. Тут явное недоразумение. Никто из выступавших на совещании не возражал против того, что надо всячески поддерживать ростки молодой пролетарской литературы. В этом сходится все, от т. Воронского („О пролетарских писателях. Глубоко уверен, что у нас из рабоче-крестьянских низов, из рабочих, из различных других организаций, из университетов, из Красной армии идет новый писатель... Что этот писатель безусловно займет главное место, что на него нужно ориентироваться и ему помогать, в этом у нас нет никаких разногласий с пролетарскими писателями") до т. Вардина. Расхождения начинаются только тогда, когда от этих общих соображений о ценности ростков переходят к конкретным мероприятиям, к политике, которую нужно вести в интересах развития этих ростков. Напостовцы и их союзники желают поставить пролетарскую литературу в особо-привилегированное положение, превратить ее в официальный институт, дать ей партийную санкцию („канонизировать ее канонно" требует Чужак), создать такое положение, при котором писатели разделились бы на две категории пролетарских писателей, занимающих главные позиции в журналах и издательствах и поставленных вне конкуренции, и попутчиков, едва терпимых, ограниченных процентной нормой (см. статьи Лелевича) и загнанных на задвор[…] в частные издательства (Раскольнико[…] Т. Бухарин решительно возражает прот[…] этого: „Мне кажется, что лучшим средств[…] загубить пролетарскую литературу, сторо[…] нником которой я являюсь, величайшим ср[…] ством ее загубить является отказ от пр[…] ципов свободной анархической конкур[…] ции, потому что нельзя сейчас выработ[…] хороших писателей, которые бы не прош[…] определенной литературной, жизнен[…] школы, жизненной борьбы, которые бы […] завоевали себе места, не отвоевали кажд[…] пяди своей позиции в этой борьбе. Ес[…] мы, наоборот, станем на точку зрения л[…] тературы, которая должно быть регулир[…] вана государственной властью и польз[…] ваться всякого рода привилегиями, то […] не сомневаемся, что в силу этого мы […] губим пролетарскую литературу". Нап[…] стовцы доводят идею о партийном рук[…] водстве чуть ли не до того, что парт[…] должна давать определенные задания пр[…] летпоэтам (см. статьи Либединского). Бух[…] рин возражает: „Какое дворянское пол[…] бюро давало директивы Пушкину, когда […] писал стихи?". Напостовцы травят всяко[…] писателя, не являющегося носителем зако[…] ченно-пролетарской идеологии, травят толь[…] за то, что у него замечаются крестьянски[…] или интеллигентские уклоны. Как же отн[…] сится к этому Бухарин? Он прежде все[…] устанавливает, что вопрос о писателе (ра[…] но как и о читателе) — вопрос чрезвычай[…] сложный. У нас нет сплошного читателя […] нет сплошного писателя, поэтому не мож[…] быть и сплошного решения вопроса. Жу[…] нал „На посту" упрощает задачу. Он думае[…] что у нас есть пролетариат, но что у нас н[…] промежуточных группировок, и что поэтом[…] задача заключается в том, чтобы в любо[…] писателе открывать, что он не чистый пр[…] летарий по своему художественному мир[…] содержанию, и обрушивать на него огро[…] нейшие дубины, которые организацион[…] вооплощаются в МАПП'е и т. п. организа[…] циях. Вот в этом и заключается неправиль[…] ная постановка вопроса. У нас должна быт[…] крестьянская художественная литератур[…] Ясное дело, мы должны давать ей хо[…] Должны ли мы ее душить за то, что он[…] не пролетарская? Это бессмысленно. М[…] должны вести такую политику, чтобы по[…] степенно, с такой постепенностью, с како[…]

мы ведем крестьянство, учитывая весь его вес и его особенности, вести его по линии раскрестьянивания, точно так же и в области художественной литературы, как и во всех художественных областях. Мы должны эту крестьянскую литературу тащить на буксире за литературой пролетарской. Если так стоит вопрос относительно читателя, то так же стоит он и относительно писателя. Мы должны во что бы то ни стало лелеять ростки пролетарской литературы, но мы не должны шельмовать крестьянского писателя, мы не должны шельмовать писателя для советской интеллигенции". Наконец, решительно осуждает т. Бухарин вечную возню с декларациями и платформами, которая так характерна для „Октября" и МАПП'а. „Нужно, в конце концов, понять, говорит он,— что наши пролетарские писатели должны заниматься не писанием тезисов, как они до сих пор занимаются, а писанием литературных произведений. До крайней степени надоело читать бесконечные платформы. Они похожи друг на друга, как две капли воды. Они надоели до последней степени. Дать вместо 20 платформ, как бы хорошо они ни звучали, какими бы ортодоксальными они ни были, одно хорошее литературное произведение,—вот в чем заключается все дело, ибо то, что у нас происходит в области литературных организаций, есть величайшая подмена проблемы". И если после всего этого напостовцы заявляют, что Бухарин на 99% согласен с ними, мы можем только сказать: товарищи, вы плохо знаете арифметику!

Еще более резкую отповедь услышали напостовцы от т. Троцкого. Речь Троцкого на совещании—одна из его самых блестящих речей, образец полемического искусства. Заявления Вардина, Раскольникова, Либединского он подверг поистине уничтожающей критике. Трудно пересказать эту речь, до того она насыщена содержанием. Пришлось бы привести ее целиком, а речь довольно большая. Но несколько моментов следует отметить. Напостовцы (напр., Лелевич) утверждают, что пролетарская литература уже в настоящее время настолько сильна, что является главной, первенствующей силой на литературном фронте. Она в художественном отношении уже превзошла непролетарскую, попутническую литературу, доказательством чего могут служить „Комсомолия" Безыменского и „Железный поток" Серафимовича. Поэтому возможно уже сейчас сделать наши журналы монолитными, так чтобы все отделы, в том числе и художественный, представляли в идеологическом отношении одно целое. Т. Троцкий на это отвечает: „Конечно, *было бы великолепно, если бы* мы имели в дополнение к нашей коммунистической политике и публицистике большевистское мироощущение, выраженное в художественной форме. Но этого нет, и нет совсем не случайно. Суть дела в том, что художественное творчество, по самой сути своей, отстает от других способов выражения духа человека, а тем более класса. Одно дело понять что-нибудь и логически выразить, а другое дело органически усвоить это новое, перестроить порядок своих чувств и найти для этого нового порядка художественное выражение. Второй процесс органичнее, медленнее, труднее поддается сознательному воздействию и в последнем счете всегда запаздывает. Публицистика класса бежит вперед на ходулях, а художественное творчество ковыляет сзади на костылях". Что же касается „Комсомолии", то, во-первых, сомнительно, чтоб по поводу одного произведения можно было провозглашать появление пролетарской литературы, а, во-вторых, „Безыменского не было бы на свете, как художника, если бы у нас не было сейчас Маяковского, Пастернака и даже Пильняка". А это доказывает, что „художественное творчество данной эпохи представляет собой очень сложную ткань, которая автоматически, кружковым, семинарским путем не вырабатывается, а создается сложными взаимоотношениями, в первую голову с различными группировками попутчиков", что нельзя посадить пролетарскую литературу под стеклянный колпак, нельзя вычеркнуть попутчиков. И когда Либединский замечает с места, что подражать Пильняку и значит отравляться им, Троцкий дает ему убийственно меткий ответ: „К сожалению, человеческий организм может питаться, только отравляясь и вырабатывая внутренние средства против отравы. В этом и состоит жизнь. Если вас высушить, как воблу, тогда не будет отравления, но не будет и питания, вообще ничего не будет". Далее Троцкий (а также Луначарский, Полонский, от-

части Бухарин подчеркивает игнорирование напостовцами в литературной проблеме того, что в ней есть специфического, как в проблеме искусства. Для напостовцев вопрос о художественной литературе — вопрос только политический. Поскольку дело касается литературы прошлых веков, она имеет для напостовцев лишь значение историко-культурного документа (Раскольников). Данте для Раскольникова ценен лишь потому, что дает ему понимание настроения определенных классов в определенную эпоху. Но это значит отрицать художественную ценность „Божеств. комедии". Художественное значение Данте, Шекспир, Байрон могут иметь только тогда, если они в состоянии „действовать на меня угнетающе, питать во мне пессимизм, уныние, или, наоборот, приподнимать меня, окрылять, ободрить", т.-е. сохраняют „основное взаимоотношение между читателем и художественным произведением". Если поэт давно-прошедшей эпохи может так действовать на современного читателя, то это не благодаря своей социальной обусловленности, но, в значительной мере, несмотря на нее. Почему мы советуем рабочему читать Пушкина? Потому, что у него прекрасный язык? Но ведь этот язык служил у него для выражения дворянского миросозерцания. Для того, „чтобы понять, как дворянин, владелец крепостных душ и камер-юнкер встречал весну и провожал осень? Конечно, и этот элемент есть у Пушкина, ибо Пушкин вырос на определенном социальном корне. Но то выражение, которое Пушкин давал своим настроениям, так насыщено художественным и вообще психологическим опытом веков, так обобщено, что его хватило и на наше время".

Помимо речей т.т. Троцкого и Бухарина (наиболее обстоятельных) интересны еще выступления т.т. Луначарского, Полонского, Яковлева, но они вращаются в кругу тех же вопросов, которые затронуты Троцким и Бухариным, и дают более или менее сходные их решения. Что же касается доклада т. Воронского, то его основные положения известны уже читателям „Красной Нови" из ряда его статей. Следует еще отметить, что помимо прений „напостовцев" [illegible] пролетарскими писателями или даже большинством их. [illegible]

линии т. Воронского выступили о
„Кузницы" т. Якубовский, в от „Пе
Артем Веселый.

Принятая совещанием резолюция,
кивая, что основная работа партии
сти художеств. литературы должна
тироваться на творчество рабочих и к
отмечая необходимость выдвижения
риальной помощи пролетарским и
янским писателям, подтверждает
ность прежней линии в отношении
путчикам и осуждает приемы крити
нала „На посту" и атмосферу к
щины и богемы, царящую в проле
писательских объединениях.

И. Сталин. О Ленине и лен
ме. Государственное Издательст
сква 1924. Стр. 145. Тираж 50.000
пляров.

В той огромной литературе, кото
пущена нашими издательствами в с
смертью тов. Ленина, книга Сталин
ляется как образцовое, точное и
ложение основ ленинизма. „Изложит
низм, — говорится во введении, — это
изложить то особенное и новое
дах Ленина, что внес Ленин в
сокровищницу марксизма и что есте
связано с его именем". В чем же
чается „особенное и новое в труда
на"? Автор отвечает: „Ленинизм ес
ксизм эпохи империализма и проле
революции. Точнее: ленинизм есть
и тактика пролетарской революции
теория и тактика диктатуры проле
в особенности". Это определение, д
тельно, охватывает самую суть лен
и дает руководящую методологическ
при изучении вопроса. Сам автор
минуту не забыл об этом определе
отдельных главах о теории, о ди
пролетариата, в крестьянском и нац
ном вопросах, в вопросах стратегии
тики, о партии Сталин неуклонно с
своему заданию „изложить особенн
вое в трудах Ленина", заключающеес
что ленинизм есть марксизм эпохи
ализма и пролетарской революции.
низм вырос, развился и окреп в сам
столкновении и напряженной борьбе
ческим оппортунизмом; это его си

как учения, преимущественно и особо воинствующего и боевого, в книге подчеркнуто выпукло и наглядно. Но, отмечая боевой, воинствующий характер ленинизма, т. Сталин не преминул отметить, где следует, что Ленин никогда не отличался беззаботностью к теории. Наоборот, именно Ленин настаивал на том, что „без революционной теории не может быть и революционного движения" и что „роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией". Узколобого практицизма, делячества, пренебрежения к теории в ленинизме нет и в помине. Сталин правильно указывает, что книга Ленина „Материализм и эмпириокритицизм" является единственной в марксистской литературе: в ней обобщено, что дано наукой со времени Энгельса, и подвергнуты всесторонней критике анти-материалистические течения в среде марксистов.

В последней главе „Стиль в работе", которую следовало бы расширить, автор останавливается на особом типе партийного и государственного работника, создающего ленинский стиль работы. Типичны две особенности: русский революционный размах и американская деловитость. „Стиль ленинизма состоит в соединении этих двух особенностей". Это тоже верно: тип профессионального революционера, который, можно сказать, выпестован т. Лениным, особый, единственный в России и в мире тип, хребет нашей партии, в самом деле сочетает в себе русский революционизм с американской деловитостью.

Сам автор называет свою книгу „сжатым конспектом". Это едва ли так: для конспекта она слишком связна, а главное—подробна. Видимость конспекта ей придают предельная сжатость и, так сказать, арифметический метод изложения. Едва ли в нашей партии многие знают, что т. Сталин—один из лучших стилистов в наших рядах. А, между тем, это так. Стиль Сталина скупой, расчетливый, взвешенный, суховато-точный и деловитый. В нем нет лишних слов, остроты, он не приправлен ни образами, ни метафорами, он не блещет красками, но он ясен, прост, логичен и краток. Такой стиль вырабатывается только в результате упорной работы над тем, чтобы дать комплексу понятий наиболее краткое и простое словесное выражение, не отвлекаясь в сторону. Отсюда и „арифметика" стиля по 1-х, по 2-х, в 3-х, a, в, c, d, „из этой темы я беру шесть вопросов" и т. д. Сухая деловитость изложения с избытком компенсируется содержательностью, уменьем сжато ввести в суть вопроса.

Книга тов. Сталина составлена из лекций, которые он читал в Свердловском университете, но она интересна и полезна не только для учащихся. Ее со вниманием и с пользой для себя прочтет всякий, кому дорог Ленин и ленинизм.

Так как ленинизм, это - большевизм и наша партия, то книга Сталина дает изложение основ большевизма, теории и практики нашей партии вообще.

Ковров.

Вл. Виленский (Сибиряков). Сун-Ят-Сен—отец китайской революции. Изд. „Красная Новь". 1924 Стр. 182 Ц. 90 коп.

Автор книги задается любопытной целью — познакомить читателя с основными идеями китайской революции путем систематизированного изложения взглядов признанного вождя ее д-ра Сун-Ят-Сена. Книга содержит ряд документальных данных (выдержек из статей, речей, прокламаций и т. п.), снабженных вводными статьями и критическим комментарием, который дает нам полную возможность проникнуть в сложную идеологию китайских революционеров.

Как справедливо отмечает тов. Виленский, идеология эта действительно полна „китаизмов" и представляет на первый взгляд мешанину разнообразных европейских идей. Сущность „сунятсенизма" составляет три принципа: — национализм (сводящийся к стремлению — превратить разноплеменный Китай в одно культурно-политическое целое), демократизм (американского образца) и социализм (крайне туманного, почти исключительно аграрно-народнического характера). Так же своеобразен и план государственного устройства Китая. Сун-Ят-Сен провозглашает здесь „конституцию пяти видов или властей", законодательной, судебной, исполнительной власти наказания (нечто вроде государственного контроля) и „власти проверки знания" (т. е. экзаменов для всех чиновников).

Однако, несмотря на все эти „китаизмы", программа Сун-Ят-Сена в условиях необы-

чайно отсталого консервативного Китая безусловно является фактом прогрессивного характера. Ход политической борьбы, бушующей в течение 12 лет, толкает Сун-Ят-Сена все более и более влево. Первоначально он сам и возглавляемая им партия Го-мин-дан являются типичными представителями китайской (гл. обр. южной) мелкой буржуазии и интеллигенции. Опыт борьбы с империалистическими державами и влияние русской революции, однако, не прошли бесследно для Сун-Ят-Сена. В январе 1924 г. он производит реорганизацию программы и структуры партии Го-мин-дан. В новой программе мы находим уже требования национализации ж. д., банков, водных путей и т. п., требование рабочего законодательства, помощи безработным и т. д. Все это показывает, что руководимая Сун-Ят-Сеном партия переживает процесс расслоения и сближение ее левого крыла с китайской рабоче-крестьянской массой.

Сун-Ят-Сен, несомненно, является крупнейшей фигурой на современном Дальнем Востоке. Неутомимый революционер, ведущий почти 40 лет беспрестанную борьбу с внутренней реакцией и с мировым империализмом — он действительно может быть назван „одним из крупнейших людей нашей эпохи". В. Виленский, давший нам возможность из первоисточников узнать характер его [illegible] и [illegible], вдобавок, поданных сквозь призму марксистского анализа, заслуживает всяческой благодарности со стороны всех, кто интересуется судьбами величайшего народа Дальнего Востока — Китая.

В. Кр[illegible].

Новые издания Секции права и государства при Социалистической Академии.

И. Разумовский. Социология и право. М. 1924. Стр. 29.

Г. Гурвич. Нравственность и право. М. 1924. Стр. 16.

Е. Пашуканис. Общая теория права и марксизм. М. 1924. Стр. 160.

Руководимая И. И. Стучкой Секция права и государства при Социалистической Академии стала заметно развивать за последнее время издательскую деятельность. При этом в отличие от практических издательств Наркомюста и Института Советского Права, она сосредоточивает свое внимание на наиболее общих вопросах, рассматриваемых обычно в теории или философии права. Здесь секция права и государства разрабатывает крайне слабо затронутую учением марксизма область и делает нужное не только для теоретиков, но и для практиков юристов дело. Неизбежны поэтому и разногласия, подчас весьма существенные, между отдельными писателями.

Как проникнуть в существо права? И. П. Разумовскому единственным правильным представляется, повидимому, путь социологического исследования. Для правовой теории регулирующие элементы теоретического изучения устанавливаются социологией в виде понятия „правовых отношений" и понятия „правовой идеи" и „правовой идеологии" (6). И в дальнейшем изложении своих мыслей этот автор движется по пути, заранее определенному тем представлением о структуре общества, которое он вынес из Марксовой теории. Г. С. Гурвич, тоже, очевидно, склоняющийся к социологическому методу, полагает, однако, что в первую очередь следует „разрешить ряд *частных вопросов о праве*", *к числу которых* относится и вопрос о взаимоотношении права и нравственности (11). Наконец, Е. Пашуканис считает, что необходим самостоятельный, независимый от социологических и психологических теорий „анализ основных определений правовой формы" (6), и отрицательно относится к попыткам свести изучение права на учение „правового регулирования, как оно возникло из материальных потребностей общества" (7).

По разному подходят перечисленные авторы и к самому определению „права". И. П. Разумовский отдельно рассматривает „правовую структуру общества", которую он мыслит, как „систему общественного поведения людей" (10). Отдельно же он изучает „общую правовую идею" и правовую идеологию, иначе — „согласованную систему идей, отвлеченно в правовой форме, выражающую классовые умонастроения и интересы" (16). Компромисс между тем и другим образует, по мнению автора, то, что называют обычно правопорядком (18). Значительно проще рисуется дело Г. С. Гурвичу. Для него право — это „сумма нравственных предписаний, снабженная этикет

кой государственного признания и вооруженная аппаратом государственного принуждения" (27). Между тем Е. Пашуканис резко отрицательно трактует построения, которые „стремятся исчерпать право признаком внешней государственно-организованной принудительности". По его мнению, это „грубо эмпирические приемы догматической юриспруденции, продолжение которой должно составить задачу марксизма" (10).

Можно было бы умножить число таких выписок и сопоставлений, но достаточно уже приведенных. Каждый из авторов *основывает свои взгляды на цитатах из* Маркса и Энгельса, истолковывая их, конечно, по своему. При таком положении очень трудно отстаивать чьи бы то ни было притязания на ортодоксальность. Надо сказать напрямик, что лучший способ разрешения спорных вопросов — это не изобличение друг друга в отступлении от буквы марксизма, а исследование предмета по существу. Правда, и в этой области издания Социалистической Академии представляют несомненный шаг вперед.

К сожалению, наименьших результатов добился здесь И. П. Разумовский. Этот автор знаком читающей публике по двум превосходным статьям: „Понятие права у Маркса и Энгельса" („Под Знаменем Марксизма", 1923) и „Сущность идеологического воззрения" („Вестник Социалистической Академии", 1923). Правда, обе названные статьи являлись лишь комментарием к некоторым мыслям первоучителей марксизма, но зато комментарием исчерпывающим. В настоящей брошюре автор пытается дать самостоятельное развитие тем же мыслям, но его рассуждения, будучи кое в чем правильны и интересны, пропадают для читателя из-за недостатков разного рода и значения. Начну с частных ошибок и недоразумений. Социология рисуется И. П. Разумовскому, как „методология общественного познания" (4) или, в другом месте, как „логика общественного бытия" (5). „Она предваряет все социальные науки, сопровождает их в их развитии, детализируется и конкретизируется на приложении ее к изучению реальных отношений, и выкристаллизовывается с еще большей ясностью, как методологическое завершение социальных исследований". При желании можно, конечно, понимать социологию и в этом смысле,—благо, до сих пор для нее не отведено еще определенной научной территории. Но автор такое понимание обещает „марксистски обосновать". Дело, однако, не идет дальше обещаний. Если один из авторитетнейших марксистских социологов Н. И. Бухарин говорит в своей известной книге о законе социального равновесия или о природе революции, можно ли сказать, что это вопросы методологического порядка? Сомнительно. К какой же науке отнесет их И. П. Разумовский? Он делает, правда, в некотором роде открытие, когда заявляет, что понятие общественно-необходимого труда, лежащего в основе ценности, внесено в экономическую науку социологией. Боюсь, однако, что экономисты будут здесь отстаивать, и с полным правом, свое первенство. В противном случае у них будут отчуждены и отданы в собственность социологии даже такие исконные экономические вотчины, как „хозяйство", „производство", „распределение".

Самое разделение правовой структуры и правовой идеологии, проводимое И. П. Разумовским, напоминает до некоторой степени плехановское разделение права со стороны формы и содержании (Соч., т. VIII, стр. 263). Можно предположить, что наш автор в известной степени испытал влияние мыслей автора „Монистического взгляда". Если это так, остается лишь пожалеть, что в вопросе о природе общественного процесса И. П. Разумовский не использовал кристально-ясных идей Плеханова, который умел сочетать представление о личности, как живой общественно-исторической величине, со строгим подчинением ее деятельности неумолимым социальным законам. И. П. Разумовский вслед за Гумпловичем хочет свести социологию к отношениям общественных групп (и при том почему-то „больших",—следовательно, семья исключается?). Кто же будет ведать вопросом о том, как и почему слагаются люди в те или иные группы? Автор оправдывается тем соображением, что „типические и длительные для данной общественной формы отношения групп дают почву для объективного исследования в противовес текучим психическим взаимодействиям" (7). Здесь приходится лишь напомнить, что современная коллективная психология и рефлексология, пользуясь вполне объективными

методами исследования (пример—„Психология масс" Moede), отлично изучает процессы, пренебрежительно отбрасываемые И. П. Разумовским под предлогом их текучести.

К сказанному остается присоединить лишь указание на тяжеловатый в своей отвлеченности способ изложения автора. Не может служить оправданием и ссылка на методологический характер брошюры, ибо в этой плоскости вполне уместны пояснительные иллюстрации из истории науки. Без них методологические построения И. П. Разумовского висят в воздухе.

Нельзя отнести такого рода упреков к брошюре Г. С. Гурвича. Она написана красивым образным языком, и хотя автор вращается в кругу больше идей, нежели фактов, мысли его вполне доступны и для не имеющего специальной подготовки читателя. Можно было бы, правда, обойтись без таких выражений, как „гетерономная мотивация" (10) или „заповедь трансцендентного владыки" (15), но, видно, привычка к их употреблению сделалась у наших писателей второй натурой. Нравственность выводится автором из социального инстинкта, преломившегося известным образом в сознании как результат определенного классового строения общества. Нет абсолютных нравственных правил. „Возникнув, нравственная норма, уже потому, что возникла, обречена на гибель" (20). По своей косности она не может угнаться за непрерывным поступательным движением того экономического содержания, которое ее породило. Каждый вновь поступающий на арену истории класс создает свою нравственность. Одновременно с ростом и укреплением социальных инстинктов в его среде, наблюдается их ослабление и распад „в среде классов отживших, теряющих власть над производством и превращающихся в общественных захребетников" (22). С точки зрения исторического материализма нравственность и право коренятся в потребностях производства. „Но в то время, как гармоническое общество вполне удовлетворяется единой системой нравственных норм, в классовом обществе это единство падает, и нравственные нормы господствующего класса, получив от его государства принудительный характер, функционируют под именем права" (39).

Автор на словах отказыв
вопрос о существе права (
как мы видели, он это решение
том совершенно в духе догматич
пруденции (черты „признания"
дительности"). Размеры настоя
исключают возможность ближа
ждения высказанных Г. С. Гурв
ний. Нельзя не сказать, однако,
шись симметрией своих постро
оторвался от почвы фактов и
виду момент социальной техни
в большинстве норм права пре
моментом нравственного, как до
самым сильным микроскопом
жишь нравственных примесей
пример, статье закона: „Прези
блики заключает договоры с др
дарствами и доводит их до сведе
(Польская конституция 17 марта
49). Может быть, Г. Гурвич воз
такая норма есть просто „аксес
вого акта"? Подобное возраже
соображения, высказанные Г. С
по поводу „процессуальных и и
норм" (45), имело бы чисто
ценность, ибо, как ни называть
природа его от того нимало не п

Безусловно выдающееся явл
временной литературе права п
книга Е. Пашуканиса. В этом
ствуется юрист par excellence, п
овладевший своим предметом
сованный правом, как таковым
нием sui generis. Развитое ю
мышление, по мнению Е. Пашука
жет обойтись без некоторого
присущих ему весьма отвлеченн
понятий. Эти понятия сохраняю
чение и в советских кодексах, р
метод формально-юридического
со всеми его особенными приема
тор решительно возражает прот
практикуемого многими маркси
жения теории права в виде исто
ственных форм с кое-какой ю
окраской. В такой постановке
винит отчасти даже Плеханова,
шенно неосновательно, ибо в
материалистическом понимании
основоположник русского маркси
ной отчетливостью выделил форм
мостоятельный и важный элем
Так или иначе, но сам Е. Пашук

мится, как уже указывалось выше, к анализу основных определений правовой формы. При этом основное условие существования правовой формы он видит вместе с Марксовой „Критикой Готской программы" в „объединении трудовых усилий по принципу эквивалентного обмена". Е. Пашуканис усматривает в этом обстоятельстве „глубокую внутреннюю связь формы права и формы товара" (18). Отсюда не далеко до вывода, что лишь в наиболее развитой форме товарно-менового общества мы можем рассчитывать встретить соответственно развитую и очистившуюся от разного рода исторических наслоений форму права (28). Своеобразие метода Е. Пашуканиса лежит именно в том, что из наиболее развитой юридической формы он думает понять предшествовавшие ей элементарные формы права.

Поставив вопрос в этом разрезе, Е. Пашуканис выгадывает прежде всего то, что в анализе товарно-меновых отношений он может отправиться от результатов, добытых аналитическим гением Маркса. Как известно, ни античное, ни феодальное хозяйство своего Маркса не имеют. Добытую выгоду Пашуканис использовывает превосходно, находя в неисчерпаемой сокровищнице идей великого революционера новые мысли, ускользнувшие от внимания составителей хрестоматий и любителей избитых цитат. Благодаря этому, автор, между прочим, дает очень интересное и элегантное сопоставление основных экономических понятий с такими же юридическими. В центре его внимания стоит все время товар. Юридическое отношение рождается впервые в момент спора между хозяйствующими субъектами (53). Человек становится носителем права не ранее, чем продукт труда приобретает свойство товара и становится носителем ценности (71). Власть может быть выражена в правовых терминах только как „гарант. рыночного обмена" (101). Самое правовое принуждение, подчиняясь законам рынка, вынуждено выступать под видом безличной и отвлеченной нормы (107).

В сфере этих идей движется все время исследование Е. Пашуканиса. Читатель видит, что автор, несмотря на свое намерение построить чистую юриспруденцию, дал по существу социологическую теорию права. От такой непоследовательности никто, впрочем, не остался в накладе. Среди изобилия работ, самих по себе полезных, но уместных лишь в агитационных сборниках и лишь в лучшем случае на страницах учебников политграмоты, книга Е. Пашуканиса выдается, как научный, в подлинном смысле этого слова, труд. Советскому юристу покажется, пожалуй, что автор слишком „юридичен". Практики и теоретики советского права привыкли видеть в своем предмете просто социальную технику, податливую целевым преобразованиям, как всякая другая техника. Но эта новая правовая формация начинается там, где кончается изучаемое Е. Пашуканисом право: в той области вполне законны другие подходы и приемы.

Книга Е. Пашуканиса заслуживает более подробного разбора, чем тот, который по обстоятельствам места и времени я могу дать. Многое в ней вызывает на спор. Многое требует чисто фактических исправлений.

И. Ильинский.

М. П. Баскин и М. И. Чудновцев. Хрестоматия по политграмоте. „Новая Москва". 1924. Стр. 315.

Потребность в хрестоматии по политграмоте остро ощущается всеми ведущими политпросветработу среди широких кругов.

Особенно четко выявилась ныне нужда в такой хрестоматии, в связи с влившимися в партию полуторяста тысячами ленинцев.

Учебники политграмоты утомляют читателя присущим им, по необходимости, однообразием стиля. В этом отношении от них выгодно отличается рецензируемая хрестоматия. Она дает отрывки из разнообразных авторов, проделывает за читателя ту трудную работу, которую предстояло бы сделать самому читателю; выбирает наиболее существенное и ценное. Этим она экономит читателю время и труд.

Отрывки взяты составителями из популярных брошюр. Читатель получает представление об экономических основах современного общества, о классах и классовой борьбе (на Западе и в России) и об организации пролетарского государства. Большое внимание уделено хозяйственному строительству С.С.С.Р. и истории Р.К.П.

Хрестоматия, вероятно, потребует переиздания. Тогда следовало бы ее дополнить в соответствующих отделах отрывками из следующих достаточно популярно написанных книг и брошюр:

К строительству Красной армии: из М. Тухачевского „Война классов" (Госизд., М. 1921) и Антонова-Овсеенко „Строительство Красной армии в революции" („Кр. Новь", 1923 г.).

К государственному устройству С.С.С.Р. следует пользоваться отрывками из т. П. Стучки „Учение о государстве и конституции" („Кр. Новь", 1923 г.) и И. Трайнина „С.С.С.Р." („Кр. Новь", 1923 г.).

По кооперации: из Н. Л. Мещерякова „Задачи современной кооперации" (изд. Центросоюза 1923 г.).

К вопросу о НЭП: из Л. Троцкого „НЭП Сов. России и перспективы мировой революции" („Моск. Рабочий", 1923 г.) и из Вл. Сарабьянова „Промышленность" (ГИЗ, 1922 г.).

К истории нашей революции и партии: из А. Луначарского „Пять лет революции" („Кр. Новь", 1923 г.), Джона Рида „10 дней, которые потрясли мир", из К. Молотова „К истории партии" („Моск. Рабочий", 1922 г.).

О Профинтерне: из ряда статей т. А. Лозовского, в частности, из „Ближайших задачи Красн. Интерн. профс." („Кр. Новь", 1923 г.).

В перечисленной литературе имеется много нужного поучительного материала, изложенного ничуть не менее популярно, чем те книжки, которыми пользовались составители. Предстоит исправить упущение, выразившееся в обходе таких спецов в своей области, как вышеперечисленные авторы. При чем дополнения эти можно будет сделать за счет сокращения ряда приведенных отрывков, гораздо менее четких и ярких, чем те, которые можно извлечь из указанной нами популярной литературы. Таким образом не будет надобности количественно расширять и без того объемистый сборник, а качественно он значительно выиграет.

Г. Даян.

Проф. д-р Ревеш. Раннее про ние одаренности и ее уз ние. Перев. д-ра Присмана под с пред. проф. Россолимо. Кн-во проблемы". М. 1924. Стр. 69.

Когда признана необходимость ность ориентации юношества при профессии, работы, подобно назван туально интересны.

Автор названной книжки присоед к общему признанию необходимости дований систематических способност ростков. Наиболее целесообразно в и 18 лет.

Однако практическое значение эти дования получат только тогда, ког щество будет охранять од ных, когда оно сможет использ специальную одаренность для со ствующей работы. До того времени по изучению одаренности являет мнению автора, „только красивой (стр. 68).

Так же бесспорно, что очередной з психологии является разработка ме раннего узнавания одаренности и п чение ряда научных дисциплин к ра нию всех ее теоретических проблем.

Однако читатель в названной книж найдет ни методических указаний, щих теоретических обоснований. Ав привлекает имеющегося большого, ос у Гамбургской школы (В. Штерна), риментально-психологического мате Он лишь ограничивается указанием его важность. Большая часть книжк водится анализу специальной одаре и возрастного ее проявления на вании биографического материала. риал привлечен обширный: данные из великих людей всех видов искусства: ср. Золя, Лист, Лессинг, Шилл др., а также математиков.

Позднее проявление способностей уке, в противоположность ранней матической способности, автор не с объяснить анатомическими или физи ческими субстратами. Причину этого ния он усматривает в существе математики, как первой науки, с рой ребенок знакомится на школьной мье. Другие науки юным школьника подавались и продолжают препода эмпирически и описательно. Они

догматический материал. Не ориентируют ученика в методах и в существующих у них проблемах. В математике же внимание ученика обращено на самое систему науки, на ее основные принципы. И здесь способный ученик, **независимо от состояния своих познаний** в остальном, сам готовит себе орудие для дальнейших „исследований".

В книжке читатель найдет не мало интересных высказываний. Но большею частью они систематически автором не развиты. Вскользь, напр., дана критическая оценка скалы Бинэ-Симона. Она, по мнению автора, дает понятие о том, насколько нормально развились душевные и умственные качества ребенка, не было ли перерыва в их развитии и т. д.

Не выясненной все же остается **степень** интеллигентности, **вне связи ее с возрастом**.

Качества, раннее проявление которых может свидетельствовать об общей одаренности и ее степенях, — по мнению автора, таковы: интуиция, самопроизвольность (Spontaneität), отношение ребенка к человеческой деятельности и к творчеству.

Но это мнение тоже, к сожалению, не вытекает из экспериментального материала, и совершенно правильно замечание редактора (проф. Россолимо) на некоторую нерешительность автора в вопросе о применении эксперим. методики отбора детей. В частности, о методе так наз. „психологических профилей", широко применяющегося у нас и за границей.

Вывод: книжка может **заинтересовать** педагогов, в особенности, работающих в школах для одаренных детей, но удовлетворения пробужденных ею же запросов не даст.

Читается книжка легко.

Сигбург.

И. С. Рабинович. **Дети труда в искусстве.** С 67-ю репродукциями. Предисловие А. Сидорова. Изд. 2-е дополн. „Молодой Рабочий". Харьков 1924. Стр. 97.

Вопросы искусства, правильного подхода к нему чрезвычайно мало разработаны в марксистской литературе.

Кроме прекрасной книжки Плеханова „Искусство и общественная жизнь", дающей метод к изучению искусства, почти ничего нельзя указать.

Поэтому надо особенно приветствовать мысль И. С. Рабиновича собрать репродукции на тему „Дети труда в искусстве" и желание осветить с марксистской точки зрения те или иные проявления в искусстве.

Подходя в общем правильно к данному вопросу, автор не всегда достаточно углубленно освещает связь художника с общественной средой, слишком схематично, порою вульгарно притягивая за волосы объяснения некоторых произведений искусства. Неприятно поражает в некоторых местах напыщенный тон.

Но, несмотря на указанные недостатки, книга представляет собою несомненный интерес.

Задавшись целью проследить отражение детского и юношеского труда в искусстве, автор говорит, что темы эти были мало затронуты художниками, ибо искусство капиталистического мира было отделено пропастью от трудящихся масс. Примеры из различных эпох показывают, как художники должны были приспособляться к интересам господствующего класса.

Тем не менее, трудовые мотивы встречаются в искусстве с ранних исторических времен.

На древне-греческих вазах мы видим различные моменты трудовой жизни; греческое искусство оставило прекрасные статуи двух рабов.

Последующий период ранне-христианской эпохи нашел свое отражение в изображениях Христа в виде пастуха.

Эпоха Возрождения возвращает искусство с неба на землю и дает Давида Микель-Анджело, являющегося выражением вдохновенного протеста.

XVII век (Мурильо), прекрасно изображая детей, рисует или маленьких святых, или бродяг („Вшивый"). Зато в произведениях Рембрандта часто встречаются люди труда, рабочие и ремесленники.

XIX век, век развития капитализма, не сразу подходит к трудовым детям, но все-таки на ряду с лордами и „Голубым мальчиком" Генсборо пишет картину „Крестьянские дети".

Ряд прекрасных детских типов дает Линч („Уличные ребята"). Немецкий художник Кнаус рисует детей немного в юмористи-

ческом духе („Соловья баснями не кормят", „Подмастерья - сапожники").

Кете Кольвиц дает ряд образов крестьян и рабочих борцов, но юноши-революционера не изображает; зато на целом ряде других картин с революционным содержанием мы всюду видим на первом плане детей - революционеров (Неизвестный „На баррикаде", Делакруа „Свобода, ведущая народ", Дюре „Марсельеза", Фламенг „Взятие Бастилии").

В средине XIX века появляются во Франции художники - пролетарии — Миллэ и Курбэ, черпавшие темы для своих картин из родной им среды.

Так, Миллэ рисует крестьян, пастуха, пастушку, Курбэ—каменотесов.

Альфред Ролл дает „Стачку углекопов", Стейнлейн—„Локаут", „Вор" и др. В стране шахт и заводов, Бельгии, появляется Менье, искусство которого представляет собою эпопею труда.

Русские художники, в свою очередь, часто рисуют ребятишек.

Вот, например, знаменитая „Тройка" Перова, „Капитошка" Венецианова, „Свидание с сыном" Маковского и др. являются как бы протестом против эксплоатации детского труда.

Книга заканчивается картиной финского художника Акселя Галлена „Клятва Кулерво", юного батрака, которому хозяева запекли камень в хлеб. В этой картине автор видит „завесу грядущего, откуда выступают юные поколения пролетариев, идущих строить новую, светлую жизнь".

Книга издана хорошо, даже богато; к сожалению, не все репродукции одинаково хороши, некоторые слишком бледны и человеку, незнакомому с картиной, ничего не скажут.

Но в общем это—ценная книга, которая может заинтересовать подростков и дать им ключ к правильному подходу к искусству.

Э. Станчинская.

Эндрью Карнеджи. *История моей жизни.* *Издательство „Петроград". 1924.* Стр. 155.

Эндрью Карнеджи—американский стальной король. Книжка, как показывает заглавие, является автобиографией. Очень полезная и интересная книжка, в особенности для русского читателя. Сам Карнеджи имеет в виду показать и рассказать, как энергия и трудолюбие открывают путь к хорошо набитому карману, к земным утехам и т. д. Карнеджи с самодовольством подчеркивает, что он вышел из простой рабочей семьи, он подробно повествует, как он поднимался со ступеньки на ступеньку; 2 доллара в неделю, потом 10, 15 и т. д., пока, наконец, не достиг „высшей власти". Само собой торжествуют: трудолюбие, трудолюбие и трудолюбие. „Все мысли мои и стремления были направлены к тому, чтобы самому заработать деньги, для того, чтобы моя семья могла обеспечить свое положение в новом отечестве. Мысль о жизни в постоянной нужде просто не давала мне покоя ни днем, ни ночью. И я размышлял только о том, чтобы семья моя могла откладывать 300 долларов в год"... „мне было тогда 13 лет", — скромно предваряет стальной король. Сначала мальчик на побегушках, потом телеграфист, помощник начальника железнодорожного участка, начальник, участник в предприятии — такова лестница, по которой восходил Карнеджи к миллиардам. Там, где нужно, Карнеджи становится, однако, очень скуп на слова: он очень скромен, когда речь заходит о том, откуда взялся у него капитал, который он вначале вложил в предприятие, и очень деликатен и немногословен при описании стачек. Зато с величайшей тщательностью он отмечает, куда, на что, когда и сколько он жертвовал на склоне дней своих. В целом перед читателем встает тип американского миллиардера: просвещенного, энергичного, свободного от всяких предрассудков, самодовольного в достигнутых „успехах", чуть-чуть сентиментального, уравновешенного и уверенного в себе. Он кичится своим рабочим происхождением, атеизмом, своим равнодушием к коронованным особам, к титулам и прочим привилегиям. При свидании с Вильгельмом накануне войны Карнеджи заявляет с гордостью последнему: „Я ехал двое суток под-ряд, чтобы последовать вашему приглашению; я этого не сделал еще никогда ни для одной коронованной особы". „История моей жизни" Карнеджи отразила период американского „цветущего" капитализма, капитализма, который еще не знал ни величайших катастроф, ни войны 1914 года, ни социальных битв между тру-

дом и капиталом, последовавших за этой войной. Такие „эпизоды", как гомстэдская *стачка, описанная Карнеджи, пока* еще не составляют быта, а, главное, они еще дают возможность предаваться спокойно разным филантропическим затеям, благочестивым размышлениям о трудолюбии и щеголять либерализмом и прогрессивностью. Не даром „История" обрывается на 1914 году.

„История" снабжена хорошим предисловием Д. Заславского.

Н.

Ответств. редактор—А. Воронский. Издатель—Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Маросейка, Б. Успенский пер., 5, кв. 36. Тел. 19-82

СОДЕРЖАНИЕ

От земли и городов.

За рубежом.

Литературные края.

Библиография.

Объявления.